

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА «БОЛДИНО»

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«АРЗАМАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.П. ГАЙДАРА»

**В.С. ЛИСТОВ**

**ПУШКИН:  
судьба коренного поэта**



*Монография*

Большое Болдино–Арзамас

АГПИ

2012

УДК 882 (09)  
ББК 83.3 (2 Рос=Рус) 5-8 Пушкин А.С.  
Л 76

Серия «**Монографии участников  
“Болдинских чтений”**»

Печатается по решению Ученого совета  
Государственного литературно-мемориального и природного  
музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино»

**Листов, Виктор Семёнович.**

Л 76 **Пушкин: судьба коренного поэта:** монография / В.С. Листов;  
Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино»; АГПИ им А.П.  
Гайдара. – Б. Болдино–Арзамас: АГПИ, 2012. – 398 с.: ил.

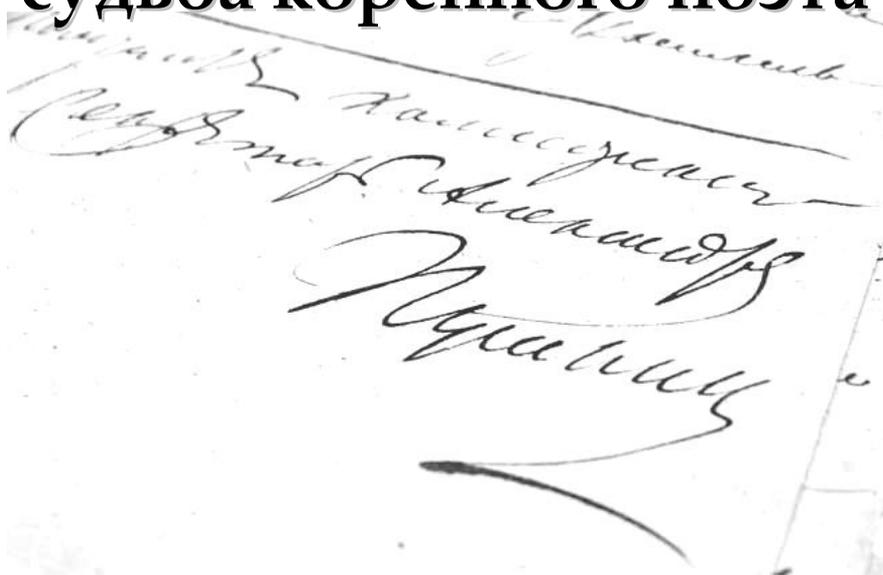
ISBN 978-5-86517-540-7

УДК 882 (09)  
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 5-8 Пушкин А.С.

ISBN 978-5-86517-540-7

© ФГБОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара», 2012  
© Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», 2012  
© Листов В.С., 2012  
© Канатъев А., обложка, 2012

# ПУШКИН: судьба коренного поэта



## ПУШКИН – ВЕЧНЫЙ СПУТНИК

### *О смысле наших усилий в гуманитарных науках*

Зимой 2010 года был я в Нижнем Новгороде на «Грехнёвских чтениях», и там, в университете, вышла у меня совершенно неформальная беседа со студентами. И как-то она не задалась. Речь шла о Пушкине. Я всё старался показать глубину и сложность пушкинского текста, говорил о важности и неповторимости каждой строки, о логике каждой поправки в автографах. Приводил в пример максимум из «Евгения Онегина», повторенную в романе дважды: «*Ум, любя простор, теснит*» (VI, 169, 614). Мне представлялось, что это высказывание очень многое выявляет в умственной жизни отечества – от древних времён до наших дней. Меня вежливо слушали, но ближайшим откликом на мои рассуждения служили дежурные вопросы: а как далеко зашёл роман госпожи Пушкиной с кавалергардом? А кто сочинил взбесивший поэта «диплом рогоносца? А не нарушал ли противник Пушкина дуэльный кодекс?

Ни одного вопроса по существу творчества Пушкина я не получил. Выходило так, что подробности светского скандала интересовали студентов (*студентов!*) больше, чем философия творчества, чем поэтика и стилистика литературных произведений. Трудно было с этим примириться. Боже мой, да ведь Пушкин, может быть, вышел на свой последний поединок, чтобы мы не обсуждали всех этих гнусных подробностей. А мы только их и обсуждаем; подавай нам Пушкина, который «мал и мерзок как мы».

Встреча с нижегородскими студентами заставила меня задуматься: какой же тогда смысл наших усилий? Чем и зачем занимаются филологи, историки, архивисты, педагоги? Стоит ли наша игра свеч, если в её итоге от нас ждут доказательств, что перу великого поэта принадлежит похабная поэма «Тень Баркова»; или что пуля попала в пуговицу дуэлянта, и потому подлец остался жив?

Потом, после поездки в Нижний Новгород, я попробовал разобраться в своих ощущениях.

Не для студентов – для себя.

У Булгакова в «Театральном романе» главный герой и рассказчик Максудов однажды перечисляет едва ли не всех представителей рода людского, стремящихся попасть в театр по контрамарке, бесплатно. Это внушительный список на полстраницы. Названы все – от благополучных инженеров и сельских учителей до растленных растратчиков и тайных кокоток. В этом подавляющем сознание изобилии ещё одно человеческое поприще проскальзывает почти незаметно: *пушкинисты*.

Они, пушкинисты, помянуты как раз между лётчиками и председателями колхозов<sup>1</sup>.

Получается так, что вместе с другими гражданами, толпы пушкинистов штурмуют театральный зал, в котором каждый несколько грамотный человек узнаёт зал Московского художественного театра. Отчего вдруг такое внимание Мастера (Булгакова? Максудова?) к немногочисленному и мирному сословию лиц, несколько сдвинутых на «Евгении Онегине», «Капитанской дочке» или строчке «Буря мглою небо кроет»? Что их объединяет с профанами в битве за кресло на спектаклях «Вишневый сад» или «Дни Турбиных»?

Проще всего было б в сотый раз вспомнить, что «Пушкин – наше всё», а, значит, его истолкователи и должны равномерно интересоваться «всеми». Всем на свете. Однако ж так не выходит. Когда пушкиноведческий сверчок покидает свой шесток, то бывает не только смешно, но и грустно. Например, среди моих знакомых есть немолодой человек, который, применяя тайные шифры, вычитывает из текстов поэта ритмы солнечной активности и даты смерти великих людей; другой придаёт огромное значение упоминанию в пушкинской «Истории Петра» острова Мадагаскар и видит тут связь с африканским происхождением автора; третий – объясняет «Пиковую даму» как потаенный текст декабристского круга... И ещё много подобного, сильно удалённого от здравого смысла.

---

<sup>1</sup> Булгаков М.М. Театральный роман // Булгаков М.М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. С. 212.

Не сомневаемся: если б «Театральный роман» был писан не в тридцатые годы, а раньше или позже, то пушкинисты, как представители отечественной общественности, среди ревнителей театра упомянуты бы не были. Тут именно привкус – или, если угодно, аромат – как раз тридцатых годов. Первые советские годы прошли под задорным призывом Маяковского: «Бойтесь пушкинистов!». Понятно: от них, казалось, пахло академической скукой, казённой гимназией и психологизмом, излишним в реконструктивный период. Тот же Маяковский предлагал простенький эксперимент: «бежать перед первомайскими колоннами и голосить: “Мой дядя самых честных правил!”»<sup>2</sup>. Что получилось бы – ясно каждому. Но только в условия этого мысленного опыта вкралась ошибка: экспериментатор исходил из того, что политическая демонстрация есть вершина осмысления жизни, а её участники – соль земли.

Уже на подходе к тридцатым годам становилось очевидным для всех: жизнь движется не под марш, не парадным строем, а тонкими, не всегда уловимыми проявлениями человеческих душ<sup>3</sup>. Это в конце концов и Маяковский признавал. Хотя бы уж поэтому Пушкин оказывался весьма востребованным. В 1937 году, к скорбному столетию, картина приобщения к Пушкину могла показаться редкостью благополучной: тиражи произведений поэта росли неслыханными темпами, радиоэфир гремел этим самым «дядей самых честных правил», а официальные докладчики носились с инфантильным вольнодумцем и другом декабристов. А как же? Не он ли, не Пушкин ли, обращался к монарху: «Тебя, твой трон я ненавижу, // Твою погибель, смерть детей // С жестокой радостью вижу»? (II, 47). Правда, речь тут шла об императоре французов, а не о русском царе Александре I, у которого и детей-то не было. Но в такие подробности углубляться не полагалось.

И не выглядело это случайностью. Всякое «революционное» истолкование Пушкина поощрялось и

---

<sup>2</sup> Маяковский В.В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1951. С.194.

<sup>3</sup> От маршей устал и сам Маяковский: «...извольте под марш к любимой топтать» – осаживал он слишком рьяных сторонников гегемонии «общественного» над «личным».

приветствовало. Глухота начальства к смыслу пушкинских строк порой принимала анекдотический характер. В том же «юбилейном» 1937 году, когда по Белому морю пароход доставлял из Кеми очередную партию мучеников в соловецкую тюрьму, новые заключённые читали на тюремной стене огромную надпись: *«Здравствуй племя младое, незнакомое»*. Преемственность гулаговских поколений тоже, выходит, благословлялась писателем, которого власть выдавала за Пушкина.

Одновременно с «Театральным романом» Булгаков сочинял «Мастера и Маргариту», где в одном из эпизодов жизнь представляла сумасшедшим сном, в котором людей принуждали «сдавать валюту» государству. Моральное воздействие на держателей валюты осуществлял актёр, читавший «Скупого рыцаря»: вот, граждане, – вы плохо кончите, если будете прятать деньги и драгоценности по сундукам и подвалам. Эпизод, разумеется, вымышлен, но он удивительно точно определяет место сочинений Пушкина в системе тогдашней пропаганды.

Помещая *пушкинистов* где-то рядом с сельскими учителями и тайными кокотками, Булгаков не задаётся вопросом – к какому моральному полюсу ближе эти самые пушкинисты? К сеятелям разумного, доброго, вечного? Или к порочным обольстительницам? И то, и другое можно подозревать едва ли не с одинаковым основанием.

Замечено давно и не нами: какие времена у нас в отечестве, такой при этом и Пушкин. Многие современники поэта и даже знакомцы, не понимали, с кем имеют честь общаться. Комендант Иван Кузьмич Миронов из «Капитанской дочки» знал, что говорил, когда определял «стихотворство как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее» (VIII, 303).

Собственно, противостояние стихотворства и государственной службы проходит едва ли не через всю новую и новейшую историю отечества. В разные времена неодобрение поэзии (и шире – художественного творчества) исходило от разных державных инстанций (монарх, цензура, церковь, школа, органы политического сыска др.), а также из среды непросвещённых и полупросвещённых обывателей. Менялись названия учреждений и сословий (от царя до генсека или от духовенства до агитпропщиков), но суть дела оставалась

неизменной: ни к чему доброму с государственной точки зрения вольное сочинительство не приводило. И не надо думать, будто полное благополучие вокруг произведений Пушкина наступило после того, как была засыпана землёй могила в Святогорском монастыре.

Но цензурные и издательские судьбы произведений Пушкина – от смерти поэта до нынешнего дня – не наша тема. К тому же она много и подробно изучалась. Важно напомнить: к 1837 году корпус известных читателю пушкинских текстов был с нашей сегодняшней точки зрения весьма существенно не полон: не было «Медного всадника» и «Истории Петра», «Монаха» и романа о царском арапе, «Египетских ночей», потаенных онегинских строф, массы стихотворений, включая даже и «Памятник» – всего и не перечислить. Следующие почти два века исследователи и читатели медленно и постепенно обретали «новые», до того от них сокрытые, произведения Пушкина.

В последние годы и десятилетия поток находок и приобретений почти иссяк. Если не произойдёт какого-нибудь ослепительного чуда, то придётся примириться с тем, что корпус пушкинских текстов обрёл, в основном, завершённость. Такая же «затухающая кривая» прослеживается и в области исторических источников, отражающих биографию и творчество поэта. Всё это существенно корректирует смысловое наполнение слова *пушкинист*.

В середине тридцатых годов XX века, как раз тогда, когда булгаковские пушкинисты рвались на театральные спектакли, Вениамин Каверин писал роман «Исполнение желаний». Каверинские герои как раз и занимались поисками пушкинских текстов, и усилия подвижников были овеяны романтикой блистательных открытий. Хотя, правды ради, надо заметить, что реальные открытия, в вымышленном контексте использованные в «Исполнении желаний», относятся не к советским 20-30-м годам, а к началу века, к дореволюционному времени. Исследователи Пушкина, современные Булгакову и Каверину, уже не столько *находили* новые тексты, сколько *истолковывали* тексты традиционно известные.

Тут возникают очевидные и вполне понятные аналогии. Например, романтика геологических поисков реально ни к чему не ведёт до тех пор, пока первопроходцев не сменят на

---

месторождениях люди совсем другого толка – буровики, шахтёры, нефтяники.

Теоретически мыслимы, конечно, большие архивные открытия – вроде знаменитой «Тагильской находки» И.Л. Андроникова. Но даже они не изменят очевидной тенденции: на первый план всё равно выходит не расширение источниковедческой базы пушкиноведения, а углублённое прочтение, истолкование, известных «старых» текстов.

В сущности, таким путём движутся многие предметы и явления. Не надо быть сколько-нибудь глубоким философом, чтобы заметить: движение времени постоянно приводит от открытия к освоению, от находки к осмыслению.

Например, та же простая закономерность может быть прослежена хотя бы и в разрастании государства Российского. Начиная с XIV столетия Московское княжество, потом царство, а потом и империя, расширяет свои границы, присоединяет новые территории. Между тем освоение новых земель сильно, а иногда и просто катастрофически, отстаёт от их завоевания. Уже в пушкинские времена об этом догадывались некоторые проницательные мыслители. Так, в своих заметках о путешествии по Крыму в 1826 году А.С. Грибоедов отметил: «Нет народа, который бы так легко завоёвывал и так плохо умел пользоваться завоёванным, как русские»<sup>4</sup>.

Конечно, геополитическое сравнение истории территориальных завоеваний России с историей изучения пушкинского наследия – несколько прихрамывает. Не всё так аналогично, не всё так буквально. Но демонстрация одной и той же или похожей закономерности в развитии разных, иногда весьма удалённых друг от друга процессов, есть явление довольно частое. На нём построена очень разветвлённая дисциплина – физическое моделирование.

Общий закон, по которому вслед за обретением предмета начинается его изучение и освоение, Пушкин не формулировал, но его проявления были ему хорошо знакомы. И с самим Пушкиным, кажется, происходит как раз то, к чему мы в нашем отечестве привыкли, что называется, испокон веков. Все знают, что есть Пушкин; все знают – в его стихах и прозе содержатся

---

<sup>4</sup> Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988. С. 427.

великие художественные и духовные сокровища. Осталось только их извлечь, приобщиться, сделать достоянием каждого и всех.

Нет.

Мы охотно признаём, ценность, например, Байкала и русского языка, свежего воздуха и древней постройки, Пушкина и отечественной истории. Но это не подвигает нас понимать и беречь великие ценности, заботиться о том, чтобы потом, при наследовании, они попали в хорошие руки. Тут нас ждёт очевидная катастрофа. Недавно на зачёте я спросил у студента выпускного курса: кто такой князь Дмитрий Пожарский? И получил уверенный ответ: это который сжёг Москву в 1812 году.

То ли смеяться, то ли плакать...

Мальчика жаль: как бы там ни было, а он и многие его сверстники оказываются совершенно безоружными перед ходом времени, перед суровыми случайностями бытия, наступающими каждого. И поэзия «как ангел-утешитель» не приходит им на помощь. В «Онегине» по этому поводу есть замечательное определение: «жизни холод» – его надо понять, выдержать и суметь пережить. А как? Тут – то и приходит на память опыт веков, куда более глубокий и обширный, чем личный, собственный опыт. В том же романе в стихах и его черновиках предъявлен весь спектр мировой мысли – от китайского мудреца Конфуция до пушкинского современника Гете, от римских авгуров до итальянского узника Сильвио Пеллико... Надо только осознать своё личное, близкое родство с человечеством, понять, что известными тебе радостями и печальями люди живут далеко не первое тысячелетие. Но как трудно, оказывается, сделать этот шаг!

Примеры, взятые почти наугад.

Герой-рассказчик «Капитанской дочки» Петр Гринёв, заброшенный в глухую деревню, как бы в насмешку названную крепостью, страдает от невозможности соединиться с возлюбленной. Своё положение он объясняет так: «Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие <...> Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство (VIII, 322). Понятно. Безумие и бесстыдство и сейчас, сегодня, подстерегают едва ли не всякого,

---

кто пытается существовать вдалеке от опыта человечества, от творческого, художественного мира.

Другой пример: наш современник, главный герой романа Сергея Минаева «Dухless. Повесть о ненастоящем человеке» (2006). Судьба щедро одаряет его, но она же над ним и жестоко насмехается. В его распоряжении все радости жизни – свобода поведения, женщины, злачные места, «хлебы и зрелища». А страдает он на манер пушкинских героев – Клеопатры, Онегина – от пресыщенности, скуки, от монотонной повторяемости наслаждений. Ниточка спасения тонка и, кажется, соткана из строк классического романа в стихах, нередко вспоминаемых героем. Подобно Евгению, он не находит счастья, но, возможно, обретает духовное возрождение в финале повествования, традиционно оборванного на полуслове.

«Поэзия как ангел-утешитель...».

\* \* \*

В начале своих соображений я задумывался о том, в чём смысл наших гуманитарных усилий. Чем (и зачем) заняты историки, филологи, литературоведы, педагоги? Не знаю полного и точного ответа. Но глубокое и верное суждение по этому поводу я услышал давно и там же, где потом встретил легкомысленных студентов – в Нижнем Новгороде.

Почти тридцать лет назад в Нижнем (тогда ещё Горьком) долго и трудно умирал молодой пушкинист, филолог Евгений Хаев, ученик Георгия Васильевича Краснова, мой младший друг и коллега. Я сидел у его постели, прощался. Говорить ему было трудно. Но он, преодолевая боль, сказал:

«Умирать, оказывается, невозможно страшно. Вообразить, что меня скоро не будет. Мысль непереносимая, от неё с ума сойти можно. Я спасаюсь тем, что думаю о себе не в первом лице, а в третьем. Вот, умирает молодой человек, Женя Хаев. Жалко его, конечно. Но ведь это сто раз было, было. Молодой Ленский тоже умер. Также жалко. Но ведь мы способны со смертью Ленского примириться – верно? В том-то и дело. Я пока лежал, понял, зачем всё это. Зачем мы читаем «Онегина» и вообще всю литературу художественную. Именно вот для этого. Чтоб увидеть себя со стороны. Чтоб уметь стать на место другого человека. Тогда и за себя не так страшно.

На том и расстались. Насовсем»<sup>5</sup>. От того последнего разговора прошла почти половина моей сознательной жизни. Возвращаюсь мысленно к нему часто – это одно из самых важных моих воспоминаний. Так, на ровном месте, при нашем суматошном существовании, нечасто спросишь себя: «зачем всё?». Зачем все наши гуманитарные усилия?

А отвечаю я себе словами Жени: затем, чтобы видеть себя со стороны, чтобы уметь стать на место другого, ближнего и дальнего. Понять его. Вот зачем.

И ведь пушкинское – «что пройдёт, то будет мило» – как раз о том же...

---

<sup>5</sup> Листов В.С. «Переведи меня через майдан...» // Болдинское чтение. Нижний Новгород, 2001. С.144-145.

Акт издания... 1820...  
1820...  
1820...



# Часть I. БОЛДИНСКИЙ регламент

*Курдюков*

*Васильев*

*Мещеряков*

*Мухоморов*

*Борисов*



VI

М.м. 1820  
~~Мухоморов~~ 1820  
Курдюков  
Мещеряков  
Мухоморов  
Борисов  
1820

## ПРЕДИСЛОВИЕ

«В Болдине, всё ещё в Болдине!» – писал Пушкин Н.Н. Гончаровой в Москву в ноябре 1830 года. В этом его возгласе – подлинник по-французски – выражена сложная гамма чувств: он стремится в старую столицу, к невесте, на свадьбу. Он везёт друзьям много новых сочинений, написанных или оконченных в деревенском заточении. Наконец, он отчаянно скучает по городской жизни с ее соблазнами, книжными новинками, приятельскими беседами. И всё – напрасно. Карантины отгораживают его от мира, удерживают в этом средоточии грязи, холеры, пожаров.

Каждый раз, уезжая отсюда в Москву, вспоминаю я этот горестный выкрик поэта: «Всё ещё в Болдине!». Почти два века спустя я чувствую иное, весьма острое желание – остаться здесь, надыхаться всеми пушкинскими ветрами, какие тут веют.

За это спасибо «Болдинским чтениям».

Во введении к разделу книги мало места для того, чтобы рассказать о научной конференции, которая на протяжении почти полувека собирается в Большом Болдине и посвящена творчеству и биографии Пушкина. Потом, когда история чтений будет создаваться, придёт время рассказать о том, что скрывалось и скрывается здесь под скучноватым названием «научная конференция». В форме регулярного академического симпозиума живёт тут некое братство людей, объединённых Пушкиным. От давнего директора болдинского музея Ю.И. Левиной, от отцов-основателей чтений Г.В. Краснова и В.А. Грехнева, идёт у болдинцев традиция углублённого изучения пушкинских произведений, вдумчивого прочтения его стихов и прозы.

Ловлю себя на том, что, написав это, я ещё ничего не сказал. Как объяснить всеобщее взаимное притяжение наше? Сами по себе тексты (даже и пушкинские) мемориальны и безгласны – до тех пор, пока они не находят живого, сопереживающего читателя. Только в этот миг всё пробуждается, становится воистину прекрасным. Однажды я догадался, что очередной раз еду в Болдино не только с докладом, но, прежде всего, с явным желанием увидеть своих коллег, обняться, поговорить, почитать стихи. Понять и встретить понимание. С тех пор и живу от сентября до сентября, от Болдина до Болдина.

В Новгороде Нижнем и Новгороде Великом, в Москве и Петербурге, в Коломне и Пскове, в Новосибирске и Владимире, в

Арзамасе и Казани и ещё в десятках городов, русских и нерусских, обитают наши болдинские сестры и братья. И, значит, в каждом городе горит огонек нашего понимания Пушкина. А между тем дружество вовсе не понижает планку наших научных притязаний. Знали бы вы, какие яростные полемики возникали – да и теперь порой возникают – и на самих чтениях, и в переписке. Так движется наука о Пушкине, так движется понимание Пушкина – что, замечу, не одно и то же.

Болдинское *братство* наше основано на *свободе и равенстве*. Будь ты академик или герой, мореплаватель или плотник, профессор или аспирант – для доклада 15 минут. Изволь укладываться. Чтения требуют, чтобы словам было тесно независимо от того, сколь обширную и глубокую мысль ты развиваешь.

В первом разделе книги собраны мои болдинские доклады, произнесенные с 1979 года. Большинство их опубликовано в периодических сборниках «Болдинские чтения». Много в докладах недосказано – регламент! Но я – за редкими исключениями – оставляю в них всё как было. Тут есть свои преимущества. Внимание слушателя и читателя почти не отвлекается на академическую жвачку, расшаркивание перед авторитетами и дальние отвлечения от основной темы.

Когда-нибудь – не будем терять надежды – будут переизданы все выпуски «Болдинских чтений». И тогда ревнители творчества Пушкина сумеют оценить тот вклад, который внесли в истолкование творчества и биографии поэта исследователи, сплоченные вокруг музея-заповедника на нижегородской земле.

## ПО СТРАНИЦАМ ЛИЦЕЙСКОЙ ПОЭМЫ «МОНАХ»

Первоначально утраченная лицейская поэма Пушкина «Монах» известна лишь с 1928 года по автографу и твёрдо датируется летними месяцами 1813 года. Это едва ли не самое раннее из дошедших до нас крупных произведений поэта<sup>1</sup>.

Большинство исследователей справедливо отмечает, что в поэме отчётливо видны молодость автора, а вслед за нею и несамостоятельность, иногда просто подражательность всей стихотворной ткани. В.В. Набоков рекомендует «Монаха» как свидетельство «галломанской юности» поэта<sup>2</sup>. Б.В. Томашевский, С.А. Фомичев, Г.Л. Гуменная и другие также подчёркивают многочисленные заимствования из французской литературы (Вольтер с его «Орлеанской девственницей» – прежде всего), но с несомненностью выявляют и отечественные источники текста<sup>3</sup>. Это «Житие Иоанна Новгородского», стихи И.С. Баркова и И.Ф. Богдановича, «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина и многие иные памятники русской литературы разных эпох, жанров, направленностей.

Два десятилетия тому назад в докладе на «Болдинских чтениях» нам приходилось говорить о том, что действие «Монаха» происходит недалеко от Москвы, в звенигородском поречье, и связано с местным Савво-Сторожевским монастырём и источниками по истории этой обители<sup>4</sup>.

Однако не следует преувеличивать начитанность Пушкина-лицеиста. В «Монахе» нашёл отражение, пародирован русский религиозный быт, а иногда и просто быт мальчика, запертого в

<sup>1</sup> См.: *Фомичев С.А.* Поэма Пушкина «Монах» и повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе // Новгород в культуре древней Руси. Материалы чтений по древнерусской литературе. Новгород, 1995. С. 141.

<sup>2</sup> См.: *Набоков В.* Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 431.

<sup>3</sup> См.: *Томашевский Б.В.* Пушкин. Т.1. Лицей. Петербург. М., 1990. С. 97; *Фомичев С.А.* Поэма Пушкина «Монах» и повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе. С. 141; *Гуменная Г.Л.* «Монах» и художественные искания Пушкина-лицеиста // Литературные мелочи прошлого тысячелетия. К 80-летию Г.В. Краснова. Сб. научных статей. Коломна, 2001. С. 46-52.

<sup>4</sup> См.: следующий сюжет: «Вокруг пушкинского отрывка «На тихих берегах Москвы...» См. также: *Листов В.С.* Новое о Пушкине. М., 2000. С. 17.

стенах закрытого учебного заведения. «Моя студенческая келья», как сказано в «Евгении Онегине», должна была озаряться не только явлением чистой музыки, но и чередой естественных эротических видений. Отсюда несомненная родственность «Монаха» стихотворению «К Наталье», где влюблённый лирический герой в финале прямо признаёт свою келейность: «Знай, Наталья! – я... монах!» (I, 8).

Некоторые существенные стороны поэмы объясняются, на наш взгляд, смыслом церковных праздников, укорененных в быту Пушкина и его современников. Об этом и пойдёт речь.

## 1.

В своей работе о соотношении «Монаха» с «Житием Иоанна Новгородского» С.А. Фомичев в конечном счёте прав, логически связывая сюжет поэмы с именем главного героя, отшельника Панкратия<sup>5</sup>. Однако на пути к этому «конечному счёту» исследователь сильно уклоняется в сторону от простых указаний в тексте лицейского сочинения Пушкина.

С.А. Фомичев ищет некие связи между скандальным явлением юбки в монашеской келье и днём 9 декабря, на который по православному календарю приходится день Зачатия Св. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Этот же день – поминовение Св. Панкратия зимнего. Исследователь верно излагает смысл праздника: Св. Анна и Св. Панкратий покровительствуют беременным женщинам. А заодно, по народному поверью, 9-го декабря происходит смена сезонов, «зачинается» зима.

Всё так. Да только неясно, каким образом в пушкинской поэме искушение отшельника связано с евангельским рассказом об Иоакиме и Анне, а уж тем более с сезонным переломом осени на зиму. Никаких параллелей с текстом «Монаха» здесь, разумеется, нет.

Между тем прямая зависимость явления юбки в келье от общеизвестного русского православного праздника не вызывает сомнений, просто бросается в глаза. Напомним:

И вдруг бела, как вновь напавший снег,  
Москвы реки на каменистый берег,  
Как легка тень, в глазах явилась юбка (I, 18).

---

<sup>5</sup>См.: Фомичев С.А. Поэма Пушкина «Монах» и повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе. С.145.

Коль скоро юбка бела и сравнивается с «вновь напавшим снегом», сразу становится ясен источник эпизода – житийный рассказ о Покрове Богородицы и Св. Андрее, Христа ради Юродивом.

Праздник Покрова – один из самых почитаемых в России. Его смысл вряд ли нуждается в подробных комментариях. Для нашей темы достаточно будет краткого резюме. Покровская история восходит к середине X века. Язычники осаждают Константинополь, и юродивый Андрей во Влахернском храме возносит Пречистой Деве молитвы о спасении града. И тогда Богоматерь распространяет свой Покров (омофор) над осаждёнными; ободрённые греки побеждают язычников.

В традиции отечественного православия покровское предание особенно чтимо. Дело в том, что Андрей Юродивый считается скифом (или даже русским). А поскольку к середине X века Русь ещё не была крещена, постольку можно полагать Андрея Юродивого первым нашим соотечественником, чьи молитвы были услышаны Богоматерью. Омофор Пречистой Девы понимается как вечная небесная защита, простёртая над Русью и русскими<sup>6</sup>.

Юбка в келье Панкратия *пародирует* омофор. Уже при первом её появлении юный автор с некоторой даже назойливостью подчеркивает белизну scandalного предмета:

Что-то в углу как будто забелело...

и

Как вкопанный, пред белой юбкой стал (I, 12).

Мы видели, что потом в песни третьей юбка становится «бела, как вновь напавший снег». Сравнение совершенно прозрачное. Праздник Покрова отмечается по церковному календарю 1 октября и в народном сознании издревле переосмыслен отчасти на языческий манер. Считается, что первый снег, выпадающий 1 октября, есть символ чистоты Пречистой Девы, образ её Покрова (омофор).

Народное сознание издревле играло двумя значениями слова «покров». С одной стороны защита, покровительство; с другой – одеяние, символизирующее такую защиту, защищенность. На Покров играли свадьбы. Фата, всё белое одеяние невесты, должны были напоминать о чистоте и непорочности, а заодно и о покровительстве Пречистой Девы, обозначаемом первооктябрьским

<sup>6</sup> Андрей – Христа ради Юродивый, Св. // Полный православный энциклопедический словарь. В 2 т. Т.1. СПб., изд. П.П. Сойкина, б.г. С. 166.

снегом. Выходя замуж, невеста как бы дополняла небесную защиту защитой земной, мужней. Отсюда понятная двойственность всех пословиц, связанных с Покровом:

Батюшка Покров, покрой землю снежком,  
А меня, молоду, женишком!

Бел снег землю прикрывает:  
Не меня ль, молоду, замуж снаряжает?<sup>7</sup>

Сознание четырнадцатилетнего школяра Пушкина, понятно, сильно занято и самой юбкой, и тем, что именно она прикрывает. Мальчик творит *свою* покровскую легенду, сильно удалённую от общепринятой, но сохраняющую некоторые внешние черты церковного культа. Под пером лицеиста юбка получает достоинство не небесного, а земного, эротического омофора:

Огню любви единственна преграда,  
Любовника сладчайшая награда  
И прелести единственный покров,  
О юбка! (I, 12)

Необходимо напомнить, что в пушкинское время словом «юбка» означалась не верхняя, а прежде всего *нижняя* юбка. Поэтому она и выступает как последний и единственный покров при любовных играх. Это с очевидностью явствует из следующей строфы поэмы: «Люблю тебя, о юбка дорогая, // Когда меня под вечер ожидая, // Наталья, сняв парчовый сарафан, // Тобою лишь окружит тонкий стан» (I, 13).

Бес, посетивший келью Панкратия, прикидывается именно нижней юбкой. И вся ситуация искушения монаха обретает черты покровавыворот, дьявольского покровавыворот. Тёмная сила как бы простирает над отшельником своё крыло, обманно, хоть и наивно, декорированное под белый омофор.

Насмешка над культом Покрова, низведение его до грубой эротики, и есть, думается, смысл явления юбки в келье. Не выявив этого мотива, С.А. Фомичев полагает, будто «весь дошедший до нас текст особых кощунств не содержал»<sup>8</sup>. На самом деле кощунства

<sup>7</sup>См.: *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М., 1980. С. 247.

<sup>8</sup>См.: *Фомичев С.А.* Поэма Пушкина «Монах» и повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесу. С.145.

здесь не меньше, чем в «Гавриилиаде» и сосредоточено оно тоже вокруг образа Богоматери.

## 2.

Поэма «Монах» обрывается мотивом компромисса, временного примирения отшельника с бесом Молоком. Панкратий, победивший Молока, готов избавить его от наказания, если тот свезёт его в Иерусалим. Последняя строфа – ироническое обращение автора к главному герою, уже готовому путешествовать верхом на чёрте к Святым местам:

Старик, старик, не слушай ты Молока,  
Оставь его, оставь Иерусалим.  
Лишь ищет бес поддеть святого с бока,  
Не связывай ты тесной дружбы с ним.  
Но ты меня не слушаешь, Панкратий,  
Берёшь седло, берёшь чепрак, узду,  
Уж под тобой бодрится чёрт проклятый,  
Готовится на адскую езду.  
Лети старик, сев на плечи Молока,  
Толкай его и в зад и под бока,  
Лети, спеши в священный град востока,  
Но помни то, что не на лошака  
Ты возложил свои почтенны ноги (I, 20).

Пародия продолжается. Вслед за кощунственным обращением к атрибутам праздника Покрова юный автор насмехается и над Вербным воскресением – оно же Вход в Иерусалим на шестой неделе Великого поста. Им открывается ежегодный цикл пасхальных праздников. Прямая зависимость последнего эпизода поэмы от новозаветного рассказа о Входе Христа в Иерусалим выявляется без труда.

Согласно свидетельствам всех четырёх евангелистов, Христос перед входом в град Давидов посылает учеников, чтобы те привели к нему молодого осла (ослёнка). На нём Спаситель и въезжает в Иерусалим (Матф.: 21, 1-9; Марк.: 1-8; Лук.: 29-36; Иоан.: 12, 12-14). Этим и начинается заключительный эпизод земной жизни Христа; в Иерусалиме должен он принять мученическую смерть, искупить грехи человеческие, воскреснуть и вознестись на Небо.

Евангельское повествование о Боге, въезжающем в Иерусалим на молодом осле, восходит к ветхозаветному пророчеству Захарии:

«Радуйся зело, дщи Сиона, проповедуй, дщи Иерусалимля: се, Царь твой грядет тебе праведн и спасаяй, той кроток и всед на подъяремника и жребца юна» (Зах.: 9, 90).

Тем самым предостережение автора герою следует истолковать так: смотри, Панкратий, подобно Христу, ты въезжаешь в Иерусалим. Однако ж не забывай, что под твоим седлом не канонический мирный ослёнок (лошак), угодный Господу, а коварный бес, враг Христа.

Смысл двенадцатого праздника Входа в Иерусалим – профанируется. Ещё больше профанируется и даже кошунственно снижается образ Того, Кто входит в Иерусалим. По нашему мнению, Пушкин-лицеист соотносит имя своего героя с одним из канонических прозваний Христа. Панкратий – в родстве с греческим «Пантократор». Означает «Всевластный», «Вседержитель»<sup>9</sup>. Сюжет «Христос-Пантократор» входит в иконописный канон и весьма распространён в отечественном православии. Панкратий-Пантократор, въезжающий в град Давидов на чёрте, пародирует самые основы вероучения и далеко отступает от исходного сюжета, связанного с «Житием Иоанна Новгородского».

Можно заметить и неслучайное сходство монолога беса, обращенного к монаху, с новозаветным текстом. Чёрт обещает Панкратию все блага и радости дольнего мира в выражениях, соответствующих эпизоду искушения Иисуса в Евангелии от Матфея (Матф.: 4, 8-10).

Таким образом автор лицейской поэмы сохраняет внешние признаки Священной истории, но наполняет её совершенно иным, кошунственным смыслом. Спаситель замещается неумным и невежественным монахом, а мирный молодой осёл – бесом-искусителем. В таких условиях вряд ли под пером Пушкина мог возникнуть и настоящий Иерусалим. Судить о конечном пункте путешествия Панкратия на бесе трудно, так как поэма обрывается как раз в самом начале этого путешествия.

Здесь возможна только гипотеза – более или менее правдоподобная. При всей условности сказочного времени всё же можно понять, что действие поэмы происходит для Пушкина сейчас, «в наши дни». Поэтому бес, искушая монаха, навязывает ему «длинный фрак с штанами», а также знакомство с сатириком князем Дмитрием Петровичем Горчаковым и Марией Антоновной

<sup>9</sup> См.: Петровский Н.А. Словарь русских личных имён. М., 1996. С. 219-220.

Нарышкиной, фавориткой Александра Первого. Значит, в прошлом, за плечами Панкратия, можно полагать все основные события отечественной истории.

Для нас важно будет напомнить, что за полтора века до Пушкина-лицеиста русская православная церковь в Москве ежегодно отмечала Вербное воскресенье мистериальным «Шествием на осляти» из Успенского собора в Кремле. Здесь тоже происходила цепь замещений. Вместо молодого осла использовался конь; на него садился, понятно, не Спаситель, а патриарх. Коня под уздцы вёл не апостол, а царь. А народ приветствовал шествие не пальмовыми ветками Палестины, но русской вербой – отсюда отечественное название праздника. Целью шествия служил не Иерусалим, а Покровский собор на Красной площади, он же храм Василия Блаженного<sup>10</sup>.

Патриарх Никон использовал ежегодное «Шествие на осляти» для утверждения превосходства «священства» над «царством». Народ в Кремле и на Красной площади привыкал видеть монарха, шагающего пешком рядом с конём, на котором восседал глава церкви.

В цепи «замещений» новозаветного сюжета Никон пошёл и дальше. На берегу речки Истры в 50 верстах от Москвы основал он в 1656 году Воскресенский монастырь, где номинально воспроизвёл основные палестинские святыни – Храм Гроба Господня, Гефсиманский сад, реку Иордан и т.д. С тех пор место называется Новым Иерусалимом.

Когда в 1666 году свергнутого Никона судил собор патриархов, то опальному главе церкви – среди других обвинений – предъявили обвинение в профанации иерусалимских святынь. А заодно и в нарушении евангельского завета о разделении «Божьего» и «цесарева» – о чём, в частности, свидетельствовали пешие прогулки царя в праздники Вербного воскресения.

Так что мальчик Пушкин не был первым, кто опасно играл вокруг канонического Входа в Иерусалим.

О реальных знаниях, которыми располагал юный лицеист в 1813 году, судить трудно. Можно ручаться, что евангельскую историю «Шествия на осляти» он усвоил хорошо. Это следовало из всего религиозного воспитания подростка, да и прямо из последней

---

<sup>10</sup> Вход Господень в Иерусалим // Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 388-389.

строфы «Монаха». Но что знал юный автор поэмы о патриархе Никоне, о Новом Иерусалиме? Неизвестно. Хотя ничего необыкновенного не было бы в том, что московский недоросль что-то читал или слышал о Никоне, расколовшем православную церковь своими реформами, и даже о никонианском Ново-Иерусалимском монастыре на Истре.

Действие «Монаха» происходит в Савво-Сторожевской обители, у тех мест, где Пушкин жил в долицейские годы в сельце Захарове. Новый Иерусалим тоже недалеко. Позже, работая над книгой о Петре I и романом о сыне казнённого стрельца, поэт несомненно свяжет истории двух монастырей. В 1698 году мятежных стрельцов разбили под стенами Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря, а держали в заточении в Савво-Сторожевском. Отсюда же их вели на казнь<sup>11</sup>.

Но если Пушкин-лицеист знал о Новом Иерусалиме, если ему были известны «палестинские» претензии патриарха Никона, то эти знания могли отразиться на возможном продолжении «Монаха». Тогда бес-обманщик мог отвезти Панкратия не в дальний град Давидов, а поблизости, в Новый Иерусалим с его номинально обозначенными святынями. И в таком случае круг профанированных реалий в поэме замкнулся бы.

Примерная аналогия. Герой сатирической поэмы Мицкевича пан Твардовский продал душу чёрту и по условию должен вовремя с ним расплатиться в Риме. Легкомысленный пан не является в Рим и чувствует себя в безопасности. Но чёрт подстерегает его в корчме и требует уплаты долга на том основании, что корчма носит название «Рим». Примерно также может поступить и пушкинский Молок. Ведь он не уточнил, в какой именно Иерусалим повезёт легковерного монаха.

\* \* \*

Гипотеза о Новом Иерусалиме, разумеется, не претендует на абсолютное значение, оставляет место и для других предположений. Дальнейшая её детализация вряд ли была бы корректна и повлекла бы за собой необоснованное усложнение исторических и философских взглядов четырнадцатилетнего автора поэмы «Монах». Для нас было важно только соотнести мысли и

---

<sup>11</sup>См.: *Листов В.С.* Новое о Пушкине. С. 17.

чувствования лицеиста с общеизвестным в его время смыслом двух православных праздников – Покрова и Вербного воскресения.

### ВОКРУГ ОТРЫВКА «НА ТИХИХ БЕРЕГАХ МОСКВЫ...»

В 1884 году на страницах журнала «Русская старина» В.Е. Якушкин опубликовал черновой набросок – восемь стихотворных строк, регулярно помещаемых с тех пор в собраниях сочинений Пушкина:

На тихих берегах Москвы  
Церквей, венчанные крестами,  
Сияют ветхие главы  
Над монастырскими стенами.  
Кругом простерлись по холмам  
Вовек не рубленные рощи,  
Издавна почивают там  
Угодника святые мощи (II, 261).

Несмотря на почти вековое знакомство исследователей с этим наброском, его содержание все еще неясно. Тому свидетельством служит, например, комментарий Т.Г. Цявловской: «Вероятно, начало эпического произведения, замысел которого остается неизвестным»<sup>12</sup>. История создания отрывка также весьма скудна: основываясь, по-видимому, только на положении автографа в рукописной тетради, Цявловская относит стихи предположительно к апрелю-маю 1822 года (II, 1117). Осторожность комментатора здесь совершенно понятна. Включение отрывка в кишиневский период творчества Пушкина ставит его в близкое хронологическое соседство с «Гавриилиадой», стихотворениями «Царь Никита и сорок его дочерей», «Накажи, святой угодник...», «Недавно я в часы свободы...» и другими свидетельствами явно иного отношения к предметам, поминаемым в восьмистишии.

Эпический замысел, намеченный здесь Пушкиным, более естественно относился бы к времени работы над «Борисом Годуновым» или к еще позднему. Но формальных оснований переменять дату пока нет, и мы будем условно с нею считаться.

<sup>12</sup> Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1974. Т. 1. С. 628.

Историю создания отрывка некоторые исследователи пытались связать с посланием Батюшкова «К Дашкову» (1813)<sup>13</sup>. Пушкин-читатель действительно отметил словом «прелесть» батюшковское четверостишие: «И там, где с миром почивали // Останки иноков святых // И мимо веки протекали, // Святыни не касаясь их». Но бедное тематическое сходство двух стихотворений ничуть не доказывает, что пушкинский пейзаж навеян Батюшковым. Ибо Пушкин, как увидим, обращается к вполне реальным и конкретным обстоятельствам, известным ему помимо Батюшкова и раньше 1813 года.

Несколько важных смысловых оттенков текста отрывка содержится в его автографе. Это сильно перемаранный и трудно читаемый черновик. Нижняя часть страницы грубо оборвана, поэтому оказывается почти полностью утраченной третья строфа наброска. Читаются только первые два слова одного из вариантов девятой строки: «Щедротой царской...» – и не связанные с ними рифмованные концовки строфы:

...цариц  
 ...молитвы  
 ...девиц  
 ...битвы.

Отступы во второй строфе и общий черновой характер неотделанного текста позволяют нам читать его с переменной мест двусторонней второй строфы:

...Над монастырскими стенами.  
 Издавна почивают там  
 Угодника святые мощи,  
 Кругом простерлись по холмам  
 Вовек не рубленные рощи.  
 Щедротой царской...

Такое чтение формально равноправно общепринятому, но смысла в нем, кажется, больше – останки угодника, несомненно, покоятся за монастырской оградой, а не в «не рубленных рощах».

Из вариантов, хранимых автографом, отметим еще важное разночтение в шестой строке: «Густеют липовые рощи...».

<sup>13</sup> См., например: Сочинения и письма А.С. Пушкина / Под. ред. П.О. Морозова. СПб., 1903. Т. 1. С. 642.

Чтобы проникнуть в содержание отрывка, нам придется сначала его упростить, свести к набору весьма прозаичных историко-топографических данных. Вот они: у Пушкина речь идет о древнем монастыре, расположенном на холмистом берегу Москвы-реки и хранящем останки какого-то святого; вокруг монастыря – заповедные липовые рощи. Этих сведений оказывается достаточно для точного указания места, которому посвящен отрывок. Будем действовать методом исключения.

Прежде всего, это не Московский Кремль. В нем не один монастырь, берега реки в черте города не «тихие» и не покрыты заповедными лесами. Затем отпадают и все прибрежные подгородные монастыри – Новодевичий, Новоспаский, Симонов; они не хранят мощей одного, обозначаемого угодника и тоже не окружены «вовек не рубленными рощами».

Мощей угодника, как показывают справочники<sup>14</sup>, не было в нестоличных монастырях по течению Москвы-реки от ее истока до впадения в Оку. Единственное исключение – Савво-Сторожевский монастырь близ Звенигорода. Только он один удовлетворяет всем историко-топографическим условиям пушкинского пейзажа.

Ученик Сергия Радонежского монах Савва основал эту обитель в 1389 году над Москвой-рекой на горе Стороже. Умер Савва в 1407 году, захоронение было весьма чтимо верующими; в 1652 году мощи Саввы были объявлены нетленными. В пушкинское время монастырь действовал (закрыт в 1918 году)<sup>15</sup>.

Еще и сейчас гора Сторожа и окрестные холмы над рекой покрыты липовыми и дубовыми лесами, хотя, вероятно, поредевшими за последние полтора века. Карамзин, очарованный звенигородским поречьем, свидетельствовал в «Отечественных достопамятностях»: «Нигде не видел я такого богатства растений: цветы, травы и деревья исполнены какой-то особенной силы и

---

<sup>14</sup> См.: *Ратишин А.* Полное собрание исторических сведений о всех бывших и ныне существующих монастырях в России. М., 1852; *История Российской иерархии... собранная иеромонахом Амвросием.* Ч. 1-6. М., 1807-1815; *Иерархия Всероссийской церкви от начала христианства в России до настоящего времени.* М., 1892; *Денисов Л.И.* Православные монастыри Российской империи. М., 1908; *Описание российских монастырей.* Б. г., б. м.; *Материалы для статистики Российской империи,* т. 1-2. СПб., 1839-1841, и др. издания.

<sup>15</sup> *Фиалковский П.* Из прошлого монастыря. Очерки по истории Савво-Сторожевской обители. Звенигород, 1930.

свежести; липы и дубы прекрасны; дорога оттуда к Москве есть самая приятная, гориста, но какие виды!..».

Итак, Москва-река, холмы, поросшие липой, древний монастырь, мощи угодника в монастыре – между поэтическим отрывком и предметной реальностью нет «разночтений».

Все факты и суждения, приводимые далее, будут подтверждать отношение восьмистишия к Звенигороду; это больше не подчеркивается, так как наша цель не краеведческая.

Напомним только: Звенигород и его окрестности суть места хорошо Пушкину известные. Летние, а может быть и не только летние, месяцы с 1806 по 1811 год он проводит в имении своей бабки Марьи Алексеевны Ганнибал сельце Захарове (или Захарьине) в нескольких верстах от Звенигорода. Двенадцатилетний мальчик бывал в знаменитом монастыре, знал окрестные холмы – такое предположение не кажется нам отчаянно смелым. Но все-таки куда важнее понять, какое место в сознании и творчестве Пушкина занимают захаровско-звенигородские впечатления? Вопрос не новый.

Еще тонкий толкователь Иннокентий Анненский, объясняя, почему «отечеством» поэта было Царское Селю, попутно спрашивал себя: «Да, но отчего же Захарово и Москва гораздо реже вспоминались Пушкину?..»<sup>16</sup>.

А так ли уж реже! Даже если не тревожить образную громаду старой столицы у Пушкина, то и на долю «тихих берегов Москвы» придется немало. Царскосельское «Послание к Юдину» (1815) начинается весьма обязывающим заповедом («Ты хочешь, милый друг, узнать Мои мечты, желанья, цели»), продолжается отповедью модному столичному быту и кульминирует элегически:

Мне видится мое селенье,  
Мое Захарово; оно  
С заборами в реке волнистой,  
С мостом и рощею тенистой  
Зерцалом вод отражено (I, 168)

Дальше сельская идиллия сменяется образом «воинственной долины»: наступают наполеоновские полчища... И, конечно же, летом двенадцатого года, ловя вести о продвижении французов, Пушкин-лицеист еще прежде судьбы Москвы волновался судьбой Звенигорода и «своего» Захарова.

<sup>16</sup> Анненский Ин. Книги отражений. М., 1979. С. 311.

Здесь не место разбирать подробно «Воспоминания в Царском Селе», это самое «царскосельское» из стихотворений Пушкина, но и в нем (строфы 10, 17, 18) слышатся, кроме московских, и звенигородские мотивы.

Пласт ранних детских впечатлений, навеянных в Захарове няней Ариной Родионовной, мощно выступает в лицейском же стихотворении «Сон» (1816). Но отрывок «На тихих берегах Москвы...» восходит и к менее заметным фактам в творчестве Пушкина-подростка. Например, кроме общего соображения о том, что сказку о Бове-королевиче Пушкин слышал от своей бабки Ганнибал, стоит заметить и такую подробность: героиня пушкинского «Бовы» (1814) служанка Зоя, напуганная явлением призрака Бендокира, обращается в молитве своей к святому Савве (I, 69). Тут не только первое нам известное упоминание Саввы Звенигородского у Пушкина, но и место, где юный автор нечаянно «проговаривается». Ведь все действие «Бовы» происходит в некотором условно-славянском городе Светомире, и только возглас Зои: «Савва!» – на мгновение высвечивает, быть может, русский прообраз.

С звенигородскими местами связана и лицейская поэма «Монах» (1813), чей сюжет разворачивается в монастыре на лесистом берегу Москвы-реки<sup>17</sup>, о чем шла речь в предыдущем разделе.

Итак, поэтические воспоминания о местах, где прошло детство, вовсе не редкость у Пушкина; они проглядывают всюду – от одических опытов до элегии, от лирического стихотворения до фривольной поэмы. Поэтому появление разбираемого восьмистишия в начале двадцатых годов не кажется уже таким неожиданным. В звенигородском поречье, в Захарове, у Пушкина сложился стойкий – на всю жизнь! – образ родной страны, сельской России. Здесь начало, здесь исходная точка, с которой ему предстояло постичь многоликое, противоречивое существо русской истории, русской действительности. Вряд ли кто-то из современников поэта так остро, как он, чувствовал глубокое единство и глубокое несходство допетровской и послепетровской эпох, Москвы и Петербурга, коренной России и незамерзших окраин.

Потом к звенигородским пенатам прибавятся Михайловские и болдинские, но детские впечатления будут сопровождать Пушкина

---

<sup>17</sup> А.А. Ахматова показала, что в последней пушкинской сказке – «Сказке о золотом петушке» – присутствуют автобиографические мотивы. Как видим, в более простой форме это прослеживается уже и в сказочных сюжетах лицейских времен.

всегда. Недаром же названия деревень Захарова и соседнего с ним Хлупина то и дело мелькают в пушкинских сочинениях. Их называет хозяйка корчмы, показывая самозванцу путь в Литву; «захарьевские и хлупинские» – соседи барышни-крестьянки Лизы Муромской, а незабвенное село Горюхино граничит с захарьинскими полями, благоденствующими «под властию мудрых и просвещенных помещиков» (VIII, 134).

Но вернемся к тексту отрывка «На тихих берегах Москвы...». Попробуем если не понять замысел Пушкина, оставленный на третьей строфе, то хотя бы определить его возможный контур.

Характер отрывка настраивает читателя на неторопливое стихотворное повествование о предметах давних, исторических. Древний монастырь и романтические рощи вокруг него как бы очерчивают сцену для действия, которому надлежит развернуться в далеком прошлом. Но даже это суждение, на первый взгляд очевидное, нуждается в уточнении. А что если звенигородским пейзажем Пушкин открывает не само действие, но лишь пролог к нему? Вероятность немалая. Достаточно поставить рядом две строки:

*На тихих берегах Москвы...*

*На берегу пустынных волн, –*

чтобы разница между историческим временем в прологе и современностью основного повествования стала очевидной. Как ни явственно связаны между собой живой Петр на пустынном невском берегу и «кумир на бронзовом коне», все-таки столетие с лишним отделяет пейзаж вступления к «Медному всаднику» от времени петербургского наводнения. Если бы петербургская поэма оборвалась на восьмой или десятой строке (вообразим невозможное), то неужели мы бы доверчиво полагали, что весь пушкинский замысел сводится к основанию города, в начале XVIII столетия?

И все-таки смысловая и интонационная близость первой строки «темного» отрывка и начала великой поэмы завораживает, подвигает на поиски в кругу известных Пушкину исторических событий. Вряд ли зачин, подобный разбираемому, вводил в чисто лирическую сферу или в область одной только частной жизни. Некий реальный аналог петербургской драмы 1824 года должен был, по нашему мнению, стоять перед мысленным взором автора.

Счастливой для исследователя была бы некая точка на карте, куда большая история ступала всего один раз. Скажем, Углич немедленно напоминает трагедию царевича Димитрия, Березов –

ссылку Меншикова, а Таганрог – смерть Александра I. Звенигород и его монастырь не дают такого точного и единственного отзвука. В допушкинские и пушкинские времена крупные исторические события происходили в этих местах многократно, что Пушкину, несомненно, было известно.

Мы уже говорили о волнениях Пушкина-лицеиста при продвижении «воинственного галла» по западному Подмоскovie – в самом Савво-Сторожевском монастыре дислоцировался корпус Евгения Богарнэ<sup>18</sup>. Нам еще предстоит обсудить явный интерес Пушкина к основателю монастыря игумену Савве. Но все-таки прямое, буквальное содержание отрывка тяготеет к XVII столетию, даже точнее ко второй его половине<sup>19</sup>.

Такое предположение основано на соотнесении смысла отрывка с историей монастыря.

Прежде всего, «угодника святые мощи» были «открыты» в Савво-Сторожевском монастыре 22 января 1652 года<sup>20</sup>. До этого дня, весьма памятного для обители, останки основателя монастыря просто не могли называться «святыми мощами». Затем весьма многозначительно также и обрывающееся начало строки девятой «Щедротой царской...». Крупнейшей «щедротой царской» был вклад огромной суммы в 50 тысяч рублей золотом, сделанный в середине XVII века государем Алексеем Михайловичем<sup>21</sup>. Именно в это время архитектурный ансамбль монастыря сложился в том виде, в каком его знал Пушкин.

По мнению В. Косточкина, известного историка древнего русского зодчества, строительство монастырского ансамбля было начато в 1652 году (год открытия мощей) и завершено в 1654 году. В это время за стенами обители, ставшей загородной резиденцией двора, были воздвигнуты дворец царя и царицыны палаты. Тем самым мужской монастырь обрел черты традиционного богатого жилища с его разделением на мужскую и женскую половины.

Итак, это крепость, способная выдержать осаду, а одновременно духовная обитель и жилье царское и царицыно.

<sup>18</sup> Тюрин Ю. Звенигород. М., 1977. № 3. С. 166-107.

<sup>19</sup> Правда, Лжедмитрий I устроил в Савво-Сторожевском монастыре свою загородную резиденцию... А у Пушкина был, как известно, замысел о самозванце. Но для такого сближения нет, кажется, пока никаких оснований.

<sup>20</sup> Филалковский П. Из прошлого монастыря. С. 13.

<sup>21</sup> Боровкова С. Звенигород и окрестности. М., 1970. С. 118.

Рифмы утраченной третьей строфы «цариц – девиц» и «молитвы – битвы» если и не окончательно убеждают, что речь идет о времени после 50-х годов XVII века, то во всяком случае этому наблюдению не противоречат.

Еще один смысловой оттенок: «сияют ветхие главы»; это «ветхие» сразу выводит монастырский пейзаж из времени создания архитектурного ансамбля в пушкинские времена. От дней государя Алексея Михайловича до начала XIX в. церковные главы успели постареть, обветшать.

Пушкинский замысел, конечно, не проясняется. Но содержание отрывка обретает кое-какое хронологическое обрамление. Поэт приводит нас на тихие берега Москвы. Но взгляд его обращен к прошлому, хотя и не проникает глубже, чем в середину позапрошлого, т.е. XVII столетия.

Вся необъятная громада русской истории по-прежнему стоит перед мысленным взором исследователя, однако ясно, что 100-150 лет, предшествующих рождению Пушкина, требуют теперь особенно пристального внимания...

В начале нашего доклада говорилось об условной дате отрывка – 1822 год, теперь попытаемся двинуться вперед вне этой условности. И сразу же становится ясно, что Пушкина до конца дней не оставляли звенигородско-захаровские воспоминания.

В 1830 году, незадолго до своей свадьбы, Пушкин посещает Захарово, давно к тому времени проданное, чем немало удивляет свою мать. «Вообрази, – пишет она дочери Ольге Сергеевне, – он совершил этим летом сентиментальное путешествие в Захарово, отправлялся туда единственно для того, чтобы увидеть места, где провел несколько годов своего детства». Но единственно ли для того? И могли ли мать и сестра, две прилежные читательницы Стерна, вообразить, с какой острой болью в сердце Пушкин перед свадьбой бродил по звенигородским холмам, узнавал и не узнавал «вовек не рубленные рощи», говорил с дочерью покойной няни Арины Родионовны? «Все теперь здесь идет не по-прежнему», – сказал ей Пушкин. По-прежнему стоял только монастырь на горе Стороже и по-прежнему тревожил воображение поэта.

Чем старше становился Пушкин, тем больше занимало его прошлое России – история Пугачева, история Петра, история села Горюхина...

Заметим, однако, что времена после Петра и до начала XIX века не отмечены сколь-нибудь крупными событиями, связанными с Савво-Сторожевским монастырем, и тем более

известными Пушкину. А звенигородскую историю в лета правления царевны Софьи Алексеевны и молодого Петра Пушкин, несомненно, знал во всех подробностях.

В подготовительных текстах «Истории Петра» Пушкин прямо приводит известный эпизод хованщины. После доноса Милославского, утверждавшего, что Хованские намерены истребить царствующий дом, Софья с государями Иваном и Петром весной 1685 года затворяется в Савво-Сторожевском монастыре и рассылает оттуда грамоты к верным городам, войскам и палатным людям (X, 15). Здесь без труда просматривается и хронологическая и тематическая близость к пушкинским планам повести о стрельце (VIII, 430-431).

Другому замыслу Пушкина – «Сын казненного стрельца...» (VIII, 431) – близко соответствует такая подробность событий 1698 года: разбитые стрельцы-мятежники заключены в Савво-Сторожевский монастырь и отсюда везены в Москву на казнь<sup>22</sup>. Один из этих казненных стрельцов в «Арапе Петра Великого» намечен как спаситель старика Ржевского и отец Валериана (VIII, 26).

Таким образом, звенигородская тема, начатая лицейскими стихами и подхваченная отрывком «На тихих берегах Москвы...», продолжается в тридцатые годы прозой, то есть подтверждает хорошо известную особенность творчества Пушкина, почти полностью посвятившего себя в конце жизни прозе и публицистике.

Пушкинская верность «тихим берегам Москвы» подтверждается и еще одним источником, живущим особняком и, кажется, совершенно не исследованным. Речь идет о сделанной Пушкиным выписке из четьи-минеи «Преподобный Савва Игумен», впервые опубликованной еще в начале нашего века<sup>23</sup>, но не вошедшей в академический многотомник полного собрания сочинений. Такой пробел непонятен тем более, что этот текст, строго говоря, не просто длинная выписка из пролога жития святого, а, прежде всего, пушкинский перевод с церковнославянского языка на русский, следовательно, работа творческая.

При внимательном сличении текста четьи-минеи с пушкинским видны даже следы редактирования. Например, автор

<sup>22</sup> Боровкова С. Звенигород и окрестности. С. 118.

<sup>23</sup> Сочинения и письма А. С. Пушкина / Под ред. П.О. Морозова, СПб., 1904. Т. 6. С. 438-439; Пушкин / Под ред. С.А. Венгерова, СПб., Брокгауз-Ефрон, 1911. Т. 6. С. 326-332.

четыре-минеи, рассказывая о первом приходе отца Саввы на звенигородский берет Москвы-реки, замечает, что место это «от царствующаго града Москвы поприщъ четыредесять». Пушкин в своем переводе опускает слово «царствующаго» – историческая точность удивительная! Москву восьмидесятых годов XIV века. еще нельзя назвать «царствующим градом»; лишь полтора столетия спустя Иван Грозный прибавит слово «царь» к титулу великого князя московского.

Перевод из жития Саввы Звенигородского датируется по водяному знаку бумаги не ранее чем 1830 года. Текст этого перевода становится, таким образом, в ряд свидетельств о замыслах Пушкина, связанных с звенигородским Москворечьем.

Что должно следовать за строками «На тихих берегах Москвы...»? Эпическое повествование о приходе мирного старца к зеленому холмам или буйная картина поспешного пиршества самозванца и Марины? Бегство царевны Софьи, напуганной Хованскими, или страшная тишина монастырских подвалов со стрельцами, обреченными на казнь? Или, наконец, французские проклятья солдат Богарнэ, раненных на Бородинском поле? Не знаем. Пока нет доводов, чтоб выбрать из этих и других вероятностей.

Независимо от того, пушкинское восьмистишие свидетельствует, как прочно вошли в сознание поэта детские, лицейские впечатления, до сих пор, видимо, не оцененные по достоинству. И еще: отрывок «На тихих берегах Москвы...» вновь убеждает, что в пушкинских стихах неразделимо сосуществуют высокая поэзия и конкретное, протокольно точное воссоздание мест, времен, событий...

### **О СТИХОТВОРЕНИИ «БРОВИ ЦАРЬ НАХМУРЯ...»**

Стихи «Брови царь нахмурия...» написаны Пушкиным осенью 1825 года в Михайловском и сохранились в составе письма к А.А. Дельвигу, отправленного тогда же. Это куплеты, содержание которых сводится к тому, как именно царь Александр I изволит шутить по случаю 1 апреля. Напомним текст куплетов:

\* \* \* \*

Брови царь нахмуря,  
Говорил: Вчера  
Повалила буря  
Памятник Петра.  
Тот перепугался.  
«Я не знал!.. Ужель? –  
Царь расхохотался,  
– Первый, брат, апрель!

Говорил он с горем  
Фрейлинам дворца:  
Вешают за морем  
За два <...> ...  
То есть разумею,  
Вдруг примолвил он,  
Вешают за шею,  
Но жесток закон...

(XIII, 240-241)

Шуточное пояснение к этим стихам, обращённое к Дельвигу, написано самим Пушкиным в том же письме: «Вот тебе, душа моя, приращение к куплетам Эристова. Поцалуй его от меня в лоб. Я помню его отроком, вырвавшимся из-под полоцких езуитов. Благослови его во имя Феба...» (XIII, 241).

Наиболее полный научный комментарий к стихам и прозаической части письма принадлежит Б.Л. Модзалевскому и помещён в примечаниях к его изданию пушкинских писем<sup>24</sup>. Там читатель найдёт историю автографа и его публикаций, суждения о не разысканных «куплетах Эристова», о самом князе Д.А. Эристове, о Дельвиге, о полоцких иезуитах и т.д. Позволим себе не цитировать и не пересказывать точных и подробных комментариев текстолога, т.к. речь у нас пойдёт только об одном мотиве, не обсуждаемом в примечаниях Модзалевского.

В наши дни источниками стихотворения занималась – среди других исследователей – Н.И. Михайлова<sup>25</sup>. В частности, Н.И. Михайлова верно установила родственность первого пушкинского восьмистишия с анекдотом, сохранившимся в бумагах Н.В. Кукольника. Вот этот анекдот:

«Г. комендант! – сказал Александр I в сердцах Башуцкому, – какой это у вас порядок! Можно ли себе представить? Где монумент Петру Великому?

– На Сенатской площади.

– Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте разыщите!

<sup>24</sup> Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б.Л. Модзалевского. Т.1 (1815-1825). М.: Л., 1926. С. 517-518.

<sup>25</sup> Михайлова Н.И. «Брови царь нахмуря» // Лирика А.С. Пушкина: комментарий к одному стихотворению. М., 2006. С.142-144.

Башуцкий, бледный, уехал. Возвращается весёлый, довольный; чуть у двери кричит:

– Успокойтесь, Ваше Величество. Монумент целёхонек, на месте стоит. А чтоб чего в самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового.

Все захохотали.

– 1-ое апреля, любезнейший!, 1-ое апреля, – сказал государь и отправился к разводу.

На следующий год ночью Башуцкий будит государя:

– Пожар!

Александр встаёт, одевается, выходит, спрашивает:

– А где пожар?

– 1-ое апреля, Ваше Величество, 1-ое апреля.

Государь посмотрел на Башуцкого с соболезнованием и сказал:

– Дурак, любезнейший, и это уже не 1-ое апреля, а сущая правда»<sup>26</sup>.

Первоапрельская шутка Александра I вокруг Фальконетова памятника Петру Великому равно определяет собою и смысл анекдота, и смысл пушкинского стихотворения. Но разница между двумя забавными эпизодами, кажется, существенна. История с мнимой кражей монумента ничуть не противоречила бы действительности. Памятник на Сенатской площади в Петербурге стоял ещё с екатерининских времен, и происшествие, якобы вымышленное государем, можно было бы приурочить к любому году его правления – в России, как известно, крали и крадут всегда. А вот буря, повалившая у Пушкина памятник Петра I, событие явно невозможное, анахронизм. Оно, конечно, навеяно великим петербургским наводнением ноября 1824 года, с чем согласны все комментаторы<sup>27</sup>. Через год, осенью 1825-го, Александр I скончается, а Пушкин примерно тогда же напишет свои куплеты. Следовательно, для царской шутки «Вчера // Повалила буря...» – остаётся только одна хронологическая точка: 1 апреля 1825 года. Но накануне, 31 марта, в столице никаких погодных аномалий, а тем более аномалий, известных михайловскому затворнику – отмечено не было.

<sup>26</sup> Русский литературный анекдот XVIII – начала XIX века // Сост. и прим. Е. Курганова и Н. Охотина. М., 1990. С. 107.

<sup>27</sup> См., например, Михайлова Н.И. «Брови царь нахмура». С.144.

Значит, мы здесь, уже на поверхности смысла, вступаем в область чистого воображения Пушкина.

Действие восьмистишия происходит в условном пространстве/времени. Нет *ни одной* детали, хоть как-то характеризующей столицу во «дни Александровы». Если во втором восьмистишии и в анекдоте из бумаг Кукольника можно подозревать как место действия императорский дворец («фрейлины дворца», комендант, сон и одевание царя), то здесь шуточный спектакль идёт совсем без декораций, без придворных, без указания на время суток.

Собеседником царя и мишенью розыгрыша выступает некто, названный местоимением *Тот*. Не исключаем, что прописная буква в начале слова определяется не только положением этого слова в начале стихотворной строки, но и сокрытием под ним имени собственного. *Тот* в качестве эвфемизма выступает во многих произведениях Пушкина. В стихотворном послании к В.Л. Давыдову под псевдонимами *тех и той* подразумеваются революционеры-карбонарии и политическая свобода (II, 179). Гришку Отрепьева под именем *того* обсуждают на площади перед собором в сцене «Бориса Годунова» (VII, 76). В летнем (1834) письме к жене Пушкин называет *тем* императора Николая I, с которым едва не побранился (XV, 178). Всё это подробно разобрано в другой работе<sup>28</sup>.

Для нашей темы важно только то, что эвфемизмом *Тот* Пушкин всюду заменяет имена и предметы, неудобосказуемые в предлагаемом контексте. Одно и то же местоимение заменяет всё, что угодно – самозванца времён Годунова, Петра I из «Медного всадника» («Того, чьей волей роковой») и ныне царствующего государя Николая I.

Заметим попутно: если в пушкинских строках «Брови царь нахмура» не искать скрытого значения слова *Тот*, тогда стихи утрачивают существенную часть смысла. Собеседник царя не обозначен, и это, на первый взгляд, просто авторская небрежность, неуважение к читателю. Нечто, аналогичное «фрейлинам дворца» из второго восьмистишия, должно было быть. Или подразумеваться. Видимо, *Тот*, кто *перепугался*, каким-то образом находился в ряду персон, опасных для упоминания. Уже хотя бы по этой причине

<sup>28</sup> См.: Листов В.С. Местоимения – эвфемизмы «ТОТ» и «ЭТОТ» в стихотворениях А.С. Пушкина // Грехнёвские чтения. Вып. 5. Нижний Новгород, 2008. С. 7-13.

собеседником императора не является комендант Башуцкий. Во-первых, его имя не под запретом; а во-вторых, ему нечего пугаться – государь не может связывать падение памятника в бурю с деятельностью коменданта. Мотив розыгрыша отсутствует.

*Рискнём высказать предположение: под эвфемизмом Тот в данном случае скрывается чёрт, нечистая сила.*

На наш взгляд, Пушкин тут отдаёт дань стойкой народной традиции, уходящей в глубину веков. Богобоязненный православный избегал чертыхаться, называть нечистую силу собственным её именем. Это считалось выходкой грешной и опасной – приваживать беса. Намёком на присутствие адской силы служили многочисленные замещения его настоящего прозвища – не наш, нечистый, враг, лукавый, луканька, шут, шиш, отяпа, хохлик, чёрный и т.д.

В этом же ряду значений употреблялся и Тот.

В народных речениях восточнославянских народов – у русских, украинцев, белорусов – издревле встречается табуистическое словоупотребление *тот* вместо «чёрт». Оно отмечено многими исследователями. Например, его приводит Д. Зеленин в своей известной работе «Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии»<sup>29</sup>. Богобоязненный крестьянин – от греха подальше – понижал голос и предостерегал себя и окружающих от происков и озорства *Того*. В сходном же значении (чёрт, нечистая сила) приводится местоимение *Тот* в этимологическом словаре М. Фасмера<sup>30</sup>.

В Псковской губернии, где поэт сочинял своё стихотворение, традиционный крестьянский мир, конечно, пользуется табуированным смыслом местоимения. Он понятен по всей России.

Тогда положение, намеченное Пушкиным в первом восьмистишии, можно обозначить примерно следующим образом: 1 апреля какого-то условно взятого года (во дворце?) император Александр I беседует с чёртом и изволит шутить с ним насчёт памятника Петра I, якобы поваленного вчерашней бурей. Тонкости предьявленного диалога убеждают, что собеседник государя не обретается только в простом, общепонятном статусе придворного, лица, приближенного к императору.

<sup>29</sup> Зеленин Д. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т.9. Л., 1930. С. 91.

<sup>30</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Изд. 3. Т. IV. СПб., 1996. С. 89. Указано Н.И. Клейманом.

Услышав о падении медного Петра, *«Тот перепугался»*. Почему? Если б собеседник царя был общепонятной персоной – камергером, комендантом, камер-пажом, гвардейцем и т.д. – ему нечего было бы пугаться. Сообщение императора никак его лично не затрагивало бы. Ведь не мог же обыкновенный человек отвечать за последствия стихийного бедствия. Реакция должна была быть иная: удивление, сочувствие, готовность помочь беде. Ничего этого нет.

С чёрта, понятно, спрос другой. В реплике *Того* слышен мотив оправдания. Его возглас можно объяснить примерно так: я не только не виноват в падении памятника, но я даже не знал об этом событии. Здесь же мотив для бесовского испуга. Мы не знаем, какое место *Тот* занимает в адской иерархии, но, надо думать, о разрушении монумента Петра Великого он должен был знать – если не заранее, то уж во всяком случае раньше, чем слуги, доносящие императору. Мнимая неосведомлённость приводит чёрта к тревожному вопросу: почему мне не сообщили? Прочно ли моё положение при дворе Князя Тьмы?

На понимании этого обстоятельства и основана шутка государя Александра Павловича, придуманная Пушкиным. Поэт как бы заставляет царя признать, что преисподняя устроена примерно так же, как императорский двор в Петербурге. Здесь-то уж точно сокрытие важных сведений от чиновника, «коему ведать надлежит», служит признаком недоверия, шаткости его служебного положения. Бес и попадает на эту августейшую уловку, основанную на большом бюрократическом опыте монарха.

Насколько нам известно, А.А. Ахматова специально не занималась разбираемым стихотворением Пушкина. Между тем, её догадка о петербургском высшем свете в точности соответствует смыслу куплетов. В своих комментариях Ахматова доказывала, что, по Пушкину, этот высший свет «оказывается филиалом ада»<sup>31</sup>. Поэт остро ощущает это особенно в последние годы правления Александра I.

Услышав реплику собеседника (*Я не знал!*), император ехидно спрашивает: *Ужель?* И вкладывает в свой вопрос полное удовлетворение результатом розыгрыша: *Тот* поверил, попался. Теперь можно объяснить ему, что это была шутка. На самом деле

---

<sup>31</sup> Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Изд. 2-ое. Горький, 1964. С. 232.

нечистому при императорском дворе, равно как и при дворе сатаны, ничего не угрожает; он может злодействовать совершенно спокойно.

Финальный возглас царя – *Первый, брат, апрель!* – тоже заключает в себе важный смысловой оттенок. Пушкин заставляет государя утверждать свою приязнь лукавому (см. «Владыка слабый и лукавый»). В словаре В.И. Даля среди народных пословиц приведена и такая: «*Не зови чорта братом*»<sup>32</sup>. Обращаясь к нечистому по-родственному, император, в версии Пушкина, прямо противостоит представлениям и чувствам своего народа. Неприязнь поэта к Александру I, хорошо известная адресату письма, А.А. Дельвигу, выражена здесь почти неприкрыто.

Примерно за год до куплета «Брови царь нахмура» Пушкин начал, да так и не кончил стихотворение «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», в котором государь Александр Павлович уже был сведён в едином пространстве с посланцем ада, с призраком покойного императора Наполеона I. Задуманный диалог двух владык, судя по известной нам части стихотворения, должен был протекать в возвышенных нравственно-философских тонах, в областях политических, моральных, религиозных. Мы не знаем, почему Пушкин не сочинил этого диалога. Но – можно предположить – за год ссылки в Михайловском отношение Пушкина к царствующему императору настолько ухудшилось, что отпала охота вкладывать в уста монарха какие бы то ни было метафизические речи, суждения. Царь в сознании поэта становился просто фальшивым щёголем, арлекином. Ему подстать был выбран и собеседник, мелкий бес.

Стихи «Брови царь нахмура» как раз и служили сатирическому снижению александровской мистики, противостояли царским претензиям на серьёзную философию и политику.

---

<sup>32</sup> *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1980. С.597

## К ИСТОЛКОВАНИЮ ПУШКИНСКОГО АВТОГРАФА С ДЕСЯТЬЮ ТЕМАМИ

В 1855 году П.В. Анненков опубликовал автограф Пушкина, с тех пор часто привлекавший внимание исследователей. Речь идет о карандашном наброске следующего списка:

Скупой  
Ромул и Рем  
Моцарт и Сальери  
Д. Жуан  
Иисус  
Беральд Савойский  
Павел I  
Влюбленный бес  
Дмитрий и Марина  
Курбский<sup>33</sup>.

Комментируя этот список, составленный Пушкиным, П.В. Анненков заметил: «...мы нашли перечень всех драм, написанных им, из которых только половина нам известна; другая или была истреблена автором, или изложена вчерне и затеряна потом. Пушкин никогда не делал перечета произведениям, еще не существующим»<sup>34</sup>. Впоследствии пушкинисты продолжали вслед за Анненковым утверждать, что у нас в руках список драматических произведений, быть может, даже полное перечисление маленьких трагедий. Такая версия возможна. Однако Анненков неточен, когда пишет, что половина драм, перечисленных в списке, нам известна. Твердо известно только одно драматическое произведение Пушкина, озаглавленное так же, как в списке: «Моцарт и Сальери». Даже если принять, что «Скупой» станет «Скупым рыцарем», а «Д. Жуан» – «Каменным гостем», то и тогда автограф объясняется как «перечень драм» не на половину, а менее, чем на треть (3 из 10).

Тем самым соображения Анненкова, есть лишь гипотеза, оставляющая место и для иных предположений.

<sup>33</sup> Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 276. В первой публикации строки «Иисус» и «Павел I» отсутствовали по цензурным соображениям.

<sup>34</sup> Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии. Изд. П.В. Анненкова. В 7 т. СПб., 1855. Т. 1. С. 284.

Истолкование списка вообще затруднено пестротой самих сюжетов; они совершенно не поддаются классификации. Русские темы следуют здесь за европейскими, исторические сюжеты перемежаются вымышленными, а подцензурные соседствуют с совершенно запретными, вроде «Иисуса» и «Павла I».

Датировка автографа также неясна. Поскольку здесь у нас нет возможности подробно обосновать дату, постольку мы просто согласимся с М.А. Цявловским, который относит его ко времени не ранее лета 1826 года<sup>35</sup>, и с Ю.М. Лотманом, который при некоторых оговорках считает датой автографа лето 1826 года<sup>36</sup>.

Скажем сразу: нам не удастся дать строгое истолкование наброска. Цель наша скромнее: предложить гипотезу, дающую возможность объяснить по известным фактам биографии поэта появление автографа с 10 темами и при последующем его рассмотрении ответить на вопрос о жанре упоминаемых произведений.

По нашему мнению, важнейшими аргументами будут тут пушкинские записи, сделанные на том же листе. Интересующий нас автограф находится на обороте, а на лицевой стороне листа помещено известное стихотворение «Под небом голубым страны своей родной», над которым Пушкин выставил дату: «29 июля 1826». Под стихами – запись, которую принято истолковывать как памятные заметки о последовавшей в Италии смерти Амалии Ризнич и казни пяти декабристов. Традиционное объяснение записи состоит в том, что Пушкин узнает об этих печальных событиях соответственно 25 и 24 июля 1826 года<sup>37</sup>.

Итак, листок с автографом приводит нас к итальянским мотивам творчества Пушкина и к кругу последекабрьских размышлений поэта. Не будем упускать из виду, что идет лето 1826 года: Пушкин уже много месяцев живет в Михайловском. Быт его, поднадзорного ссыльного, вполне устоялся, сложились привычки, образ жизни. Утренние и дневные часы посвящены работе; свои вечера поэт проводит в соседнем имении Тригорском, где его с нетерпением ждет общество Осиповых-Вульфов.

Приехав в «далекий северный уезд» из Одессы, где «Язык Италии златой // Звучит по улице веселой» (VI, 201), Пушкин, по-

<sup>35</sup> См.: Рукою Пушкина... С. 276.

<sup>36</sup> Лотман Ю.М. Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе. Временник Пушкинской комиссии, 1979. Л., 1982. С. 15.

<sup>37</sup> См.: Рукою Пушкина... С. 307. Комментарий М.А. Цявловского.

видимому, окружил «итальянским ореолом» свое общение с обитателями Тригорского, создал некую «итальянскую игру», быстро захватившую барышень. Они изучают итальянский, садятся к фортепьяно с нотами Россини, которые для них выписал Пушкин (XIII, 114, 532); сам поэт пишет в письме о романсе «Венецианская ночь» в «небесном» исполнении Анны Керн на мотив баркаролы (XIII, 189). «Язык Петрарки и любви» громко звучит на тригорском холме.

Те же темы прослеживаются и в рукописях. Летом 1826 года Пушкин переводит отрывок из Ариостова «Orlando Furioso». Да и в изучаемый автограф итальянская тема проникает строкою: «Ромул и Рем». Добавим еще, что в списке упомянуто название «Беральд Савойский»; обширную выписку из этого рыцарского романа. Пушкин сделал теми же бледными деревенскими чернилами, которыми написаны и стихотворение «Под небом голубым страны своей родной» и строфы «Orlando Furioso»<sup>38</sup>.

Таким образом, вокруг листка с десятью темами сгущаются итальянские мотивы.

Другой важный для нас признак деревенского быта Пушкина есть ссыльное невольничество, тревожное состояние души после декабрьского восстания. Не будучи прямо замешан в заговоре, поэт довольно спокоен и до весны 1826 года живет надеждой на лучшее. Но из письма Жуковского, полученного в середине апреля, Пушкин узнает, что его стихи постоянно обнаруживаются следствием в бумагах декабристов. «Это должно заставить тебя трепетать» (XIII, 271), – пишет Жуковский. Именно летом 1826 года, по весьма правдоподобной догадке Я.Л. Левкович, Пушкин должен был уничтожить свои автографические записки, введомые с 1821 года. Указывая крайнюю дату сожжения записок – середина августа – исследовательница как бы «вычитывает» июльские числа, выставленные Пушкиным на лицевой стороне листка с десятью темами. Одно из этих чисел, как мы помним, связано с казнью декабристов, два других – со смертью Ризнич<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> См.: Рукою Пушкина... С. 500. Комментарий Т. Г. Зенгер.

<sup>39</sup> Левкович Я.Л. Когда Пушкин уничтожил свои записки? // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 102-106. Попутно заметим, что если «Иисус» и «Павел I» – действительно драмы, то Пушкин, выходит, одновременно уничтожает одни неподцензурные произведения и замышляет – или даже пишет – другие.

Теперь пора раскрыть смысл нашего предположения. набросок с десятью темами появился, по нашему мнению, в результате сплетения двух устойчивых мотивов, определявших творческое поведение поэта в этот период. Трагические мысли о следствии, суде и казни декабристов отпускали поэта лишь на время веселого общения в Тригорском, с возникшей здесь «китальянской игрой», в которую Пушкин вовлек обитательниц соседнего имения.

Если наша гипотеза верна, то *набросок с десятью темами тяготеет к мотивам «Декамерона»*, самим своим появлением реализует исходную ситуацию книги Боккаччо.

Нетрудно представить себе долгие вечера в Тригорском, когда в тесном кругу друзей женщины и мужчины развлекаются, рассказывая друг другу занимательные истории. У Боккаччо, как известно, десять затворников, укрывавшихся от чумы, свирепствовавшей во Флоренции, посвящают рассказам десять вечеров: на каждого из повествователей всего приходится десять новелл. Если такая же игра возникла в Тригорском, то десять тем, записанных Пушкиным, вполне могут быть его памяткой: о чем рассказывал или о чем собирается рассказать.

Конечно, святогорские окрестности – не окрестности Флоренции, и тревоги Пушкина навеяны не бубонной чумой. Но в сознании поэта «болезнь» далеко не всегда имеет буквальный смысл. Например, в письме, написанном из Кишинева пятью годами раньше, Пушкин сообщает о своем положении Сергею Тургеневу: «...я сам в карантине, и смотритель Инзов не выпускает меня, как зараженного какою-то либеральною чумою» (XIII, 31). Легкая неволя на юге становится как бы прообразом тяжелой и длительной ссылки в северный уезд, а «либеральная чума» и есть как раз та «скверна», которую правительство может подозревать в опальном поэте.

Заметим далее, что одно из главных условий, которое ставят себе персонажи «Декамерона», состоит в том, чтобы «каждый воздержался от каких-либо известий извне», то есть не говорить о чуме (на этом настаивает уже первая королева собрания Пампинейя)<sup>40</sup>. Среди названий, записанных Пушкиным, нет ни одного, которое намекало бы на актуальный сюжет, как-то связанный с текущими событиями, и уж тем более напоминало бы о

---

<sup>40</sup> Боккаччо Дж. Декамерон / Перевод с итальянского А.Н. Веселовского. М., 1955. С. 44.

расправе над декабристами. Эта подробность тоже укрепляет связь десятистрочной записи с «Декамероном»<sup>41</sup>.

Ситуацией «Декамерона» как бы проникнут весь образ жизни обитателей Михайловского и Тригорского. С этой точки зрения весьма показательна, например, история создания «Графа Нулина» – произведения, которое сам Пушкин дважды прямо соотносит с «шутливыми сказками» и «вольными повестями» Боккаччо (XI, 98, 156). Сам характер истории о пощечине, полученной легкомысленным петиметром, заставляет согласиться с историком итальянской литературы, когда он утверждает: «Вдохновенно, свободно и весело создавая “Графа Нулина”, Пушкин вспоминал не только о “Лукреции” Шекспира, но также и о “Декамероне” Джованни Боккаччо»<sup>42</sup>. Для нас, однако, важно не простое сходство сюжетов и положений, но отношение автора к своему творению. Когда поэт обнаруживает, что завершил шутливую поэму 14 декабря 1825 года, то, записывая знаменитую реплику «бывают странные сближения», он несомненно находится в русле основной «странности» Боккаччо: шутка, веселый анекдот в разгар национального бедствия. «Либеральная чума» подразумевается, но находится за пределами фривольного повествования.

Люди пушкинского круга прекрасно понимали условия такого рода игры. Говоря в своих записных книжках о «Декамероне», П.А. Вяземский не забывает отметить «противоположность бедственной эпохи, в которую Боккаччо переносит свой рассказ, с игривым вымыслом самих сказок. “Граф Нулин” – сказка Боккаччо XIX века»<sup>43</sup>.

Отражение «декамероновского» пласта восприятия жизни пушкинского сознания находим и в записях на лицевой стороне автографа с десятью темами. Дело не только в том, что Амалия Ризнич умирает во Флоренции, – именно там, где происходит действие великой книги. Гораздо важнее самый смысл стихотворения «Под небом голубым страны своей родной». Поэт

<sup>41</sup> В изучаемом автографе есть сюжеты-провозвестники трех «маленьких трагедий», но нет четвертой – «Пира во время чумы». Однако этот аргумент вряд ли приемлем: Пушкин в 1826 году еще не знаком с трагедией Вильсона «Чумной город».

<sup>42</sup> Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982. С. 345.

<sup>43</sup> Вяземский П.А. Записные книжки (1813-1848). М., 1963. С. 72. Указано Н.И. Михайловой.

узнает о смерти некогда любимой женщины, но не «находит слез» для ее бедной тени:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,  
И равнодушно ей внимал я (III, 20).

Судя по записи под стихотворением, эта весть приходит на следующий день после сообщения о казни декабристов. Национальная трагедия должна перевесить тяжесть единичной смерти, хотя бы и смерти близкого человека: жизненная ситуация оказывается аналогичной одному из главных мотивов введения к первому дню «Декамерона». В зачумленной Флоренции покойникам «не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными»<sup>44</sup>.

Боккачианский отголосок ясно чувствуется и в стихотворном послании Пушкина к Алексею Вульфу, направленном из Михайловского в Дерпт. Поэт рисует в нем некий идеал затворнического существования трех молодых мужчин – Вульфа, Языкова и самого Пушкина – среди прекрасных дам, в которых они «мертвецки влюблены». Все трое мужчин «Декамерона» – Памфило, Филострато и Дионео – отличаются тем же. Как говорит, краснея, Неифила, «хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас»<sup>45</sup>. В окружении чумы препятствия для совместной жизни легко преодолеваются. В том же послании к Вульфу есть и еще одна черта, навеянная великим флорентийцем. Каждый новый день «Декамерона» общество проводит в новом замке, в новом имении. В стихотворении Пушкина этому условию соответствует третья строфа:

Запируем уж, молчи!  
Чудо – жизнь анахорета!  
В Троегорском до ночи,  
А в Михайловском до света... (XIII, 109)

Конечно, по этому признаку – признаку очаговой замкнутости – вся русская усадебная культура XVIII-XIX веков родственна

<sup>44</sup> Боккаччо Дж. Декамерон. С. 37.

<sup>45</sup> Там же. С. 42.

«Декамерону». Но для Пушкина в Михайловском и Болдине особенно важны боккачианские мотивы бытия, сопровождающие его «в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров» (XIV, 114; пер. с фр. 416).

В Одессе начата и в Михайловском завершена третья песнь «Онегина». В ней тоже слышны декамероновские отголоски. Мы здесь лишены возможности подробно соотнести стихи этой главы с творением великого гуманиста. Тем не менее одним наблюдением мы все же рискнем поделиться.

В заключительный, десятый день «Декамерона» седьмую новеллу рассказывает рассудительная Пампинья. Вот, в немногих словах, фабула ее повествования:

В Палермо живет безвестная девица по имени Лиза. Однажды из окна своего дома она видит короля и страстно в него влюбляется. Она чахнет от любви, а семья полагает, что она нездорова. В конце концов девица решает открыться королю, поведать ему о своем чувстве. Поэт от ее имени сочиняет канцону-признание, а певец исполняет эту канцону перед королем. Король тронут признанием девицы; он навещает ее в доме родителей и хвалит высокие достоинства Лизы. Однако ж он понимает, что им не суждено соединиться. Поэтому король выдает Лизу за одного знатного рыцаря, но сам сохраняет к Лизе любовь и уважение<sup>46</sup>.

Сопоставление канцоны-признания, которую Боккаччо вводит в текст новеллы, с письмом Татьяны к Онегину могло бы стать предметом отдельного исследования. Мы ограничимся только одним замечанием. Канцона не принадлежит Лизе, она от ее имени сочинена поэтом; точно так же и русские стихи письма Татьяны не принадлежат ей – ведь Пушкин как бы перелагает стихами французский прозаический «подлинник», что совершенно в духе ренессансной поэзии и новеллистики.

Пушкин усваивает, конечно, не только литературные формы, но и формы ренессансного поведения, общения – это прослеживается в его переписке. Когда в 1831 году поэт узнает, что его друг Элиза Хитрово попадает в холерный карантин, он откликается письмом, где замечает: «Хотя я и не докучал вам своими письмами в эти бедственные дни, я все же не упускал случая получать о вас известия, я знал, что вы здоровы и развлекаетесь, это, конечно, вполне достойно “Декамерона”. Вы читали во время чумы

<sup>46</sup> Боккаччо Дж. Декамерон. С. 589-594.

вместо того, чтобы слушать рассказы, это тоже очень философично» (XIV, 437 (перевод); фр. текст оригинала – с. 225). Пушкин играет здесь не только на сходстве флорентийской чумы с отечественной холерой, но и на сходстве имен: Элиза Хитрово и Элиза – одна из семи слушательниц-рассказчиц «Декамерона»...

Но вернемся к автографу с десятью темами. Если верна догадка о том, что в наших руках письменный след некоего михайловско-тригорского «Декамерона», то должны быть факты, свидетельствующие об устных рассказах Пушкина на темы, обозначенные в списке.

Такие факты есть.

Анна Петровна Керн, побывавшая в Тригорском летом 1825 года, вспоминала о Пушкине, развлекавшем тригорское общество: «Когда же он решался быть любезным, то ничего не могло сравниться с блеском, острою и чувствительностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в “Подснежнике”. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество»<sup>47</sup>.

Связь пушкинского сюжета «Влюбленный бес» с устной новеллой, получившей в обработке В.П. Титова название «Уединенный домик на Васильевском», была установлена еще Ю.Г. Оксманом<sup>48</sup> и с тех пор неоднократно подчеркивалась. Для нас здесь важно только то, что сюжет «Влюбленного беса», вошедший в список с десятью темами, Пушкин рассказывал дважды – сначала в Тригорском, а потом в Петербурге в салоне Карамзиных (не позднее 1829 года). В мемуарах Керн, воссоздающих эпизод в Тригорском, интересно и замечание о том, как Пушкин «задавал себе тему». Значит, его устные новеллы не были простой случайностью, импровизацией, пришедшейся к слову. То были, следовательно, обдуманно заранее сюжеты, и автограф плана «Влюбленного беса», относимый примерно к началу двадцатых годов (VIII, 429, 1062), надежно это подтверждает.

<sup>47</sup> А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 386.

<sup>48</sup> Оксман Ю.Г. Может ли быть раскрыт пушкинский замысел «Влюбленного беса» // Атеней. Историко-литературный временник, 1924. Кн. 1-2. С. 166-168.

Существовала и устная новелла Пушкина о Павле I. Она известна в записи В.А. Соллогуба, недавно найденной В.Э. Вацуро. Вот так Соллогуб передает услышанное от поэта:

«Пушкин рассказывал, что, когда служил он в Министерстве ин.<остранных> дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее.

Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: «Указ е.<го> и.<мператорского> в.<еличества>» – и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказа и боялся начать с середины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.

Что же государь? – опросил Пушкин.

Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.

А что же диктовал вам государь? – спросил снова Пушкин.

Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган – что ни одного слова припомнить не могу»<sup>49</sup>.

Эту забавную историю Соллогуб слышал в 30-е годы. Но Пушкин знал ее раньше; его беседа с чиновником состоялась до мая 1820 года, то есть до отъезда из Петербурга в южную ссылку. Значит, ничто не мешало Пушкину рассказать этот эпизод в Тригорском. И уже потом, отточив форму рассказа, Пушкин заглавлет им петербургские салоны, проведя и эту устную новеллу по пути «Влюбленного беса» – от тригорского кружка до карамзинской гостиной.

---

<sup>49</sup> Цит. по статье: *Вацуро В.Э.* Из разысканий о Пушкине // *Временник Пушкинской комиссии*, 1972. Л., 1974. С. 100. Быть может, приведенный анекдот и не составлял целого рассказа – для нас важен только устный характер этого произведения.

Судя по намекам в дневнике М.П. Погодина, осенью 1826 года, по приезде в старую столицу из Михайловского, Пушкин рассказывал в кругу московских Любомудров нечто на евангельские сюжеты и о Дмитрие Самозванце<sup>50</sup>. Тогда же Пушкин рассказывал Шевыреву о Ромуле и Реме<sup>51</sup>...

Попробуем подвести итоги.

Нам представляется, что список из десяти названий приоткрывает малоизвестную, почти полностью утраченную область творческого наследия Пушкина – область устной новеллы. Истолкование автографа как перечисления сюжетов, рассказанных в гостиниой, и связь их с «Декамероном», – устраняют многие противоречия в подборе и характере тем автографа. Ибо вослед Боккаччо Пушкин волен здесь чередовать исторические персонажи с вымышленными, отечественные с зарубежными, подцензурные с неподцензурными. Именно в таких рассказах для дружеского круга Пушкин должен был наслаждаться истинной и полной свободой творчества и поведения. Так примерно, как пользуется этой свободой близкий автору персонаж Алексей Иванович, рассказчик о Клеопатре в отрывке «Мы проводили вечер на даче...».

И, наконец, мнение Л.С. Пушкина об этой стороне творчества брата: Александр Сергеевич «...становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-то близком его душе. Тогда-то он являлся поэтом и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях»<sup>52</sup>.

## От «БОРИСА ГОДУНОВА» К «МЕДНОМУ ВСАДНИКУ»

Сцена «Площадь перед собором в Москве» из пушкинской трагедии «Борис Годунов» – одна из самых знаменитых. Ее ключевой, многократно изученный мотив – диалог царя и юродивого, обнажающий острое противостояние несправедливой власти и народа. Этим, конечно, смысл сцены далеко не исчерпывается.

<sup>50</sup> А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 18, 21.

<sup>51</sup> См.: Рукою Пушкина... С. 278. Справедливости ради отметим, однако, что Шевырев запомнил рассказ Пушкина как «проект драмы».

<sup>52</sup> А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 63.

Напомним начало эпизода: толпа московских простолюдинов стоит у собора и ждет выхода царя Бориса. В соборе проклинают Гришку Отрепьева и поют «вечную память» царевичу Дмитрию. Затем следуют две реплики, брошенные людьми из толпы, обозначенными как «Третий» и «Четвертый». Вот они:

*«Третий.*

– Чу! шум. Не царь ли?

*Четвертый.*

– Нет; это юродивый» (VII, 76-77).

С первого взгляда может показаться, что быстрый обмен репликами – случайный блик на поверхности сцены, проходная, ни к чему не обязывающая подробность. Ждали государя, а вместо него почему-то появился юродивый, Николка Железный Колпак. Но внимательный читатель (или зритель) должен, по крайней мере, отметить ошибку человека из толпы: шум при появлении Николки он готов принять за церемониальное звучание царского выхода. Монарх и нищий здесь не уравнины в своем достоинстве, но впервые ясно и отчетливо сопоставлены. Это сопоставление, как нам предстоит убедиться, во-первых, отражено в символике пушкинской трагедии, а во-вторых, идейно «растворено» и в других произведениях поэта.

Между явлением Николки и ремаркой «Царь выходит из собора» игра, как известно, строится вокруг копеечки, которую старуха подает юродивому. Если придерживаться плоско понимаемой «исторической правды», то придется признать, что действия старухи малодостоверны. Пушкин и Карамзин – по опыту своего времени – полагали копейку мелочью, мелкой монетой. Но в 1598 году, когда происходит действие сцены, на Руси самой крупной монетой была как раз серебряная копейка. От нее по уменьшению достоинства шли денга (полкопейки) и полушка (четверть копейки)<sup>53</sup>.

Небогатая женщина из толпы одаряет Николку сверх нищенской меры. Сумма в одну копейку несообразна даже с условным денежным счетом самой пушкинской трагедии: монах Варлаам, герой сцены в корчме, за три дня собирает три полушки, т. е. три четверти копейки (VII, 33). В реальных условиях русского средневековья нищим, «людям Божьим», вообще обыкновенно

<sup>53</sup> См.: Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. Изд. 2-е. М., 1975. С. 171.

подавали не деньгами, а съестным – кусок хлеба или пирога, огурец, репа и т.д.

Пушкин хорошо знаком с этим обычаем. И все-таки он награждает «бедного Николку» копеечкой. Почему? Разумеется, не по бытовым мотивам. Копейка выступает здесь не как прозаическая денежная единица, а как предмет другого, куда более возвышенного ряда.

До XVI столетия копеек на Руси не было.

В 1534-1535 гг. великая княгиня Елена Глинская, правительница при малолетнем Иване IV, провела денежную реформу. С той поры и стали чеканить монету, на которой изображался всадник с копьём. Отсюда монета получила название «копейная деньга», а потом и просто «копейка». Сначала всадник, или по-старинному «ездец», был безымянным, позже на монете чеканилось имя царя, а со времен Федора Иоанновича и его отчество<sup>54</sup>.

В следующем веке традиция изображения царя на копейках продолжалась. Подьячий Григорий Котошихин, сбежавший в Швецию в 60-х годах XVII столетия, писал: «А делают деньги серебряные мелкие: копейки – на одной стороне царь на коне, а на другой стороне подпись: “Царь и великий князь” – имя царское и титла самая короткая...»<sup>55</sup>. О том, что на копейке изображен царь-всадник, Пушкин знал, это легко доказать. Глубокое знакомство Пушкина с карамзинской «Историей Государства Российского» общеизвестно. Но, как сказал бы историк, «сего не довольно». В особом отрывке, посвященном труду историографа, поэт отметил: «Примечания к Русской Истории свидетельствуют обширную ученость Карамзина» (XI, 57)<sup>56</sup>. Отсюда следует, что к карамзинским примечаниям Пушкин относился с тем же, если не с большим, вниманием, что и к основному тексту.

Именно в примечании к восьмому тому «Истории Государства Российского», где Карамзин рассказывает о денежной реформе Елены Глинской<sup>57</sup>, есть описание новой монеты. Оно дано по

<sup>54</sup> Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. С. 170-172.

<sup>55</sup> Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1840. С. 77.

<sup>56</sup> Эта же мысль повторена в автобиографических записках Пушкина (XII, 305-306).

<sup>57</sup> Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. VIII. СПб., 1817. С. 42-43.

Синодальной летописи: «А при Великом Князе Василий Ивановиче бысть знамя на деньгах Князь Великий на коне, а имея меч в руке; а К.В. Иоанн Вас. учини знамя на деньгах Князь Великий на коне, а имея копие в руке, и отголе призваша деньги копейные...»<sup>58</sup>.

Позже, в XVIII столетии, всадник на монете будет трактован как святой Георгий Победоносец. Но допетровская, московская Русь еще строго соблюдает евангельское разделение на «богово» и «кесарево» (Марк: 12, 16-17); поэтому на деньгах не помещались изображения святых, а свое законное место занимал именно «кесарь», т. е. царь.

Таким образом, Пушкин знает происхождение названия монеты – копейка, знает и тот факт, что на копейке отчеканен всадник-монарх. Это и дает некоторые возможности для комментария к сцене из «Бориса Годунова». Под пером Пушкина возникает замечательное драматическое положение: юродивый Николка из рук безымянной старухи получает не просто «копеечку», но изображение царя.

Чтобы вполне оценить «динарий кесаря» в руке Николки, необходимо напомнить традиционный смысл юродивого и юродства. Его понимание восходит к изречениям верховных апостолов Петра и Павла. В «Послании к Коринфянам» Павел приписывает все черты юродства себе и другим апостолам и отличает юродивых от остальных христиан: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии... Даже донныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся... Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми *попираемый* донныне» (I Коринф.: 4, 10-13)<sup>59</sup>. Юродивый есть изгой, в народном сознании он олицетворяет божественную справедливость и пользуется всеобщим уважением. Его глас – глас Божий. Вот как описывает юродивых православная энциклопедия, изданная около столетия тому назад: «Юродивые не признавали никаких общепринятых правил поведения, не считались ни с какими общественными подразделениями; поэтому-то они

<sup>58</sup> Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. VIII. С. 325. В 1547 г. великий князь Иван IV принял титул царя, что и было отражено на копейках позднейших выпусков.

<sup>59</sup> Именно через это изречение апостола Павла православная церковь толкует понятие «юродивые». См.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2 т. СПб., изд. П.П. Сойкина, б.г. С. 2394-2395.

обличали сильных мира сего, не стесняясь говорить им часто горькую правду; вращались среди подонков общества...»<sup>60</sup>.

Совершенно ясно, что человеку в положении юродивого деньги не могут служить ни целью, ни средством. Юродивый, конечно, «божий», а не «кесарев». Поэтому «динарий»-копеечка – не его принадлежность. Для сравнения можно привести известный евангельский эпизод исцеления хромого апостолами Петром и Иоанном. Перед входом во храм хромой просит у апостолов милостыню. «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян.: 3, 6).

Вот и у Николки-юродивого по обычаю не должно быть серебра и золота, он существует и кормится «Христовым именем». Приняв все это во внимание, можно теперь расставить некоторые акценты в сцене «Бориса Годунова».

Репликами простолодинов, которые обсуждают, кто идет – царь или юродивый, – начинается линия соотнесения «кесарева» и «богова» начал. Она продолжается тогда, когда старуха одаряет Николку копеечкой с изображением царя. Этот «динарий» на мгновение нарушает достоинство Николки как человека «богова». Но в образе мальчишек вмешивается Провидение – копеечка похищена, юродивый свободен от царского серебра и возвращается к своему первоначальному владению – одним только «Христовым именем». Так что появление Бориса Николка встречает в чисто «боговом», пророческом облике. Входит царь. Услышав плач Николки, он распоряжается: «Подать ему милостыню» (VII, 78). Другими словами, Годунов готов опять одарить юродивого «динарием» с изображением кесаря, вернуть пророка к мамоне. Но Николка, только что принявший копеечку от старухи, не принимает такого же дара от государя. Следует – во всем его блеске – обличение Годунова, нового царя Ирода. «Богово» торжествует над «кесаревым».

В библейских аналогиях находит объяснение и странная просьба Николки к царю: резать детей, похитивших копеечку. Конечно, тут надо чувствовать иронию блаженного Николки; но дети, обижающие пророка, встречаются на библейских страницах нередко. Например, малые дети презирают Иова Многострадального, издеваются над ним (Иов.: 19, 18). Они

---

<sup>60</sup> Полный православный богословский энциклопедический словарь. С. 2394.

насмехаются и над пророком Елисеем; и тут уж дело серьезное; после проклятия Елисея из леса выходят две медведицы, чтобы растерзать сорок два ребенка (4 Царств.: 2, 23-24).

Серьезный, обязывающий мотив у Пушкина обычно не замыкается в рамках одного произведения – замечено давно и не нами; известно со времен В.Ф. Ходасевича, а, может быть, и раньше. Смысловые и образные «созвездия» движутся по пушкинскому небосводу, «перетекают» из одного произведения в другое. Так происходит и с мотивом соотношения «богово» и «кесарево», с эмблематическим изображением монарха-всадника.

Если в «Борисе Годунове» все это неявно, отчасти спрятано в игре с копеечкой, то в «Медном всаднике» эмблема выходит на первый план, а мотив царя и юродивого становится главным.

Когда безумец Евгений выходит на Петрову площадь, то он видит перед собой объемный, скульптурный образ, родственный древнему монетному чекану: царь на коне, медный всадник. Снова противостояние жестокого кумира и человека, влачащегося во прахе. Но век другой, другой исход трагедии. Медный кумир не знает угрызений совести. От него нечего ждать пощады. Он не сделает и не скажет ничего, что напоминало бы покаянное годуновское: «Молись за меня, бедный Николка».

Века, отделяющие бедного Николку от «безумца бедного» Евгения, отягчены государственной и церковной революцией Петра Великого. Все московские государи – и Борис Годунов в их числе – только цари, кесари. Но Петр, упразднивший патриаршество, уже не просто монарх. Он присвоил себе достоинство главы русской православной церкви. Пушкин, за два года до «Медного всадника» приступивший к «Истории Петра», прекрасно знает все подробности императорского огосударствления духовной жизни народа. Поэт чувствует, что в меди памятника теперь нерасторжимо слиты оба начала – и жестокое «кесарево», и извращенное «богово»<sup>61</sup>.

Человек допетровской эпохи, обижаемый государством, находил в лоне церкви утешение и нравственную поддержку. Новая, синодальная церковь сама стала государственным, по существу, бюрократическим учреждением. Теперь человек, куда б «стопы ни

---

<sup>61</sup> Е.С. Хаев в статье «Эпитет “медный” в поэме “Медный всадник”» совершенно точно обозначил этот двойной смысл металла: «Библиейская медь – своего рода праметалл, связанный с богослужением... Медь античная – прежде всего военная и государственная». См.: Временник пушкинской комиссии, 1981. Л., 1985. С. 182.

обращал» – даже и в церковь – всюду будет слышать «тяжелый топот» державного преследования.

Различия идейного поля в «Борисе Годунове» и «Медном всаднике» совершенно очевидны; это, прежде всего, несходство двух исторических эпох. Нас же, как уже было сказано, занимают идейные и образные совпадения, доказывающие единство пушкинского творчества, независимое от жанра вещи, конкретного фабульного материала, времени написания и т. д.

Например, существенная деталь, роднящая «кесарей» – Бориса и Петра. Оба они повинны в гибели наследников престола, соответственно, царевичей Димитрия и Алексея. Пусть даже права Димитрия на престол и участие реального Годунова в убийстве сомнительны – все равно; в мире пушкинских произведений эти обстоятельства предьявлены как безусловные. С другой стороны, в «Медном всаднике», кажется, и намек нет на дело царевича Алексея. Николка-юродивый прямо говорит Борису: «Зарезал ты маленького царевича». Евгений же никаких конкретных обвинений, кажется, Петру не выставляет. Его инвектива носит самый общий характер:

«Добро, строитель чудотворный! –  
Шепнул он, злобно задрожав, –  
Ужо тебе!..» (V, 148).

Близкое родство эпизода, где Евгений у «решетки хладной», и годуновской сцены «Площадь перед собором...» выявляется даже на простом материале сходства реплик. Напомним: в соборе поминают убиенного Димитрия, и вот как это отражается в диалоге людей из толпы:

*«Другой:*

А Царевичу поют теперь вечную память.

*Первый:*

Вечную память живому! Вот ужо им будет, безбожникам»  
(VII, 76).

В трагедии этим грозным «ужо» подготавливаются принародное разоблачение Бориса юродивым и последующее свержение с престола его наследника. Можно предположить, что «ужо» и устах Евгения столь же зловеще. В полном, развернутом виде оно бы звучало примерно так же, как в «Борисе Годунове»: добро, строитель чудотворный! Вот ужо будет тебе, безбожнику. В этой реплике та же угроза расплаты за все преступления, совершенные «волей роковой» – от убийства царевича Алексея до гибели Параша в пустынных волнах петербургского наводнения.

Безбожный Борис, безбожный Петр... У них, разделенных веками, мгновенно проступают общие характерные черты.

С известной осторожностью можно отметить, что ключевой эпизод петербургской поэмы кое-что обратным светом высвечивает в характере и поступках заглавного героя пушкинской трагедии. Царь Борис ведь тоже «строитель чудотворный». Об этом много и подробно пишет неоднократно прочитанный Пушкиным Карамзин. Например, в Москве при Годунове построены стена Белого города и колокольня Ивана Великого в Кремле. В одном из вариантов «Евгения Онегина» Пушкин прямо называет эту колокольню «башней Годунова» (VI, 178). Ясный намек на годуновское градостроительство слышен и в самой трагедии, в монологе Бориса «Достиг я высшей власти»:

Пожарный огонь их дома истребил,  
Я выстроил им новые жилища.  
Они ж меня пожаром упрекали! (VII, 26)

Если бы кумир на бронзовом коне снизошел до объяснений с Евгением, то он мог бы сказать то же самое: я выстроил вам новую столицу, я сыскал вам настоящие работы, я одержал военные победы. А вы меня упрекаете – чем? Наводнением, пожаром, стихийным бедствием, которое мне неподвластно? Тем, что сам Бог вас наказывает?

В этой связи стоит оценить и тот эпизод первой части «Медного всадника», где на балкон дворца в разгар наводнения выходит Александр I: «Печален, смутен вышел он // И молвил: “С Божией стихией // Царям не совладеть”» (V, 141). Император как бы подхватывает, в смягченной форме продолжает монолог Бориса, с которого все спрашивают за последствия Божьего гнева. Разбирая это место «Медного всадника», Н.В. Измайлов заметил, что единственным источником для Пушкина здесь послужила статья «Частные случаи петербургского наводнения», написанная А.С. Грибоедовым. «Не известен, – заметил Измайлов, – источник слов, произнесенных царем – возможно, Пушкин знал их по устным рассказам очевидцев. Пушкину этот эпизод был нужен...»<sup>62</sup>.

Исследователь совершенно прав.

---

<sup>62</sup> Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А.С. Медный всадник. Л., 1978. С. 203.

Так обстоит дело с «кесаревым» началом. В «Годунове» оно выражено эмблематической «копеечкой» и живым Борисом, в «Медном всаднике» – эмблематическим, но оживающим памятником. И – Александром I на балконе.

Столь же едины, по существу, сходны, символические образы тех, кто противостоит кесарям и в трагедии, и в поэме. Мы далеки от того, чтобы реально отождествлять юродивого и Евгения. Но кое-какие символические переключки все же нуждаются в обсуждении.

Первое важное наблюдение принадлежит здесь тому же Н.В. Измайлову, который давно заметил особенность одной предфинальной строки «Медного всадника». Когда после ужасной ночи Евгению случилось вновь видеть памятник Петру, то

...К сердцу своему  
Он прижимал поспешно руку,  
Как бы его смиряя муку,  
Картуз изношенный сымал (V, 148).

Измайлов пишет, что поправляя текст по цензурным замечаниям, Пушкин заодно переделывал и строку о головном уборе героя. В предшествующем варианте было:

Колпак изношенный сымал (V, 495).

Это, по словам Измайлова, нечто «напоминавшее о Юродивом в “Борисе Годунове”»<sup>63</sup>. В трагедии мальчишки прямо называют Николку «железным колпаком» (VII, 77). Оба оппонента царям, таким образом, безумны и носят колпак – то ли дурацкий, то ли намекающий на «фригийский» головной убор свободолюбцев времен Великой французской революции<sup>64</sup>. Известно, что Пушкин хотел упрятать «свои уши» под колпак юродивого (XIII, 240).

Во всяком случае, юродство Евгения определяется далеко не только его безумием, но и разбираемым противостоянием кесарю в его эмблематическом образе. В «Медном всаднике» этот мотив – как в случае с колпаком – нередко спрятан в вариантах и разночтениях, не вошедших в основной текст. Например, в начальных – еще до наводнения – раздумьях Евгения возникает знакомый мотив «богова» и «кесарева». В основном тексте: «Что мог бы Бог ему

<sup>63</sup> Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. С. 226.

<sup>64</sup> Подробнее об этом см.: Вацуро В.Э. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XII. Л., 1986. С. 308-311.

прибавить // Ума и денег...» (V, 139). А в варианте: «Что мог бы [царь] ему прибавить // Ума и денег...»<sup>65</sup>.

Раздумья Евгения были бы сходны с назойливой просьбой Николки к старухе – «дай, дай, дай копеечку», – если бы не адрес обращения. В результате Евгений обретает священное безумие обличителя: «Ужо тебе...».

А.Е. Тархов пытался представить Евгения как некий вариант библейского пророка Иова<sup>66</sup>. Некоторые основания к тому есть. Например, безумного героя поэмы преследуют «злые дети», что роднит его с ветхозаветным страдальцем. В русле традиции Евгению как человеку Божию не подают «копеечку»; он питается «в окошко поданным куском» (V, 146).

Таким образом, от реплик в толпе, ждущей Годунова, до мотивов петербургской повести возникает единое, весьма напряженное образное и философское пространство. Монарху на коне, символически обозначающему державную Россию, противостоит Россия живая, в ее священном безумии и бескорыстии. Далеко не только в «Борисе Годунове» и «Медном всаднике» размышляет Пушкин об этом коренном противостоянии. Можно было бы напомнить о Мельнике из «Русалки», который бросает в воду монеты, поданные князем. Или о Самсоне Вырине, швыряющем деньги на петербургскую мостовую. Или даже о скупом рыцаре Филиппе, замороженном блеском «динариев», и о его страхе захлебнуться, утонуть в крови, поте и слезах, пролитых за куски драгоценного металла.

Мир Пушкина един, и разделение его на отдельные произведения иногда существенно, а иногда – как в нашем случае – условно и необязательно.

### **«ОНЕГИН ВХОДИТ...» ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В СТИХАХ**

В разное время Пушкин по-разному называл «Евгения Онегина»: «роман в стихах», «свободный роман», «большое

---

<sup>65</sup> Пушкин А.С. Медный всадник. С. 37.

<sup>66</sup> См.: Тархов А. Повесть о петербургском Иове // Наука и религия, 1977. №2. С. 62-64.

стихотворение», «собрание пестрых глав», «рассказ несвязный». В этом ряду есть, однако, определение, уступающее остальным в изученности, но не в важности – строфа IV главы шестой начинается восклицанием:

Вперед, вперед, моя история (VI, 118).

Итак, сам автор считает свое произведение «историей», и его мнение, высказанное в момент преддзельного обострения сюжета, естественно входит в круг наших представлений. Называя «Евгения Онегина» историей, Пушкин, конечно, имеет в виду не только простое движение фабулы, но и нечто более высокое и сложное. Энциклопедия русской жизни по необходимости должна быть и исторической энциклопедией – иначе она неполна. Проблема, таким образом, не в существовании онегинского историзма, а в его характере, в его специфических особенностях.

Современный Пушкину читатель мог заметить крайнюю бедность романа историческими фактами. Вплоть до середины седьмой песни, когда, наконец, слышатся мотивы грозного восьмьсот двенадцатого года, повествование почти не касается крупных, общеизвестных событий. Исторический климат «Онегина», конечно же, не определяется разрозненными ретроспективными деталями вроде «модных и старинных зал» (которые для героя, кстати сказать, равны), «очаковой медали» или «племен минувших договоров». Историческое в «Онегине» и масштабнее, и тоньше.

По-видимому, замечание Пушкина о том, что время в романе расчислено по календарю (VI, 193), либо относится только к фабуле, либо может быть истолковано чисто философски: смена времен года как образ замкнутого жизненного цикла. Если бы мы попытались этим календарем исчерпать исторический потенциал романа, то он сузился бы до шести-семи лет, где-то между 1819 и 1825 годами. Подобное суждение вряд ли плодотворно.

Прошлое в «Онегине» не подчинено простой календарной хронологии. Оно скорее напоминает мощные выходы геологических напластований; их мгновенный срез дает понятие о тектонике культурных слоев – по ним можно прочесть, как веками складывалась та социальная и нравственная почва, по которой ступают автор и его герои. В романе давно замечено органическое сосуществование всех образов исторического быта, известных к началу XIX столетия. Онегинский «брегет» в Петербурге отсчитывает те же часы и дни, в кои Татьяна верит преданьям

простонародной старины; дева прядет при лучине в тот самый миг, когда негоцианка молодая слушает Россини в темноте театральной ложи, а поклонник Канта спокойно просиживает вечер у самовара.

Прошлое, застигнутое в современности, в полный голос звучит во многих онегинских строфах. Ночная беседа Татьяны с няней, например, есть диалог двух исторических эпох, и Пушкин отлично сознает это. В другом месте он прямо замечает, что алеуту никак не растолковать смысл дуэли двух офицеров (XI, 97); тут ясная аналогия с Савельичем из «Капитанской дочки», совершенно по-алеутски не одобряющим рыцарского поединка. Понимание древнейших воззрений и форм поведения в современном мире есть вообще характернейший признак пушкинского творчества. Способом, подобным тому, каким Льюис Морган изучал быт индейцев, можно было бы при желании по одному только «Евгению Онегину» реконструировать весь тысячелетний путь России от патриархального язычества до Нового времени.

Но бытописание земли, или, говоря по-современному, этнографизм, далеко не единственный способ освоения истории в пушкинском романе.

Основное действие, определяемое жизненными путями Онегина и Татьяны, развивается как бы на неподвижном историческом фоне. Пушкин как образованный современник своих героев, конечно, знает и понимает крупные происшествия конца десятих – начала двадцатых годов – вроде бунта семеновцев или испанской революции. Но мотивы «голода, войны или подобной новизны» (VI, 204) в протяжении восьми глав не имеют никакого видимого влияния на судьбы и поступки героев. Историческое время идет, но ход его для России такой медленный, что им в романе можно пренебречь – Пушкин так и делает. Тут подход автора к русской действительности в точности соответствует ее особенностям.

Пушкин ощущает великую несобытийность отечественной жизни. Познакомившись, например, с записками австрийского путешественника XVII века, он не забывает отметить: «Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор – даже эта елка, это печальное тавро северной природы – ничто, кажется, не изменилось» (XI, 230). Все описания деревенской России в «Онегине» родственны этому.

Шаг русской истории шире, масштабнее судьбы отдельного человека, чья жизнь могла и не прийтись на «минуты роковые» крупных слов и революционных перемен. Таков Онегин; во

всяком случае, таков известный нам додекабрьский Онегин. Татьяна, Ольга, Ленский – все они принадлежат бытописанию русской земли, но все тоже существуют как бы «мимо» текущих исторических происшествий. И здесь не случайность, а важная особенность произведения или, если угодно, авторской установки.

Проверим себя. За долгие годы, пока создавался роман, перо Пушкина на страницах «Онегина» не раз наталкивалось на злободневные реалии крупного исторического свойства. Но за редчайшими исключениями мы не находим их в окончательном тексте восьми основных глав – все это оставалось в черновых вариантах или перетекало в лирику, сопутствующую роману. Вот несколько примеров – общеизвестных, но с этой стороны недостаточно осмысленных.

Хрестоматийная строка «Хранить молчанье в важном споре» из строфы V первой главы в черновом наброске отсутствовала; зато содержание этого «спора» раскрыто автором с абсолютной исторической конкретностью:

...о Манюэле,  
О карбонарах, о Парни,  
Об генерале Жомини (VI, 217).

Ни французский политик Жак-Антуан Манюэль (1775-1827), ни швейцарец на русской службе Генрих Жомини (1779-1869) в окончательный текст не попадают. Умалчивает беловая V строфа и о движении итальянских карбонариев, сильно занимавшем сознание Пушкина и современное ему общество. Всего этого ни в первой, ни в семи последующих главах романа нет и не будет. Понятно, что черновая строфа проясняет для комментатора<sup>67</sup> характер салонных споров вокруг героя, но к читателю она не обращена. Читатель-современник либо сам знает обычное содержание бесед в салонах, либо упомянутые имена ему все равно ничего не скажут. Таким образом, исторически конкретное при переходе от черновика к беловику как бы испаряется, переходит на степень обобщения, при которой отдельные лица и события становятся неразличимы.

Подобные переходы в «Онегине» не редкость.

Строки из IV строфы второй главы: «В своей глуши мудрец пустынный // Ярем он барщины старинной // Оброком легким заменил...» (VI, 32) звучали в черновиках существенно иначе:

<sup>67</sup> Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителей. Л., 1980. С. 128.

Свободы сеятель пустынный...

и далее:

Ярмо боярщины старинной (VI, 265).

В такой редакции стихи не только вступали в сложные отношения с цензурным уставом, но и (что для нас важнее) выбивались из ткани романа своей прямой публицистичностью<sup>68</sup>. Почему из основного текста ушли «свободы сеятель» и «ярмо боярщины»? «...Вероятно, из-за неуместности явной переключки со стихотворением “Свободы сеятель пустынный”, которое выделилось из черновиков этой же второй главы», – замечает современный исследователь<sup>69</sup>. Значит, строки родились как онегинские, но не ужились в романе, ибо он замешан на других исторических дрожжах: причина, быть может, не единственная, но важная несомненно.

Таким же образом в подпочву «Онегина» ушел отрывок «В сраженьи смелым быть похвально», традиционно относимый по смыслу к XXXIV строфе песни шестой. Мы не знаем (и вероятно не узнаем никогда) всех мотивов, по которым две строфы оказались за пределами основного текста, но интересующий нас признак налицо – злободневная конкретность исторического фона:

О страх! о горькое мгно<венье>

О Ст<роганов> когда твой сын

Упал сражен, и ты один.

[Забыл ты] [Славу] <и> сраженье (VI, 412).

Тынянов догадался, что речь здесь идет о П.А. Строганове, чей сын погиб зимой 1814 года; узнав об этом в разгар битвы при Кране, Строганов-отец сложил с себя командование дивизией<sup>70</sup>. Если гибель Строганова-сына действительно предполагалась автором как параллель или как антитеза гибели Ленского, то неосуществленность этого сравнения в окончательном тексте говорит за себя сама: что-то удержало Пушкина от введения в шестую главу черт реального исторического события.

<sup>68</sup> Это соображение, конечно, не распространяется на публицистику в области литературы и искусства; её в романе, как известно, очень много.

<sup>69</sup> Тархов А.Е. Комментарий // Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Роман в стихах. М., 1980. С.223-224.

<sup>70</sup> Там же. С. 267-268.

По-видимому, точно так же Пушкин отказывается в восьмой песни от строфы, в которой Онегин и Татьяна встречаются на балу, почтённым присутствием высочайших особ (VI, 637) – Александра I и великой княгини Александры Федоровны, будущей императрицы. А «Екатерининский сержант» (VI, 293) из черновика переходит во вторую главу как «Игрок и гвардии сержант» (VI, 45) – снова частно-историческое уступает обобщенной формуле. Медленность, неизменность русской жизни видны и в большом, и в малом: неважно, какие именно государи и государыни присутствуют на балу; а игроком мог быть равно и елизаветинский, и екатерининский, и павловский гвардеец.

Таким образом, роман как бы открыт конкретному историческому движению, но эта открытость почти на всем его протяжении остается нереализованной. Исторический потенциал «Онегина» переходит в кинематику главным образом за пределами основной фабулы – в примечаниях, в «Отрывках из путешествия Онегина» и особенно в «десятой главе», где романное повествование обретает вид исторической хроники. Здесь, наконец, проявляется способ обращения к прошлому, которого автор тщательно избегал в предыдущих песнях. Выведение хроники и исторических реминисценций за рамки фабульного единства «Онегина» убеждает в том, что роман к своему финалу изменяется, переламывается. И одним из главных показателей этого перелома служит другой историзм, другой подход к конкретно-историческим событиям.

Проверим себя еще раз.

По мере того, как к концу романа прорывается, наконец, движение исторического фона, дотоле почти неподвижного, отходят на второй план фабульные связи и даже герои. Сам главный герой, Онегин, исчезает где-то на половине отрывков из своего путешествия и совсем не появляется в «десятой главе». С некоторой долей допущения можно сказать, что на восьмой главе кончается один исторический роман, а дальше начинается другой исторический роман, связанный с первым, но существенно от него отличный. В конкретной событийности этого другого романа не видятся ли уже черты, которые будут отличать и «Медный всадник», и «Капитанскую дочку», и «Историю Петра»?

Но вернемся сейчас к законченному онегинскому восьмиглавию.

Итак, исторический фон восьми песен, по-видимому, нейтрален: административный произвол, голод, война или

«подобная новизна» не вмешиваются в ход повествования. Но это и делает роман тем, что он есть: гениально *полным проявлением свободной воли героев*. Ход мировых событий как бы вынесен за скобки, а внутри этих скобок возникает неискаженная логика человеческого поведения. Всеобъемлющая формула «свободный роман», по-видимому, включает в себя и эту свободу – свободу от приземленно-буквальной исторической событийности.

Движение онегинской фабулы надо, прежде всего, понимать *как естественное* движение. Его исходная точка – смерть дяди – продолжается линией, в которой сплетены самые первозданные силы и проявления бытия: дружба, любовь счастливая и любовь несчастная, ревность, раскаяние, надежда, сожаление...

Общечеловеческое в «Онегине» столь очевидно, что ни в доказательстве, ни даже в обсуждении здесь не нуждается. По-ахматовски понимаемая «“Онегина” воздушная громада // Как облако» стоит над временем, над средой, хочется сказать, над историей.

Но – нет. Пути, по которым следуют в романе Онегин и его окружение, суть все-таки и пути исторические. И критерии, по которым автор судит своих героев, суть критерии исторические. Только это особый, присущий Пушкину историзм. Корни его надо, по-видимому, искать в умственной жизни «века просвещения», основанной на органических социальных теориях, на понятиях свободы и естественного права.

Французская Энциклопедия щедро черпала из прошлого; оно служило в сочинениях энциклопедистов и для доказательства исторической невозможности существования современного им растленного общества, и как нравственный урок монархам и вельможам. Здесь не место для широкого сопоставления исторических позиций французских просветителей с родственными им взглядами Пушкина – тем более, что такие сопоставления не раз делались. Нас будет интересовать только одно убеждение энциклопедистов, важное для понимания пушкинского романа. А именно: единые законы естества одинаково действуют и в жизни частного человека, и в деяниях исторической личности – будь то король, министр, папа и т.д. А значит, и судить о частном человеке и об исторической личности надо на основе одних и тех же критериев.

Хорошим примером таких взглядов и примером, несомненно известным Пушкину, может служить статья Д. Дидро «Политическая власть» из первого тома Энциклопедии (1751). Она начинается с дефиниции, отнюдь не безразличной к ткани

свободного романа: «Свобода – это дар небес, и каждый индивид имеет право пользоваться ею, как только начинает пользоваться разумом. Если природа установила какую-то власть, то лишь родительскую, притом она имеет свои границы и в естественном состоянии прекращается, как только дети начинают руководить собой»<sup>71</sup>.

Далее Дидро выводит из этого определения важные суждения о том, как соотносятся власть и частный человек; оказывается, монархи, будучи главами государства, «тем не менее остаются его членами» – приблизительно так, как глава семьи является и членом семьи. Но если естественный закон требует границ власти отца над взрослым сыном, то так же необходимы границы власти монарха над разумным подданным. Великий французский просветитель обращается к идеализированному примеру короля Генриха IV, чей образ главы и одновременно члена семьи-страны строится не только по канонам научно-исторического повествования, но и, разумеется, по художественным принципам. Так, в эпизоде принятия Нантского эдикта, коим во Франции была провозглашена веротерпимость, король принимает парламентариев со словами: «Вы видите меня в моем кабинете, и я говорю с вами не в королевской одежде..., а как отец семейства, одетый в камзол, как для дружеского разговора с детьми»<sup>72</sup>.

Возможность облечь государственную историю в одежды, принятые в семейной или частной жизни, бесспорно осознавались и французскими энциклопедистами, и вслед за ними Пушкиным. Эта возможность, выведенная из естественных законов, потенциально несла в себе и обратный ход: разыграть высокую драму в кругу частных лиц и выстроить ее как аналог исторического действия.

Именно таким ходом можно попытаться объяснить историческое в «Онегине».

В самом деле: внимательно читая его строфы глазами историка, нетрудно убедиться, что действие и характеры романа близко родственны историческим. Тут те самые «странные сближенья» (XI, 188), которые в одном случае дают шутку с серьезным привкусом («Граф Нулин»), а в другом вполне серьезную драму, несколько пародирующую всемирную историю («Евгений Онегин»). Сближение

<sup>71</sup> Дидро Д. Политическая власть // История в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. Л., 1978. С. 88-89.

<sup>72</sup> Там же. С.1, 93. В этом мест Дидро ссылается на мемуары М. Сюлли, государственного деятеля Франции XVI-XVII вв.

коллизий и характеров «Онегина» с теми, что остаются в летописании народов, мощно проступает на протяжении восьми глав.

Разбор всего романа с этой точки зрения занял бы, конечно, слишком много страниц, поэтому мы должны будем ограничить себя обращением к некоторым только строфам второй главы – она выбрана как самая «деревенская», самая удаленная, казалось бы, от хода мировой истории.

Случайная дружба и случайная вражда двух соседей-помещиков, разочарованного и восторженного, есть явление глубоко уездное. Увидеть здесь аналогию мировой ситуации было бы так же трудно, как пародирование истории в «Графе Нулине», если бы не пушкинская саморасшифровка. Представим себе, что вместо строфы XIV Пушкин по причинам, важным для него, а не для публики, выставляет только цифру. Тогда поверхностное чтение так и остается на уездном уровне. Но – счастливое обстоятельство – Пушкин вносит строфу в основной текст, а в ней ключ, в ней важнейшая историческая аналогия:

Мы все глядим в Наполеоны;  
Двуногих тварей миллионы  
Для нас орудие одно... (VI, 37)

Провинциальный случай, оказывается, той же природы, что и события, потрясшие Европу. По лучшим образцам Просвещения единые естественные законы господствуют и на исторической поверхности, где в битвах проявляются эгоизм и честолюбие Бонапарта, и за сельской мельницей, где гордец утверждает над ближним свое превосходство, быть может, мнимое. Тем самым наполеоновская тема («все глядим») подспудно пронизывает роман.

Не менее ясный случай родственного сближения приватного и державного дают XXXI-XXXII строфы. В них – судьба старушки Лариной, которая в деревне «рвалась и плакала сначала», а потом примирилась; ее жизнь подытожена стихотворным переложением шатобриановой формулы о привычке:

Привычка свыше нам дана:  
Замена счастию она (VI, 45).

Следующая строфа выясняет смысл замены счастию: жена «открыла тайну, как супругом // Самодержавно управлять». В этом «самодержавно», конечно, привкус иронии. Но тем не менее слово сказано. Поместье понимается как государство, и в его династической истории отмечено фактическое правление женщины,

государыни. Постулат о привычке потом найдет у Пушкина продолжение в «Борисе Годунове». Умиравший Борис будет внушать своему наследнику Феодору:

Не изменяй теченья дел. Привычка  
 Душа держав... (VII, 90)

Органические представления века здесь несомненны: «душа держав» и скромная душа старушки Лариной оказываются сходны, основаны на неизменяемой привычке. Общество понимается как организм, подобный человеческому, а человек как часть общества, повторяющая целое. Маленькая помещица тоже, «как все», глядит «в Наполеоны», но по-своему, патриархально.

Попутно можно заметить, что из этого обобщенного «все» Пушкин исключает только Татьяну, не наделяя ее державными притязаниями; она кажется чужой в своей семье, а значит, и в своей среде. Любопытно следить, как государственно-правовые и сословные понятия обнимают собой все, включая детскую:

Охоты властвовать примета,  
 С послушной куклою дитя  
 Приготовляется шутя  
 К приличию – закону света,  
 И важно повторяет ей  
 Уроки маминьки своей (VI, 43).

Татьяна, с детства не игравшая в куклы, не приготовлена властвовать ни другими, ни собою, что с позиций Онегина одно и то же. Его «учитесь властвовать собою» (VI, 79) – целая философия, которую Татьяна принять не может. Хотя впоследствии она поймет игру Онегина с «куклою чугунной» (VI, 147), т.е. те же наполеоновские устремления своего кумира.

Так обстоит дело, когда Пушкин дает понять – прямо или намеком – общность малого, бытового мира и мира большой истории. Но делает он это далеко не всегда: чаще всего такие соответствия живут в невидимой подпочве романа, однако они-то и создают у читателя острое ощущение конкретной исторической ткани даже там, где повествование, кажется, не поднимается над бытом. Когда Онегин заменяет барщину легким оброком, то нужно видеть, как «Зато в углу своем надулся, // Увидя в этом страшный вред, // Его расчетливый сосед» (VI, 32-33). Конечно, тут уездные дразги. Но не только они. Ничто не мешает понять пушкинское описание в ином, обобщенном плане: если поместье повторяет

собой целое государство, то и дрязги помещиков должны походить на международные отношения.

Корректность такого сравнения в данном случае укрепляется и экономической историей Европы XVIII-XIX веков. Фритредерство, основанное на невмешательстве государства в производство и свободе торговли, противостоит протекционизму, построенному на обратных принципах, что в русских условиях приблизительно соответствует, с одной стороны, оброчному товарному хозяйству и отходничеству, а с другой – натуральному хозяйству и барщине. Поэтому на более высоком уровне «надувшимся соседом» может быть, например, протекционистская Франция против фритредерского Альбиона.

Все это несколько странно на сегодняшний взгляд, однако легко укладывается в русло воззрений пушкинского времени. Общине англизированного Онегина («дэнди лондонского») с «надутым соседом», не пошедшим от боярства дальше французского легитимизма, и не могло быть иным<sup>73</sup>.

Таким образом, исторический «анекдот» разыгран на неисторических личностях, но полностью сохраняет все признаки исторической канвы. Осознавая «Онегина» как «историю», можно наметить и еще одну его особенность. Давно замечен вероятностный характер этого произведения. Например, Онегина, может быть, при других поворотах ждала судьба военного героя или декабриста; Ленский в ином случае становился известным поэтом, гордостью нации.

Другими словами, с самого начала романа была вероятность, что его герои воспарят над безвестностью, станут во главе политической и умственной жизни России. Что же тогда? Были у Пушкина исторические критерии для суда над персонажами? Несомненно, были. Недаром же Пушкин, завершая восьмиглавие, поминает в черновике наряду с Державиным и Николая Михайловича Карамзина:

...И быта русского хранитель  
Скрижаль оставя, нам внимал.  
И Музу робкую ласкал (VI, 621).

<sup>73</sup> Помня известную пародийность повествования в «Евгении Онегине», можно подозревать в формуле «все дружбу прекратили с ним» намёк на некое крупное историческое событие, например, сходство с ситуацией «континентальной блокады» Англии. Чуть раньше в начале романа герой сравнивается с денди лондонским.

Этический подход к исторической личности, привнесенный в русскую историографию Карамзиным на смену провиденциализму летописей, можно выявить и в нравственном потенциале «Онегина». Тема эта сложна и, кажется, совершенно не исследована, в ее разработке плодотворной параллелью свободному роману должны стать не только томы «Истории государства Российского», не только «Записка о древней и новой России», но и «Борис Годунов», «Полтава», «История Пугачева» и другие высокие приобщения Пушкина к прошлому России.

Александр Блок называл искусство напоминанием. Но искусство пушкинского «Евгения Онегина» не простое напоминание. В нем сгущается опыт веков, звучит голос многих времен и народов.

### **ЗА ЧТО ГЕРОЙ БРАНИТ ГОМЕРА И ФЕОКРИТА?**

Седьмая строфа первой главы «Евгения Онегина» – одна из самых известных. Напомним несколько строк:

Бранил Гомера, Феокрита,  
За то читал Адама Смита  
И был глубокий эконом... (VI, 8)

Круг чтения героя и – шире – круг его знаний обсуждались много и подробно. Не станем повторяться. Речь далее пойдет не о Гомере, не об Адаме Смите и вообще не о существовании того, «что знал еще Евгений» (VI, 8). Мы попытаемся раскрыть, как в контексте этих строк романа проступают контуры государственно-правовой ситуации, хорошо знакомой Пушкину.

Через три года после того, как строки о Гомере и Феокрите впервые легли на бумагу, Пушкин пишет записку «О народном воспитании», в которой ставит коренные вопросы просвещения молодого дворянства. Текст официальной записки, созданной по прямому приказу императора, весьма сложен. Не рассматривая его в целом, мы постараемся показать, что записка и сопутствующие ей источники служат важным комментирующим материалом к первой онегинской главе.

Пушкинские суждения о характере русского просвещения, о его выгодах и невыгодах хорошо известны. Поэт не питает иллюзий: молодые дворяне, особенно воспитанные в домашних условиях,

дурно образованны и плохо подготовлены к жизненному поприщу. На первый взгляд, это прекрасно согласуется с положением героя, представленным в завязке романа. По традиции, перешедшей даже в школьные программы, принято считать Онегина жертвой домашнего воспитания, безнравственного и недостаточного. Евгений (мы помним ироническую реплику автора) умеет «хранить молчанье в важном споре» (VI, 7), принимать личину знатока – это ли не свидетельство его незнания?

Но дело не так просто. Еще до всех нравственных переломов, связанных с дуэлью и несчастной любовью, Онегин обнаруживает достаточно глубокую образованность. Трудно иначе объяснить равноправие Евгения в беседах с Ленским, как-никак питомцем Геттингенского университета. Вчера еще светский петиметр, Онегин вдруг нарушает свое молчанье в важном споре и оказывается осведомленным и в истории, и в философии – по меньшей мере, Онегину главы второй знакомы сочинения Ж.-Ж. Руссо (VI, 38).

Тут одно из тех «противоречий», на которые указывает нам сам автор, не желающий их исправлять (VI, 30).

Как всегда у Пушкина противоречия нуждаются не в устранении, а в истолковании. Нам предстоит понять, почему в петербургских гостиных Онегин выступает как поверхностный полунзайка и почему в мирных сельских беседах становится настоящим философом.

Обратимся к тексту записки «О народном воспитании». Он надежно свидетельствует о глубоком знакомстве Пушкина с двумя важными документами, появившимися на исторической сцене в переломное время царствования Александра I. Это, во-первых, указ сенату «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытании в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники» от 6 августа 1809 года<sup>74</sup>, написанный М.М. Сперанским. Это, во-вторых, записка Н.М. Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»<sup>75</sup>.

Сперанский и Карамзин – политические антагонисты, чье противоборство при дворе Александра I во многом определило

<sup>74</sup> См.: Полн. собр. законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 1. XXX (1808-1809). С. 1054-1957.

<sup>75</sup> См.: Русский архив, 1870. Т. XII. С. 2230-2350.

условия и характер воспитания молодых дворян, ровесников Онегина.

Предлагая царю законодательный акт, называемый в просторечии указом об экзаменах, Сперанский преследовал две основные цели: повысить образовательный уровень чиновничества и вдохнуть жизнь в русские провинциальные университеты, незадолго перед тем открытые и влачившие жалкое существование. Отныне было установлено, что чиновник не может быть произведен в коллежские асессоры (VIII класс табели о рангах) без предъявления университетского диплома или без свидетельства об успешном прохождении экзаменов в одном из отечественных университетов.

Программа таких экзаменов публиковалась в составе самого указа. Круг требуемых знаний она подразделяла на четыре отрасли наук: словесные, правоведческие, исторические и физико-математические. Роман не дает нам материала для суждений о роли физики и математики в жизни главного героя. Но вряд ли можно сомневаться, что Онегин выдержал бы экзамен по всему циклу наук, которые мы сегодня назвали бы общественными, гуманитарными.

Например, по разделу «Науки словесные» требовалось кроме владения русским языком знать хотя бы один иностранный и «с удобностью прелагать с оного на Российский». Познания Онегина, который в совершенстве изъяснялся и писал по-французски, легко удовлетворяли этим условиям. Проверка знаний по правоведению, включавшему в себя естественное право и государственную экономию, тоже вряд ли затруднила бы читателя Адама Смита и Руссо. «Основательное познание отечественной Истории», выдвинутое Сперанским в 1809 году, вообще не было серьезным требованием. Ведь до выхода первых томов основного исторического труда Карамзина оставалось без малого десятилетие. Даже самим профессорам-экзаменаторам почти нечем было руководствоваться. А позже подозревать Онегина в незнакомстве с «Историей Государства Российского» тоже не приходится: труд историографа прочли, как известно, даже светские дамы.

Следовательно, герой романа по меркам Сперанского знает примерно столько, сколько и должен знать грамотный чиновник. Но Онегин-то как раз не служит – один из многих парадоксов русской жизни.

Вопрос о том, знаком ли был Пушкин с указом об экзаменах к 1823 году, году написания первой главы, решается без труда. Как раз на время между 1812 и 1824 годами приходится борьба чиновничества против экзаменов. Создаются различные

правительственные органы, подаются многочисленные проекты реформ гражданской службы, вокруг старого указа кипят новые страсти<sup>76</sup>. К концу царствования Александра I можно уже подводить некоторые итоги: указ формально не отменен, но фактически не выполняется. Пушкину, к 1817 году поступающему как раз на гражданскую службу, эта ситуация не может быть неизвестна.

Позднее Пушкин проявит даже понимание тонкостей обращения чиновников с положениями указа. Так, в «Путешествии в Арзрум» он заметит, что многие русские чиновники приехали в Грузию потому, что хотят получить чин асессора, «толико вожделенный» (VIII, 459). По пункту 10 указа 1809 года – в изъятие из общего положения – на Кавказе для производства в чин VIII класса экзамены не требовались<sup>77</sup>.

В полемике между Сперанским и Карамзиным Пушкин решительно берет сторону Карамзина. М.А. Цявловский давно установил, что, работая над запиской «О народном воспитании», Пушкин пользовался экземпляром неопубликованной записки Карамзина «О древней и новой России», полученным у П.А. Вяземского, единокровного брата вдовы историографа<sup>78</sup>. Отсюда в пушкинском тексте прямые заимствования и даже скрытые цитаты из карамзинской записки.

Но прежде чем рассматривать это сочинение историографа в связи с текстом первой главы «Евгения Онегина», следует выяснить, знал ли Пушкин неопубликованное произведение Карамзина еще до южной ссылки. Степень вероятности знакомства очень велика. Между 1816 и 1820 годами молодой поэт бывает в доме Карамзина<sup>79</sup>, близко дружит с Вяземским, который мог уже в ту пору располагать вполне исправным списком записки.

Многое в записке Карамзина, непонятное поэту во времена молодого «либерального бреда» (XIII, 79), наполняется впоследствии смыслом и значением. Конечно, Пушкин в 1823 году далеко еще не таков, как Пушкин в 1826 году, почти дословно пересказывающий царю соображения покойного историографа. Но по меньшей мере в одном пункте автор первой главы Онегина

<sup>76</sup> См.: *Шепелев Л.Е.* Отмененные историей: чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977. С. 61-64.

<sup>77</sup> См.: Полн. собр. законов... Т. I. XXX. С. 1055.

<sup>78</sup> См.: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1936. Т. 5. С. 714.

<sup>79</sup> См.: *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 173.

должен протянуть руку автору записки «О древней и новой России», ибо их сближение уже началось.

Речь идет о характере русского чиновничества, о месте служилого и неслужилого дворянства в исторических судьбах отечества.

Еще со времен Петра Великого продвижение по службе стало для людей благородного сословия основным и главным мериллом успеха, свидетельством личной ценности. Обладание поместьями, крепостными, деньгами – все зависело от ступеньки служебной лестницы, занимаемой человеком, от его связей в чиновном кругу. Ю.М. Лотман совершенно прав, когда утверждает, что биография неслужащего, нечиновного Онегина «приобретала демонстративный оттенок», делала героя «белой вороной в кругу современников»<sup>80</sup>.

Низкий деловой и нравственный уровень служилого дворянства был ясен всем, даже правительству. Но выводы отсюда делались разные. Вопрос об экзаменах чиновникам выявил две противоположные позиции в среде русского дворянства александровской эпохи.

М.М. Сперанский видел выход в очищении и укреплении чиновного сословия. Ему казалось, что достаточно освободить гражданские места от невежд и взяточников, от лентяев и казнокрадов, как дело сразу пойдет на лад. Штаты только что созданных министерств он желал заполнить цветом нации, честными и образованными людьми. Экзамены и должны были способствовать их выявлению.

В какой-то мере утопические иллюзии Сперанского потом разделяли многие декабристы. Оттого, что рутинную чиновничью службу они хотели заменить романтическим служением отечеству, дело, по существу, мало менялось. Предполагалось оставить централизованный и всеобъемлющий государственный аппарат, который, разумеется, существовал бы по своим законам, а не по романтическим импульсам.

Н.М. Карамзин отстаивал совершенно иной путь. Он видел в чиновничестве необходимое зло и стремился свести его к минимуму. Занятия русской историей допетровских времен укрепляли его идеал – абсолютная монархия, патриархально

---

<sup>80</sup> Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980. С. 48-49.

опирающаяся на лучших, благородных граждан, некая нравственная среда, где государь не отделен от народа канцелярским сословием.

По Карамзину чиновник вообще существо второго сорта. Он исполнитель и – только. От чиновника требуются лишь самые необходимые знания в пределах его компетенции. Привилегии истинного просвещения, роскошь высших знаний должны обитать не в канцеляриях, а в среде свободных, преданных царю сынов отечества. Или, говоря более современным языком: учить надо не чиновников, а неслужилых помещиков. Дворяне, подобно Онегину получившие достаточное домашнее воспитание, стоят в сознании Карамзина куда выше, чем «крапивное семя», хотя бы и облагороженное университетским свидетельством.

Одно из самых сильных мест карамзинского памфлета есть перечисление тех лишних, бессмысленных знаний, кои Сперанский желает насадить среди чиновником. Историограф иронически перечисляет несообразности: теперь у нас сенатский секретарь должен будет знать свойства кислорода и других газов, вице-губернатор Пифагорову фигуру, а надзиратель в доме умалишенных – римское право. В списке этих несообразностей есть и формула, прямо соотносимая с обсуждаемой онегинской строфой:

«У нас же, – пишет Карамзин, – председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита»<sup>81</sup>.

Тем самым, помяная Гомера и Феокрита, автор и Онегин обнаруживают осведомленность о полемике Карамзина против Сперанского. Позицию героя здесь можно толковать примерно таким образом: пусть мертвые языки и древних авторов изучают провинциальные карьеристы. Вышедшая из моды латынь, риторика и Феокрит нужны им для получения асессорского чина. Онегин судит об этих предметах пренебрежительно; ему, подражателю английским денди, приличнее носить маску знатока Адама Смита и политической экономии.

Подобно автору, Онегин может сказать: «Не рвусь я грудью в капитаны // И не ползу в асессора» (I, 259).

Роман, в сущности, начинается с испытания героя на новом жизненном поприще: гуманный помещик, просвещенный глава крестьянской общины. Он продолжает жить не по Сперанскому. Сельский философ, мирный собеседник друга-стихотворца весьма соответствует руссоистским и – добавим – карамзинским

---

<sup>81</sup> Русский архив, 1870. Т. XII. С. 2297.

представлениям о счастливой жизни. Теперь уже и речи нет о том, чтобы герой ругал Феокрита. Это как бы совершенно другой Онегин.

Но Евгений не выдерживает экзамена на соответствие карамзинскому идеалу. Онегин совершает свой жизненный путь как бы вне двух лагерей, спорящих о пропорции, в которой надо разделить молодое русское просвещение между чиновником и помещиком. Почему?

Ответ на этот вопрос был бы, видимо, разгадкой характера героя. Разумеется, это нереально. Но можно предположить, что известную роль здесь играет то, как Пушкин постигает Карамзина и – говоря шире – историю и перспективы русского дворянства. Неприязнь к чиновничеству существовала у Пушкина издавна и с годами укреплялась; идеал просвещенного помещика и деревни – кабинета будет Пушкину все ближе. Это найдет отражение и в последующих онегинских главах, и в «Барышне-крестьянке», и в отрывке «Не смотря на великие преимущества...», и в «Романе в письмах».

Но Пушкин все-таки не Карамзин.

Историограф верит в патриархальную идиллию и даже предлагает ее как основу государственных преобразований. Пушкину утопия Карамзина весьма близка. Однако Пушкин не склонен путать собственные пристрастия с той реальностью, которая ожидает Россию. Поэт понимает, что его идеал не только прекрасен, но и несбыточен<sup>82</sup>. Трагическое осознание нереальности идеала порождает пушкинскую иронию и самоиронию.

Они же лежат в основе биографии героя – странного, противоречивого Евгения Онегина.

## МОТИВ САМОРАЗОБЛАЧЕНИЯ ГЕРОЯ

Осенью 1822 года Пушкин послал из Кишинева в Петербург знаменитое французское письмо Льву Сергеевичу, в котором учил младшего брата правилам светского поведения. Нет нужды приводить или подробно цитировать это неожиданное послание –

---

<sup>82</sup> Подробнее об этом см. в другом сюжете книги: «Один из мотивов болдинского отрывка А.С. Пушкина “Не смотря на великие преимущества...”».

все знают, что оно исповедь человека, разочарованного в свете, в людях и добродетелях. Пушкин рекомендует брату острое оружие, направленное против всех: цинизм. «Цинизм, – пишет он, – своей резкостью импонирует суетному мнению света» (XIII, 50).

Письмо это хронологически близко предшествовало пушкинскому роману в стихах и много раз верно служило для объяснения «Евгения Онегина» и всего российского байронизма. Действительно, та «неподражательная странность», которую Пушкин проповедует брату, станет потом определяющей чертой характера героя. Все это обычно обсуждается вокруг первой онегинской главы и биографии молодого поэта.

Но школьная простота выводов – вероятно, в конечном счете правильных – тут недостаточна. «Странность», пренебрежение общими правилами, суть черты характера едва ли не всех главных персонажей пушкинских произведений. Но есть ли в их безнравственности свой «нрав»? Свой закон беззакония? Своя логика в алогизме? Вот это и стоит проверить, ограничив поле нашего внимания только одним мотивом – мотивом саморазоблачения героя.

Несколько напоминаний.

Великое множество раз герои, рожденные воображением Пушкина, сообщают о себе невыгодные, порочащие сведения. Обычно это печальная привилегия мужчин в их диалогах с молодыми женщинами. Онегин четвертой главы говорит о себе Татьяне как «о недостойном муже», а в главе восьмой признается Татьяне-княгине в тайной, предосудительной страсти. Начинается длинная череда саморазоблачений. Самозванец в «Борисе Годунове» открывает Марине свое низкое происхождение и свой обман, повлекший возмущение двух царств. Мазепа в «Полтаве» рассказывает Марии, что он изменил Петру и России. Дон Гуан «Каменного гостя» разоблачает себя перед Доной Анной дважды – сперва как похититель духовного сана, а потом как убийца Дона Алвара. Дубровский срывает маску француза перед Машей Троекуровой и рекомендуется грабителем с большой дороги. Германн в «Пиковой даме» раскрывает причину смерти старухи-графини и разоблачает перед Лизаветой Ивановной свою единственную страсть – страсть к деньгам.

В «Египетских ночах» решительный шаг делает женщина, Клеопатра: «Свою любовь я продаю». В ненаписанной части повести в склонности к «торгу страстному» должна была, видимо, признаться современная светская дама.

Можно спорить, верен ли этот ряд, стоят ли в этом ряду Пугачев, признающий свое самозванство перед Гриневым, или, например, Алексей Бурмин с его рассказом о «преступной проказе» во время метели. Не в этом дело. Примеров и без того достаточно. Гораздо важнее понять, почему Пушкин с таким постоянством возвращается к схожим обстоятельствам, для чего все время передевает в различные исторические костюмы героев одной, хорошо знакомой драмы?

Разгадка может лежать в самых различных областях – философских, исторических, литературоведческих. Нам кажется, что ближе всего подошла к ответу на поставленный вопрос А.А. Ахматова. В своем «Слове о Пушкине» (1962) она сильно и точно обрисовала ту пропасть, которая отделяла поэта от огромного большинства его светских современников. Сейчас, в пору безудержной идеализации Империи, мы уже стали как-то забывать контуры этого, по словам Ахматовой, «океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости»<sup>83</sup>.

Ахматова была права, утверждая, что Пушкину противостояли не злодеи, а посредственности. Движение, данное стране реформой Петра и екатерининскими преобразованиями, стало иссякать еще в конце XVIII столетия. На смену прежним гигантам пришли правители иного масштаба. В их окружении уже не было людей вроде «странного» Потемкина из рассказов Загряжской – зато постоянно встречались умеренные и аккуратные нессельроды. Векторгаш не порождал ярких личностей; он не был подстать своему поэту.

Ключевым мотивом в этом смысле может служить известная строфа из восьмой онегинской главы, рисующая отношение света к неординарному герою:

Зачем же так неблагоприятно  
 Вы отзываетесь о нем?  
 За то ль, что мы неугомонно  
 Хлопочем, судим обо всем,  
 Что пылких душ неосторожность  
 Самолюбивую ничтожность  
 Иль оскорбляет, иль смешит,  
 Что ум, любя простор, теснит,  
 Что слишком часто разговоры

<sup>83</sup> Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Горький, 1984. С. 7.

Принять мы рады за дела,  
Что глупость ветрена и зла,  
Что важным людям важны вздоры,  
И что посредственность одна  
Нам по плечу и не странна? (VI, 169)

Эта строфа многое объясняет. Окончательно отделанная в Болдине, она представляет читателю нового Онегина, далеко ушедшего от «малого» из первой главы, который, по мнению света, всего лишь «умен и очень мил» (VI, 7)<sup>84</sup>.

Но в пушкинском стихе, взятом в контексте всего романа, есть едва заметное противоречие. На протяжении первых семи песен читатель привыкает к Онегину умному, разочарованному, едва ли не циничному – как раз в духе советов Пушкина брату Льву. А здесь ему как бы ни с того, ни с сего приписана «пылких душ неосторожность». Общераспространенное объяснение – герой, мол, переродился новым чувством к Татьяне – не годится. Ведь строфа не следует, за сценой петербургского бала, где происходит встреча героя с княгиней, а *предшествует* ей. Значит, неосторожная пылкость души Онегина есть свойство то ли врожденное, но ранее подавляемое, то ли приобретенное опытом жизни, дуэльной историей, странствиями и т. д. Во всяком случае, не Татьяна тут причиной.

Или мы вовсе не понимаем, что значит у Пушкина эта *неосторожность*?

За год до первой болдинской осени поэт путешествовал по Кавказу. Приятель Пушкина, штаб-ротмистр Михаил Юзефович, вспоминал потом, как Пушкин читал свою трагедию группе офицеров. «При чтении “Бориса Годунова”, – свидетельствует Юзефович, – случился забавный эпизод. Между присутствующими был генерал М., известный прежде своим колоссальным педантизмом. Во время сцены, когда самозванец, в увлечении, признается Марине, что он не настоящий Димитрий, М. не выдержал и остановил Пушкина: “Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст?”. Пушкин с заметной досадой: “Подождите, увидите, что не выдаст”»<sup>85</sup>.

<sup>84</sup> Подробнее об этом см.: *Листов В.С.* Из комментария к «Евгению Онегину» // *Временник Пушкинской комиссии.* Вып. 21. Л., 1987. С. 116-121.

<sup>85</sup> *А.С. Пушкин в воспоминаниях современников.* Т. 2. С. 108.

Движение души самозванца определяет как «неосторожность» не Пушкин, а какой-то генерал М. – не то Н.Н. Муравьев-Карский, не то С.Д. Мерлини<sup>86</sup>. Но на Пушкина эта реплика производит до странности сильное впечатление. Он не только отказывается в дальнейшем читать при генерале М., но и возвращается к его оценке «сцены у фонтана» полтора года спустя, в письме к П.А. Плетневу от 7 января 1831 года. Получив известие из Петербурга, что у столичной публики «Борис Годунов» имеет успех, Пушкин пишет: «В Москве то ли дело? Здесь жалеют, что я совсем, совсем упал; ...что стихи без рифм не стихи; что Самозванец не должен был так неосторожно открыть тайну свою Марине, что это с его стороны очень ветрено и неблагоразумно – и тому подобные критические замечания» (XIV, 142).

Таким образом, непониманием пушкинских героев как бы объединены и вымышленные петербургские знакомцы Онегина, и невыдуманный кавказский генерал, и вполне реальные читатели-москвичи. Сам Пушкин хорошо понимал, с кем имеет дело; по его мнению, лучшим выражением этого типа людей был шекспировский Фальстаф, который для достижения своих целей «готов на все, только б не на явную опасность» (XII, 160).

В этом смысле все интересующие нас персонажи Пушкина – анти-фальстафы. Каждый – в той или иной степени – подвергает себя явной опасности. Тем и возвышается над «самолюбивой ничтожностью». Онегину восьмой главы, еще до встречи с Татьяной-княгиней, Пушкин присваивает это, достоинство «пылкой неосторожности» – вне логики повествования, как бы опережая события, как бы обмолвкой приготавливая читателя к тому, что, последует. Тут одно из многих противоречий романа, который не укладывается в рамки реализма, хотя бы и критического.

Во всех упомянутых случаях саморазоблачения герои преследуют разные цели. А иногда у них и вовсе никаких ясных целей нет. Тот же Самозванец проговаривается перед Мариной без всякого заранее задуманного плана. Недаром же монолог не мальчика, но мужа завершается его репликой: «Прощай». Столь же импульсивен и другой самозванец – Пугачев. Из своей опасной откровенности с Гриневым он не извлекает никаких выгод. Может

---

<sup>86</sup> См.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 407; Разговоры Пушкина. Собр. С. Гессен и Б. Модзалевский. М., 1929. С. 132.

быть, и Дон Гуан импровизирует свою любовную песнь, еще не зная, что перейдет опасную черту.

Одним из главных мотивов саморазоблачения выступает усталость героя, его пресыщенность. Разочарованность Онегина – хрестоматийна. Дон Гуан сам называет свою совесть «усталой». Исчерпали все обыкновенные удовольствия и Клеопатра, и ее светская последовательница, не названная по имени в «Египетских ночах».

Вторая редакция стихотворения о Клеопатре, традиционно включаемая в «Египетские ночи», написана осенью 1828 года. Этим трагическим месяцам жизни Пушкина А.А. Ахматова посвятила отдельную работу, в которой тугим узлом связаны мотивы «Уединенного домика на Васильевском», «Полтавы», последних глав «Онегина», темы Клеопатры в стихах и прозе<sup>87</sup>. Именно осенью 1828 года, доказывает Ахматова, Пушкин переходит все мыслимые для него границы разгула, испытывает жесточайший моральный кризис и, наконец, страшную усталость.

Не станем пересказывать работу Ахматовой «Пушкин в 1828 году». Она известна. Ее смысл, нам кажется, имеет прямое отношение к теме саморазоблачения героев пушкинских произведений и к саморазоблачительным мотивам в жизни самого Пушкина. Тут – поверим все той же Ахматовой – грани между биографией и творчеством условны, размыты.

Может быть, поэтому как раз к осени 1828 года относится одно из самых острых и страшных саморазоблачений поэта. Пресыщенность романом с дамой, к которой обращено французское письмо Пушкина, очевидна. Но видны и нити, связывающие текст письма с рискованными поступками пушкинских персонажей.

«Боже мой, сударыня, бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки. Но все вы таковы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее...»

Хотите я буду совершенно откровенен? Может быть, я изящен и благвоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и склонности у меня вполне мещанские. Я по горло сыт интригами, чувствами, перепиской и т.д. и т.д. ...» (XIV, 32).

---

<sup>87</sup> Ахматова А. Пушкин в 1828 году // Вопросы литературы, 1970. №1. С. 195-206.

Письмо, как видим, не без цинизма. Мы обратились к нему не за тем, чтобы объяснять биографию поэта, а только для того, чтобы показать некий предел саморазоблачения, доступный Пушкину в жизни. Хотя и тут, кажется, немало литературной игры. Но игры опасной. Будь адресатом дама, любившая Пушкина меньше, чем Элиза Хитрово, к автору вполне могли бы пожаловать секунданты от ее родственников.

Саморазоблачения Онегина, Дон Гуана и Германа, конечно, «изящнее и благовоспитаннее», но, несомненно, находятся в родстве с теми настроениями, которые владели Пушкиным с такой силой осенью 1828 года. В здравнице гризеткам слышен мотив давнего разговора Пушкина с Денисом Давыдовым, в котором поэт-партизан пересказал свою реплику светской даме: предпочитаю «камеристок, которые свежее» (XV, 123). Эта реплика много лет спустя станет эпиграфом к одной из глав «Пиковой дамы» (VIII, 231).

Пушкин сам вряд ли объединял своих персонажей из разных произведений по признаку саморазоблачения, по мотиву игры опасными признаниями. Тем интереснее сходство их поступков и их судеб. Нетрудно заметить, что самосрывание добропорядочной маски на первом витке истории обычно приводит к успеху, к желанному результату.

Германн благополучно ускользает из дома старой графини и обретает тайну трех карт. Гуан срывает свой поцелуй у Доны Анны. Самозванец получает руку своенравной Марины. Мазепа возвращает себе ослабевшую, было, привязанность Марии. И даже бесхитростный Дубровский получает обещание Маши Троекуровой выйти за него замуж. И так далее.

Но потом – во всех названных случаях без исключений – следует неминуемый крах. Все, что было достигнуто саморазоблачением, сметается слепыми судьбами, от которых нет защиты. Гибель или несчастье героя как бы предопределены его опасной откровенностью.

Прямой и простой связи, может быть, тут и нет. Беда настигает грешников вовсе не только потому, что они доверили свои тайны женщинам. Но этот мотив становится в ряд с другими мотивами, смешение таких красок и дает картину, характер. Важным остается только то, что все названные лица переступают рамки дозволенного. И в конце концов не так уж существенно, в каком месте и как они это сделали. Саморазоблачение для них – вдохновенно и высоко. Оно становится своеобразным творческим актом. Или актом разрушительным – зависит только от точки отсчета.

Пушкин, как, впрочем, и каждый настоящий писатель, проживает собственную жизнь вместе со своими героями. Их чувства – это и его чувства; их опыт – его опыт. Следуя за откровениями Онегина и Отрепьева, Мазепы и Гуана, Пушкин все прочнее утверждает в печальном открытии: обычный жизненный успех достигается только обычным же, общепринятым поведением. Предчувствие этого вывода есть уже в примечании ко второй главе «Евгения Онегина», где Пушкин как бы впервые вслушивается в реплику Шатобриана: верить в счастье безрассудно; его заменяет привычка (VI, 45, 192).

Тут мы сталкиваемся с одним из основных противоречий пушкинского мира: если счастье есть привилегия «самолюбивой ничтожности», то на что же могут рассчитывать неосторожные «пыльные души»? Разве только на счастливый случай, как это происходит в «Метели», где обоюдное саморазоблачение героя и героини скорее театрально, чем реально? Жизненная сложность уступает здесь математической простоте: две тайны, как две отрицательные величины, при умножении дают нечто положительное.

Давно и не нами замечено, что неординарные персонажи пушкинских произведений знают с музами. Сочиняет песни Дон Гуан. Самозванцу знаком «латинской музы голос». Песни гетмана Мазепы «бренчит» слепой украинский певец (V, 64). И даже Онегин едва не постигает механизма стихосложения (VI, 184)... Понятно. Ведь лирическая поэзия по природе своей стоит рядом с откровением и откровенностью. Саморазоблачение, неосторожные порывы героев находятся в родстве с поэтическим творчеством автора.

Конечно, мы далеки от примитивного понимания лирической поэзии как простого авторского саморазоблачения. Но можно ли избавиться от всем известного острого ощущения – понимаю Пушкина как человека через чтение его стихов? Как не видеть саморазоблачительных мотивов хотя бы в стихотворении «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день?»; III, 102). Пушкин в нашем сознании как бы становится в один ряд со своими персонажами, разделяет на деле ужас их вымышленного бытия.

Можно только удивляться, с какой точностью творческий путь Пушкина напоминает трагедии его героев-саморазоблачителей. Поэт начинает с лирических стихотворений и поэм – романтических проявлений «неосторожной души». Начальный успех у публики

известен. Новизна имени, смелость выражений, граничащая с недозволенностью, привлекают и читателей, и критиков. Но расплата не за горами. С конца двадцатых годов поэт чувствует сначала охлаждение, а потом и неприязнь критики, читателей, света.

Переход на менее откровенные жанры в 30-е годы (прозаическая повесть, роман, журналистика, научная монография и т.д.), отказ от прежних «безумств» – не помогают. Кто хотя бы однажды возвысился до того, чтобы, по словам Гуана, раскрыть «ужасную, убийственную тайну» (VII, 166), тот уже не найдет счастья на обыкновенных путях жизни.

Может быть, дело не только в личности того, *кого* постигает жестокость судьбы. Важно еще видеть, *кому адресована* откровенность, *кто* проникает в тайну чужой судьбы. Самарянка у колодца Иакова призналась перед Неизвестным, что живет она во грехе, не с мужем. И Неизвестный одобрил ее саморазоблачение (Иоанн: 4, 16-19). Женщина спаслась, потому что ее исповедь принял Сам Христос.

Откровенности пушкинских грешников обращены не к Богу. Татьяна, Маша Троекурова – прекрасны. Но и только. Они стоят высоко, но не выше мира сего. А уж исповеди перед властолюбивой Мариной или «страх как любопытной» Доной Анной должны прямоком вести в ад, что и происходит с Самозванцем, Гуаном, другими персонажами.

### **ЕСТЬ ЛИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ» В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ» И «АРАПЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»?\***

Уличать поэта – а тем более Пушкина – в разного рода хронологических или топографических несообразностях есть занятие неплодотворное и само по себе вряд ли нужное. Вольное творческое воображение художника, обращенное к материалу прошлого, мало стесняется узкими рамками сведений, почерпнутых из источников.

Несовпадения пушкинского текста с установленными фактами прошлого важны не сами по себе, но как свидетельства сложной творческой истории произведений поэта. Понятно: обращаясь к

---

\*Автор благодарит архитектора М.И. Астафьеву и киноведа Н.И. Клеймана, чьими советами он пользовался.

событиям прошлых эпох, Пушкин использует не только источники и исследования. Его собственный, личный опыт несомненно «растворен» в тех красках, которыми пишется историческая картина. Поэт и сам охотно это признает. Недаром его Марина Мнишек «славная баба: настоящая Катерина Орлова!» (XIII, 226; см. также XIII, 240), а Пугачев мог бы быть «лихим урядником» в отряде Дениса Давыдова (III, 415).

Подобные «переключки» через века и десятилетия легко обсуждать, когда Пушкин сам их выявляет (хотя бы даже в интимных посланиях друзьям). А как быть там, где автор молчит? Как отделить струю личного опыта в широком течении исторического повествования? Обычно задача эта очень трудна или даже вовсе неразрешима.

Иногда приходят на помощь случайности, которые мы назвали «историческими неточностями». Ибо нигде так прямо не проявляется личный опыт автора, как в отступлениях – порой и бессознательных – от строго документированной исторической канвы.

Многие исследователи склонны недооценивать биографию Пушкина-мальчика и ее отражения в творчестве зрелого поэта. Например, мы уже упоминали об И.Ф. Анненском, который в конце прошлого века спрашивал, «отчего Пушкин редко вспоминал Москву своего детства? почему нет ее в стихах его?»<sup>88</sup>. А в наше время Ю.М. Лотман уже в утверждающей форме пишет: «...наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем»<sup>89</sup>.

Мы попытаемся показать, что эти суждения излишне категоричны. В ткань исторических сочинений Пушкин вводит впечатления всей своей жизни – в том числе, оказывается, и впечатления детства.

Третья сцена трагедии «Борис Годунов» носит у Пушкина название «Девичье поле. Новодевичий монастырь». Здесь точно указано место, где развивается действие. Нетрудно назвать и время действия – 1598 год<sup>90</sup>, когда по смерти царя Федора Иоанновича на русском престоле воцаряется Борис Годунов. «Девичье поле.

<sup>88</sup> Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 311.

<sup>89</sup> Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1982. С. 12.

<sup>90</sup> Первую сцену, «Кремлевские палаты», события которой ненамного предшествуют событиям третьей, Пушкин датирует точно: «1598 года, 20 февраля» (VII, 5).

Новодевичий монастырь» – народная сцена, в которой толпа простолюдинов, пришедшая к стенам монастыря, куда затворился Борис, должна просить правителя принять венец. В этой толпе Пушкин выделяет нескольких безымянных лиц, обозначенных лишь по порядку произнесения реплик, – «Один», «Другой», «Третий».

Вот интересующий нас фрагмент диалога из этой сцены:

*Один*

Нельзя ли нам пробраться за ограду?

*Другой*

Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,  
 Не только там. Легко ли? Вся Москва  
 Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли,  
 Все ярусы соборной колокольни,  
 Главы церквей и самые кресты  
 Унизаны народом (VII, 12).

Топографический комментарий к реплике «Другого» на первый взгляд очень прост. Поле – это Девичье поле, обозначенное в заголовке сцены. Ограда – стены Новодевичьего монастыря. В самом монастыре – церкви; над ними ярусная соборная колокольня. Таким образом, взгляд безымянного персонажа сначала как бы устремляется снизу вверх: поле, над полем стена, над стеной кровли монастырских построек, над кровлями соборная колокольня. Здесь от доминанты (колокольня) взгляд чуть опускается: главы церквей с крестами.

Вот уже три столетия возвышается над юго-западными окраинами Москвы 72-метровая ярусная колокольня Новодевичьего монастыря. Но люди, звавшие Бориса Годунова на царство, не могли ее видеть: она построена на век позже – в 1689-1690 гг.<sup>91</sup>, т. е. в начале царствования Петра I.

Возможно, в памяти Пушкина оживает вид какой-нибудь другой постройки? Нет. Об этом надежно свидетельствуют варианты строки:

*Все ярусы высокой колокольни...*

или:

*И ярусы витые колокольни... (VII, 275)*

Если на рубеже XVI и XVII веков в Новодевичьем монастыре даже была ярусная колокольня, то о ее членениях нельзя сказать:

<sup>91</sup> Овсянников Ю. Ново-Девичий монастырь. М., 1968. С. 27-28.

«яруссы витые». Это признак сооружения в стиле барокко, т. е. той самой колокольни, которую видел Пушкин; она и сегодня знакома каждому москвичу.

Значит, пейзаж Девичьего поля, над которым возвышаются «яруссы соборной колокольни», сложился в сознании автора совсем не как результат изучения истории. В его основе – зримая, реальная картина, непосредственное наблюдение.

Строка о колокольне явно тяготеет к впечатлениям детства поэта, к его долицейским годам. Пушкин покинул Москву двенадцатилетним, в 1811 году, и в следующие пятнадцать лет в старой столице не бывал. Царское Село, Петербург, южная ссылка, ссылка в Михайловское – все это время пути Пушкина пролегали в стороне от родного города. Поэт возвращается в Москву из Михайловского только осенью 1826 года; он привозит с собой в карете готовую рукопись трагедии «Борис Годунов». Значит, в реплике «Другого» отражены воспоминания мальчика, пронесенные через полтора десятилетия.

Можно предположить, что скопление людей, толпа на Девичьем поле – не просто плод воображения поэта. В XVIII-XIX столетиях под стенами монастыря устраивались большие народные гулянья<sup>92</sup>. Ничто не мешало семейству военного советника С.Л. Пушкина участвовать в таких увеселениях, скажем, в 1811 году. Мы ничего достоверно об этом не знаем<sup>93</sup>. Но текст «Бориса Годунова» (с анахронизмом ярусной монастырской колокольни и толпою на Девичьем поле, где «сперлася вся Москва») заставляет нас считаться с такой возможностью.

Москва – основная историческая сцена, на которой развивается действие трагедии. Но не только поэтому, работая в Михайловском над «Борисом Годуновым», Пушкин постоянно мобилизует свои московские воспоминания. Страницы о «смутном времени» перемежаются под его пером со страницами автобиографических записок, потом, после 14 декабря, сожженных.

---

<sup>92</sup> Москва. Энциклопедия. М., 1980. С. 233. Обычай гуляний на Девичьем поле дожил до XX века. Например, хроникальный сюжет «Гулянье на Девичьем поле» вошел в первый номер экранного журнала «Кино-Неделя» в мае 1918 г. См.: Советская кинохроника. 1918-1925: Аннотированный каталог. М., 1965. Ч.1. С.10.

<sup>93</sup> Позже, 15 сентября 1826 года, Пушкин писал П.А. Осиповой о гулянье на Девичьем поле по случаю коронационных торжеств (XIII, 296, 559).

И те, и другие поэт, быть может, помещает в одну тетрадь<sup>94</sup>. Характер уничтоженных записей представить нелегко, но все-таки знакомство автора с обликом и бытом допожарной Москвы должно было как-то в них проявиться.

Точно так же город пушкинского детства может «просвечивать» и в «Борисе Годунове». Например, что предстает перед мысленным взором автора трагедии, когда пишет он слова: «палаты», «дом», «чертоги»? Только Москва. Только впечатления мальчишеских лет. В особенности существенно близкое знакомство Пушкина с известными палатами князей Юсуповых в Харитоньевском переулке, до сих пор в основном сохранившимися в формах XVII века<sup>95</sup>. Место это – «у Харитонья в переулке» (VI, 156) – упомянуто в «Евгении Онегине» как цель путешествия Лариных.

До недавнего времени считалось, что отец поэта нанимал у Юсуповых деревянный флигель, примыкавший к главному зданию. Московский исследователь С.К. Романюк, однако, доказал, что Пушкины жили в самих палатах. Значит, несколько лет детства поэта прошли под сводчатыми перекрытиями и за толстыми стенами, воздвигнутыми в XVII веке.

Это обстоятельство вряд ли нейтрально к действию и декорациям «Бориса Годунова», которые воображает Пушкин.

Заметим, что одна из основных сцен трагедии – «Царские палаты» – начинается ситуацией: мальчик-царевич под сводами палаты чертит географическую карту<sup>96</sup>. Затем входит его отец, царь Борис, и обращается к мальчику с монологом о науке и «опытах быстротекущей жизни». Всю сцену как исторический эпизод XVII века надо полагать вымыслом. Но в творчестве Пушкина есть еще одна очень похожая ситуация, возникающая в следующем, XVIII столетии. Речь идет об одном из начальных эпизодов «Капитанской дочки». Петруша Гринев сидит над географической картой («прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды»),

---

<sup>94</sup> *Фомичев С.А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (из текстологических наблюдений) // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. Т. XI. С. 32, 52, 64.

<sup>95</sup> *Волович Н.М.* Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979. С. 23.

<sup>96</sup> О. Винокур указал источник, связывающий царевича и карту: в XI томе карамзинской «Истории» сказано, что Ф.Б. Годунов был автором ландкарты России, изданной в 1614 году немцем Герардом. См.: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1935. Т. 7. С. 473.

входит отец; как бы оценивая «успехи» сына в науках, дергает мальчика за ухо (VIII, 280).

Между реальными Годуновыми и вымышленными Гриневыми полтора столетия исторического времени и десять лет творческой биографии Пушкина; ничего общего, кажется, нет у московской палаты царей и скромного жилища провинциальных екатерининских дворян. А сходство эпизодов – очевидное. Откуда оно?

Можно предположить, что тут нечто от детских воспоминаний поэта, хранимых со времен жизни «у Харитонья в переулке»: в старинной палате сидит мальчик над картой; входит отец; важный разговор о науке, о просвещении...

В конце второй главы «Арапа Петра Великого» Пушкин рассказывает о том, как Петр жалует своего крестника Ибрагима. Когда-то, в детстве, Ибрагим принадлежал царской семье; прошли годы; крестник вырос, воевал в Испании, выслужил во Франции офицерский чин, вернулся в Россию. И вот государь вновь вводит Ибрагима в свое семейство. Он представляет арапа жене Екатерине и дочери Лизе, будущей императрице Елизавете Петровне: «Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы <...> почтительно приблизились к Петру. “Лиза”, сказал он одной из них, “помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его”. Великая княжна засмеялась и покраснела» (VIII, 11).

Строго исторически вся эта сцена невероятна.

Ибрагим родился около 1696 года<sup>97</sup>. Год рождения Елизаветы Петровны – 1709-й. Разница в тринадцать лет. Дочь Петра не может помнить «маленького арапа», – а Пушкин все-таки наделяет ее воспоминанием, от которого «великая, княжна засмеялась и покраснела».

Невозможен и факт кражи яблок в Ораниенбауме. Начало этому городу под Петербургом было положена в 1714 году закладкой Меншикова дворца<sup>98</sup>. В том же году завершилась война за испанское наследство («Испанская война»), в которой Ибрагим успел отличиться (VIII, 3). Яблоневые деревья Ораниенбаума вряд ли плодоносили в детстве Елизаветы. Известный мемуарист камер-

<sup>97</sup> Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал: Биографическое исследование. Таллин, 1984. С. 15. Пушкин, основываясь на ошибочных данных так называемой «немецкой биографии Ганнибала», мог думать, что его предок еще старше, родился в 1688 году. См.: Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 59.

<sup>98</sup> Земцов С. Ораниенбаум. М., 1946. С. 8.

юнкер Ф.В. Берхгольц записал в своем дневнике под 1721 годом, что в Ораниенбауме «перед домом обширный сад, который, однако, еще не приведен в порядок»<sup>99</sup>.

Как и в случае с ярусной колокольней московского монастыря, источники сцены, думается, надо искать не в династической истории, а просто в биографии автора.

В воспоминаниях И.И. Пущина есть известный эпизод из лицейской жизни. Пушкин-мальчик влюблен в Наташу, горничную фрейлины Волконской. Однажды в темном коридоре он принимает за Наташу престарелую фрейлину и по ошибке ее целует. Об этом скандале доносят Александру I.

«Государь, – пишет Пущин, – на другой день приходит к Энгельгардту (директору лицея. – В.Л.). «Что ж это будет? – говорит царь. – Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, была такого рода экспедиция <...>), но теперь уже не дают проходу фрейлинам...»<sup>100</sup>.

По-видимому, ответ какого-то лицейского происшествия падает на страницы романа о царском арапе. Дева, краденые яблоки, государь – все это равно присутствует и в мемуарах, и в исторической прозе. Можно заметить, как Петр Великий и Александр I, разделенные столетием русской истории, пользуются в разговоре сходной смысловой конструкцией: «крал у меня яблоки», «снимают мои яблоки».

Не углубляясь в библейские параллели (Ева и яблоко), можно утверждать, что сопоставление реальной и романной ситуаций обогащает наше понимание и той, и другой. Например, проступают контуры ответа на вопрос: почему Елизавета «засмеялась и покраснела», когда отец ее упомянул о краже яблок? Не вспомнила ли она что-нибудь вроде невинного поцелуя в темном коридоре? И наоборот – для чего лицеисты затеяли «экспедицию» с кражей наливных яблок? Не было ли «девы» или «дев», которых они угощали? Тогда избившие сторожей надо толковать как рыцарский поступок в честь красавиц.

<sup>99</sup> Земцов С. Ораниенбаум. С. 15.

<sup>100</sup> А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 91. См. также письмо Е.А. Энгельгардта к Ф.Ф. Митюшкину от 24.XI.1836 года, приведенное в кн.: *Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицейу, 1811-1911*. В 3-х т. СПб., 1912-1913. Т. 2. С. 95.

Тем самым Пушкин в какой-то мере отождествляет себя с Ибрагимом. А намекая на роман – хотя бы и детский – между будущей императрицей и арапом, он возносит своего предка на головокружительную историческую высоту, как бы подготавливая реплику боярина Ржевского об Ибрагиме: «Он роду не простого <...>, он сын арапского салтана» (VIII, 25).

В неоконченном романе о царском арапе есть, как нам кажется, не только отзвуки лицейских времен, но и впечатления московского детства поэта. Так же, как в «Борисе Годунове», они выявляются в моменты отступлений от строгой исторической правильности.

Напомним: у Пушкина не было вещи под названием «Арап Петра Великого». Под этим не принадлежащим автору заголовком шесть глав незавершенного романа публиковались в посмертной Пушкину шестой книжке «Современника» на 1837 год. Сам Пушкин напечатал только два фрагмента текста: один – в «Северных Цветах на 1829 год», другой – в «Литературной газете», 1830 года. Затем эти два отрывка поэт объединил под заголовком «Две главы из исторического романа» и в 1834 году опубликовал в сборнике «Повести, изданные Александром Пушкиным». Главы эти носили самостоятельные авторские названия:

I. Ассамблея при Петре Первом.

II. Обед у русского боярина.

Отрывки и выбраны и объединены не случайно. В них предстает зримый контраст между старинным допетровским укладом и новым бытом, определяемым преобразованиями Петра I. Кроме того, оба фрагмента самостоятельны, т.е. почти освобождены от привычного для нас фабульного контекста женитьбы приехавшего в Петербург Ибрагима.

Попробуем прочесть главу «Обед у русского боярина» по тексту «Повестей» и глазами читателя 1834 года. Этот читатель не знает, что Петр-сват приезжает в дом боярина Ржевского после беседы с Ибрагимом в токарне петербургского домика. Не знает читатель и о женихе, который во время сватовства бродит по невской набережной. Не подозревает он и о последующей встрече Петра и Ибрагима, после которой арап провожает государя до дворца Меншикова на Васильевском острове.

Но как только отрывок не «погружен» в движение романной фабулы, так он немедленно теряет связь с Петербургом. *У читателя 1834 года нет возможности прикрепить «Обед у русского боярина» к берегам Невы.* Весь чин, весь традиционный ход обеда тяготеет к

старой Руси, где «нескоро ели предки наши». Вспомним детали трапезы. Дочь хозяина подносит гостям серебряный поднос с золотыми чарочками. За стол садятся «наблюдая старшинство рода» (местничество), да притом еще мужчины по одну сторону стола, женщины – по другую. На столе – «произведения старинной нашей кухни» (VIII, 20).

За стенами дома Ржевского трудно вообразить Васильевский остров, зато легко представить себе Мясницкую, Разгуляй или Тверскую.

Под напором чисто московских впечатлений Пушкин приводит любопытную деталь в самом начале главы. Вот первые строки: «День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались...» (VIII, 19).

Потом, в конце отрывка, в эту «старинную залу» приедет Петр I. А откуда могла появиться «старинная зала» в Петербурге при жизни Петра? В ткани шести глав неоконченного романа деталь явно неточна. Зато в пределах новеллы «Обед у русского боярина» она совершенно естественна: московский вельможа, ушедший от дел окольничий государя Феодора Алексеевича (VIII, 530), и должен потчевать гостей в старинной палате.

Сам по себе приезд Петра на обед не делает трапезу петербургской. Царь наезжал в старую столицу довольно часто – например, Пушкин позже отметит его визит в Москву в январе 1718 года (X, 237).

Таким образом, «старинная зала» в «Северных цветах» и «Повестях» (1834 года) вовсе не ошибка. Ошибка возникла позже, когда издатели после смерти Пушкина напечатали «полный» текст, не предназначенный автором к публикации. В нем-то и открылись невозможные соотношения «старинной залы» и Петербурга, «местничества» и Васильевского острова. Мы не знаем (да и никогда не узнаем) всех причин, по которым Пушкин не завершил свой роман о царском арапе. Но, возможно, одна из многих причин та, что поэт сам обнаружил анатопизм, отторжение быта семьи невесты от предлагаемых в повествовании петербургских обстоятельств...

Возвращение Пушкина в Москву осенью 1826 года после пятнадцатилетней разлуки – одно из самых потрясающих событий его жизни. О том есть масса свидетельств, а первое – московские строфы в VII главе «Евгения Онегина». Работа над VII главой совпадает по времени с началом написания романа о царском арапе (лето 1827

года). Думается, возвращение в родной город оживило детские воспоминания поэта, наполнило их новым смыслом и значением.

Можно предположить, что у дифирамба старой столице в онегинской главе и у «московской» атмосферы в эпизоде романа – общий исток, общая творческая история. Она восходит к ранним впечатлениям маленького москвича, жившего в старинных палатах «у Харитонья в переулке»...

### НОЧИ ЕГИПЕТСКОЙ ЦАРИЦЫ

Замысел произведения о египетской царице возник у Пушкина в середине 20-х годов, по-видимому, ещё в Михайловском. На протяжении следующего десятилетия характер задуманной вещи и место в ней Клеопатры несколько раз менялись. Обширная поэма могла быть свернута до короткой стихотворной повести или остаться отрывком; с 30-х годов основной мотив, мотив казни любовника за ночь любви, переключивается в прозу, становится одной из тем для импровизатора-итальянца и предметом светской беседы.

Сложные, подчас запутанные отношения между вариантами стихотворения «Чертог сиял...», отрывками «Не смотря на великие преимущества...», «Мы проводили вечер на даче», «Гости съезжались на дачу» и «Египетскими ночами» многократно комментировались. Литература по этому предмету весьма обширна; она заслуживает отдельного рассмотрения и по большей части останется за пределами нашей работы<sup>101</sup>. Для нас будет важно только одно обстоятельство: в основном корпусе комментариев к «Египетским ночам» и сопутствующим произведениям наблюдается

---

<sup>101</sup> См., например: *Кирпотин В.Я.* Мир Достоевского. Статьи. Исследования. Изд. 2. М., 1983. С. 411-423; *Жирмунский В.М.* Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования // *Жирмунский В.М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 142-204; *Вьялицина Н.В.* «Египетские ночи» Пушкина в интерпретации А.А. Ахматовой // *Проблемы современного пушкиноведения.* Л., 1981. С. 78-86; *Астафьева О.В.* Античные источники стихотворения А.С. Пушкина «Клеопатра» // *Владикавказские пушкинские чтения.* Вып. 1. Владикавказ, 1993. С. 145-158; *Томашевский Б.В.* Текст стихотворения Пушкина «Клеопатра» // *Томашевский Б.В.* Писатель и книга. Очерк текстологии. М., 1959. С. 248-266.

большой перевес общих текстологических соображений над содержательной стороной «египетского анекдота». Образ собственно Клеопатры как бы растворяется среди многих обстоятельств древней трагедии и современной драмы. Между тем образ этот, по нашему мнению, полноправен в кругу основных героев пушкинских произведений.

Напомним: исходным моментом для Пушкина стало чтение книги римского историка Аврелия Виктора «О знаменитых людях города Рима». Именно там поэт нашел анекдот о Клеопатре, послуживший началом развития сюжета и характера. Говоря о Клеопатре, историк свидетельствует: «Она была столь распутна, что продавалась, и так красива, что многие покупали ее ночь ценой своей жизни». Традиционно считается, что с этим свидетельством, по-видимому, легендарным, Пушкин познакомился ещё в 1824 году в Михайловском<sup>102</sup>.

По хронологии работы над «Евгением Онегины» этот «египетский анекдот» застаёт Пушкина примерно тогда, когда глава I романа в стихах пока только готовится к печати, а главы II, III и IV ещё лежат на письменном столе на разных стадиях готовности (VIII, 659, 660). Сознание поэта занято развитием характера главного героя – противоречивого и непостоянного, своенравного и пресыщенного. Как раз пресыщенность удовольствиями для Онегина есть свойство коренное, хрестоматийно известное. Оно проявляется и в условиях петербургского «большого света» главы первой, и на материале «деревенских глав» стихотворного романа. В дальнейшем мы застаём скучающего dandy в путешествии – на Волге, на Кавказе, в Одессе, снова в Петербурге. Современный исследователь находит верные русские аналогии онегинской хандры – уныние и праздность<sup>103</sup>.

«Египетский анекдот» о Клеопатре с большой вероятностью мог восприниматься Пушкиным как вариация на тему главного героя. По замечанию Н.Н. Петруниной, «душевная холодность, неверие в любовь сближают Клеопатру с <...> Демоном и Онегиным»<sup>104</sup>. Во всяком случае, то, что в основе условий Клеопатры (ночь любви, а утром казнь любовника) Пушкин видел

<sup>102</sup> См.: Бонди С. «Египетские ночи» // Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997. С.146.

<sup>103</sup> Мурьянов М.Ф. Пушкин и Германия. М., 1999. С. 59-71.

<sup>104</sup> Петрунина Н.Н. «Египетские ночи» и русская повесть 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978. С. 23.

праздность и пресыщенность царицы, сомнению не подлежит. Лучше всего это выражено в стихотворном фрагменте, включенном в отрывок <<Мы проводили вечер на даче>>, где стихи выдаются за сочинение приятеля одного из собеседников, т.е., надо полагать, за стихи самого Пушкина:

Зачем печаль ее гнетет?  
Чего ещё не достает  
Египта древнего Царице?  
В своей блистательной столице  
Толпой рабов окружена  
Спокойно властвует она.  
Покорны ей земные боги,  
Полны чудес её чертоги.  
Горит ли Африканский день,  
Свежеет ли ночная тень,  
Всечасно роскошь и искусства  
Ей тешат дремлющие чувства,  
Все земли, волны всех морей,  
Как дань несут наряды ей.  
Она беспечно их меняет,  
То в блеске яхонтов сияет,  
То избирает Тирских жён  
Покров и пурпурный хитон.  
То по водам седого Нила  
Под тенью пышного ветрила  
В своей триреме золотой  
Плывет Кипридою младой.  
Всечасно пред ее глазами  
Пиры сменяются пирами;  
И кто постиг в душе своей  
Все таинства её ночей?...

Вотще! В ней сердце томно страждет,  
Оно утех безвестных жаждет –  
Утомлена, пресыщена  
Больна бесчувствием она... (VIII, 422-423)

Можно было бы детально сравнить образ жизни Онегина в Петербурге около 1819 года с утехами царицы, игравшей на исторической сцене два тысячелетия тому назад. Совпадут многие конкретные детали пиров, прогулок, забав, одеяний в двух

«блистательных столицах» – на берегах Невы и на берегах Нила. Но нас занимают здесь не детали, а общий итог для обоих героев – полнота бесчувствия.

Клеопатра выступает тут как воплощение dandy в античные времена. Такое сопоставление не слишком удивило бы современников Пушкина. Например, на родине дендизма, в Англии, спокойно обсуждался характер древнегреческого политика и полководца Алкивиада как предшественника dandy. В своём V веке до н. э. он дерзко презирал кое-какие общественные установления, не соблюдал многих приличий, не уважал людей и их мнения<sup>105</sup>.

Женского дендизма Пушкин, допустим, не застал (хотя образ госпожи Вольской и в этом заставляет усомниться), но тип поведения, основанный на пресыщенности и потакании прихотям, он хорошо понимал и различал. Мнимое разнообразие такой жизни – мужской ли, женской ли – его не обманывало. Пушкин вполне мог знать, что английские себялюбцы XVIII- XIX столетий кое-что даже прямо заимствовали у Клеопатры. Так, по примеру древней царицы герцог Куинсбери и основоположник дендизма Дж. Браммель принимали ванны, наполненные не водой, а молоком<sup>106</sup>.

Со стихотворным образом Клеопатры «Онегин» для Пушкина в каком-то смысле начался заново. Но на материале античности Пушкин в чем-то мог чувствовать себя свободнее. Современный роман в стихах был осложнен условностями просвещения, вековыми предрассудками, личными пристрастиями. Развязка «Онегина» никак не давалась поэту, да так и не далась. Здесь же, казалось, всё завязывалось и развязывалось с античной простотой и грубостью. «Торг страстный» свершался с языческим пренебрежением к человеческой жизни; никаких моральных ограничений царица не знала, а её любовники верили, будто после ночи блаженства с Клеопатрой существовать больше не за чем. Ничего лучше и значительнее не будет.

Не исключено, что всё так и выглядело на стадии первоначального замысла. Но его исполнение довольно скоро наткнулось на сложности и противоречия.

Трое мужчин, откликнувшихся на смертельный вызов царицы, выступают носителями совершенно разных мировоззрений. Римлянин Флавий, поседелый воин, почувствовал в монологе

<sup>105</sup> Вайнштейн О. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2005. С. 37-42.

<sup>106</sup> Там же. С. 166.

Клеопатры сомнение в храбрости присутствующих на пиру мужчин и принял вызов; молодой мудрец и эпикуреец Критон тоже готов отдать жизнь за ночь любви. Его философия выражена в «Евгении Онегине» знаменитыми строками, в которых автор прощается с героем: «Блажен, кто праздник Жизни рано // Оставил, не допив до дна // Бокала полного вина, // Кто не дочёл Ея романа // И вдруг успел расстаться с ним...» (VI, 190).

Третий из любовников-смертников – юноша неопытный и страстный. Он молод, любит – вот и всё. По счету романа в стихах он заранее счастливее Владимира Ленского, не получившего награду за свою жертву. Об этом ещё предстоит говорить.

Что, кроме отклика на вызов царицы, объединяет любовников? Речь идёт, по-видимому, о каком-то трудно определенном свойстве характера, присущем Пушкину или, по меньшей мере, ему хорошо знакомом. В семье поэта сохранилось записанное П.В. Анненковым предание о молодом Александре Сергеевиче, которого старшие родственники постоянно упрекают в распущенности, в уклонении от обычных путей жизни. По их мнению, это будет иметь для него роковые последствия. На такое предостережение Пушкин отвечал просто: «Без шума никто не выходил из толпы»<sup>107</sup>.

Возможно, тут ключ ко всей сцене пира, венчаемой смертельным вызовом. Вопрос царицы порождает «смущенный ропот» её дюжинных подданных, поклонников, которым не дано подняться над житейской расчетливостью, над соображениями «презренной пользы». Семейное предание о Пушкине находит прямой отклик в стихах из «Египетских ночей». Клеопатра рекла:

И взор презрительный обводит

Кругом поклонников своих...

Вдруг из толпы один выходит,

Вослед за ним и два других.

Смела их поступь; ясны очи... (VIII, 274-275)

*Выход из толпы*, безумный и героический, здесь совершенно буквален. В образах древности тут ничто не затуманено условностями века просвещения, чертами позднейших цивилизаций. По счёту же светских современников Пушкина парадокс «египетского анекдота» вовсе не в его существенном наполнении: монархия делает фаворитами храбрецов, готовых пожертвовать за

<sup>107</sup> Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 85.

нее жизнью. Эка невидаль – особенно в России после екатерининских времен. Парадокс, странность состоит в краткости этого фаворитства (одна ночь!) и в неотвратимо обусловленной кровавой развязке.

Как всегда у Пушкина существенный мотив, в данном случае, мотив *выхода из толпы*, не замкнут в рамках одного произведения.

Звездный час такого выхода почти что наступает для героя «Капитанской дочки» Петра Гринева, когда Пугачев принародно приказывает его вешать. Это нетрудно проверить. Когда несколькими страницами позже Пугачев в беседе с Гриневым с глазу на глаз снова готов отдать приказ о его казни, Петруша не оказывает прежней храбрости: «...то, на что был я готов под виселицу в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался» (VIII, 332). Вот и любовники Клеопатры принимают своё решение «в первом пылу», тогда, когда под влиянием исходного импульса еще невозможно колебаться. Ту же ситуацию обсуждает и другой герой Пушкина – князь Василий Шуйский из «Бориса Годунова». Он-то как раз не поддался решению, принимаемому «в первом пылу», не разоблачил правителя Бориса как убийцу царевича. А почему? Потому что ясно видел последствия:

А там меня ж сослали б в заточенье,  
 Да в добрый час, как дядю моего,  
 В глухой тюрьме тихонько б задавили.  
 Не хвастаюсь, а в случае конечно  
 Ни кая казнь меня не устрасит,  
 Я сам не трус, но так же не глупец  
 И в петлю лезть не соглашусь даром (V, 7).

Пушкин знает, что пишет. Реплика Шуйского основана у него на событиях, которые произойдут вскоре. По приказу Лжедмитрия I Шуйский взойдет на эшафот и поведет себя мужественно перед казнью, в самый последний миг отмененной. Тут тоже толпа и *выход из толпы* противостоят безвестной гибели и играют решающую роль в поведении героя.

Позволим себе даже маленький мысленный эксперимент: вообразим, что Клеопатра предлагает свои условия не публично, не на пиру, а наедине с возможным любовником. Можно почти ручаться: вызов не был бы принят. Потому что тогда разыгрывалось бы всего только плотское наслаждение длиною в одну ночь; оно не стоит того, чтоб потом «в глухой тюрьме тихонько задавили».

Поэтому основная и главная часть смысла трагедии происходит здесь же, на пиру. Публичность вызова и его принятия возвышает событие до рыцарского поединка, до дуэли с участием секундантов. Мало этого. Храбрецов, откликнувшихся на вызов, царица называет «мои властители» (VIII, 276) – честь неслыханная. Она в каком-то смысле в будущих веках ставит казнимых в один ряд с Цезарем и Антонием. В общем, три любовника реализуют смысл пословицы: «На миру и смерть красна».

Теперь попытаемся понять, что движет Клеопатрой. Свое мнение о ней Пушкин выразил устами героя отрывка «Мы проводили вечер на даче» Алексея Ивановича: «Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и ценила себя не дешево» (VIII, 421). Мы уже говорили о том, как Клеопатрой владеет «полнота бесчувствия», что и роднит ее с Онегиным. Пора сказать нечто и о характере этого бесчувствия Клеопатры.

Пушкин знал такое состояние души. Оно рождалось у него от погружения в ровное течение жизни, от ежедневной повторяемости событий, впечатлений, мыслей. И не в том даже дело, каковы именно эти события, впечатления и мысли. Важно только то, что Пушкин совершенно не терпит монотонности существования – будь то скука деревенской жизни или «однообразный и безумный» вихрь светских удовольствий. Нам уже приходилось замечать, как Пушкина из столиц тянет в деревню, а из деревни – в столицы<sup>108</sup>. Именно монотонность бытия порождает полноту бесчувствия как состояние противоположное вдохновению, основанному как раз на обострении чувств и расположении к приятию впечатлений.

У Пушкина было много способов к преодолению бесчувствия. Тому в молодости служили дуэльные истории, трактирные ссоры, поспешные романы с дамами различных достоинств, драки с буточниками, пьяный разгул... А всего больше – карточная игра. Страсть к банку помогала Пушкину вызывать дух риска, оживляла краски жизни, придавала ей необходимый артистизм. Можно доверять английскому путешественнику Томасу Райксу, который слышал от Пушкина такое суждение: «Я предпочел бы лучше умереть, чем не играть»<sup>109</sup>.

<sup>108</sup> Листов В.С. К истолкованию образа сельца Михайловского в творческом сознании А.С. Пушкина. // Временник пушкинской комиссии РАН. Вып. 30. СПб., 2005. С. 187-191.

<sup>109</sup> Разговоры Пушкина. М., 1929. С. 140.

Возвышение пушкинской героини Клеопатры над монотонностью жизни тоже происходит через игру, но игру специфическую, царскую. Ни законы, ни моральные правила монархиню не ограничивают. Чего она ищет? Риска, остроты неожиданных впечатлений, потрясения основ. Так же, как и любовникам, ей не нужна тайная связь на одну ночь с последующей тайной же казнью. Нельзя даже исключить, что такой опыт у царицы в прошлом уже есть; при дворах деспотов не принято спрашивать, как и куда исчез тот или иной кавалер. Отсюда – громогласная публичность вызова.

Для Клеопатры острота впечатления определяется в данном случае тем, что выбирает любовника не она. Случайность, непредсказуемость связи – наряду с кровавой развязкой – способны пробудить давно умолкнувшие чувства царицы. Аналогии с карточной игрой, которая к тому же называется «фараон», здесь бросаются в глаза. Клеопатра ведет игру как банкومت. Колода – все мужчины, присутствующие на пиру. Выпадение той или иной карты от нее, банкомета, не зависит. Но дальше царица устанавливает свои правила: понтер, каждый, кто поставил карту против нее, выигрывает. Ставка известна – ночь любви. Но каждый выигравший дальше с неизбежностью проигрывает. Ставка тоже известна – жизнь.

Сходство с игрой подчеркивается еще и самой терминологией «фараона». Про выигрывающую карту понтера говорят: «Дано». И это как раз то, что получает мужчина. Ему дано. Победа карты банкомета и поражение карты понтера называется словом «убито». Как раз то, что ждет мужчину-понтера, против которого в данном случае берется прометать банк царица. Ясные параллели между игрой Клеопатры и игрой Германна из «Пиковой дамы» могут, кажется, кое-что объяснить в пушкинском стихотворении из «Египетских ночей». Последствия игры Германна нам известны, а развязка «торга страстного» – нет. Повесть завершается, а стихотворение, по всей видимости, не закончено.

Коренное начало, объединяющее «Пиковую даму» и стихотворение «Чертог сиял...», состоит, думается, в том, что и Германн, и царица играют наверняка. Результат им известен заранее. Германн в нем уверен потому, что на его стороне темные силы, стоящие за старухой-ведьмой. Клеопатра в свою очередь знает ход и исход игры, потому, что такова ее непререкаемая воля. Точнее будет сказать, что и тот, и другая *думают*, будто распоряжаются выпадением судьбоносных карт.

На третьей карте Германн «обдернулся», т.е. поставил не на ту карту, которая должна была выпасть, и, надо полагать, выпала. Его проигрыш стал не только денежной катастрофой, но повел к помрачению ума, к краху рассудочной личности. Теперь, понимая это, допустим на мгновение, что тайна трех карт служит Германну до конца, и третья карта была бы ему так же «дана», как и две предыдущие. Тогда Германн выигрывает, становится богатым, женится. Складывается его весьма обыкновенная жизнь. Но совершенно не складывается драма таинственной игры с судьбой, задуманная Пушкиным.

Сходные мотивы прослеживаются и в стихотворении «Чертог сиял...», хотя здесь замысел не так очевиден. Например, в отрывке «Мы проводили вечер на даче» стихотворение не завершено по смыслу сюжета – «начал и бросил» (VIII, 421). Но в «Египетских ночах», где импровизатор не может бросить свою песнь на середине, или в ранних попытках поэмы, стихотворной повести – развязка несомненно мыслилась. Какая же?

Вернемся к аналогии с «Пиковой дамой». Две карты заданы так, как предусмотрено владельцем тайны, Германном; третья – трагически не отвечает его ожиданиям. Видимо, такая же фабульная разница заложена и в судьбах троих любовников Клеопатры. Если история казнимого наложника повторяется трижды и без всяких вариаций, то стихотворение действительно можно не продолжать. Тогда перед нами всего только сказка о том, как деспотическая царица преодолевала свою «тоскующую лень» и посылала на казнь тех, кого шутовским образом называла своими «властителями».

Можно ручаться: Пушкин не ограничился бы такой простой развязкой. Из-за нее не стоило бы погружаться в древнюю историю; «египетский анекдот» так и остался бы забавной сказкой и античным прообразом современной светской любовной коллизии.

Намеком на иное, куда более значительное продолжение игры, затеянной царицей, служит портрет юноши, которому из «урны роковой» выпадает последний, третий жребий:

Любезный сердцу и очам,  
Как вешний цвет, едва развитый  
Последний имени векам  
Не передал... Его ланиты  
Пух первый нежно отенял;  
Восторг в очах его сиял;  
Страстей неопытная сила  
Кипела в сердце молодом...

И грустный взор остановила  
Царица гордая на нем (VIII, 275).

Грусть Клеопатры, кажется, понять нетрудно. Только теперь, вообразив этого юношу под смертной секирой, обезглавленным, царица начинает постигать весь ужас своих условий. Пушкин дает ей с полным равнодушием принять близкую смерть Флавия и Критона, но останавливает в грустной задумчивости перед третьим, безвестным юношей. Предположения, будто Клеопатра полюбит, и юноша избежит казни, уже высказывались. Но для них так же мало оснований, как и для мнений прямо противоположных.

Валерий Брюсов, например, пытаясь продолжать незавершенные стихи Пушкина, предлагал свой вариант развязки третьей ночи царицы, ночи с прекрасным юношей. По Брюсову – и так написано в его завершении «Египетских ночей» (1916) – царица воистину любит юношу и утром указывает ему путь бегства. Но страстный безумец отказывается; он готов бежать только вместе с Клеопатрой. Тогда царица предлагает ему выпить яд вместе с нею. И обманывает его. Юноша умирает обманутый, но счастливый. А Клеопатру ждёт новый властитель – Антоний<sup>110</sup>.

Разумеется, у нас нет оснований считать такую развязку пушкинской или хотя бы близкой к пушкинской. Существенно только то, что жребии Флавия и Критона всё-таки не вовсе равны жребию юноши, и только в этом можно подозревать какую-то тень пушкинского смысла в сочинении символиста, написанном в следующем, XX столетии. Во всяком случае, по отношению к третьему любовнику царица у Брюсова не выступает как простая наёмница.

Суждение о том, будто юношу ждёт иная судьба, не сходная с судьбою Флавия и Критона, подкрепляется ещё одной, довольно близкой аналогией. В главе «Приступ» из «Капитанской дочки» находим похожее фабульное наполнение в сцене казни. Двух обреченных, капитана Миронова и Ивана Игнатъича, вешают, а третьего, Гринёва – нет (VIII, 324-325). Причины, по которым третья карта выпадает не так, как две предыдущих, могут быть совершенно различными. Ясно, что между неожиданным явлением дамы пик и

---

<sup>110</sup> Брюсов В.Я. Египетские ночи. Поема в 6 главах (обработка и окончание поэмы А.С. Пушкина) // Пушкин плюс. Незаконченные произведения А.С. Пушкина в продолжениях творческих читателей XIX – XX-XX в. Сост. Е. Абрамовских. М., 2008. С. 274-277.

судьбами Гринёва и неизвестного египетского юноши, никакой рациональной связи быть не может. Тем не менее, сказочный мотив («с третьего раза») должен, видимо, проявиться не только в «Пиковой даме» и «Капитанской дочке», но и в сюжете о Клеопатре.

Дальнейшее углубление в цифровые соответствия на материале пушкинских произведений не кажется плодотворным. Поэтому мы попытаемся объяснить смысл сюжета с иной, по преимуществу не любовной стороны.

Ключевое слово Клеопатра произносит принародно и сразу после того, как прекрасному юноше выпадает третий жребий. И это слово: «Клянусь». Ее клятва – двойная. Утолить за ночь все сладострастные желания любовника и казнить его на рассвете. И так – трижды. Можно не сомневаться: для Флавия и Критона все сбудется по обещанию. С юношей, понятно, дело не будет обстоять так просто. А как именно?

С этим вопросом мы вступаем в хорошо известную область пушкинского творчества – в область мотива «о нарушении царского слова».

Ещё А.А. Ахматова, изучая «Сказку о золотом петушке», неоднократно обращала внимание на важную смысловую грань этого произведения – нарушение монаршего слова как причина бедствия для царя и царства<sup>111</sup>. В пушкинском мире, по Ахматовой, государь, не сдержавший обещания, теряет моральное право на престол, на уважение подданных. В сказке царь сначала опрометчиво и бессмысленно обещает отдать девицу кастрату, а потом это обещание нарушает.

Та же Ахматова надёжно связывает «Сказку о золотом петушке» со знаменитой беседой Николая I и Пушкина в Кремле в 1826 году. Анна Андреевна весьма основательно полагала, что император в этой беседе обещал что-то державно важное (прощение декабристов? либеральные реформы?), а потом этого обещания не выполнил. Отсюда – сложность отношений позднего Пушкина к Николаю Павловичу<sup>112</sup>.

Ясное напоминание о мотиве царского слова Пушкин видел и в своей «Истории Петра», готовившейся одновременно и параллельно с «Египетскими ночами». В контексте этого труда под 1711 годом он рассказывает о поражении русских в войне с турками

---

<sup>111</sup> Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Горький, 1984. С. 49-50.

<sup>112</sup> Там же. С. 49-50.

и о требовании победителей выдать им их изменника, молдавского господаря Д. Кантемира. Вот как Пушкин пересказывает мнение Петра Великого по этому поводу: «Визирь требовал выдачи Кантемира; Петр не соглашался, говоря: лучше уступлю *свои* земли до Курска. *Буду иметь* надежду возвратить, но отступить от *своего* слова, значит, перестать быть Государем»<sup>113</sup>.

Здесь «урок царям» преподан со всей прямоотой и ясностью<sup>114</sup>.

Клятва, провозглашенная на пиру, должна сильно и ужасно связывать Клеопатру. Допустим, она действительно полюбила безвестного юношу и утром, после третьей ночи, не желает его казни. Тогда душа царицы традиционно становится полем битвы между чувством и долгом. По-прежнему мы не знаем, казнит или не казнит царица молодого любовника, но с большой долей вероятности можем утверждать, что любое из двух возможных решений дастся ей мучительно, через страдания, ранее ей не известные...

Мы начали с сопоставления двух характеров – Онегина и Клеопатры. Их исходно роднили разочарованность и пресыщенность; все радости жизни казались им исчерпанными. Если же догадка о любви царицы к юноше верна, то можно с осторожностью продолжить сравнение образов главных героев романа в стихах и стихотворения «Чертог сиял...». Оба они – и Онегин, и Клеопатра – обретают в любви смысл жизни, но – увы – только тогда, когда уж поздно. Поперек пути к счастью стоят неодолимые препятствия – верность слову, долг, закон.

Простота античного сюжета оказывается мнимой.

Сходные мотивы видятся и в том романе, который Пушкин задумал, начал, да так и не завершил. Там петербургская дама предлагала условия Клеопатры своему светскому знакомцу...

Ясные отголоски пушкинских размышлений слышны и по иным, тоже не любовным, направлениям развития сюжета о египетской царице. К анекдоту «о ночи за жизнь» можно подойти и с другой стороны, хорошо известной в биографии и творчестве поэта. Речь идёт о том, как в его сознании изменяется, преобразуется идея личного и общественного равенства. По этому признаку образ Клеопатры опять становится в ряд с известными явлениями пушкинского мира.

<sup>113</sup> Пушкин А.С. История Петра I. М., 2000. С.204.

<sup>114</sup> Листов В.С. От составителя // Пушкин А.С. История Петра I. С. 49.

В стихотворении «Чертог сиял...» подразумевается, что при дворе Клеопатры – как, собственно, при всяком дворе – всё строго регламентировано, каждый знает свой ранг, своё место под монаршим солнцем. Весь анекдот как раз и построен на том, что царица на три мгновения – три ночи! – нарушает сложившуюся иерархию и готова признать своими «властителями» мужчин, стоящих неизмеримо ниже неё. Сомневаться тут не приходится; текст стихотворения надёжно это подтверждает. Обращаясь к пирующим, Клеопатра спрашивает:

В моей любви для вас блаженство?

Блаженство можно вам купить...

Внемлите ж мне: могу равенство

Меж вами я восстановить.

Кто к торгу страстному приступит? (VIII, 274)

Это импровизация итальянца из «Египетских ночей». Речь здесь, понятно, не идёт о каком-то бывшем, утраченном «равенстве», которое теперь восстанавливается. Оно, говоря современным языком, не восстанавливается, а устанавливается среди пирующих. Смысл в том, что перед вызовом все присутствующие мужчины равны, имеют одинаковое право купить одну ночь за одну – свою собственную – жизнь.

Такое истолкование формулы «равенство меж вами» укрепляется черновиком стихотворной части отрывка «Мы проводили вечер на даче». Он даёт такие варианты ключевой строки:

Меж                   могу равенство

Могу забыть я неравенство

Восстановить могу равенство

Меж вас исчезнет неравенство

Хочу забыть я неравенство

Ниспровергая неравенство (VIII, 984-985).

В сущности – при всех смысловых оттенках – провозглашаемое течение мысли распадается на очевидные русла: упомянутое уже равенство мужчин перед вызовом; мгновенное – на одну ночь – равенство царицы с избранником; равенство, одинаковость судьбы этих избранников, предаваемых казни.

Великая триада Французской революции – «Свобода, Равенство и Братство» – тревожила сознание Пушкина с юных лет. Нам уже приходилось отмечать эволюцию понятия «равенство» у

Пушкина по мере удаления его от декабристских утопий и приближения к этическому монархизму Н.М. Карамзина<sup>115</sup>. В своих «Заметках по русской истории XVIII века» (1822) молодой друг заговорщиков восторгался Петром I, готовым в разгар все той же Прутской конфузии сложить с себя царское достоинство и уступить корону и трон другому, избранному Сенатом монарху. Эта готовность, по тогдашнему мнению поэта, «приносит великую честь необыкновенной душе самовластного государя» (XI, 14 – примечание).

Понятно: для блага отечества царь провозглашает своё равенство с избранным подданным, и это поднимает его, царя, на недосыгаемую нравственную высоту в глазах молодого Пушкина. Но проходит десятилетие, и к середине 30-х годов Пушкин судит об этом же предмете совершенно иначе. В этом смысле весьма показательна запись Пушкина в его дневнике под 22 декабря 1834 года.

Пересказывая свою беседу в салоне Е.М. Хитрово с великим князем Михаилом Павловичем, поэт как раз подчёркивает собственное аристократическое неприятие равенства, в особенности же любой намёк на равенство монарха и подданных. Например, он соглашается с великим князем, возмущённым «Северной пчелой», напечатавшей в отчёте о поездке императора в Москву: «Г<осударь> И<мператор> с высоты красного крыльца *низко* (низко!) поклонился народу»... В<еликий> К<нязь> прав, а журналист конечно глуп» (XII, 334).

В ходе беседы с Михаилом Павловичем Пушкин дал неожиданно острую характеристику русскому императорскому дому:

«Вы истинный член вашей семьи. Все Романовы революционеры и уравниатели.

– Спасибо: так ты жалуешь меня в якобинцы! благодарю, вот репутация, которой мне не доставало» (XII, 335; перевод с французского – с. 488).

Великий князь понимает, что в устах поэта соображение о Романовых, революционерах и якобинцах на троне, вовсе не комплимент.

По версии Пушкина российское самодержавие, особенно со времен Петра I, сродни якобинству, потому что оно не соблюдает аристократических традиций и насаждает равенство между людьми разных сословий. «Все Романовы» предстают у него уравниателями,

---

<sup>115</sup> Листов В.С. «Голос музы тёмной». М., 2005. С. 307-334

революционерами на троне. Это отчётливо видно хотя бы опять на примере из «Капитанской дочки». Там в «Пропущенной главе» Петруша Буланин (будущий Гринёв) рисует впечатляющую картину разорения страны, в котором едва ли не равно участвуют войска мятежного Пугачева и коронные полки императрицы: «Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками... Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым <...>, самовластно наказывали виноватых и безвинных» (VIII, 383).

Разумеется, драма Клеопатры отличается другими масштабами; она носит камерный характер и, кажется, не претендует на социальные обобщения. Но в её основе всё та же идея – «равенства», нивелировки – возвышение низшего до головокругительной державной высоты и падение с этой высоты родовой аристократии, даже и монархии. В этом специфическом смысле «египетский анекдот» становится в один ряд не только с дневниковой записью Пушкина в декабре 1834 года, но и с «Моей родословной», «Романом в письмах» и другими произведениями, в числе которых и «Сказка о рыбаке и рыбке».

У Пушкина мгновенное, не отвечающее разумному ходу вещей, пересечение сословных границ никогда не приводит к счастливой развязке драмы. По этому признаку надёжно объединяются такие разные герои его произведений как оба самозванца (Отрепьев, Пугачев), Басманов, стрелецкий сирота Валерьян из повести о царском арапе, трое любовников Клеопатры. У всех в перспективе разбитое корыто и падение с державной высоты.

Тем самым, при всех особенностях античного сюжета, Клеопатра становится в ряд с «революционерами и уравниателями» на троне. К её образу, конечно, не следует прямо искать смысловые русские параллели; их нет и быть не может. Но об одном образном сопоставлении всё-таки можно напомнить. В «Полтаве», в хрестоматийном описании сражения, Пётр I предстаёт перед читателем в окружении своих сподвижников, которые перечислены:

И Шереметев благородный,  
И Брюс, и Боур, и Репнин,  
И, счастья баловень безродный,  
Полудержавный властелин (V, 57).

Царь выглядит уравниателем: в его свите пёстрый, едва ли не случайный подбор разносословных и разноплеменных персон.

Рифма «благородный – безродный» окончательно проясняет этот смысловой оттенок, как бы ставит завершающую точку в пушкинских суждениях о «равенстве» по-петровски. Все равны не только перед государем, но и перед ясной возможностью лишиться жизни – в бою, на плахе, в изнурительном походе. Такова стоимость тех земных благ, которые предлагает царь.

В финале эпизода сражения под Полтавой Пётр устраивает пир в шатре, где тоже без разбору угощает и своих, и чужих:

Пирует Пётр. И горд, и ясен

И славы полон взор его... (V, 59)

Пир в чертоге Клеопатры, на котором провозглашено ее «равенство», несет иную смысловую нагрузку. Это не праздник после выигранной битвы, а самая битва, в которой принимается вызов и решаются судьбы. Тем не менее, в портретах властелинов, распоряжающихся этими судьбами, есть общий образный оттенок. В варианте стихотворения «Клеопатра» (1824, 1828) после того, как царица провозгласила свои условия, идут строки: «Но снова ясный и надменный // Весельем (?) взор ее блестит». К ним есть замечательные разночтения:

Он ясен

И горд и ясен (Ш, 680).

Тем самым взор Петра I и взор Клеопатры – оба на пиру – определены совершенно одинаково. Случайно ли это?

Вряд ли...

## Послесловие

16 декабря 1907 года Александр Блок написал стихотворение «Клеопатра». Напомним его текст:

Открыт паноптикум печальный.  
Один, другой и третий год.  
Толпою пьяной и нахальной  
Спешим... В гробу царица ждёт.

Она лежит в гробу стеклянном,  
И не мертва и не жива,  
А люди шепчут неустанно  
О ней бесстыдные слова.

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.  
Я в незапамятных веках  
Была царицею в Египте.  
Теперь – я воск. Я тлен. Я прах». –

«Царица! Я пленён тобою!  
Я был в Египте лишь рабом,  
А ныне суждено судьбою  
Мне быть поэтом и царём!

Она раскинулась лениво –  
Навек забыть, навек уснуть...  
Змея легко, неторопливо,  
Ей жалит восковую грудь...

Я сам, позорный и продажный,  
С кругами синими у глаз  
Пришел взглянуть на профиль  
важный

На воск, открытый напоказ.

Тебя рассматривает каждый,  
Но, если б гроб твой не был пуст,  
Я услышал бы не однажды  
Надменный вздох истлевших уст:

Ты видишь ли теперь из гроба,  
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?  
Что я и Цезарь – будем оба  
В веках равны перед судьбой?»

Замолк. Смотрю. Она не слышит.  
Но грудь колыхнется едва  
И за прозрачной тканью дышит...  
И слышу тихие слова:

«Тогда я исторгала грозы.  
Теперь исторгну жгучей всех  
У пьяного поэта – слёзы,  
У пьяной проститутки – смех»<sup>116</sup>.

В комментарии к стихотворению Вл. Орлов отметил, что «Блок часто посещал открытый в Петербурге *паноптикум* (музей восковых фигур), где была выставлена фигура древнеегипетской царицы Клеопатры, снабжённая особым механизмом, благодаря которому создавалось впечатление, будто Клеопатра дышит»<sup>117</sup>.

Правильность этого комментария не подлежит сомнению. Однако, нетрудно заметить, что блоковская Клеопатра «дышит» не только с помощью механического приспособления, но прежде всего через восприятие традиций «золотого века» отечественной литературы, через близкое родство с одноименной героиней Пушкина. Другими словами – перед нами не столько «восковая персона», сколько живое звено преемственности русской поэзии, только что прикоснувшейся к XX веку<sup>118</sup>.

Уже в первой строфе Блок возвращается к ключевому пушкинскому образу, связанному с Клеопатрой, к образу *толпы*. Безликое людское скопище одинаково окружает обеих героинь; речи их обращены к черни, недостойной стоять рядом с царицей. Но тем, кажется, сходство и исчерпывается. Блок развивает здесь не только сам по себе образ эксцентрической женщины на троне, но гораздо более влиятельный мотив, проходящий через всё творчество Пушкина. Приблизительно, с известной долей исторического допущения, его можно было бы назвать мотивом *оскудения времён*.

<sup>116</sup> Блок А.А. Соч. В 2 т. Т.1. М., 1955. С. 273-274.

<sup>117</sup> Там же. С. 732.

<sup>118</sup> Библиография по теме «Пушкин и Блок» весьма обширна; основные работы см.: Фризман Л. Семинарий по Пушкину. Харьков, 1995. С. 258-260.

В прозаическом отрывке «Мы проводили вечер на даче...» этот мотив звучит громко и прямо. Гости княгини Д., обсуждая забавный египетский анекдот, склоняются к тому, что «в наши дни» предлагаемый Клеопатрой «торг страстный» невозможен: его условия нельзя засвидетельствовать в гражданской палате. Кроме того, современные женщины, а тем более мужчины, явно не находятся на той высоте духа, какая необходима для того, чтобы уравнивать цену жизни с ценой ночи любви. «Таковой торг нынче несбыточен, как сооружение Пирамид» (VIII, 424) – вот мнение светского большинства.

Подобных сравнений великого прошлого с малодушным настоящим в произведениях Пушкина неисчислимо множество. Путешественник Онегин застаёт в Новгороде только «тени древних Великанов» (VI, 477). В «Пиковой даме» счастливый любовник графини поднимается по лестнице вверх, предвкушая ночь счастья («египетскую?»), а в следующем веке по тем же ступеням спускается, сходит вниз Германн (VIII, 245), личность иного калибра, стремящаяся всего только «усемерить» капитал. Даже в самом правящем государе, как известно, – больше от прапорщика, чем от императора Петра Великого. И так далее.

Обобщённый мотив *оскудения времён* находим и в «Истории села Горюхина». Там ход истории дан в образе течения реки Сивки, на которой стоит село. Через Сивку горюхинцы «весною переправляются <...> на челноках, подобно древним скандинавам», а прочие время <на> переходят в брод, предварительно засучив портки до колен» (VIII, 135). Мелеет история, мелеют и души людей; воинственное племя варягов превращается в сословие торговых мужиков, берегущих портки на переправе.

Именно этот пушкинский мотив продолжен и развит Блоком.

Век великанов уступил веку пигмеев, веку жалких эпигонов. Праздник Клеопатры, на котором пирующие философически дремали над золотыми чашами, сменился «толпою пьяной и нахальной». Из этой толпы поэт не исключает и себя, позорного и продажного. Но самоуничтожение не мешает певцу прекрасной дамы след в след идти за образами пушкинских стихов. Показательным тут кажется монолог поэта, обращённый к восковой Клеопатре:

«Царица! Я пленён тобою!  
Я был в Египте лишь рабом,  
А нынче суждено судьбою  
Мне быть поэтом и царём!

Ты видишь ли теперь из гроба.  
Что Русь, как Рим, пьяна тобой,  
Что я и Цезарь, – будем оба  
В веках равны перед судьбой!»

Возникает знакомая нам по Пушкину коллизия обретения «равенства»: вчерашний раб возвышается над тьмой египетской и становится вровень с монархами – с Цезарем, с Клеопатрой. Трагедия XX столетия, однако, состоит в том, что, провозглашая себя царём, поэт не выходит из пьяной и нахальной толпы, не перестаёт быть позорным и продажным. «Демократия» паноптикума, падение с высот духа в мещанское бесстыдство, уже грозят вселенской катастрофой, уже предопределяют близкий крах России. Сравнение отечества с развратным Римом и есть предсказание этого краха. Напомним: стихотворение писано в 1907 году.

Не посторонним Пушкину кажется у Блока и образ змеи, жалящей грудь царицы. Понятно: стихотворение отражает, если угодно, даже документирует, реальную ситуацию паноптикума, основанную на легенде о самоубийстве Клеопатры. Но ничто не мешает видеть здесь символическую параллель к «Песни о вещем Олеге», «Олегову щиту», рисункам к «Медному всаднику». Или даже косвенный намёк на «Пророка», лирический герой которого обретает «жало мудрая змеи» (III, 30). Соотношение смысловых оттенков у Пушкина и Блока при обращении к египетскому анекдоту могло бы стать поводом к отдельному исследованию. Здесь отметим только, что у обоих поэтов змея является как орудие карающего провидения, как знак неминуемой беды, постигающей державу.

Ряд символических образов, плавно перетекающих из «золотого века» словесности в «серебряный», не прервался со смертью Блока. Мы позволим себе завершить наше послесловие несколько неожиданным примером из наследия поэта, ныне едва ли не забытого. В 1924 году Вера Инбер написала стихотворение «Пять ночей и дней» на смерть Ленина. Его текст возвращает нас к знакомым образам:

И прежде чем укрыть в могиле  
Навеки от живых людей,  
В Колонном зале положили  
Его на пять ночей и дней...

И потекли людские толпы,  
Неся знамёна впереди,

Чтобы взглянуть на профиль желтый  
И красный орден на груди.

Текли. А стужа над Москвою  
Такая лютая была,  
Как будто он унёс собою  
Частицы нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали  
Из-за того, что он уснул.  
И был торжественно печален  
Луны почётный караул<sup>119</sup>.

Размер, ритм, строфика, интонация – всё тут прямо заимствовано из блоковской Клеопатры. Даже «профиль жёлтый» несомненно восходит к «профилю важному» петербургского паноптикума; опять «людские толпы»; опять дыхание смерти и монарх, вознесенный над человеческим стадом. Всё узнаваемо. Даже строка «И пять ночей в Москве не спали», кажется, предъявляет читателю свою родословную – от пушкинской Клеопатры, от «Египетских ночей». А Блок, заметим попутно, ещё в 1907 году предсказал ленинский мавзолеей строчкой о восковой царице – «Она лежит в гробу стеклянном».

Подражательница Блока, советская поэтесса Вера Михайловна Инбер, разумеется, сочиняла стихи, комплиментарные по отношению к Ленину. В последующие десятилетия их переиздавали неисчислимое множество раз, читали со сцен и эстрад в траурные январские дни, включали в хрестоматии. И ни автору, ни читателям не приходило в голову, что в традиционном подтексте стихотворения – пушкинско-блоковский персонаж, сильная, неординарная личность, зовущая к эфемерному счастью, за которое приходится расплачиваться реальной жизнью. Или даже миллионами жизнью.

Всё это ещё раз доказывает давно известную истину: поэты высказывают гораздо больше, чем знают и понимают. А иногда даже и больше, чем чувствуют.

---

<sup>119</sup> *Инбер В.* Пять ночей и дней // Октябрьские страницы. Ч. 1. М., 1970. С. 132. Впервые опубликовано в однодневной литературной газете «Ленин», вышедшей в Москве 29 января 1924 года.

## Один мотив из БОЛДИНСКОГО «ОТРЫВКА» «НЕ СМОТЯ НА ВЕЛИКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА...»

Прозаический «Отрывок» Пушкина, начинающийся словами «Не смотря на великие преимущества...» (VIII, 409-411), был впервые опубликован в 1837 году в четвертой, посмертной книжке пушкинского «Современника». С этой поры он постоянно входит в основные собрания пушкинских сочинений.

Напомним: герой «Отрывка» является нам петербургским поэтом-дэнди, заботливо поддерживающим свою светскую репутацию. Круг общения и характер размышлений стихотворца напоминают о жизни самого Пушкина в столице где-то между 1827 и 1830 годами. В сжатом виде Пушкин использует мотивы «Отрывка» в начальных строках «Египетских ночей», где безымянный «приятель-стихотворец» обретает прозвание – Чарский (VIII, 263-264).

Автограф «Отрывка» – четыре листа с оборотами<sup>120</sup> – завершается датой, выставленной самим Пушкиным: «26 окт.». Литературоведческая традиция, складывание которой здесь не место проследить, настаивает на том, что отрывок написан 26 октября 1830 года в Болдине и не закончен<sup>121</sup>. Для нашей темы важно будет только заметить небольшое противоречие между болдинской датой «Отрывка» и мнением о его незавершенности.

Дело в том, что основной текст обрывается без всякой даты в конце лицевой стороны четвертого листа. А на его обороте Пушкин ставит жирную продольную черту и пишет следующее послесловие:

«Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной или потерянной. – Мы не хотели его уничтожить...» (VIII, 411).

Вот под этим-то послесловием и стоит дата: «26 окт.» без указания года. Допустим, Пушкин, не закончив вещь, действительно отложил ее на какое-то время, вернулся к ней потом и написал послесловие. Тогда дата, им выставленная, не относится ко всему «Отрывку», а фиксирует только момент создания послесловия. В этом случае основной текст теряет прочную связь с первой

<sup>120</sup> Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1001.

<sup>121</sup> См., например: *Бонди С.* Новые страницы Пушкина. М., 1931. С. 197-198; *Фейнберг И.* Незавершенные работы Пушкина. 7-е изд. М., 1979. С. 254-256; *Петрунина Н.Н.* «Египетские ночи» и русская повесть 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Вып. 8. С. 35-37.

болдинской осенью и по косвенному упоминанию о нападках Булгарина в «Северной пчеле» (в связи с арзрумским путешествием) может быть смутно датирован: не ранее 1830 года.

Другое дело, если Пушкин сразу написал весь «Отрывок» вместе с послесловием. Тогда и дата может относиться к тексту в целом, и болдинское происхождение фрагмента становится более вероятным. Но в этом случае в «Отрывке» уже нельзя будет видеть незаконченное произведение, как это делает, например, И. Фейнберг<sup>122</sup>. Ведь коли вещь написана сразу, вдруг, то и название «Отрывок», и хронологический разрыв между основным текстом и послесловием, равно как и намек на некую задуманную или потерянную повесть, становятся чисто художественными атрибутами. Автобиографические мотивы отрывка этим, конечно, не отменяются, но их строгая буквальность становится, по-видимому, проблематичной.

В дальнейшем мы будем придерживаться второй версии, т.е. полагать «Отрывок» произведением, написанным сразу и не сводимым к буквальной автобиографической канве. А потому согласимся и с общепринятой атрибуцией: Болдино, 26 октября 1830 года<sup>123</sup>.

Теперь мы надолго оставим суждения об «Отрывке» в целом и попробуем сосредоточить внимание на одном месте его текста, не слишком популярном у исследователей. Вот оно:

«Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил 3<мя> строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер 3<мя> звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти все наше старинное дворянство, он подымая нос уверял, что никогда не женится или возьмет за себя Княжну Рюриковой крови, именно одну из Княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно, ныне пашут сами и, встречаясь друг со другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: “Бог помочь, Князь Антип [Кузьмич], а

---

<sup>122</sup> См.: *Фейнберг И.* Незавершенные работы Пушкина. С. 254-256.

<sup>123</sup> К сожалению, здесь нет места для более подробных обоснований. Но часть их будет выяснена в ходе нашего изложения.

сколько твое Княжое здоровье сегодня напахало?» – Спасибо, Князь Ерема Авдеевич...» (VIII, 410)<sup>124</sup>.

Редкостно длинная для Пушкина, чуть ироническая фраза о каких-то князьях-пахарях с простонародными, именами – одно из самых темных мест не только в болдинской, но и во всей пушкинской прозе.

Начнем ab ovo: род князей Елецких, рюриковой крови, существовал. Он восходит к черниговскому князю Михаилу Всеволодовичу, не поклонившемуся монгольским святыням, за то убитому в Орде в 1246 году и канонизированному русской церковью. Основоположник рода Федор Иванович Елецкий участвовал в Куликовской битве, а в 1395 году был уведен в полон Тимуром, разорившим, как известно, только один русский город – Елец. И позже Елецкие хорошо видны на исторической сцене – они действуют «в битве и совете» на протяжении XV-XVIII столетий, особенно в «смутное время». К раннепетровской эпохе четверо Елецких владеют населенными вотчинами<sup>125</sup>.

О роде Елецких-рюриковичей Пушкин несомненно знает. Знает хотя бы потому, что он внимательный читатель «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, а в этом 12-томном сочинении имя Елецких встречается не менее чем на 36 страницах<sup>126</sup>.

Древний род «присмирел», по-видимому, в XVIII столетии. Его мужская линия пресеклась в 1782 году смертью князя Михаила Федоровича Елецкого. Три его дочери мало подходили на роль невест для «приятеля-стихотворца» из пушкинского «Отрывка» – прежде всего по возрасту. Самая младшая из них, Елизавета, не могла родиться позже 1783 года: не меньше 46 лет, если она дожила до арзрумского похода. Кроме того, она была замужем за статским советником Я.Е. Арсеньевым. Средняя сестра, Анна, родилась в 1776 году и вышла за майора И.В. Головина. Только старшая Елецкая, Александра Михайловна (1774-1845), осталась девицей, т.е. княжной. Спустя десятилетие после ее смерти исследователь

<sup>124</sup> В отступлении от публикации мы сохранили в цитате прописные буквы в началах слов «Князь», «Княжна», «Княжое», «Рюриковой», ясно читаемые в автографе.

<sup>125</sup> См.: Российская родословная книга, издаваемая кн. Петром Долгоруковым. СПб., 1854. Ч. 1. С. 66, 68-69.

<sup>126</sup> См.: Строев П. Ключ к Истории государства Российского Н.М. Карамзина. М., 1836. Ч. 1. С. 137 (Подсчет наш. – В.Л.).

русской генеалогии писал: «Герб князей Елецких нам неизвестен, и мы даже не верно знаем, существует ли еще сей древний род?»<sup>127</sup>.

Значит, никаких «отцов и братья» княжен Елецких не было; в реальном мире их во всяком случае не знали<sup>128</sup>.

Другое дело в мире пушкинской прозы и – шире – в пушкинском творческом сознании.

Первый Елецкий встречается здесь на страницах «Арапа Петра Великого». Тетка Татьяна Афанасьевна называет Елецкого, пытаясь угадать выбранного государем жениха Наташи Ржевской (VIII, 25). Тут многое значительно. И то, что род Елецких в силе при Петре, – иначе его представитель просто не обсуждался бы как жених, предложенный государем. И то, что имя Елецкого мелькнуло в близком кругу фамилий, реально родственных Пушкину, – Ганнибалов и Ржевских.

Судьбу этого славного рода Пушкин развивает в «Пиковой даме»<sup>129</sup>.

В самом начале II главы находим диалог старой графини с внуком ее, Павлом Томским, диалог, который, за вычетом соображений о смерти ровесницы старухи, записан так:

«...Был ты вчера у \*\*\*?»

– Как же! очень было весело; танцовали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

– И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? <...> Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот» (VIII, 231-232).

<sup>127</sup> См.: Российская родословная книга... Ч. 1. С. 69. Правда, во 2-й ч. этой книги, вышедшей в 1855 году, род Елецких показан как существующий (С. 291). В 70-е годы князь В.М. Елецкий состоял при полтавском епископе (см.: *Достоевская А.Г.* Воспоминания. М., 1981. С. 349). Сборник стихотворений князя Леонида Елецкого был издан в Варшаве в 1899 году. Но эти противоречия – предмет другого исследования.

<sup>128</sup> Вероятно, Е. Баратынский поэтому воспользовался фамилией Елецкий для героя своей поэмы «Наложница».

<sup>129</sup> Для нас несущественно, что «Отрывок» написан позже «Арапа», но предшествует «Пиковой даме» – тут важна не хронологическая, а логическая последовательность творчества Пушкина.

Если графиня рассказывает анекдот «Богородицыны дочки» – о шести девицах, пожалованных фрейлинами при восшествии на престол Екатерины II (XII, 202), то выходит, что Елецкие не последние люди и в 60-е–70-е годы XVIII века. Можно и не обращаться к этому анекдоту, записанному Пушкиным, – все равно представление фрейлин не выйдет раньше царствования Елизаветы и позже начала царствования Екатерины II. Дарья Петровна названа княгиней, значит, либо на ней, фрейлине, женился князь Елецкий; либо за князя Елецкого вышла ее дочь. Так или иначе, но при императрицах, по Пушкину, род еще благоденствует.

Но уже в «Пиковой даме», действие которой несомненно развивается в пушкинское время, есть намек на пошатнувшееся положение древнего рода: Томский, которому так нравится Елецкая, в конце концов женится не на ней, а на вздорной кокетке, княжне Полине (VIII, 243, 252), вероятно, богатой наследнице.

Тем самым проступают контуры семейной истории, так хорошо знакомой Пушкину и так много его занимавшей. Елецкие как бы становятся параллелью Пушкиным из «Моей родословной», Езерским из «Родословной моего героя» и неназванным предкам Евгения из «Медного всадника». Несоответствие рода и общественного положения отличает Лизу из «Романа в письмах» – «смирненную демократку» из рода, принадлежащего «к самому старинному русскому дворянству» (VIII, 49). В том же романе устами героя явно говорит сам автор: «Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру. Древние фамилии приходят в ничтожество <...>. Состояния сливаются <...>» (VIII, 53).

Да и Гриневы из «Капитанской дочки» не совсем посторонние «слиянию состояний»: старик Андрей Гринев – самостоятельный помещик, а в эпилоге романа, т.е. через два-три поколения, «находится село, принадлежащее десятерым помещикам» (VIII, 374).

Владеть одной десятой частью села – тут уже воистину шаг до собственноручной пахоты<sup>130</sup>.

Князьями-пахарями из «Отрывка» Пушкин прозревает будущее. Но волнует его не только – да и не столько –

<sup>130</sup> Известен реальный обедневший род князей Мышецких, пахавших землю в Новгородской губернии. Их фамилию не без оснований связывают с фамилией героя Достоевского – князя Мышкина. См.: *Шенелев Л.Е.* Отмененные историей... Л., 1977. С. 105.

экономические причины «слияния состояний», сколько нравственные последствия таких перемен.

Перед лицом новых времен, когда жизненное устройство страны все больше определялось чиновничеством и «бородатыми миллионщиками», старинный патриархальный уклад, несмотря на свою обреченность, получал в глазах Пушкина высокий этический смысл. Пушкин, конечно, не обольщался «выгодами» крепостничества – темные его стороны он знал прекрасно и одобрять не мог. Но его идеалу несомненно соответствовала крестьянская община старых, докрепостнических веков, община, естественным главой которой выступает добрый, неслуживый вотчинник, князь или боярин, в котором мужики видят прежде всего отца, покровителя, справедливого судью. Отношения в такой идеализированной среде мыслятся как чистые, основанные на уважении, едва ли не семейные.

Отсюда – понятие о пахаре как о личности почтенной и о его занятии как о деле во всех отношениях безупречном.

И тот же, любезный Пушкину, взгляд, тот же докрепостнический идеал был распространен в народной крестьянской среде. Например, еще с древности на Руси широко ходило апокрифическое сказание «Как Христос плугом орал». В нем повествовалось, как Сын Божий увидел, идя по дороге в Вифлеем, пашущего крестьянина и сменил его за плугом, проложив три борозды и засеяв их. Такая же легенда существовала и о пахарях-апостолах: в ней за плугом идут верховный апостол Петр и особо чтимый в России апостол Андрей<sup>131</sup>. Тем самым пахота, крестьянский труд возводились в ранг святого, богоугодного дела.

Все это было близко понятиям самого Пушкина. В дневнике князя П.И. Долгорукова, сослуживца поэта по Кишиневу, есть характерная запись, отражающая пушкинскую оценку сословий. За столом у наместника разговор зашел о политических вопросах, и, обличая дворян, «Пушкин разгорался, бесился, выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частию, один класс земледельцев почтенный»<sup>132</sup>.

<sup>131</sup> См.: Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. М., 1977. С. 17-18.

<sup>132</sup> А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 361.

Разумеется, Долгоруков сохранил для нас только бледную тень пушкинских суждений. Но даже из его приблизительного пересказа ясно, что Пушкин нападает вовсе не «на все сословия», а только на дворян, занятых штатской и военной службой. Бюрократия и крестьянская община – вот полюсы, вот основная антитеза пушкинских воззрений. Засилье чиновников безнравственно. Но зато неслужащий вотчинник, чей смысл жизни состоит в благоденствии крестьян, естественно и по праву примыкает к «почтенному классу земледельцев», почитается вместе и наряду с ним. Это прекрасно выражено на страницах пушкинского «Романа в письмах»: «Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением 3-х тысяч душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши» (VIII, 52-53).

Все это помогает понять возможный ход мысли князей Елецких из болдинского «Отрывка», стоящих, как мы помним, на грани между реальностью и вымыслом. Разорение толкает их на общий путь – путь службы бюрократическому государству и, следовательно, измены патриархальным идеалам. Так поступит Евгений «Медного всадника» – не за то ли настигнет его карающее провидение? Нет, рюриковичи-Елецкие служить не станут. Они предпочтут вовсе уйти с исторической сцены, раствориться в любезном им крестьянском мире. Они примкнут к «почтенному классу земледельцев», будут зваться мужицкими именами, но сохранят вечные духовные ценности.

Стихотворец, главный герой «Отрывка», все это прекрасно понимает. Для него рюриковна из пахарей – идеальная невеста, взятая в лучшей семье, не опороченной ни канцелярским переписыванием депеш, ни участием в торговых оборотах. Важно и то, что в намеке о благородных пахарях слышится ирония. И даже, пожалуй, самоирония. Пушкин знает, что идеал столь же прекрасен, сколь и несбыточен. И тем отчасти предвосхищает последующие неудачные попытки его воплощения, связанные с именами Баратынского, Фета, Л. Толстого.

Только учитывая все это сложное переплетение реального и идеального, можно, по нашему мнению, говорить об отношении «Отрывка» к биографии Пушкина.

Внимательное чтение строк о князьях Елецких помогает выявить в них след болдинских впечатлений автора. Показательно в этом смысле обращение князя Еремы Авдеевича к титулованному родственнику Антипу Кузьмичу: «...а сколько твое Княжое здоровье

сегодня напахало?»). Вместо официального «ваше сиятельство» поставлено тут чуть ироническое, домашнее «твое здоровье». Такое обращение встречается, как известно, в болдинском письме Пушкина к реальному князю, именно князю П.А. Вяземскому, от 5 ноября 1830 года, т.е. написанному десять дней спустя после «Отрывка»: «Здесь (т.е. в Болдине. – *В.Л.*), – пишет Пушкин, – крестьяне величают господ титлом Ваше здоровье; титло завидное, без коего все прочие ничего не значат» (XIV, 123).

Обращение к барину «ваше здоровье» есть, таким образом, особенность местная; она как бы прикрепляет воображаемый диалог князей к болдинским пашням. Здесь разыгрывается маленький спектакль: одни князь, титулуя другого этим «здоровьем», будто бы притворяется болдинским мужиком. А этот другой восстанавливает равенство обращением «князь». Тем демонстрируются и слияние с крестьянским миром, и память о древнем достоинстве рюриковичей.

Но в анекдоте о князьях-пахарях находится, кажется, и более существенный болдинский мотив.

Покидая Москву для поездки в Болдино, Пушкин расстался с семьей невесты в отношениях почти враждебных. О ссоре с госпожой Гончаровой, о размолвках, колких обиняках и московских сплетнях по поводу своей свадьбы он прямо говорит в письмах на рубеже лета и осени 1830 года (см.: XIV, 110-111). В конце концов в Болдино приходят даже письма отца поэта, Сергея Львовича, о том, что свадьба расстроилась (см.: XIV, 120, 124; пер. с фр., 417, 419).

В двадцатых числах октября Пушкин в полном отчаянии: писем от Натальи Николаевны нет уже больше месяца, в Москве, где она осталась, свирепствует холера, выехать из Болдина он не может – карантины. Наконец, письмо от невесты приходит. Оно не сохранилось. Судить о его содержании можно только по ответу Пушкина, датированному по арзамасскому почтовому штампелю – не позднее 29 октября<sup>133</sup>. Впечатления Пушкина от письма Натальи Николаевны прорываются уже в первой фразе ответа: «Милостивая государыня Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски<...>» (XIV, 118). В нарушение этикета все письмо писано по-русски и полно упреков. Перед нами, по-видимому, свидетельство дошедшего до самого низкого градуса предсвадебного охлаждения Пушкина к невесте.

---

<sup>133</sup> См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. М.; Л., АН СССР, 1937. С. 204.

В особенности важна вторая фраза пушкинского ответа: «Письмо Ваше от 1-го окт.<ября> получил я 26-го» (XIV, 119). Значит, огорчившее его послание невесты Пушкин читает 26 октября. А ведь это, как мы помним, именно и есть дата, стоящая под «Отрывком». Хронологическое совпадение полное. Оно-то и укрепляет нас в мнении, что между реальными осложнениями пушкинского жениховства и идеальной женитьбой стихотворца на рюриковне из семьи князей-пахарей есть связь, есть некая зависимость.

К тому же склоняет нас и основной сюжетный ход «Барышни-крестьянки», написанной в Болдине несколько ранее «Отрывка». Ведь Лиза Муромская своей мистификацией обретает черты, роднящие ее с княжной Елецкой, – она и дочь «настоящего русского барина», и ходит в лаптях да сарафане. В свою очередь Алексей Берестов поставлен перед хорошо нам знакомым выбором: вначале он не хочет идти в статскую службу, а в конце его посещает «романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами» (VIII, 123). Конфликт разрешается улыбкой, несерьезно. Но, во-первых, и повествованию о князьях-пахарях в «Отрывке» присущ несомненно иронический тон. А во-вторых, Алексей Берестов обретает счастье с рукою Лизы и званием неслужащего вотчинника, склонного скорее играть в горелки с крестьянскими девушками, чем убивать жизнь в канцелярии.

Пушкин верен себе. Его личность, его пристрастия явственно различимы в почти сказочном намеке о Елецких. Все это и позволяет судить о характере болдинского «Отрывка», – во всяком случае о смысле места с князьями-пахарями. Оно не более автобиографично, чем «Барышня-крестьянка». Но и не менее. И стоит ли искать мотивы настоящего жизнеописания там, где мы встречаемся с прекрасной мечтой, с «биографией души», а не с буквальной канвой биографического словаря?

## **РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ В ИСПОЛНЕНИИ МОЦАРТА И САЛЬЕРИ** **БЛАГОДАТЬ И ЗАКОН**

К столетию гибели Пушкина, в 1937 году, Вячеслав Иванов опубликовал статью «Два маяка»; в ней трагедия «Моцарт и Сальери» – в который уже раз в русской мысли – стала почвой,

питающей религиозно-философское древо. Не касаясь всех его мощных разветвлений, заметим у Вяч. Иванова только одну идею; или – если продолжать сравнение с деревом – только один тонкий, но жизнеспособный побег. Речь идет о характеристике драмы, соотнесенной с одним из фундаментальных новозаветных понятий.

О Сальери:

«Таковы пламенная и подвижническая вера, духовная гордость, титанический мятеж этого работника упорного и плодovitого, этого художника, строгого и непогрешимого, но никогда не знавшего Благодати».

О Моцарте:

«Гений Моцарта – чудо сверхъестественное... Красота открывается через посредство гения, гений же есть дар Божественной Благодати».

О действии:

«Сальери-сатана пытается оправдать свой умысел при помощи рассуждений, направленных против вмешательства божественной благодати в дела человеческие»<sup>134</sup>.

В этом значении благодать понимается как неисповедимый и милостивый произвол Бога по отношению к человеку и людям. Она почти или даже совсем не зависит от усилий и поведения личности. Поэтому благодать нельзя заслужить. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя... – сказано у апостола, – Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» (Тит.: 3, 4-5). Уже здесь содержится объяснение смысла трагедии. По произволу небес Божественный дар пожалован «безумцу», «гуляке праздному», и не дан тому, кто пытается получить его «по делам праведности», старанием и усердием. Сальери не понимает благодати; отсюда – его первая реплика о неправде, царящей в небесах, его обида на Божественное провидение.

Все это известно, много раз обсуждалось.

Но напомним: новозаветное мирозерцание традиционно знает не просто благодать, а парную категорию, как бы две ступени на пути к истине – *закон и благодать*. Тут закон есть сравнительно простая система запретов и разрешений, восходящая к Моисеевым скрижалям и данная «рабам Божьим». Христос приходит не для того, чтобы нарушить «ветхий» закон, а чтобы его укрепить

---

<sup>134</sup> *Иванов Вяч.* Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. М., 1995. С. 230, 231.

(Матф.: 5, 17). Но Он несет с Собой благодать, которая *выше* закона; одаренный благодатью перестает быть «рабом», обретает великую свободу – свободу духа.

Нетрудно понять, что в пушкинской трагедии Сальери должен олицетворять собой именно закон. Ведь Сальери не только «поверил алгеброй гармонию», но и соблюдает в творчестве своем систему запретов и разрешений, установленную не им и до него. Его понятия не идут дальше простой механики: чем дольше взбираешься, тем выше взберешься; чем усерднее труд, тем выше награда. К Сальери можно отнести афоризм Пушкина: «Ученый без дарованья подобен бедному мулле, который изрезал и съел Коран, думая исполниться духа Магометова» (XI, 52). Напротив – артистизм Моцарта благодатен, следовательно, изначально высок и свободен.

Сальери – закон, Моцарт – благодать... Так ли? Не впадаем ли мы в грех простого олицетворения идеи? Не становятся ли герои трагедии пресловутыми «представителями» абстрактных понятий, почерпнутых за пределами словесности, как это не раз случалось? В другой системе координат Онегин уже бывал воплощением раннего декабризма, а Германн из «Пиковой дамы» – символом буржуазности. Но – нет. При обращении к Евангельским понятиям такие линейные соответствия у Пушкина все-таки не проходят, отторгаются.

Достаточно указать хотя бы на одно коренное отличие священной истории от пушкинской трагедии. Все понятия христианства восходят к Единому Богу, им определяются и им заданы. А в «Моцарте и Сальери» оба действующих лица представлены как сыновья гармонии, как жрецы «Единого прекрасного». В роли жрецов, служителей муз, они должны восприниматься как язычники, или – по меньшей мере – как ренессансные люди, исповедующие слияние обоих культурных потоков. Поэтому прямое каноническое применение новозаветных понятий к «Моцарту и Сальери» вряд ли уместно – можно только пожалеть, что Вяч. Иванов не развил своей догадки о благодатном гении Моцарта.

Ренессансную, язычески-христианскую двойственность своего дара ощущает и сам Пушкин. В стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» он как бы находится в русле гораціанской античности, но ключевая строка финальной строфы обнаруживает совсем иное культурное начало:

Веленью Божию, о муза, будь послушна...

В слове «Божию» советские издания не сохранили прописную букву, ясно читаемую в автографе<sup>135</sup>. С прописной буквы это слово писалось только в том случае, когда речь шла о верховном существе Библии<sup>136</sup>. Значит, муза должна быть послушна Единому Богу. Но в библейском космосе нет муз, а музы античности Единого Бога не знают. Похожее смешение двух культурных начал, видимо, происходит и в «Моцарте и Сальери», где новозаветные понятия закона и благодати выявляются далеко не канонически.

Проверим себя еще раз.

В третьей песни «Полтавы», в хрестоматийном описании битвы, есть четверостишие, прямо отвечающее на наш вопрос об обращении Пушкина к новозаветным понятиям:

Тесним мы шведов рать за ратью,  
Темнеет слава их знамен,  
И бога браней благодатью  
Наш каждый шаг запечатлен (V, 56).

Разумеется, «бог браней» есть бог языческий – Марс; потому со строчной буквы и пишется. Марсова благодать – явление канонически совершенно невозможное, но зато близкородственное музе, послушной Единому Богу. Ренессансное пренебрежение границами выступает совершенно отчетливо.

Этим многое объясняется и в маленьких трагедиях.

Сальери и Моцарт служат музам, пантеону, что подчеркнуто самохарактеристикой Моцарта. Между тем, несмотря на явную условность места и времени, вся трагедия построена на фундаменте христианских ценностей; это много раз отмечалось<sup>137</sup>. Поэтому мы не можем сомневаться ни в благодати, осеняющей Моцарта, ни в законнической, фарисейской «закваске» Сальери.

В болдинской трагедии происходит то же, что в «Памятнике» и «Полтаве» – действие античной драмы «послушно» библейской традиции с ее строгими понятиями греха и искупления, правды

<sup>135</sup> Фотокопию автографа см.: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 3. Л., 1977. С. 339.

<sup>136</sup> Например, в строке «Я не ропщу, что отказали боги...» (III, 420) слово «боги» начинается со строчной буквы, т. к. это персонажи пантеона.

<sup>137</sup> См., например: *Булгаков С.* Моцарт и Сальери // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С.294-301; *Новикова М.* Пушкинский космос // Пушкин в XX веке. Вып. 1. М., 1995. С. 186-229; *Белый А.А.* «Я понятия тебя хочю...». М., 1995. С. 97-120.

земной и истины небесной, закона и благодати. С этой точки зрения, например, кажется недооцененным тост Моцарта, следующий сразу за убийственным жестом Сальери, бросающим яд в стакан:

...За твое  
Здоровье, друг, за искренний союз,  
Связующий Моцарта и Сальери,  
Двух сыновей гармонии (VII, 132).

Два сына, из которых один удостоивается благодати, а другой – нет, есть мотив в священной истории хорошо известный. Он начинается прямо с Каина и Авеля и продолжается историей детей праотца Авраама. Старший сын Измаил, рожденный рабыней, изгоняется; наследие, а вместе с ним и прообраз благодати, получает младший сын – Исаак (Быт.: 21,10-14). Та же драма разыгрывается потом между сыновьями самого Исаака – Исавом и Иаковом, о чём нам ещё придётся говорить. Благословение вновь получает не старший, Исав, а младший, Иаков (Быт.: 25,31-34). Новозаветная традиция расширяет коллизию до судеб целых племен: старший народ, иудеи, остается носителем ветхого закона, а благодати удостоиваются молодые народы, грешники, вчерашние язычники.

У Пушкина нигде прямо не сказано, что Сальери (1750-1825) старше Моцарта (1756-1791). Так было в действительности. Но и в условном пространстве трагедии это тоже подразумевается. Недаром же Сальери назван приятелем Бомарше, который восемнадцатью годами старше Моцарта. Да и сама реплика о друге, который «несколько занес нам песен райских», говорит о том, что Моцарт явился уже тогда, когда Сальери в искусстве «достигнул степени высокой» (VII, 124).

Почему-то «Бог гармонии» распоряжается судьбами двух своих сыновей точно так, как того требует помянутая библейская традиция. Старший, Сальери, следует «велению Божию» усердно и далеко, но не дальше, чем того требуют его пророки – Глук, Пиччини. Является Моцарт – гармоническая благодать во плоти; он – бог. Он творит чудеса. Но старший сын с «алгеброй» своего закона не может перед этим смириться. Характерно, что Сальери свой счет Моцарту выставляет как раз в формах драмы авраамова потомства:

Наследника нам не оставит он.

Что пользы в нем? (VII, 128)

Речь идет всего лишь о сообществе сочинителей музыки. Но в устах Сальери вопрос обретает даже не династический, а

религиозно-династический характер. Если бы трагедия действительно укладывалась в рамки сомнительного происшествия в Вене в 1791 году, то Пушкин, думается, не дал бы Сальери реплики о наследнике. Ведь Сальери сам не может претендовать на «гармоническое первородство» – он только подражатель, идущий вослед пророкам. Но, как человек закона, он озабочен самой идеей правильного наследования – наследования по старшинству рода и возраста. Сальери не приемлет Моцарта так же, как малые ветхозаветные пророки отвергали бы царя не из рода Давида<sup>138</sup>. Они забывали, что закон не был соблюден с самого начала, от сыновей Адамовых – дар старшего, Каина, не был угоден Богу. Бог призрел на младшего, Авеля, но попустил убить его (Быт.: 4, 1-8).

Черты мистерии, построенной на этом сюжете, нетрудно различить в «Моцарте и Сальери».

Серьезный, коренной мотив никогда у Пушкина не замыкается в рамках одного произведения. Франц, главный герой «Сцен из рыцарских времен», завидует рыцарям и страдает на манер Сальери. Попытка Франца стать благородным дворянином – натужна; она сродни съедению Корана у муллы или же воззрениям Сальери. Но отсвет священной истории не менее чем дважды падает на драму молодого суконщика. Когда Франц жалуется монаху Бертольду на неравенство среди людей, тот отвечает формулой, в которую по существу укладывается «Моцарт и Сальери»: «Каин и Авель, – напоминает Бертольд, – тоже были братья, а Каин не мог дышать одним воздухом с Авелем – и они не были равны перед Богом. В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть» (VII, 220). О чем же, в сущности, повествует пушкинская маленькая трагедия? Да все о том же – о неравенстве и о зависти.

Второй раз мотив сложного соотношения закона и благодати выступает в песне Франца перед рыцарями, полный текст которой традиционно восходит к стихотворению 1829 года «Жил на свете рыцарь бедный...». Сумрачный герой песни нарушает религиозный закон. Он не молится Святой Троице, а выбирает предметом поклонения только одну Пречистую Деву. И потому бес совершенно прав, когда тащит душу рыцаря в ад: «Не путем-де волочился // Он за матушкой Христа». Спасение крестоносца происходит вопреки

---

<sup>138</sup> Ренан Э. История Израильского народа. В 2-х т. Т.1. СПб., 1912. С. 398-399.

закону, по Божественной благодати: только потому, что Пречистая «сердечно // Заступилась за него» (III, 162).

В начале и даже в середине «Сцен из рыцарских времен» певец Франц выступает едва ли не близнецом Сальери – он завидует благородным, и невозможность до них возвыситься влечет его к попытке убить рыцарей – пусть не ядом, так косою и дубиной. Но жизненные неудачи и несчастная любовь усложняют его характер, помогают преодолеть плоский эгалитаризм. Песенка о рыцаре бедном – особенно в варианте 1829 года, хронологически близком к «Моцарту и Сальери», – еще раз доказывает ущербность закона и величие благодати. Если спасен суровый паладин, прямо отвергающий Христа, то в пушкинском мире тем более может рассчитывать на прощение и спасение «безумец», «гуляка праздный». Но Сальери этого не постигает.

И тут мы подходим к еще одной важной грани маленькой трагедии – к ее национальной особенности. Вопрос о прощении и спасении героев только поставлен; он решается как бы за пределами действия. «Царство вечно» – для Моцарта; но будет ли прощен Сальери? В принципе и это возможно, ибо понятие о безграничной благодати Божьей есть краеугольный камень именно русской религиозности. И, может быть, нигде это не проступает так ясно, как в диалоге «двух сыновей гармонии».

Философ Иван Ильин давно заметил, что «Моцарт и Сальери» – среди других произведений Пушкина – «есть *русское*, национальное, творческое видение, узренное в просторах общечеловеческой тематики... За иноземными именами, костюмами и всяческими «сходствами» парит, цветет, страдает и ликует *национальный дух народа*»<sup>139</sup>.

В русле избранного нами истолкования пушкинской трагедии нетрудно показать ее отечественные корни. Первым из известных нам религиозных сочинений древней Руси можно считать «Слово о Законе и Благодати», созданное в XI веке киевским митрополитом Иларионом». В нем сильно, точно обрисованы и обе ступени божественного приобщения людей и племен, и соотношение между этими ступенями. Под пером древнерусского писателя отчетливо проступают контуры закона как способа рабского, мы бы сказали, механического следования по пути, указанному Богом; благодать же

---

<sup>139</sup> Ильин И.А. Пророческое призвание Пушкина // Пушкин в русской философской критике. С. 334.

объясняется как дар, с которым человек перестает быть рабом законнической догмы, обретает духовную свободу.

Пушкин вряд ли знал сочинение митрополита Илариона; оно было опубликовано в 1844 году, уже после гибели поэта. Но имя древнего подвижника и название его труда могли быть Пушкину известны – на них ссылались А.Н. Оленин в 1806 и Н.М. Карамзин в 1816 годах<sup>140</sup>. Независимо от степени реального проникновения в мир древнерусского памятника Пушкин в своих размышлениях о Ветхом и Новом Заветах находится в пределах иларионовой традиции, развитой в русской мысли на протяжении веков – с XI по XVIII столетие. Так, по весьма обоснованной гипотезе В.Я. Дерягина, автор «Слова о Законе и Благодати» принимал участие в составлении «Правды Ярослава», первого свода законов христианской Руси<sup>141</sup>. Отсюда можно заключить, что традиционные правовые воззрения в той или иной мере восходят к Илариону, к его понятиям об истине и справедливости. Они не могли полностью исчезнуть во времена петровских реформ.

Кажется, никто не обращал внимания на то, что для Сальери мотив обычной, если угодно, чисто юридической ответственности человека исчерпывается уже в первой реплике: «нет правды на земле». Разумеется. Ведь между людьми властвует всего только ущербный и несовершенный закон, которому почему-то надлежит рабски следовать. Особенность Сальери в том и состоит, что, будучи человеком закона, он законом же и тяготится. В этом смысле все рассуждения Сальери и сводятся к тому, чтобы обосновать свое право на свободу от этого закона, на насильственный переход его границ. Убийство друга становится для Сальери своеобразным «творческим» актом, возможностью «гениального» самоосвобождения. Он как бы ищет тут «черной благодати».

Аналогии с известными характерами отечественной истории и литературы – просто напрашиваются. По этой же логике действует Борис Годунов, герой одноименной пушкинской трагедии. «Рожденный подданным» (VII, 89), т.е. рабом, он по-сальериански завидует и по-сальериански же устраняет *младшего* из богоизбранной династии. Затем Самозванец в основных чертах

---

<sup>140</sup> *Иларион. Слово о Законе и Благодати.* Сост., вступительная статья, перевод В.Я. Дерягина. Реконструкция древнерусского текста Л.П. Жуковой. Комментарий В.Я. Дерягина, А.К. Светозарского. М., 1994.

<sup>141</sup> *Дерягин В.Я.* Иларион. Жизнь и «Слово» // Иларион. Слово о Законе и Благодати. С. 7.

повторяет путь Бориса – вплоть до убийства молодого Феодора. Вариациями той же темы – ближе или дальше – будут едва ли не все убийцы в пушкинских произведениях: Пугачев из «Капитанской дочки», Германн из «Пиковой дамы» и даже Онегин.

В последнем случае любопытно не только подсознательное чувство Евгения, завидующего счастливому певцу, который умеет идти обыкновенным жизненным путем, – это зависть к *младшему*; она еще мало выявлена и осмыслена. Любопытно то наказание, которому Онегин подвергается в атмосфере романа. Вопреки бытовой правде Онегин осужден за дуэль не по закону, а по более высокому, нравственному принципу, олицетворяемому Татьяной. Нам уже знакомо это ренессансное сочетание античной музыки и христианской благодати<sup>142</sup>.

Конечно, категориями «Слова о Законе и Благодати» герои пушкинской трагедии прямо и полно не объясняются – все-таки Пушкин не читал сочинения Илариона. Но древнерусская традиция может быть выявлена по косвенным признакам, по ориентации на общие библейские протографы, переосмысленные в отечественной культуре.

В начале своего сочинения, отмечая восхождение рода людского от низшей стадии божественного приобщения к высшей, Иларион утверждает:

Прежде Закон, ти по том Благодать.

Прежде стень, ти по том Истина<sup>143</sup>.

Благодать в этих стихах соотнесена с Истиной. Это понятно. А Закону, т.е. ранней, доевангельской стадии веры, соответствует у Илариона «стень». Возможные переводы слова «стень» суть: тень, прообраз, отражение<sup>144</sup>. Значит, полноте Истины предшествует некая ее тень, некий прообраз.

<sup>142</sup> Дерягин В.Я. Иларион. Жизнь и «Слово». С. 7.

<sup>143</sup> Сложную коллизию закона и благодати, несомненно родственную маленькой трагедии, Пушкин в том же 1830 году затрагивает в главе восьмой «Евгения Онегина», когда вспоминает свою молодость: он жил «в закон себе вменяя // Страстей единый произвол (VI, 166). Оксюморон «закон – произвол» подчёркивает здесь опасную удалённость от благодатных основ.

<sup>144</sup> Иларион. Слово о Законе и Благодати. С. 33, 119. Истолкование слова «стень» как «тень», «призрак» см. также: Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. М., 2002. С. 448.

Возможен и другой перевод слова «стень» – *подобие*. Тогда формула Илариона будет звучать так:

Прежде подобие – потом Истина .

Независимо от того, «тень» тут или «подобие», – все равно речь идет об ущербной истине, о некоем ненаполненном контуре благодати. Контур, внешний вид, призрак – присутствуют, но не следует обманываться: Истина здесь находится лишь формально, лишь зримо, а не по существу. Путь от «стени» к Истине и есть, по Илариону, духовная история народов – от Моисеевых скрижалей, через искупительную жертву Христову и далее – к крещению Руси при князе Владимире Святом. Иларионова проповедь, однако, не ограничивает понимания «пути и истины» только лишь великими движениями пророков и племен. Она возвращает нас к истокам возникновения и становления отдельного человека.

В книге «Бытие» рождению ветхого Адама предшествует монолог Творца: «И рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт.: 1, 26). В русле иларионовых прозрений можно понять, что уже в существе первочеловека были заложены идеи образа и подобия Божия, которые и суть начала закона и благодати. Ибо подобие Творца – только законно; а образ Его – благодатен.

Вероучение Илариона и его последователей всегда стояло на преувеличенном, резком отторжении законнической ограниченности и на столь же преувеличенном уповании на благодатное, хотя и ничем не заслуженное вмешательство Провидения в дела людские. Вот почему у Пушкина Сальери лишь подобие, лишь имитация творца; вот почему Моцарт есть гений не по праву и правилу, а изначально – как Бог, даже не знающий о своей божественности; вот почему прав старый философ, утверждавший, что в «Моцарте и Сальери» национальный дух народа «парит и цветет, страдает и ликует»...

### **ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ ПРЕДКЕ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ПУШКИНА**

К биографии своего предка по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала Пушкин испытывал, как известно, постоянный интерес и возвращался к подробностям ее многократно и по разным поводам. Если вспомнить, что еще в 1817 году в псковской деревне недавний выпускник лицея расспрашивал своего

двоюродного деда о черном предке, а почти два десятилетия спустя придворный историограф отыскивал всякую строку об африканском сподвижнике Петра I, то станет ясным: вся жизнь Пушкина прошла под знаком самого высокого уважения к этой исторической личности.

Надо ли напоминать о том, как могучая фигура Абрама Ганнибала выступала на страницах пушкинских произведений – от «Евгения Онегина» и «Арапа Петра Великого» до «Моей родословной» и «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений»? Написано об этом много<sup>145</sup>. Однако тема и до сих пор не кажется исчерпанной.

В сознании поэта «царский арап» был персонажем объемным и многозначным – это очевидно. Пушкин не был бы Пушкиным, если бы в размышлениях своих ограничивался только реальным, документально достоверным Ганнибалом. Сколько бы ни занимали его факты из жизни «негра безобразного», все же поэт и философ порою должны были торжествовать здесь над историографом. Поэтому, предполагаем мы, образ Ганнибала слагался у Пушкина как некое многогранное единство, обитающее на скрещении истории и современности, фактографии и мифологии, прозы и поэзии.

В этом смысле весьма показательно одно пушкинское замечание из «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений». Оно навеяно известным случаем: Булгарин в «Северной пчеле» наносит едва только замаскированное оскорбление памяти Ганнибала. На это Пушкин откликается так: «В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой... был куплен за бутылку рому.

Прадед мой если был куплен, то вероятно дешево, но достался шкиперу, коего имя всякий русский произносит с уважением и не всуе». Это о Петре. И далее о Булгарине: «...не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (XI, 153).

---

<sup>145</sup> *Леец Георг.* Абрам Петрович Ганнибал. Биографическое исследование. Таллинн, 1980; *Телетова Н.К.* К «немецкой биографии» А.П. Ганнибала // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 272-285; *Малеванов Н.А.* Прадед Пушкина // Звезда, 1974. № 6; *Сергеев М.* Сибирские злоключения Арапа Петра Великого // Иркутск, 1970. № 6; *Козьмин Б.М.* «В деревне, где Петра питомец...» // Временник пушкинской комиссии, 1979. Л., 1982. С. 167-171.

Таким образом, Ганнибал назван в первый раз среди «лучших сограждан», а во второй – среди «праотцев». Несходные смысловые ряды, в которых упоминается царский арап, различаются здесь совершенно ясно. Первое определение вполне естественно звучит под пером гражданского историка, публициста, литератора. Второе влечет за собой совсем иной круг ассоциаций. Недаром же Пушкин так редко, так осмотрительно им пользуется. Только еще однажды<sup>146</sup> решается он назвать «праотцами» Кочубея и Искру – в финале «Полтавы»:

Цветет в Диканьке древний ряд  
Дубов, друзьями насажденных;  
Они о праотцах казенных  
Доныне внукам говорят (V, 460).

Понятие «праотцы» тяготеет к легендарной старине. Словарь Даля определяет прародителей как «первую известную по родословной чету, от коей вышел род, поколение, дом, колено». В церковном календаре «неделя праотцев» отмечается перед праздником Рождества. Пушкин отчетливо различает отцов как предков вообще и праотцев как основоположников рода, как святыню – церковно-славянское окончание в родительном падеже: «праотцев» – усиливает здесь этот смысловой оттенок.

Когда же речь идет просто о предшествующих поколениях, Пушкин тщательно избегает приставки «пра» к словам «отцы», «родители». Например, в «Евгении Онегине»:

...отослать его к отцам  
Едва ль приятно будет вам (VI, 131).

Но в том же романе:

О люди! все похожи вы  
На прародительницу Эву (VI, 177).

Осмысление Ганнибала как праотца знаменательно. Оно обязывает Пушкина ко многому. Древний культ предков, хотя бы и облагороженный веком Просвещения, вступает в свои права. Недаром же литературный противник обвиняется не просто в неуважении старины, но в загрознении «священных страниц».

---

<sup>146</sup> Лицейские строки Пушкина о «праотце Фатаме», конечно, не могут считаться серьезным словоупотреблением (XVII, 15).

Следовательно, история рода разворачивается и как священная история.

Для людей пушкинской поры и пушкинского круга мысленное восхождение от ситуации частного быта к высоким аналогиям из священной истории было нетрудным, в порядке вещей. Традиция прямого соотнесения горнего и дольного вела к истокам культуры. Уже первоначальные русские летописи, известные Пушкину и по Карамзину, и в оригиналах, предваряли реальную историю изложением «событий» от сотворения мира, согласованным с библейскими текстами. Эта неразделимость «священных страниц» и хода исторического времени помогала видеть в фактах современности и близкого прошлого прямую аналогию идеальным примерам.

В «Сценах из рыцарских времен», мы помним, такой мотив хорошо слышен в диалоге Франца и Бертольда. Первый жалуется на неравенство, которое несправедливо – ведь все произошло от Адама. А второй отвечает, что Каин и Авель «не были равны... В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть» (VII, 220). Подразумевается, что в последующих семействах повторяется то, что было в начальных, у праотцев. Об этом у нас уже шла речь.

Поэтому судьба Ганнибала могла быть для Пушкина не просто фактом реальной истории, но и некоторой аналогией общеизвестным «священным страницам». В культурно оформленном сознании того времени уже самое имя предка (Ибрагим – Авраам) намекало на праотцовство, на богоизбранность потомства. Разумеется, прямая аналогия тут и заканчивается. Ибо ничто, кроме имени, кажется, не связывает царского арапа с тезкой-патриархом.

Однако достойны внимания некоторые подробности бытования имен в семействе Ганнибала, подробности, прекрасно Пушкину известные. Так, Петр I при крещении мальчика дал ему свое имя, т.е. Петр. Но арап не согласился и «так как прежде на родине его именovali Ибрагимом (что по-арабски значит Авраам...), то по общей привычке звали его Авраамом»<sup>147</sup>.

У Ганнибала было 11 детей. Три его младших мальчика, «сыновья старости», родившиеся, когда отцу шел пятый-шестой

---

<sup>147</sup> Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М., 1935. С. 52.

десяток лет, носили имена: Осип (Иосиф), Исаак, Яков (Иаков)<sup>148</sup>. Цепочка имен от Авраама до Иосифа вряд ли могла быть выстроена случайно, вне ориентации на «священные страницы». При этом любопытна аналогия между биографиями прадеда и деда Пушкина. Первый был крещен Петром, а назывался Авраамом. Второй получил при крещении имя Януарий, но прожил жизнь под именем Осип (Иосиф)<sup>149</sup>. Отсюда имя матери Пушкина – Надежда Осиповна.

Кажется, сама судьба не дает роду отступить от традиционного ряда имен.

Итак, родной дед Пушкина зовется Осип, т. е. Иосиф.

Это имя, согласно библейской истории, носит правнук Авраама, «сын старости» Иакова и Рахили. Легенда об Иосифе Египетском должна была осознаваться Абрамом Ганнибалом как священная аналогия его собственной судьбе.

Исходным моментом библейского повествования об Иосифе служит, как известно, продажа в рабство. Старшие братья юноши, завидуя той любви, которую их отец питает к младшему, продают Иосифа купцам-измаильтянам. Из рук измаильтян невольник переходит в руки египтян. В Египте же после многих злоключений Иосиф становится ближайшим советником фараона.

Совпадение легендарной судьбы Иосифа с реальной судьбой Ганнибала было совершенно очевидно и для него самого, и для всех, кто знакомился с основными вехами его биографии. Рабство Иосифа у измаильтян находилось в прямом соответствии с невольничеством юного Ибрагима у турок в Константинополе. А служение фараону на далекой чужбине явно перекликалось со службой проданного арапа русскому царю.

Мысль Пушкина должна была сближать «праотцев» Иосифа и Ибрагима; утверждать это можно не только на основании общих соображений, хорошо подытоженных самим поэтом: «Я слишком с библейей знаком» (II, 291).

Есть и конкретное свидетельство такого сближения.

Как известно, одним из главных источников, которыми Пушкин пользовался, изучая жизненный путь прадеда, была

---

<sup>148</sup> Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал. С. 169.

<sup>149</sup> В своем «Начале автобиографии» Пушкин связывает перемену имени с трудностями, которые жена арапа с ее немецким произношением испытывала от имени Януарий (XII, 313).

биография царского арапа, написанная по-немецки мужем младшей дочери А.П. Ганнибала Адамом Карповичем Роткирхом<sup>150</sup>.

Этот текст, созданный несколько лет спустя после смерти А.П. Ганнибала, несомненно, отражает семейное предание. В нем есть важный эпизод, повествующий о попытке африканской семьи вернуть мальчика на родину.

Вот как об этом пишет автор немецкой биографии:

«В это время его (А.П. Ганнибала. – *В.Л.*) сводный брат, я думаю, побужденный тогда еще живой матерью этого европейского Ганнибала, в предположении, что этот сводный брат еще находится в Константинополе в качестве заложника, захотел его выкупить через посредство других, и выполнение этого поручил одному из своих младших братьев; последний отправился по следам увезенного нового Иосифа»<sup>151</sup>.

В переводе – а точнее, в пересказе – Пушкина это место записано так:

«В сие время брат его, полагая его в Константинополе и вероятно побужденный матерью сего последнего – послал братиев для искупления сего нового Иосифа»<sup>152</sup>.

Сличение немецкого текста с пушкинским выявляет два существенных для нас обстоятельства.

Во-первых, и в целом, и в интересующем нас месте пересказ Пушкина заметно короче оригинала. От неважных подробностей Пушкин отказывается. Но сравнение предка с библейским Иосифом Пушкин не упускает; оно важно и потому сохраняется в пушкинском тексте.

Во-вторых, сопоставление приведенных мест убеждает, что Пушкин не следует за фактами рабски. Немецкая биография утверждает, что старший брат невольника поручает его освобождение «одному из своих младших братьев». Пушкин же переосмысливает ситуацию: «послал *братиев*». Тем самым повествование чуть удаляется от оригинала, но чуть приближается к библейской версии. Формула «Иосиф и его брат» как-то нетрадиционна; зато «Иосиф и его братья» вполне в русле традиции. Век спустя так будет назван известный роман Томаса Манна.

<sup>150</sup> См.: *Телетова Н.К.* К «немецкой биографии» А.П. Ганнибала. С. 277-278,

<sup>151</sup> Рукою Пушкина. С. 52.

<sup>152</sup> *Там же.* С. 36.

Мотив, сближающий мальчика Ибрагима с юным Иосифом, находим в одном из вариантов примечаний Пушкина к первой главе «Евгения Онегина», где автор пишет: «До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшей; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен...» (VI, 654). Подобно ветхозаветному Иакову, отец любит и балует младшего из сыновей в ущерб отношениям со старшими. И так же, как Иаков, вынужден расстаться именно с ним.

Итак, семейное предание Ганнибалов, восходящее к самому герою, рекомендует его как «нового Иосифа». Для Пушкина такое сопоставление полно жизни и смысла. Можно для сравнения вспомнить его суждение о Гавриле Пушкине, действующем лице трагедии «Борис Годунов», – «один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах».

Значит, воображаемый сложный сплав «истории» «семейных бумаг» может участвовать и в создании образа другого пушкинского предка – Ганнибала. И, следовательно, аналогия царского арапа и библейского праотца способна как-то отразиться в сознании Пушкина, как-то повлиять на его творчество.

Для нашей темы будет важна еще одна черта, сближающая реальный жизненный путь Абрама Ганнибала с ветхозаветным мифом.

Дело в том, что, как пишет современный исследователь, «во всей истории Иосифа особую роль играют вещие сны, при этом Иосиф выступает то как “сновидец”, то как толкователь снов»<sup>153</sup>. Мальчик рассказывает братьям свои сны, недвусмысленно намекающие на его, Иосифа, первенство в роде: «... вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Это и служит непосредственным поводом продажи мальчика в рабство. Сон оказывается вещим: старшие братья в голодный год придут на поклон к младшему и попросят хлеба. В Египте сновидческая линия Иосифа продолжается; он верно толкует сны опальных фараоновых вельмож, а затем и сны самого фараона – о семи тучных и семи тощих коровах. Именно правильная интерпретация снов делает Иосифа доверенным лицом монарха, его ближайшим советником.

---

<sup>153</sup> Аверинцев С.С. Иосиф Прекрасный // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980. С. 555.

Впрочем, ветхозаветный сюжет более чем знаменит и не нуждается здесь ни в дальнейшей детализации, ни даже в обсуждении. Он упомянут только потому, что в немецкой биографии А.П. Ганнибала есть мотив, живо напоминающий миф об Иосифе-сновидце. Вот что читал в ней Пушкин о своем прадеде:

«Что касается Ганнибала, то он спал в дополнительном кабинете государя, в токарне, и вскоре сделался во многих важных случаях секретарем своего государя; у последнего над постелью всегда висело несколько аспидных досок; (как бы он ни был утомлен от дневных трудов и как бы ни нуждался в покое, его великий дух, вечно деятельный во благо подданных, этот почти никогда не отдыхающий дух, часто будил его и поддерживал в бодрствующем состоянии); и тут в темноте, без света, записывал он по вдохновению важнейшие и длинные проекты; на утро его питомец должен был эти заметки переписывать начисто и после надлежащего подписания рассылать их по коллегиям (и соответственным учреждениям, в качестве новых законов и повелений для исполнения)... Монарх... убеждался в способностях этого юноши, которые предвещали больше, чем судьбу писца»<sup>154</sup>.

Это место биографии в записи Пушкина снова читается куда более энергично и опять несколько приближается к «священным страницам»:

«Ган[нибал] неразлучный с Императором спал то в его кабинете, то в его *токарне* и вскоре потом сделался тайным секретарем своего Императора. – Государь имел всегда над своей постелью Аспидную доску; государь писал ночью приходившие ему мысли, а Ан[нибал] утром переписывал и разсылал по разным коллегиям, Государь был день ото дня более убежден дарованиями сего юноши»<sup>155</sup>.

Отступления Пушкина от использованного источника опять весьма многозначительны. Молодой арап, состоящий при сонных видениях Петра, назван *тайным* секретарем – такой должности, как известно, не было. На легенде, творимой поэтом, могли отразиться чуть более поздние исторические реалии: например, чин тайного советника по Табели о рангах (1721) или даже существование высшего имперского учреждения – Верховного тайного совета (1726-1730). Так ли, иначе ли, но Пушкин совершенно пренебрегает

<sup>154</sup> Рукою Пушкина. С. 51-52.

<sup>155</sup> Там же. С. 35-36.

намеком немецкого источника на роль писца, с которой начинается служба юного арапа при государе. Более того. Текст немецкой биографии сообщает, что ночные вдохновения Петра становились законами лишь «после надлежащего подписания». А Пушкин, следуя своей логике, опускает этот момент. И тем возносит своего предка на головокружительно высокую ступень государственности.

Разумеется, поэт бесконечно далек от чванливого преувеличения роли своего прадеда. История рода, сознаваемая как параллель священной истории, настоятельно требует наполнения будущей формулы «царю наперсник, а не раб» (III, 187).

Тот же мотив соучастия арапа в законодательном снотворчестве Петра Пушкин знал и по другому источнику – анекдоту, записанному И.И. Голиковым. С многотомной голиковской «Историей Петра» поэт познакомился не позднее середины 1820-х годов<sup>156</sup>, и рассказ, записанный со слов самого предка, несомненно, запомнил:

«Сей российский Ганнибал, между другими дарованиями, имел чрезвычайную чудкость, так что, как бы он ни крепко спал, всегда на первый спрос просыпался и отвечал. Сия чудкость его была причиною, что монарх сделал его своим камердинером и повелевал ночью ложиться или в самой спальне, или подле оной.

Сей Ганнибал сам предлагал нам сей анекдот, рассказывая всегда оный со слезами, то есть, что не проходило ни одной ночи, в которую бы монарх не разбудил его, а иногда и не один раз. Великий сей государь, просыпаясь, кликивал его: “Арап!” – и сей тот час же отвечивал: “Чего изволите?” – “Поддай огня и доску” (то есть аспидную, которая с грифелем висела в головах государевых). Он подавал оную, и монарх пришедшее себе в мысль или сам записывал, или ему приказывал, и потом обыкновенно говорил “Повесь и поди спи”. Поутру же неусыпный и попечительный государь обдывал сии свои мысли»<sup>157</sup>.

Пушкин и здесь, как и в случае с немецкой биографией, внимателен и к месту арапа при Петре, и к принижению роли предка. Один из своих полемических пассажей Пушкин снабжает характерным примечанием, относящимся к приведенному тексту: «Голиков говорит, что он (арап. – *В.Л.*) был прежде камердинером у

<sup>156</sup>Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. 7-е изд. М., 1979. С. 86.

<sup>157</sup>Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России... 2-е изд. Т. XV. М., 1843. С. 156-157.

государя... Голиков ошибся. У Петра не было камердинеров» (XI, 153). Человек царского рода, чья биография сходствует с судьбой праотца Иосифа, не может, не должен восприниматься в ряду с обыкновенными слугами. Тут Пушкин стоит твердо.

Отзвук полулегендарной ситуации, в которой черный «тайный секретарь» записывает и толкует мысли государя, пришедшие во время сна, есть и в незаконченном романе Пушкина о царском арапе. В конце второй главы автор помещает эпизод, в котором Петр спит после обеда, а проснувшись, обращается к Ибрагимю: «Посмотрим... не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мною. Петр заперся в токарне и занялся государственными делами... Потом выходя из токарни сказал Ибрагимю: “Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину...”» (VIII, 11-12).

Но почему так существенна для нас связь между ролью праотца Иосифа как сновидца, толкователя снов фараона, и «должностью» арапа, интерпретирующего сны Петра? Видимо, потому, что Пушкин отождествляет себя с предком – подчас, быть может, и подсознательно<sup>158</sup>.

Давно замечено то особое место, которое сны, сновидения занимают в поэтическом мировосприятии Пушкина. Еще М.О. Гершензон показал, что сон, забвение осознаются Пушкиным как некое особое творческое состояние души, глухой к «затеям суетного света», но зато открытой ко всему возвышенному, истинно поэтическому<sup>159</sup>. Особенно ясно это над страницами «Евгения Онегина». Главные герои романа являются автору «в смутном сне» (VI, 190); «среди поэтического сна» (VI, 140) приходят видения прошлого, образы дальних стран; верит «снам» Татьяна (VI, 99), и знаменитое сновидение едва ли не главное средоточие ее поэтического характера; да и сам поэт рожден для «творческих снов», оживающих в глуши (VI, 28).

---

<sup>158</sup> Недаром же, например, болгаринский выпад против Ганнибала поэт принимает как оскорбление, нанесенное ему, Пушкину, лично. Не чужд Пушкин и прямому самоотжествлению с библейским патриархом – дважды в письмах он сравнивает себя с Иосифом, ускользящим от неправедной женской любви (XIV, 74; XV, 30).

<sup>159</sup> См.: Гершензон М. Сон и явь // Гершензон М. Статьи о Пушкине. М., 1926.

«Более 30 раз в романе слова «сон», «забвение» и производные от них встречаются именно в значениях, определяющих внутреннюю жизнь»<sup>160</sup>.

Когда Пушкин при всякой возможности упоминает и подчеркивает роль истолкования снов в мифологизированной биографии Ганнибала, то тут, вероятно, можно видеть намек не только на кровное родство с царским арапом, но и на некую тесную духовную связь потомка с предком. Цикличность, повторяемость того, что происходит с праотцем и с ним самим, – это должно быть ясно для Пушкина.

Например, интересно проследить, как с течением времени в сознании поэта образ Ганнибала меняется, играет новыми смысловыми оттенками. Сперва, в молодости, Пушкин, по-видимому, ощущает черного прадеда как некую странность, как курьез, отличающий его род по материнской линии. Отсюда, очень понятная игра в африканские страсти, так что друзьям приходится «сдерживать и обуздывать кипучий темперамент потомка Ганнибала»<sup>161</sup>. Даже еще в начале 1825 года Пушкин готов присоветовать Рылееву «в новой его поэме поместить в свите Петра нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143).

Междуцарствие 1825 года, восстание декабристов и события, за ним последовавшие, отмечают собою важнейший поворот в биографии и творчестве Пушкина. Одним из многочисленных знаков этого поворота можно считать новое, куда более серьезное и обязывающее отношение к праотцу Ганнибалу, к причудливым зигзагам его жизненного пути.

Если александровская эпоха прошла под знаком преимущественного государственного почитания Екатерины II, то Николай I воцарился с именем Петра Великого на устах. Возрождая в полной силе культ царственного реформатора, Николай не прочь был поиграть в нового Петра. В кремлевской беседе с Пушкиным в сентябре 1826 года эта роль венценосному актеру, по-видимому, удалась. На некоторое время поэт поверил тому, что новый император олицетворяет петровское наследие. Эта вера получила скорое подтверждение – царь приказал Пушкину составить записку

<sup>160</sup> *Тархова Н.А.* Сны и пробуждения в романе «Евгений Онегин» // Болдинские чтения. Горький, 1982. С. 56.

<sup>161</sup> *Мушина И.Б.* Пушкин и его эпоха в переписке поэтов // Переписка Пушкина. В 2 т. М., 1982. Т.1. С. 9.

«О народном воспитании». Для Пушкина чуть забрезжила личная ситуация, определяемая формулой «царю наперсник, а не раб».

Как тут было не вспомнить о предке! Если Николай – новый Петр, то ничто не мешает Пушкину сознавать себя новым Ганнибалом. Советником. Сподвижником. Тайным секретарем. Помощником державных вдохновений. Этой творимой легенде как нельзя лучше соответствовали «Стансы» и особенно роман о царском арапе.

Любопытно наблюдать, как в исторической прозе, где действие развивается от Пушкина век тому назад, звучат вполне современные автору мотивы. Пушкин не останавливается на детских годах своего героя – он прямо начинает с поездки Ибрагима в чужие края. Вся первая глава и даже начало второй посвящены Парижу, молодым безумствам Ибрагима, временному забвению его долга перед Петром и Россией. Прежде чем вернуться, подобно блудному сыну, к своему крестному, арап проходит полосу парижских искушений. Аналогия с молодым Пушкиным на юге тут явно напрашивается.

Возможно, здесь одна из причин, по которым автор не завершил своего романа о царском арапе. Довольно скоро Пушкин начинает догадываться, что император вовсе не подобен пращур; исторические параллели «Петр – Ганнибал», «Николай – Пушкин», уже исходно шаткие, все более тускнеют, выветриваются. Кроме того, фигура революционера – Петра в сознании поэта день ото дня растет и усложняется; его эпоха становится равной по сложности и кровавости всей мировой истории. А личность Николая I мельчает, падает в глазах Пушкина с каждым нерыцарственным поступком. Прапорщик постоянно берет верх над Петром Великим, и с какого-то времени уже нет ни повода, ни смысла напомнить о праотческой идиллии: идеальный наперсник на службе у идеального государя.

Уже в «Полтаве» Пушкин не следует своему же собственному совету, обращенному к Рылееву, – в поэме нет «арапской рожи» прадеда рядом с «ужасным ликом» царя. Нет подробностей о Ганнибале и в подготовительных материалах к «Истории Петра» – два незначительных упоминания в перечнях имен, конечно, не в счет (X, 4, 269).

«Священные страницы летописей» молчат.

В последние годы жизни Пушкин, как и в молодости, остается верен высокой истории рода. Но теперь поэта прежде всего занимают личные свойства предков, а не их служба властям, более или менее тираническим. Не позднее 1834 года Пушкин

«возвращается к оппозиции»<sup>162</sup> – не потому ли из его писаний и разговоров почти исчезают воспоминания о Пушкиных, приложивших руку к возведению Романовых на царство? Не потому ли мысли о черном предке все реже вращаются в кругу разысканий о Петре I, но все чаще приводят к шекспировскому Отелло?

Конечно, это совсем другая тема. И не здесь ее начинать. Но все-таки попутно можно заметить, что, выстраивая линию «мавр/арап/Пушкин», поэт подчеркивает, что герой Шекспира «не ревнив – напротив: он доверчив» (XII, 157). Суждение глубокое, вряд ли сводимое к одним лишь свойствам мужского характера. Отелло доверчив не только к Дездемоне или к Яго; он вообще доверчив. Его жизнь простодушна и тем напоминает жизнь поэта. «Но вы не верите простодушию Гениев» (VIII, 420) – упрек, обращенный Пушкиным к обществу, к власти. Отношение поэта к царю в середине тридцатых годов, видимо, и есть обманутая доверчивость – А. А. Ахматова давно об этом догадывалась. И новое наполнение фигуры «негра безобразного» в сознании Пушкина подтверждает ее догадку.

А образ прекрасного Иосифа, сновидца и наперсника государя, не испаряется вовсе, но как бы отступает во второй ряд сознания; как бы теплится посреди враждебных ветров. Так, отбирая из проповедей Георгия Кониского для первой книжки «Современника», Пушкин останавливается на отрывке, первая фраза которого весьма знаменательна: «Иосиф, проданный братьями своими во Египет, соделавшись правителем царства, дал им в удел самую богатую землю...» (XII, 15). Выписывая эти строки за несколько месяцев до гибели, Пушкин может мимолетно вспомнить «другую жизнь и берег дальний» – не африканский ли? Времена Петра прошли. Рабы и льстецы теперь приближены к престолу, и нет исхода от «строения фараоновых пирамид... под бичами» (XI, 232).

...Пройдут полтора века после гибели Пушкина, и наш современник напишет прекрасную поэму о царском арапе. И назовет ее с совершенной точностью, с тончайшим чутьем пушкинской традиции – «Сон о Ганнибале»:

Однажды на балтийском берегу,  
Когда волна негромко набегала,  
Привиделся мне образ Ганнибала.

<sup>162</sup> Вульф А.Н. Из «Дневника» // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 421.

Я от него очнуться не могу.  
Все это правда и подобье сна,  
И мой возврат в иные времена<sup>163</sup>.

Размышления о царском арапе и для Пушкина были «возвратом в иные времена». И способом понять себя и свое время.

### **К ИСТОЛКОВАНИЮ ОБРАЗА ФАУСТА В АВТОРСКОМ ПЛАНЕ «СЦЕН ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН»**

В середине 30-х годов Пушкин пишет «Сцены из рыцарских времен». Ему не удалось завершить это драматическое произведение, действие которого, как и действия трех «Маленьких трагедий», погружено в обстановку условного европейского средневековья. О развитии фабулы, оборванной на сцене «Замок Ротенфельда (рыцари ужинают)», мы можем судить лишь по плану, набросанному Пушкиным по-французски.

Напомним этот план. Вот его перевод.

«Богатый торговец сукном. Сын его (поэт) влюблен в знатную Девуцу. Он бежит и становится оруженосцем в замке отца (девицы) старого рыцаря. Молодая девушка им пренебрегает. Является брат с претендентом на ее руку. Унижение молодого человека. Брат прогоняет его по просьбе девушки.

Он приходит к суконщику. Гнев и увещания старого буржуа. Приходит брат Бертольд. Суконщик журит и его. Брата Бертольда хватают и сажают в тюрьму.

Бертольд в тюрьме занимается алхимией – он изобретает порох. – Бунт крестьян, возбужденный молодым поэтом. – Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь – воплощенная посредственность – убит пулей. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания – своего рода артиллерии)» (VII, 348).

Видимо, явление Фауста на хвосте дьявола должно было стать развязкой драмы. Примерная аналогия – тяжелый шаг Командора в «Каменном госте». Только там гибель наступала грешных любовников, а здесь приходил конец рыцарским временам, целой

---

<sup>163</sup> Самойлов Д. Весть. М., 1978. С. 87.

эпохе средневековья. «Век-торгаш» вытеснял рыцарей, взрывал феодальные замки – эта мысль как-то могла присутствовать в обозначенном Пушкиным «размышлении» перед финалом.

Изобретение пороха и книгопечатания в творческом сознании Пушкина несомненно связывалось с началом нового времени – об этом много сказано и написано. Однако собственно образ Фауста как действующего лица «Сцен из рыцарских времен», видимо, не привлекал внимания исследователей: план и дошедший до нас корпус основного текста не дают материала для достоверной реконструкции характера этого персонажа. В восприятии читателей Фауст здесь скорее некая литературная эмблема, чем участник драматических происшествий. Наблюдения литературоведов вокруг доктора, оседлавшего черта, любопытны, но не систематизированы.

Академик М.П. Алексеев в подстрочном примечании к своей работе «Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброске Пушкина» определил важную особенность Фауста «Сцен»: «...из контекста явствует, что этот Фауст не имел никакого отношения к творчеству Гете, как, естественно, и этот Бес – к Мефистофелю»<sup>164</sup>. М.П. Алексеев совершенно прав. Контекст определяется тем, что у Пушкина Фауст изобретает книгопечатание, а дьявол изображен с хвостом. И то, и другое вряд ли возможно в мире «Фауста» Гете. Наблюдение вполне соответствует общему ходу рассуждений М.П. Алексеева, который на многих страницах ищет фольклорные источники стихотворных отрывков из задуманной Пушкиным «адской поэмы», где среди персонажей названы некто с хвостом и доктор Ф. (II, 380-382).

Пушкинский Фауст «Сцен» – на хвосте у дьявола – также тяготеет к фольклору, в частности, к немецкой «Народной книге», составленной Х. Шписом в конце XVI века во Франкфурте-на-Майне. С этой книгой Пушкин был знаком по адаптированному французскому изданию, сохранившемуся с закладками в его библиотеке<sup>165</sup>.

Вариант старинной немецкой легенды, в которой доктору Фаусту приписано изобретение печатного, станка, Пушкин несомненно знал. С.М. Бонди в своих комментариях к «Сценам из

<sup>164</sup> Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 446.

<sup>165</sup> Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина (Библиографическое описание). Отдельный оттиск из издания «Пушкин и его современники». Вып. IX–X. СПб., 1910. № 166-172; Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. С. 488-501.

рыцарских времен» дает сводку доступных Пушкину иностранных источников, где Фауст знаменит адской выдумкой – тиснением литер. Это роман Ф. Клингера «Жизнь, деяния и путешествие в ад Фауста» (1791), драма Ю. Фосса «Фауст» (1824) и книга госпожи Ж. де Сталь «О Германии»<sup>166</sup>.

Но для того, чтобы объединить легендарного Фауста и начало книгопечатания, Пушкину даже не требовались иностранные книги. В неоднократно читанных поэтом «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина этот мотив также присутствует<sup>167</sup>, о чем еще речь впереди. Среди людей пушкинского круга знание догетевского Фауста, причастного к печатанию книг, не было редкостью. Например, этот сюжет мог возникнуть в беседах Пушкина с Алексеем Федоровичем Малиновским, которого поэт называл среди «истинных знатоков» (XII, 147; 388). Известный исследователь русских древностей к 1826 году завершил свой труд «Обозрение Москвы», в котором есть несколько важных для нас строк, посвященных общей истории книгопечатания: «Первый художник, – писал А.Ф. Малиновский, – которого имя сохранила история, занимавшийся вырезыванием изображений на дереве, был Иоганн Гутенберг, майнцский уроженец, одаренный умом изобретательным и постоянный в упражнениях. Он в 1439 году снарядил в Страсбурге печатный стан со всем прибором, но первые усилия его не имели желанных успехов, что понудило его переселиться в Майнц и 1450 года вступить там в товарищество с Иоганном Фаустом. Латинская псалтирь была первая книга, напечатанная 1457 года в сей типографии Фаустом...»<sup>168</sup>.

Пушкин вряд ли читал «Обозрение Москвы» Малиновского, остававшееся в рукописи до наших дней. Тут, разумеется, не прямой источник к плану «Сцен из рыцарских времен», а скорее свидетельство того, как знания, использованные Пушкиным, обращались среди образованных людей. Имена Гутенберга и его последователей были на слуху, составляли обычную часть представлений просвещенных россиян.

Попутно заметим, что в «Обозрении Москвы» есть и более обобщенное замечание, прямо соотносимое со «Сценами из

<sup>166</sup> Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. VII. Драматические произведения. Изд. АН СССР. 1935. С. 651.

<sup>167</sup> Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 17.

<sup>168</sup> Малиновский А.Ф. Обозрение Москвы. Сост. С.Р. Долговой. М., 1992. С. 102.

рыцарских времен». Их главный герой, Франц, происходит из купеческого сословия, но пренебрегает своим низким родом, стыдится его. Цель жизни Франца – стать рыцарем, дворянином. То же самое Пушкин и Малиновский наблюдали в современной им русской жизни, недалеко ушедшей от средневекового уклада. Обращаясь к истории московского купечества, Малиновский описывает ситуацию, почти буквально совпадающую с драмой пушкинского Франца. «Многие из купцов наших, – наследовав дома и лавки, предаются беспечной жизни, либо, стыдясь быть значительными купцами, делаются малозначащими дворянами»<sup>169</sup>.

Так что Пушкин как бы погружает в условно-рыцарскую эпоху современную и хорошо ему знакомую ситуацию.

В сущности, то же самое должно было происходить и в финале «Сцен». В немецкой народной драме и кукольных комедиях бесчисленное множество раз варьировался сюжет о Фаусте, которому предстоит выбрать себе слугу-черта из трех кандидатов. Первый (Ауэрхан) быстр, как ветер; второй (Крумшнабель) летит, как пуля. Но Фауст выбирает третьего, Мефистофеля, которому доступна скорость человеческой мысли<sup>170</sup>. Книгопечатание и есть новая скорость распространения мысли.

Однако все сказанное помогает соотнести фаустовский финал из плана с текстом «Сцен из рыцарских времен» лишь идейно. Драматургический контекст не проясняется.

Сам по себе финал, обозначенный одной фразой, воспринимается как странность. Во всех известных нам «Сценах», записанных Пушкиным, нет, кажется, и намек на фантастику, на участие потусторонних сил. Все действующие лица подчинены обычной житейской логике и ведут себя соответственно. И вдруг под занавес в «реалистическое» течение драмы буквально врываются хвостатый дьявол и его вечный легендарный спутник. Их приход никак не подготовлен фабульными связями «Сцен» и наброска плана.

Тут как бы нарушаются общие каноны драматургии и уж тем более законы построения пушкинских произведений.

Проверим себя.

---

<sup>169</sup> Малиновский А.Ф. Обозрение Москвы. С. 116. Именно эту эволюцию от «значительных» купцов к «малозначащим» дворянам пережил род Гончаровых, предков Н.Н. Пушкиной.

<sup>170</sup> См.: Легенда о докторе Фаусте. М., 1978. С. 171; Жирмунский В.М. История легенды о Фаусте. Там же. С. 336.

В финалах «Маленьких трагедий» нет ни одного нового лица, чье появление для зрителя (читателя) – полная неожиданность. Под занавес «Скупого рыцаря» на сцену выходит Герцог, но это подготовлено репликой Альбера из первой сцены: «Нет, решено – пойду искать управы // У Герцога...» (VII, 109). Поступь Командора в «Каменном госте» – не первое движение статуи; все помнят ее уctивый поклон на кладбище (VII, 161-162).

Столь же очевидна подготовленность появления действующих лиц в финалах пушкинских прозаических произведений. В «Выстреле» жена графа Б. вступает в действие не прежде, чем Сильвио в предыдущей главе объявляет рассказчику о женитьбе своего противника (VIII, 70). В развязке «Капитанской дочки» Маша Миронова беседует с Екатериной Великой; но внимательный читатель помнит, что Петр Гринев задолго до этого советовал самозванцу «прибегнуть к милосердию Государыни» (VII, 353). Даже в незаконченной повести о царском арапе Пушкин тщательно готовит финал – рождение внебрачного ребенка у Наташи. Этой подготовке служит реплика Корсакова о том, что Ибрагиму, может быть, придется «чужих детей качать» (VIII, 30).

Симметричность построений у Пушкина хорошо известна, и потому нет надобности умножать подобные примеры.

Но тогда и в «Сценах из рыцарских времен» надо искать какие-то фабульные связи или хотя бы реплики, предвещающие появление дьявола и Фауста. Такой поиск не сулит больших открытий. Во-первых, о Фаусте и дьяволе мы знаем только из плана, а написанные сцены не всегда плану соответствуют. Так, в тексте «Сцен» есть диалог Франца с подмастерьем Карлом, а в плане – нет. Точно так же в оконченной драме могло и не быть Фауста на хвосте черта. Во-вторых, можно предполагать, что фаустовская линия осталась только в замысле и не легла на бумагу.

В черновой рукописи, по которой печатаются «Сцены из рыцарских времен», есть несколько пробелов – даже длиною в пять – шесть листов, – куда Пушкин, видимо, намеревался вставить пока еще не написанные сцены или части сцен<sup>171</sup>. Значит, то, чем мы располагаем, не есть сплошной текст от начала до конца, а только прерывистая цепь фрагментов. И какое-то введение в тему Фауста

---

<sup>171</sup> Бонди С.М. Сцены из рыцарских времен // Пушкин А.С. Драматические произведения. Т. VII. С. 640.

могло быть не только в ненаписанном продолжении «Сцен», но даже и в «пробелах» известного нам действия.

Но и основной текст тоже, как нам кажется, заслуживает пристального внимания. Прежде всего речь идет об уже упомянутом диалоге Франца с подмастерьем Карлом. Напомним обстоятельства картины. Франц, выгнанный за дерзкое поведение из замка, возвращается в дом своего отца, торговца сукном. От Карла он узнает сразу две нерадостные новости: отец умер и по его завещанию имение перешло к подмастерью Карлу. Теперь Карл женат и не собирается делиться наследством.

Ключевым для нашей темы служит следующий фрагмент диалога:

*Франц.*

Владей себе моим наследством, Карл, я его у тебя не требую. На ком ты женат?

*Карл.*

На Юлии Фурст, мой добрый Франц, на дочери Иоганна Фурста, нашего соседа... (VII, 230).

Имя этого соседа возникает под пером Пушкина еще раз. В основном тексте сцены Карл рассказывает, что отец Франца умер, «осердясь на приказчика и выпив сгоряча три бутылки пива» (VII, 230). Но в варианте этого рассказа есть и другая версия смерти отца: «Он умер – видишь ли – отобедав (на именинах) у Иоганна Фурста» (VII, 358).

К имени и положению этого только упоминаемого персонажа необходимо присмотреться. У нас, разумеется, нет оснований прямо ставить знак равенства между доктором Иоганном Фаустом и неким Иоганном Фурстом. Но тесть подмастерья Карла до сих пор, насколько нам известно, не привлекал внимания исследователей. А кое-какие подробности из истории германского XV столетия будут здесь любопытны.

Прежде всего: имеет ли немецкая народная легенда о Фаусте-первопечатнике какое-то фактическое основание? Оказывается, имеет. Реальный изобретатель печатного станка Иоганн Гутенберг нуждался в деньгах. Начав свои опыты в Страсбурге, он переезжает затем в Майнц, где тоже – за отсутствием средств – не может наладить типографию. Около 1450 года Гутенберг находит себе в Майнце богатого заимодавца, бюргера по имени Иоганн Фуст. Типография создана; но несколько лет спустя этот Фуст за долги по

суду отбирает у Гутенберга типографию, а позже и приоритет изобретателя<sup>172</sup>. Именно он, Фуст, в 1457 году печатает ту «латинскую псалтирь», которую упоминал в своей книге знакомец Пушкина А.Ф. Малиновский.

Созвучие прозваний «Фуст» и «Фауст» в народном сознании придало легендарному доктору, и без того знаменитому, еще и титул изобретателя печатного станка. Таким образом, слава, похищенная у Гутенберга, переходит от Фуста к Фаусту<sup>173</sup>.

Необходимо еще раз напомнить: с самого начала и до самого конца речь идет не о герое Гете, которого культурное сознание неизбежно связывает с вершинами мировой философии. Персонаж, упомянутый Пушкиным, только лицо из народных сказок и ярмарочных кукольных комедий. За столетие до Пушкина, в 1728 году, немецкий просветитель И.Х. Готтшед прямо писал: «Только простонародье носится еще с “Доктором Фаустом” и прочими подобными книгами, от чтения которых их со временем тоже отучат»<sup>174</sup>.

Имя Иоганна Гутенберга Пушкин знает по долгу всякого просвещенного человека. Тем не менее изобретателем «типографского снаряда» у него назван Фауст. Если предположить, что Пушкину известно и промежуточное звено между Гутенбергом и Фаустом, то скромный сосед Мартына и Франца получает некоторые шансы занять место на хвосте дьявола.

Социальное положение Иоганна Фурста понятно. Он, как и Фуст, бюргер. Поэтому и отдает свою дочь Юлию за соседа, торговца сукном. Мы не решаемся утверждать, что Мартын и Фурст живут в Майнце, хотя некоторые основания для этого существуют. На этот рейнский город есть намек в замысле «Папесса Иоанна». План «Сцен» и план о папессе набросаны на двух сторонах одного тетрадного листа<sup>175</sup>. Девушка, которой предстоит возглавить католическую церковь, по-видимому, происходит из Майнца и берет себе мужское имя: Жаи Майнцкий (VII, 256). Еще П.В. Анненков догадывался, что ребенок, рожденный папессой, и будет Фауст, «и

<sup>172</sup> См.: Булгаков Ф. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства. Т. 1. СПб., 1889; Кестнер И. Иоганн Гутенберг. Львов, 1987. С. 37-59.

<sup>173</sup> Жирмунский В.М. История легенды о Фаусте. С. 274.

<sup>174</sup> Легенда о докторе Фаусте. С. 124.

<sup>175</sup> Бонди С.М. Сцены из рыцарских времен. С. 647.

при том не в качестве доктора философии и теологии, а в качестве предполагаемого изобретателя печатного станка»<sup>176</sup>.

Таким образом, ничто в положении Иоганна Фурста не противоречит возможности держать типографию. Более того. Если его прототип действительно реальный майнцкий бюргер Фуст, то становится очевидной простая параллель. Бертольд выпрашивает деньги у Мартына, а другой изобретатель (Гутенберг?) – у Фурста. Пушкинский Мартын хочет обогатиться за счет открытия Бертольда, а реальный Фуст действительно обогащается, присвоив станок должника-изобретателя.

Требуется некоторых комментариев и очевидное созвучие имен: Иоганн Фуст – Иоганн Фурст. Происхождение фамилии «Фуст» давно раскрыто. Оно, так же, как и «Фауст», восходит к древнемецкому слову «Fust» и означает «кулак»<sup>177</sup>. Но Пушкин, конечно, не был обязан грамматически точно воспроизводить немецкое имя. У него даже для отечественных прозваний бывало собственное написание, отвечавшее, видимо, его внутреннему звукообразу. Например, во всех автографах «Бориса Годунова» написание фамилии «Гудунов» встречается чаще, чем правильное<sup>178</sup>.

Вообще об именах в средневековых трагедиях Пушкина можно было бы написать отдельное исследование. Уже в «Скупом рыцаре» молодой дворянин носит французское имя Альбер, а его слуга простонародное русское – Иван. В «Сценах из рыцарских времен» у благородных господ имена по большей части французские, а у простого народа – немецко-русские. Думается, тут не только ясное противостояние мещан рыцарям, но и почти бессознательный след самочувствия Пушкина, отразившего раздвоение отечественной культуры на «благородно»-французскую и «простонародно»-русскую.

Как мы помним, вся рукопись «Сцен из рыцарских времен» носит черновой характер. Поэтому мы не знаем, какой вариант кончины Мартына выбрал бы Пушкин: умер бы герой от выпитых горяча бутылок пива или отобедав на именинах у Иоганна Фурста? Если наше предположение верно и именинник действительно знается с нечистой силой, то смерть доброго суконщика, может

<sup>176</sup> Анненков П.В. Литературные проекты Пушкина // Вестник Европы, 1881. Кн. VII. С. 53.

<sup>177</sup> Жирмунский В.М. История легенды о Фаусте. С. 234.

<sup>178</sup> Винокур Г.О. Борис Годунов // Пушкин А.С. Драматические произведения. Т. VII. С. 405.

быть, и не так проста. Вспомним ранние пушкинские «Наброски к замыслу о Фаусте»:

Сегодня бал у Сатаны –  
На именины мы званы (II, 381).

Вспомним и один из центральных эпизодов повести «Гробовщик»: праздничный обед у немца-ремесленника, где пьют «здоровье целой дюжины немецких городков» (VIII, 91), а потом гостя-соседа посещают ужасные видения – как раз в духе фаустовской некромантии.

Все это параллели, на которых невозможно основывать какие-то конкретные выводы. Но в известных нам сценах ситуация вокруг Иоанна Фурста и смерти Мартына несомненно ближе всего к той гипотетической фабульной линии, которая могла бы привести к дьявольской концовке с участием Фауста-книгопечатника...

До сих пор мы исходили из предположения о том, что Пушкин хотя бы отчасти знаком был с историей книгопечатания и потому играл именами: Фуст-Фурст-Фауст. Теперь нам предстоит показать и другую возможность, которая прямо вела автора «Сцен» к фаустовскому мотиву. Речь идет о «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина.

В письме седьмом – «Корчма, в миле за Тильзитом» – Карамзин объясняет, кто такой доктор Фауст. Письмо датировано 1789 годом; до выхода «Фауста» Гете еще почти двадцать лет, и само по себе имя героя немецких сказок вряд ли знакомо большинству русских читателей. Поэтому Карамзин дает важное разъяснение: «Доктор Фауст, по суеверному народному преданию, есть великий колдун, и по сие время бывает обыкновенно героем глупых пизес, играемых в деревнях или в городах на площадных Театрах *странствующими* Актерами. В самом же деле Иоанн Фауст жил как честный гражданин во Франкфурте-на-Майне, около середины пятого – на десять века; и когда Гутенберг, Майнцкий уроженец, изобрел печатание книг, Фауст вместе с ним пользовался выгодами сего изобретения... И как простолюдины того века приписывали действию сверхъестественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и в сказках»<sup>179</sup>.

С.М. Бонди в своем комментарии к «Сценам из рыцарских времен» привел этот действительно важный фрагмент из

<sup>179</sup> Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 17.

Карамзина<sup>180</sup>. Однако исследователь, к сожалению, упустил из виду тот контекст, в котором Карамзин дает свое разъяснение о Фаусте.

Действие происходит в корчме около прусского городка Тильзит. Группа путешественников, в которую входит и сам рассказчик, сидит за общим столом и следит за диалогом двух местных жителей – отставного поручика и хозяйки корчмы Лизы. Вот этот диалог, хорошо известный Пушкину:

«ЛИЗА: ...А, Господин Поручик! Добро пожаловать! Откуда? Откуда?

ПОРУЧИК: Из города, Лиза. Барон фон М\*\*\* писал ко мне, что у них Комедианты. “Приезжай, брат, приезжай! Шалуны повеселят нас за наши гроши!” Черт меня возьми! Есть ли бы я знал, что за твари эти Комедианты, ни за что бы не поехал.

ЛИЗА: И, ваше благородие! Разве вы не жалуете Комедии?

ПОРУЧИК: О! Я люблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за Доктора Фауста с Гансом Вурстом.

ЛИЗА: Ганс Вурст очень смешон, сказывают»<sup>181</sup>.

К этому эпизоду Карамзин и дает цитированное примечание о Фаусте, колдуне, книгопечатнике и герое суеверных преданий. Под пером русского путешественника получает объяснение и вторая забавная фигура народного балагана – Ганс Вурст. После справки о Фаусте Карамзин замечает: «А Ганс Вурст значит на площадных Немецких Театрах то же, что у Итальянцев Арлекин»<sup>182</sup>.

Комментарий Карамзина здесь вряд ли совершенно точен. Ганс Вурст действительно комический персонаж, но означает он не совсем то же, что Арлекин в итальянской комедии дель арте. Господин Поручик недаром говорит о талерах, отданных «за Доктора Фауста с Ганс Вурстом». Это неразлучная пара персонажей, кочующая из одной балаганной постановки в другую. Обычно Ганс Вурст<sup>183</sup> выступает как слуга доктора. Он веселый пройдоха, простоватый балагур. Его встречи с нечистой силой не трагичны, а смешны. Ганс Вурст из тех, кто самого черта обманет.

В площадной комедии Ганс Вурст следует за Фаустом и все время пародирует, комически снижает фаустовскую магию. В

<sup>180</sup> Бонди С.М. Сцены из рыцарских времен. С. 651.

<sup>181</sup> Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 17.

<sup>182</sup> Там же. С. 17.

<sup>183</sup> Иногда имя и прозвище пишутся в одно слово: «Гансвурст». По-русски это прозвание можно перевести как «Ванька-Колбаса».

волшебном круге, начертанном доктором, у слуги начинают сами собой плясать сапоги. Убитый Гансом Вурстом злой дух, восстает из гроба и оборачивается возлюбленной своего мнимого убийцы. Тот же Ганс Вурст играет роли обманутого воздухоплателя, неопытного колдуна, фокусника, трусливого ночного сторожа и т.д.<sup>184</sup>

Ганс – имя уменьшительное. Полное прозвание этого персонажа – Иоганн Вурст.

Пушкину это имя известно – из Карамзина наверняка, а может быть, и из других источников. А теперь спросим себя: если Пушкин знает пару «Иоганн Фауст – Иоганн Вурст», то может ли быть случайностью пара «Иоганн Фауст – Иоганн Фурст» в ткани «Сцен из рыцарских времен»? Вряд ли.

К сожалению, эту явную неслучайность трудно истолковать. Если пушкинский Иоганн Фурст есть производное от Ганса Вурста, то он, безусловно, не Фауст. И поэтому не может появиться в финале драмы. Но сосед Мартына вряд ли способен играть и традиционную роль пройдохи, простоватого хитреца около Фауста. Ганс Вурст люмпен, бродяга. А персонаж Пушкина владеет домом, угощает соседа обедом, а потом прилично выдает дочь замуж. Все это плохо вяжется с исходными условиями немецкого фольклора.

Пушкин, конечно, не был обязан следовать традициям германских народных легенд. Скорее всего, Фауст и Фурст «Сцен из рыцарских времен» возникли в творческом воображении Пушкина под влиянием многих источников – литературных, театральных. А то и просто в результате бесед с такими знатоками предмета как А.Ф. Малиновский или Н.М. Карамзин. Фаустовскую мифологию Пушкин, видимо, воспринял суммарно, не вдаваясь в подробности отдельных преданий. Поэтому в неоконченном фрагментарном тексте «Сцен» почти невозможно определить, на какую именно легенду ориентирована та или иная деталь драмы.

Но фаустовские мотивы явно «сгущаются» вокруг бюргера Иоанна Фурста. Это убеждает нас в небеспочвенности нашей гипотезы: финал «Сцен», если бы они были завершены, готовился автором заранее. Что это было бы – фабульная линия? персонаж? обстоятельства, выясняемые диалогом?

Не знаем. На эти вопросы ответа пока нет...

---

<sup>184</sup> Легенда о докторе Фаусте. С. 126, 130, 131 и др.

**«НАРОДА СВОЕГО ОТЕЦ ЧАДОЛЮБИВЫЙ...»**

Записки маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» – один из самых известных источников по отечественной истории XIX столетия. В нашу задачу, разумеется, не входит ни общая оценка этой скандальной книги, ни обсуждение составляющих её отдельных эпизодов. Отметим только, что французский путешественник, посетивший Россию двумя годами позже смерти Пушкина, был близок пушкинскому кругу. В комментариях к его сочинению широко представлены такие известные имена как В.А. Жуковский, князя П.А. Вяземский и П.Б. Козловский, А.О. Смирнова-Россет, А.И. Тургенев, П.Я. Чаадаев и многие другие. Первым по времени пушкинистом, поминавшим Кюстина, был, по-видимому, П.В. Анненков.

Но всё это по большей части останется за рамками нашей работы.

Прежде, чем обратиться к творчеству и биографии Пушкина, нам придётся сосредоточить внимание на главе IX сочинения Кюстина. В ней автор рассказывает о самом начале царствования Николая I, т.е. о восстании декабристов. Источником сведений об этом предмете маркиз называет свои беседы с императором и, может быть, рассказы ещё некоторых лиц, впрочем, не названных. Мемуарист сам ощущает зыбкость своих построений и потому открыто признаёт: «...я повторяю здесь лишь то, что мне пришлось слышать; факты эти тёмные и проверить их у меня нет возможности»<sup>185</sup>.

Описав в самых общих чертах ход восстания, Кюстин касается династической стороны событий. Читатель, однако, не находит внятной картины происшествия. В записках нет истории тайного отречения наследника-цесаревича Константина Павловича от прав на престол, состоявшегося ещё при жизни императора Александра I. Нет здесь и трагического междуцарствия, связанного с первоначальной присягой императору Константину I, отменой её и второй присягой – Николаю I. Мемуарист прямо переходит к оценке действий мятежников, и в его пересказе безусловно слышен голос августейшего собеседника, Николая Павловича:

«Заговорщики прибегли для возмущения армии к смехотворной лжи: они распространили слух, будто Николай

---

<sup>185</sup> Кюстин, маркиз де. Николаевская Россия. М., 1930. С. 112.

насилно захватил корону у своего брата Константина, уже направляющегося в Петербург для защиты своих прав с оружием в руках. К такому средству пришлось прибегнуть, чтобы заставить возмущившихся солдат кричать под окнами дворца: «Да здравствует конституция!» – вожаки убедили их, что жена Константина, их императрица, называется Конституцией. В глубине солдатских сердец жила, как видно, идея долга, потому что только путём подобного обмана можно было их побудить к восстанию»<sup>186</sup>.

Кюстин и его собеседник скорее всего верно изложили курьёзный факт, но в «глубину солдатских сердец» они не проникли. Объяснить действия солдат простым чувством долга – не удаётся. Чувство долга перед царским семейством подразумевает *единство* этого семейства, самодержавную безальтернативность власти. Отмена первой присяги и требование принести вторую присягу сами по себе нанесли чувствительный удар патриархальным представлениям народа о власти и долге.

Драму монархического сознания, не умеющего *выбирать* между властью и властью, Пушкин выявил на материале русской истории и понял ещё задолго до 14 декабря. Об этом свидетельствует сцена «Ставка» в трагедии «Борис Годунов». Вопрос о том, кому присягать, ставится в остром диалоге Басманова и Пушкина:

*Басманов*

Но я и так Феодором высоко  
Уж вознесён. Начальствую над войском,  
Он для меня презрел и чин разрядный,  
И гнев бояр – я присягал ему.

*Пушкин*

Ты присягал наследнику престола  
Законному; но если жив другой,  
Законнейший?.. (VII, 92)

Это ещё не выкрики на площади; это лишь скользкая беседа двух вельмож. Площадные события пока только называют. И тем не менее...

Вопрос о соотношении «законного» и «законнейшего» Александр Сергеевич ставит от имени своего родовитого предка, Гаврилы Пушкина. Ответить на него должен худородный Басманов. Мы знаем, какой выбор сделает воевода; знаем мы и то, как

<sup>186</sup> *Кюстин, маркиз де.* Николаевская Россия. С. 112.

исторический Басманов расплатился за свой выбор – сначала честным именем, а потом и жизнью.

Но нас здесь занимает не конкретное наполнение исторического движения, не факты сами по себе. Гораздо важнее понять, что Пушкин выявляет в психологической картине «смутного времени» некие особенности, характерные для *всей* истории отечества, в том числе и для *будущего* восстания 14 декабря. Параллели в поведении действующих лиц тут совершенно очевидны. Басманов колеблется: кому отдать предпочтение? Тому ли, кто в сознании народа олицетворяет старую династию, юриковичей? Или тому, кто совершенно законно правит сегодня от имени новой династии – Годуновых?

Потом, вплотную занявшись историей первого императора всероссийского, Пушкин найдёт драматическую коллизию, ещё больше напоминающую восстание декабристов. Речь идёт о стрелецком бунте 1682 года, в котором вооруженным толпам, вышедшим на площадь, предстояло выбрать между царственными братьями. Кому править – старшему Ивану или младшему Петру? Колебания вокруг присяги младшему, Петру, Пушкин внимательно изучает. Сведения об этих колебаниях он заносит в свой конспект о «начале славных дней Петра»<sup>187</sup>. Однако, страницы этого конспекта заполняются не до 14 декабря, а десятилетием позже. Здесь скорее отголосок максимы Пушкина о том, что, в конце концов, все смуты похожи одна на другую.

Но реплика Гаврилы Пушкина о «законном» и «законнейшем», сочиненная до событий междуцарствия 1825 года, есть плод воображения поэта. Она не опирается ни на Карамзина, ни на другие источники. В данном случае воображение и выступает как главный исторический источник, используемый автором. То, что Кюстин после восстания черпает в беседе с императором, даётся Пушкину на основе его, Пушкина, жизненного и поэтического опыта, на основе общего знакомства с российской историей.

Вместе с тем, версия императора Николая Павловича, пересказанная Кюстином, как уже было замечено, не претендует на полное и серьёзное истолкование психологии солдат и мотивов их поведения на площади. И государь, и его антагонист, французский путешественник, видят всю ситуацию мятежа сверху, глазами

---

<sup>187</sup> Пушкин А.С. История Петра. М., 2000. С.56-57.

правлящего сословия. С их точки зрения обман, к которому прибегли заговорщики, есть факт, достаточно объясняющий события.

Пушкин в своих исторических размышлениях шёл гораздо дальше и видел гораздо глубже.

Поэт прослеживает характер русского народного сознания на протяжении почти десяти веков и находит многие неизменные составляющие этого характера. Среди них – вечная вера в «хорошего царя», «царя-избавителя». Эту веру Пушкин различает всегда, на любом, даже наугад взятом отрезке отечественного прошлого и настоящего. Монарха, посланного Богом, монарха-борца с неправдой, люди русские видели в Лжедмитрии до его воцарения, в костромском изгнаннике Михаиле Романове, в царевиче, легендарно шедшем к власти со Стенькой Разиным, в Пугачеве под маской Петра III. И во многих других, менее известных персонах. Эта линия народного сознания не прерывается и в XIX столетии. В пушкинское время народная мифология наделяла чертами царя-спасителя Александра I, якобы не умершего в Таганроге, и его брата, великого князя Константина Павловича.

В случае с Константином заговорщики, допустим, обманывали солдат. Но смысл обмана, конечно, не в том, что старший брат имеет больше прав на престол, чем младший. С этим во все времена трудно спорить. Пространство трагедии находилось не здесь. Самое власть ещё при Александре I способствовала всеобщему заблуждению. Царская семья знала о тайном отречении Константина, но он по-прежнему, до смерти Александра Павловича, официально считался наследником-цесаревичем. Лжи мятежников предшествовала, выходит, официальная ложь. Царская семья знала, что Александру наследует Николай, но он до последнего момента так и числился рядовым великим князем. Неправда вождей мятежа находилась, главным образом, в другой плоскости: Николай, якобы, насильно захватывает корону, а Константин, якобы, направляется в Петербург, чтобы с оружием в руках отстаять своё законное право на престол. Таковую картину действий офицеров-обманщиков рисовал Николай I перед маркизом де Кюстином.

Тем не менее, семена легенды об обиженном царевиче Константине и узурпаторе Николае пали на почву, хорошо подготовленную вековыми злоупотреблениями власти. Надежды на царя-избавителя вспыхнули с такой силой, какой ещё не знал русский XIX век. Слухи, связанные с династической ситуацией, расплзались по всей стране так широко, что не могли миновать Пушкина. В этом, в частности, убеждает обращение к архивным

источникам, выявленным историком А.И. Куприяновым в фондах III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и в местных архивах.

Официальные сведения и тайком передаваемые слухи о событиях 14 декабря достигли Западной Сибири зимой 1826 года. В городке Таре, что по Иртышу ниже Омска, уже в феврале ходило по рукам некое «сомнительное и неприличное письмо», написанное от имени цесаревича Константина. В нём воцарение молодого государя и отношения между августейшими особами выглядели возмутительно и скандально. Современный исследователь приводит полный текст письма с сохранением орфографии и стилистических особенностей текста:

«Санктпетербург. Генваря 8 числа 1826 г.

К удивлению цесаревича, наследовавшего Российский престол Константина Павловича, когда я отвержен, но нет, вынудила меня Польская система быть Польским и Российским императором, тогда-то вынуждено Варшаве сказано Ура! Ура! Ура! – Любезные дети, гряду в Петербург с вами и занимаю престол Российский. В означенное число, приходя к оному, узнав, что тут царствует Николай, брат мой. Сие зависит от матушки моей Марии. Петербург вострепетал прибытия Константина, ни один из войска солдат не мог противоречить, тогда то Константин, повелев дайте мне виновников Сената, и по представлении неблагочестия сего, неизвестно куда удалены, но я о их знаю, а ты, брат мой, потворщик Сената, с матерью моею арестуешься на год. Осрамленный престол лишает Николая, в 10-е число приемлю престол Божий и могу даровать всенеослабную льготу. Мария, страха сего убоясь, померла. Прости Бог согрешение мое и приемли великодушного Константина. Ура! Ура! Ура!

На подлинном подписал князь Лобанов»<sup>188</sup>.

Мы не будем входить в подробности следствия по делу об этом письме. Подложность текста очевидна для нас, а ещё более очевидна была для следователей. Бросались в глаза не только «неправильности слога», но и грубые нарушения правил делопроизводства. Например, имя Константина Павловича употреблялось то в первом, то в третьем лицах. А министр юстиции Лобанов-Ростовский подписывал воззвание не то как автор, не то как чиновник, призванный заверить

---

<sup>188</sup> Цит. по: *Куприянов А.И.* Городская культура русской провинции. Конец XVIII – первая половина XIX в. М., 2007. С. 185.

(контрассигновать) документ. Довольно скоро следователи выявили настоящего сочинителя. Им оказался писарь тарской инвалидной команды Николай Семёнов, наказанный за свою проделку, надо думать, по всей строгости законов.

В этой истории для нас важны два обстоятельства.

Во-первых, Семёнов исходил из того, что Константин Павлович двигался в Петербург из Варшавы, чтобы занять престол. Это совершенно точно совпадает с обманной версией декабристов в изложении Николая I для Кюстина<sup>189</sup>. Так что есть основания считать, что тут не просто фантазии скучающего провинциального писаря, а наивная репродукция каких-то сведений, реально дошедших в Сибирь из Петербурга. Не менее, а, может, и более значительная деталь: Константин Павлович обещает даровать народу *«всенеослабную льготу»*. Семёнов не знает конкретно, в чём льгота будет состоять. Но он выражает массовое народное ожидание – вот, придёт царь-избавитель, принесёт послабление; жизнь улучшится. Надо ли напоминать, что этот мотив находится в прямом историческом родстве с мыслями и чувствами тех простонародных персонажей «Бориса Годунова» и «Капитанской дочки», что верят в подлинность и справедливость самозванцев – Дмитрия и Петра III? Пушкин это хорошо понимал; потому, в частности, и сравнивал актуальность материала своей трагедии со злободневностью сегодняшней газеты.

Во-вторых, отметим и запомним ещё одну деталь. Запираясь на следствии, Семёнов врал, будто списал скандальное письмо на почтовой станции у какого-то неизвестного ему проезжающего. Текст писарь, конечно, сочинил сам. Но отмеченное совпадение мотивов всё же свидетельствует, что слух шёл из европейской России – скорее всего из Петербурга.

По-видимому, такого рода эпизоды не были редкостью. От случая на Иртыше, не известного Пушкину, прошёл всего год с лишним, и что-то похожее произошло в Тверской губернии.

В мае 1827 года жандармский подполковник Шубинский написал служебную записку о происшествии в Калязинском уезде. Между простолюдинами, доносил по начальству подполковник,

---

<sup>189</sup> Ту же версию Николай Павлович поддерживал и в письме к брату Михаилу Павловичу от 10 декабря 1825 г.: «В солдатах был слух что он (Константин – В.Л.) идёт сюда с гвардией и что ждут квартиреров и подобный вздор!». – *Куприянов А.И.* Городская культура русской провинции. С.186.

разнеслась молва, «будто бы его высочество цесаревич, негодуя на <...> государя императора, сжёг г. Варшаву и, забрав всё войско, состоящее под началом его, идёт с оным в Россию и прямо на Москву, где и будет короноваться»<sup>190</sup>. Комментируя этот документ, А.И. Куприянов отмечает: «Слух, зафиксированный в уезде, имел не локальное, а более обширное бытование, ибо, по мнению Шубинского, распространялся преимущественно на постоянных дворах через проезжающих»<sup>191</sup>.

Мы наблюдаем здесь, в основных чертах, то же, что произошло в Таре. Простой народ на Волге так же легковверен и склонен к потрясениям, как и на Иртыше. Опять обиженный великий князь Константин; опять он идёт с войском из Варшавы короноваться; вновь вокруг пустого слуха вспыхивают опасные для государства страсти. И опять наивной маскировкой источников опасных сведений служат почтовые станции, постоянные дворы и полумифические проезжающие.

Сибирский случай с тарским писарем произошёл через два месяца после 14 декабря, т.е. – при тогдашних коммуникациях – по горячим следам. Тверские события разворачиваются полтора года спустя после мятежа «на площади Петровой». Казалось бы, ситуация давно выяснена; Николай коронован в Москве и прочно сидит на престоле в Петербурге; Константин столь же прочно и спокойно осуществляет своё наместничество в Варшаве. Но спокойствие, как видим, обманчиво. Искры возможного мятежа тлеют не где-нибудь на разинско-пугачевских окраинах государства, а между столицами – в губернии Тверской.

Теперь, наконец, нам предстоит вернуться к общеизвестным фактам из биографии Пушкина.

Зиму и большую часть весны 1827 года Пушкин проводит в Москве. В конце апреля он обращается с письмом к А.Х. Бенкендорфу (а на самом деле – к царю), содержащим просьбу: разрешить ему, Пушкину, приехать в Петербург. 3-им мая помечен ответ Бенкендорфа (а на самом деле – царя), в котором содержится это разрешение (ХП, 328, 329). В ночь с 19-го на 20 мая Пушкин отправляется в северную столицу и проводит в дороге около

---

<sup>190</sup> Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. С. 183.

<sup>191</sup> Там же. С. 183.

четырёх суток: 20-23 мая. Его путь пролегает через Чёрную Грязь, Клин, Тверь, Торжок и Вышний Волочёк<sup>192</sup>.

Всё это имеет здесь для нас первостепенное значение.

Именно средние числа мая в Тверской губернии называет жандармский подполковник Шубинский как время и место распространения на почтовых станциях и постоянных дворах злостных слухов о соперничестве за власть между Константином и Николаем Павловичами. Проезжая между Клином и Тверью, Пушкин находился в очевидной близости от источника слухов – Калязинского уезда. Поскольку жандармский офицер отмечает широкое распространение слухов за пределы уезда, постольку следует считаться с немалой вероятностью того, что Пушкин эти рассказы слышал, знал.

Толки о неладах в императорской фамилии могли преследовать путешественника и в экипаже, и на ночлегах, и во время долгих остановок на станциях в ожидании перемены лошадей. Самый воздух тверской был пронизан неясным, но тревожным ожиданием: что-то будет?

О том, как это реально выглядело, можно в какой-то мере судить по написанной в следующем десятилетии главе «Вожатый» из «Капитанской дочки». Там рассказчик, Петруша Гринёв, на постоялом дворе присутствует при разговоре хозяина с казаком Емелькой. Перед тем, как выпить стакан простого вина, Емелька осторожно, прибегая к простонародным иносказаниям, излагает хозяину события, последовавшие за усмирением бунта 1772 года. То, что казак стремится поведать держателю пристани, мы сегодня без колебаний назвали бы политической обстановкой в регионе. Если в эпизоде «Капитанской дочки» мы заменим смуту 1772 года смутой 1825 года, Южный Урал Верхним Поволжьем, а Гринёва Пушкиным, то получим примерную картину того, на что мог наехать поэт между Клином и Тверью.

Источников, подтверждающих или опровергающих нашу гипотезу, нет. И вряд ли они когда-нибудь появятся. Но о ситуации можно судить по многим, более широким аналогиям. Известный знаток биографии Пушкина С.Л. Абрамович заметила, что в той же «Капитанской дочке» в преображенном виде присутствуют собственные впечатления Пушкина, обретенные в разгар холерной

---

<sup>192</sup> Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. В 4 т. Сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова. М., 1999. Т. 2. С. 268.

эпидемии 1830 года. Например, в «Пропущенной главе» въезд Гринёва в родную деревню, занятую пугачёвцами, поразительно напоминает попытку самого Пушкина прорваться через холерные карантинные пункты на пути из Болдина в Москву.

Сам вопрос – слышал ли Пушкин массовую народную молву о возвращении на престол великого князя Константина? – имеет ясную исследовательскую аналогию. Занимаясь идейной структурой пушкинской поэмы «Анджело», Ю.М. Лотман обнаружил в этой поэме мотивы, восходящие к народной легенде об императоре Александре I. По этой легенде Александр I вовсе не умер, но покаялся в своих грехах и ушёл странствовать по России во облике праведного старца Фёдора Кузьмича. Патриархальный миф о царь-избавителе, который ходит где-то рядом и, вернувшись на престол, изменит жизнь к лучшему, захватывал многие сотни тысяч, если не миллионы, людей. Тем не менее, в распоряжении Ю.М. Лотмана не было ни одного прямого источника, подтверждающего знакомство Пушкина с этими слухами.

Комментируя ситуацию, Ю.М. Лотман отметил: «То, что слухи эти были известны широкому кругу современников – факт документальный. Странно было бы полагать, что Пушкин их не знал»<sup>193</sup>.

Примерно то же можно сказать и о Константиновской легенде. Она – той же самой патриархальной природы, только меньше по масштабу; захватывает, скажем, не сотни тысяч, а десятки тысяч простолудинов. Родственность мифов утверждается и единством источников, их отражающих. Так, одним из важных, часто цитируемых памятников о не-умершем Александре I, служит запись, составленная собирателем слухов московским дворовым человеком Фёдором Фёдоровым. Ещё летом 1826 года он вносит в свою рукопись почти четыре десятка всяких ходячих рассказов, шепотков, измышлений. В его сборнике, наряду с легендами об Александре, есть и помещённый под номером 28 «мифологический слух» насчёт свержнутого «господами» Константина, который избавит от державных притеснений. Скорое всеобщее счастье предсказывалось раешным двустиишем:

---

<sup>193</sup> Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 242.

*По открытию весны и наступлению лета  
Совсем будет новое, а не это*<sup>194</sup>.

Оба мифа, связанных с царственными братьями Александром и Константином Павловичами, таким образом, переплетаются в сознании людей, ждущих благих перемен, обретают значительную протяжённость во времени. Начало их надо искать вокруг смерти императора в Таганроге, а продолжение растянулось на долгие годы. О выдуманных претензиях Константина на престол рассказывает маркизу де Кюстину Николай I в 1839 году, а молва о долгой тайной жизни Александра перешагивает даже за черту XIX столетия.

Автор этих строк в 1952 году в деревне Вошилово Калязинского района Калининской (ныне Тверской) области слышал от местных жителей среднего возраста обе истории – и о походе Константина из Варшавы в Москву, и о «растворении» не умиравшего Александра среди простого народа. Ценность этих рассказов состояла в том, что они имели не литературное или научное происхождение, а больше века передавались из поколения в поколение калязинскими мужиками.

Но вернёмся в XIX век, в пушкинские времена. Осенью 1833 года в Болдино Пушкин сочиняет поэму «Анджело». Надо ли напоминать об одной из основных фабульных нитей этой вещи? В обширной литературе, для обзора которой здесь нет места, неоднократно обсуждалось происшествие «в одном из городов Италии счастливой», где первоначально властвовал добрый правитель, чадолубивый Дук. Но, наскучив державными трудами, он оставляет правление, уходит с престола и растворяется в народе. Его место занимает безнравственный и лицемерный тиран Анджело. Народ, простолюдины, испытывая все тяготы от несправедливой власти, жалеет, что «тот» ушёл, а на престоле сидит «этот». Когда тиранский характер правления Анджело достаточно выявлен, Дук возвращается. Его суд ставит всё на место: добродетель вознаграждена, порок наказан, милость к падшим проявлена.

Основным источником поэмы «Анджело» является хорошо известная Пушкину драма Шекспира «Мера за меру». В сущности,

---

<sup>194</sup> Лотман Ю.М. Идеиная структура поэмы Пушкина «Анджело» // Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. С. 237-252.

поэма есть вольное переложение некоторых шекспировских сцен, о чём с полным основанием пишут многие исследователи<sup>195</sup>.

Ю.М. Лотман совершенно обоснованно указал на то обстоятельство, что у «Анджело» есть и отечественный источник. Им служит фольклорный миф об Александре I, покинувшем престол и совершающем долгое, едва ли не вечное, паломничество – хождение в народ в облике богомольного старца<sup>196</sup>. Народному сознанию, пушкинским современникам, грезится и результат этого хождения: царь возвращается, кладёт конец всем неправдам.

Всё сказанное убеждает нас в том, что близкий по смыслу александровскому мифу, полузабытый миф о великом князе Константине может иметь отношение к складыванию идейной и фабульной структуры «Анджело». Рассказывая маркизу де Кюстину о лжи, к которой прибегли декабристы, чтобы вывести солдат на площадь, Николай I видел и понимал только один аспект, одну сторону случившегося: мерзкие бунтовщики использовали гнусный обман, направленный лично против него, нового императора. Ему не дано было понять, на какую почву пали семена легендарного слуха о борьбе брата Константина за права на отеческий престол. Можно было подавить мятеж, можно было казнить его лидеров и примерно наказать других участников. Но нельзя, невозможно было пресечь народную молву о царе-избавителе. Природа Константиновой легенды та же, что и природа слухов о Петре III – Пугачеве; та же, что и потаенная «правда», жившая в раскольничьих скитах и далёких сибирских острогах. Пушкин должен был это понимать.

Не случайно же запись Алексея Вульфа о переходе Пушкина в оппозицию, завершение поэм «Анджело» и «Медный всадник» и работы над «Историей Пугачева» – хронологически совпадают, приходится как раз на конец 1833 – начало 1834 годов.

---

<sup>195</sup> См., напр.: Т<омашевский> Б. «Анджело» // Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997. С. 39-40.

<sup>196</sup> Лотман Ю.М. Идеиная структура поэмы Пушкина «Анджело». С. 237-252.

## ОБРАЗ ЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ В «ПИКОВОЙ ДАМЕ»

Героиня «Пиковой дамы» Лизавета Ивановна на первый взгляд играет в пушкинской повести относительно скромную роль. На её вполне понятной склонности к Германну построен основной фабульный ход вещи. Образ приживалки в доме графини, кажется, мог бы служить иллюстрацией к иронической обмолвке Пушкина о том, что женщины характера не имеют. Вместе с тем именно *характер* Лизаветы Ивановны, на наш взгляд, многое определяет в повести и даёт некоторые возможности к истолкованиям сюжета.

Рассуждая формально, легко заметить, что повесть состоит из двух едва ли не равноправных слоёв – реального (посюстороннего) и фантастического. Между тем, провести отчётливую границу между ними – трудно; об этом и пойдёт речь. По нашему мнению, Лизавета Ивановна здесь занимает как раз пограничное положение – между бытовым и инфернальным мирами. Этим определяется её роль в действии, предлагаемом автором повести.

### 1.

Барышню Лизавету Ивановну, воспитанницу графини \*\*, мы застаём в петербургском доме знатной старухи. Лизанька – домашняя мученица; вся её жизнь – в комнатах, в карете, на балу – цепь обид и унижений. Вздорная барыня ею помыкает, управляющий не доплачивает ей жалованья, дворня грубит, а молодые люди в обществе не замечают бесприданницы.

В мире пушкинской прозы можно выстроить целую цепь действующих лиц, страдающих на такой манер. Достаточно кроме героини «Пиковой дамы» вспомнить Валериана из повести о царском арапе, его двойника – безымянного сына казнённого стрелца или воспитанницу Лизу из «Романа в письмах». Отличительная черта всех названных персон – внесловность, несоответствие происхождения реальному положению в обществе.

Кажется, череду таких приёмов открывает у Пушкина арап Ибрагим, чей сильно мифологизированный образ украшает собой страницы первого прозаического опыта поэта. Молодой африканец – приёмш Петра Великого. Ибрагим, будучи роду царского («сын арапского салтана») (VIII, 25), становится воспитанником в российском царствующем доме. Можно заметить даже одну обычно ускользающую подробность: за руку боярышни Натальи Ржевской соперничают два приёмша – Валериан и Ибрагим, свой и чужой.

В «Пиковой даме» этот мотив тоже возникает, но с переменной ролей. Здесь воспитанница не субъект, а объект притязаний, некий приз, разыгранный в конечном счёте между Германном и сыном управляющего покойной графини \*\*. О самой Лизавете Ивановне читатель узнаёт немного; например, в истории с Германном она оказывается человеком весьма доверчивым, и это характерно роднит её с царским арапом. Напомним: исходно арап «от природы не ревнив – напротив: он доверчив» (XII, 157). Это можно равно отнести и к Отелло, и к Ибрагиму.

Простодушие Лизаветы Ивановны не могут победить ни явные странности уличного поведения офицера, ни мазурочная болтовня Томского о чертовщине и злодействах Германна. Воспитанница твёрдо следует своему жизненному предназначению: найти благородного избавителя, выйти замуж, обрести независимое положение в обществе. Всё это окрашено в её сознании в мечтательные романтические тона, но, в конце концов, не выходит за пределы общепонятной достоверности.

Жизнь вокруг Пушкина была полна подобными сюжетами.

По признанию самого автора, в Петербурге придворные читатели узнали в старой графине \*\* княгиню Наталью Петровну Голицыну (XII, 324), принадлежавшую к ветви древнего аристократического рода, хорошо Пушкину знакомого. Самый анекдот о тайне трёх выигрывающих карт Пушкин услышал от внука Натальи Петровны – Сергея Григорьевича Голицына («Фирса»). Быть может, с голицынским семейством в «Пиковой даме» связаны не только образ старухи-графини и легенда о тройке, семёрке и тузе.

Бликий знакомец Пушкина Филипп Филиппович Вигель рассказывал в своих записках о дружбе собственных родителей с Сергеем Фёдоровичем Голицыным и его женой Варварой Васильевной, владельцами села Казацкое (Казачье) Киевской губернии. Тринадцатилетним мальчиком Вигель прожил несколько месяцев 1799 года в Казацком и потом в своих мемуарах оставил далеко не комплиментарные портреты хозяев. «Все члены семейства, в коем я жил, – пишет Вигель, – стояли на том, что знатный род и связи “заменяют заслуги и чины”». Эта вера, продолжает мемуарист, – была «прямо вывезена из Сен-Жерменского предместья статскою советницей Натальей Петровной Голицыной»<sup>197</sup>. Вигель-мальчик ещё не слышал о тайне трёх карт, но её парижская тень уже витает над

<sup>197</sup> Вигель Ф.Ф. Записки. В 2-х кн. Кн. 1. М., 2003. С. 130

семейством Голицыных. Парижское предместье Святого Германа уже как бы вмешивается неблагоприятно в судьбу аристократической фамилии – если, конечно, тут не позднее впечатление мемуариста, читателя «Пиковой дамы».

Завершая описание обитателей Казацкого, Филипп Филиппович отмечает и такую деталь: «Чтобы никого не пропустить из нашего деревенского общества, должен я назвать ещё два лица: отставного капитана Таманского, побочного сына князя Сергея Фёдоровича, и живущую у княгини русскую барышню, Прасковью Андреевну, которые ничтожества свои, во время пребывания моего в Казацком совокупили законным браком»<sup>198</sup>.

Случай совершенно рядовой и будничной. Бедной барышне-воспитаннице приискивают мужа здесь же, в барском доме – из числа собственных чад и домочадцев. Отставной офицер из незаконнорождённых сыновей барина – вполне достойная партия для бедной родственницы-приживалки. Мелкие подробности быта голицынского семейства Вигель потом мог рассказывать Пушкину. А мог и не рассказывать. Не в этом дело. Для нас гораздо важнее другое: со страниц записок встаёт бытовая история, вполне сходная с мотивом реальной, нефантастической развязки «Пиковой дамы».

Допустим, мы ничего не знаем о парижской тайне Сен-Жермена, о захоронении старой графини, о явлении её портрета на выпавшей роковой карте. Тогда вся повесть может быть написана пером Филиппа Филипповича Вигеля. В петербургском доме старой графини \*\* живёт воспитанницей Лизавета Ивановна, бедная романтически настроенная барышня. За нею ухаживает молодой офицер из немцев – Германн. Но эти ухаживания, сопровождаемые возвышенной перепиской, ни к чему не ведут. Германн проигрывает своё состояние в карты, сходит с ума. Наследники умершей старухи выдают барышню за приличного молодого человека, сына бывшего управляющего графини \*\*. Всё...

История замужества приживалки ничуть не колеблет бытовой поверхности жизни. Когда на похоронах графини её родственник-камергер шепчет на ухо англичанину, будто Германн побочный сын покойной, то это удивительным образом напоминает о капитане Таманском, бастарде С.Ф. Голицына. Князь в действительности женит своего побочного сына на воспитаннице, а графиня \*\*, явившись призраком к своему мнимому отпрыску, пытается сладить

---

<sup>198</sup> Вигель Ф.Ф. Записки. С. 129.

примерно такую же свадьбу. Тут тоже как бы обеспечивается счастье «двух ничтожеств». Выдумывая страницу из биографии родственницы, камергер даже не замечает явного неправдоподобия выдумки: старухе за восемьдесят, а Германну вряд ли больше тридцати – он не может быть её сыном.

Этим для нас бытовая параллель к образу воспитанницы – исчерпывается. Далее мы вступаем в широкое пограничье между условной реальностью и безусловной чертовщиной.

## 2.

Уже на первый взгляд в пушкинской повести видны некоторые странности в поведении Лизаветы Ивановны. Например, чтобы под утро вывести из дому Германа, она должна пройти с ним мимо спальни мёртвой графини. Она боится и не идёт. Но, если б дело обернулось иначе, более счастливо, она должна была бы вести ночного гостя мимо спальни *живой* старухи, да ещё и страдающей бессонницей. Это можно объяснить и как простой житейский промах, и как подсознательный расчёт на сверхчеловеческие способности Германа. Мазурочная болтовня Томского о Германне как человеке с душой Мефистофеля должна была бы укрепить бедную воспитанницу в этом сознании. Да и взгляд со стороны это подтверждает. Если – наблюдение А. Магазаника<sup>199</sup> – Германн проникает в дом графини через запертую швейцаром дверь, то почему б ему и из дому не выйти таким же сверхъестественным образом?

Заметим попутно: Лизавета Ивановна, танцуя на балу, воображала себе Германа, ждущего её в девичьей спальне; поэтому реплика Томского о проникновении инженера «*в вашу комнату*» оказалась столь удачно направленной. Здесь, быть может, возникает некое подобие мотива сцены «Вечер» из первой части «Фауста»: Маргарита уходит из дому, а в её спальню тайно является Мефистофель<sup>200</sup>. Он предшествует Фаусту, и – понятно – его явление здесь есть звено другой драмы, не драмы пушкинской повести. Но самое расположение обеих героинь на границе между бытом и inferнальными потёмками говорит о многом. Гетевской Маргарите душно и страшно в спальне, из которой только что ушёл Мефистофель; такие же духоту и страх должна ощущать и Лизавета Ивановна после ухода этого «чудовища» – Германа.

<sup>199</sup> См. сб.: Пушкин и теоретико-литературная мысль. М., 1999. С. 41.

<sup>200</sup> Гете И.-В. Фауст. Перевод Б. Пастернака. М., 1969. С. 129.

Американский славист Ростислав Шульц правдоподобно выявляет фаустовскую традицию во многих прозаических произведениях Пушкина. И не в последнюю очередь как раз в «Пиковой даме»<sup>201</sup>.

Неуловимая грань между человеческим и дьявольским, в сущности, сопровождает воспитанницу на протяжении всей её жизни при старухе, знавшейся с нечистой силой. Тут мы снова находим прямое подтверждение догадке А.А. Ахматовой: петербургский «большой свет» есть «филиал ада, который наносит <...> неотразимые обиды. Все <...> черти»<sup>202</sup>. Развязка этого дьявольского фабульного узла наступает для бедной воспитанницы в главке V, в сцене похорон графини \*\*. Покойница прищуривает глаз и насмешливо взглядывает на офицера. Из всех участников мрачного обряда это движение замечают только двое – Германн и Лизавета Ивановна. Падение в обморок одной и падение «об зелье» другого обнажают явное присутствие inferнальных сил у гроба старой грешницы.

Иной узел вокруг воспитанницы завязан Пушкиным на почве наполеоновской легенды.

О внешнем сходстве Германна с Наполеоном болтает в мазурке всё тот же Томский. Потом это сходство поразит Лизавету Ивановну в самый миг расставания с виновником смерти графини \*\*. Понятно: параллель *Наполеон – Германн* можно обсуждать с разных сторон. Но нас она будет занимать здесь лишь в русле истолкования образа Лизаветы Ивановны.

Нам уже приходилось обсуждать ту заинтересованность, с которой Пушкин относился к историческим взглядам французских энциклопедистов XVIII века. Его привлекало, в частности, соображение Д. Дидро и его последователей о том, что единые естественные законы одинаково действуют и в жизни частного человека, и в деяниях исторической личности. Поэтому и судить о частном человеке и об исторической личности (король, министр, папа и т.д.) надо на основании одних и тех же законов природы. Это хорошо прослеживается, например, в «Евгении Онегине», где Ларина умеет «самодержавно управлять» супругом, а заглавный герой как раз «глядит в Наполеоны»<sup>203</sup>.

<sup>201</sup> Шульц Р. Отзвуки фаустовской традиции и тайнописи в творчестве Пушкина. СПб., Филологический факультет СПбГУ, 2006. С. 407.

<sup>202</sup> Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Горький, 1984. С. 223.

<sup>203</sup> Листов В.С. Новое о Пушкине. М., 2000. С. 82-89

Тот же ход – улавливать в частном, единичном событии черты большой истории – заметил в «Пиковой даме» покойный ныне И.А. Энгельгардт. Он указал, что реплика Германна «*Перестаньте ребячиться*», обращённая к уже бездыханной графине \*\*, исторически восходит к самому началу царствования Александра I. Растерянный, морально сломленный после убийства отца, наследник-цесаревич выслушивает призыв заговорщика, графа Петра Алексеевича Палена: *перестаньте ребячиться, идите царствовать*. В свою очередь, эта реплика опять-таки приводит нас к французским источникам. По свидетельству гувернёра наследника-цесаревича С.А. Порошина, будущий император ещё мальчиком слышал застольный рассказ Никиты Панина о случившейся в Париже казни какого-то преступника. Этот преступник упирался, не хотел всходить на эшафот, и тогда палач крикнул ему: «*перестаньте ребячиться!*»<sup>204</sup>.

Оказывается, смерть романтического императора Павла I в Михайловском замке и смерть неназванной, вымышленной графини в собственном её доме – сопровождаются одной и той же репликой, пусть и произнесённой в разных смысловых контекстах. Развитие этого странного сближения далеко увело бы нас от нашей темы. Отметим только ещё одну деталь: оба злодея – граф Пален и инженер Германн – из обрусевших немцев<sup>205</sup>.

«Германн немец», – сказано уже в первом диалоге игроков, открывающем «Пиковую даму». Иноплеменность, нерусская расчётливость героя здесь весьма обязывающие черты характера. Его хладнокровные притязания на деньги игроков – а шире сказать: на русские ценности – очевидная смысловая подоснова всей вещи. Никакие человеческие чувства не останавливают его на этом пути. Он готов даже принять условия призрака графини \*\* и жениться на Лизавете Ивановне, которую он не любит и которая по многим признакам ему не пара.

А теперь на одно мгновение оставим героиню пушкинской повести, мысленно перенесёмся в реальный 1808 год, в немецкий город Эрфурт. Император Александр Павлович, давно переставший ребячиться, встречается здесь с Наполеоном, чьи войска стоят уже недалеко от русских пределов. Бонапарта сопровождает старая лиса,

<sup>204</sup> Энгельгардт И.А. Личное сообщение.

<sup>205</sup> Манн Ю. «Пиковая дама» А.С. Пушкина («Немецкий элемент» как фактор поэтики) // Манн Ю. Тургенев и другие. М., РГГУ, 2008. Листов В. Экранная проекция «Пиковой дамы» // Киноведческие записки, 2008. №88. С. 25-31.

министр Талейран, в данный момент заинтересованный в союзе с Россией. Он-то и подвигает императора французов на чисто политический брак – просить у русского монарха руки его родной сестры, великой княжны Екатерины Павловны. Но невеста, кажется, испуганная притязаниями чужака, узурпатора, – отказывает. Её в этом поддерживают и маменька, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, и всё русское общество. Пушкин не мог не знать этого эпизода из жизни Екатерины Павловны, которая покровительствовала Карамзину и в которой автор «Пиковой дамы» видел пример «женщины с умом необыкновенно возвышенным» (XII, 45).

Конечно, фабульные связи и особенности характеров героев пушкинской повести далеко не буквально повторяют собою события «большой истории». Германн, хотя и дважды сравнивается с Наполеоном, всё-таки несомаштабен великому злодею. И Лизавета Ивановна, хотя и близка по аналогии к положению великой княжны, но, конечно, не отличается необыкновенно возвышенным умом. Тем не менее, в драме, разыгранной героями повести, можно заметить очевидное единство категорических императивов, управляющих судьбами сих великих и малых сих. Другими словами, исторические наблюдения Дидро прослеживаются не только в «Онегине», но и в «Пиковой даме».

Последнее наблюдение: игра Германна, в которой прямо решаются его судьба и косвенно судьба бедной воспитанницы, совершенно точно повторяет собой безумие русского похода Наполеона в 1812 году: победоносное начало и конечный полный крах.

Затем падший безумец будет обитать в замкнутом пространстве острова Святой Елены. И мы, разумеется, воздержимся от прямого сравнения этого острова с номером 17 петербургской Обуховской больницы, где содержится сумасшедший Германн...

### **Пушкин и Г.А. ПАКАТСКИЙ**

#### ***К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «МЕДНОГО ВСАДНИКА», «СКУПОГО РЫЦАРЯ» И СТИХОТВОРЕНИЯ «ПАМЯТНИК»***

В конце февраля 1825 года ссыльный Пушкин из Михайловского обращается с очередным письмом к брату Льву. Оно находится в ряду других таких посланий и содержит обычный набор

тем: денежные счёты, распоряжения о печатании стихов, приветы друзьям. Но заключение письма состоит всего из одной фразы, не связанной по смыслу с остальным текстом. Вот она:

*«P.S. Слепой поп перевёл Сираха (смотри. “Инвалид” № такой-то), издаёт по подписке – подпишишь на несколько экз.»*<sup>206</sup>.

Комментатор пушкинских писем Б.Л. Модзалевский не обошёл вниманием этот пассаж и сообщил в своём примечании некоторые сведения о «слепом попе». Его имя – Гавриил Абрамович Пакатский; служил он в Петербурге священником церкви Константина и Елены Градских богаделен под Смольным монастырём. Ослеп не позднее 1818 года. Напечатал несколько книг, в основном стихотворные переводы. За перевод Псалтыря получил в 1818 году премию от Российской Академии Наук. В 1830 году умер<sup>207</sup>. Несколько иные сведения о годах его жизни даёт энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона: родился в 1756-м, а умер в 1840 году<sup>208</sup>.

Однако, простыми биографическими сведениями о Пакатском комментарий к приведённому месту из письма Пушкина далеко не исчерпывается. Б.Л.Модзалевский и – насколько нам известно – все последующие комментаторы не отвечают на очевидные вопросы, вытекающие из пушкинского *post scriptum*. Что знал Пушкин о слепце-переводчике? На какую публикацию «Русского Инвалида» он ссылается? Наконец, для чего Пушкину библейская «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова» в нескольких экземплярах?

Заметим сразу: в пушкинской приписке есть одно весьма важное умолчание – поэт не называет «слепого попа» ни по имени, ни по фамилии. Обращаясь к брату с просьбой, Пушкин, конечно, не может рассчитывать, что Лев Сергеевич достанет комплект «Русского Инвалида», найдёт нечто об авторе перевода библейской книги, а уж потом закажет несколько экземпляров. Это противоречило бы и известному образу жизни Лёвушки, и нормальной житейской логике. Гораздо вернее простой вывод: оба брата хорошо знают, кто такой «слепой поп». Имя Гавриила Пакатского им знакомо; он и его слепота уже обсуждались и братьями, и вообще в пушкинском кругу. Это единственная

<sup>206</sup> Переписка А.С.Пушкина. В 2 т. Т.2. М., 1982. С.50.

<sup>207</sup> См.: Пушкин. Письма. Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. Т.1. М.; Л., 1926. С.408.

<sup>208</sup> Энциклопедический словарь. Т. 44 (XXII А), (Оуэн-Патент). Изд. Брокгауз-Ефрон. СПб., 1897. С.597.

причина, по которой Пушкин не счёл нужным упомянуть имя священника.

Заметка, привлекающая внимание Пушкина, напечатана в февральском (1825) «Русском Инвалиде» и начинается библейским изречением: «Приклони ухо твое к нищему, и отвечай ему мирная в кротости» (Сирах: 4, 8). Вот её основной текст:

«Лишенный зрения Богаделенный Священник Гавриил ПАКАТСКИЙ, незадолго перед наводнением, приготовил к напечатанию рукопись: ПРЕЛОЖЕННАЯ СТИХАМИ КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА СЫНА СИРАХОВА, с примечаниями.

7 Ноября вода в покоях им занимаемых доходила до 1¾ аршина и повредила многие его книги; но сия рукопись, крепко связанная в толстой обёртке, уцелела.

Злополучный слепец обращается к сострадательным согражданам и просит оказать ему вспоможение для издания в свет душеспасительной книги его.

Священник ПАКАТСКИЙ имеет жительство в С.Петербургских Богадельнях, куда покорнейше просит желающих помочь ему, присылать по 5-ти рублей за экземпляр. А он с своей стороны употребит все старание к скорейшему отпечатанию и удовлетворению своих подписчиков.

Не менее окажут ему пособия и те, которые пожелают от него получить и прежние его книги...»<sup>209</sup>.

Далее перечислены с указанием цен четыре ранее вышедшие книги в переводах Пакатского.

Заметка «Русского Инвалида» сразу отвечает на вопрос – зачем Пушкину «Книга Сирахова» в нескольких экземплярах? Его, конечно, привлекают не сами тома, а только возможность помочь несчастному соотечественнику. Поэтому, думается, в письме нет просьбы прислать «Книгу Сираха» в Михайловское. Это не первый подобный мотив в переписке братьев. Комментаторы «Медного всадника» неукоснительно приводят строки, посвященные петербургскому наводнению, из декабрьского (1824) письма Пушкина к Льву Сергеевичу: «Этот потоп с ума мне нейдёт, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из

---

<sup>209</sup> «Русский Инвалид или военные ведомости», 1825. № 34, 10 февраля. С.137 (пагинация всех №№ сквозная).

Онегинских денег. Но прошу без всякого шума, ни словесного, ни письменного»<sup>210</sup>. Обращение с просьбой помочь Пакатскому доказывает, что и через пять месяцев после бедствия «петербургский потоп» у Пушкина всё ещё «нейдёт с ума».

Заметка в «Русском Инвалиде» потрясает нас и сегодня; и даже независимо от Пушкина и его поэмы. Представим себе слепого старика, который последние силы вкладывает в свой труд. Ему читают книгу Сирахову. Он со слуха переводит русскими стихами библейские поучения; кто-то записывает его вирши. Потом невские волны врываются в жилище. Вода доходит до двух без четверти аршин – это по современному счёту примерно 1 метр 20 сантиметров. По пояс... Несчастный старик ощупью находит драгоценную рукопись со словом Божьим и спасает её от потопления.

Не знаем, соответствует ли реальности нарисованная картина. Но что-то в этом роде должно было возникнуть в сознании Пушкина. Трудно решить, какие культурные мотивы могли посетить поэта в связи с историей Пакатского – праотец Ной? слепец Гомер? слепые музыканты из грядущих «Полтавы» и «Моцарта и Сальери»? Всё это область бесплодных догадок. Нет прямых возможностей соотносить «слепого попа» и с петербургским чиновником Евгением из «Медного всадника» – хотя в известном варианте поэмы герой назван «сочинителем» и мечтает «как поэт».

Единственную возможность продолжить наши наблюдения даёт возможное знакомство Пушкина с творчеством Пакатского. Такое допущение на основе всего сказанного не кажется особенно дерзким.

«Книга Сираха» в стихотворном пересказе Пакатского получила цензурное разрешение 10 сентября 1824 года, а вышла в следующем, 1825 году. Из публикации «Русского Инвалида» ясно, что к середине февраля следующего, 1825 года, она ещё напечатана не была. Книга вышла позже, но в том же 1825 году. На её титуле стоят: «Санкт-Петербург, при Императорской Академии Наук» и посвящение вдовствующей императрице Марии Федоровне<sup>211</sup>.

<sup>210</sup> Переписка А.С.Пушкина. Т.2. С.42.

<sup>211</sup> (Пакатский Г.А.) Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, заключающая в себе наилучшие нравоучения, преложенная в стихи Церкви Св. Равноапостольских Царей Константина и Елены, что при Санкт-Петербургских Градских богадельнях лишенным зрения Священником Гавриилом Пакатским. СПб., 1825.

Понятно – ведь «слепой поп» живёт при богадельнях, как раз и относящихся к ведению этой венценосной покровительницы.

В предисловии Пакатский благодарит императрицу за покровительство его детям – сыну Ювеналию, губернёру при Воспитательном доме, и дочери Любви, «воспитанной при Обществе благородных девиц на мещанской половине»<sup>212</sup>.

Сама «Книга Иисуса сына Сирахова» входила в число библейских текстов Ветхого Завета и помещалась сразу за книгами Соломоновыми. Она представляет собой сборник бытовых, житейских поучений: как вести дом, как распоряжаться деньгами, как поддерживать семейный мир, воспитывать детей и т.д. До сложения русского свода правил поведения «Домострой» (XVI в.) «Книга Сираха» была, возможно, основным бытовым руководством, особенно популярным в нашем отечестве в XI-XIII веках<sup>213</sup>. Сама идея переложить Сираха стихами выглядела в XIX веке довольно наивно. К тому ж поэтические возможности Пакатского были весьма скромными; его муза тяготела к архаическим образцам прошлого, XVIII столетия.

Ни здесь, ни далее мы не станем настаивать на том, что Пушкин в своих произведениях прямо использовал вирши «слепого попа» или как-то на них ориентировался. Очень уж очевидна пропасть, разделяющая двух авторов. Тем не менее «бедное рифмичество» Пакатского в отдельных местах представляет собой любопытную параллель к пушкинским стихам. Или уж во всяком случае здесь есть возможность напомнить, сколь важным был для творчества Пушкина век восемнадцатый, в котором воспитывался безвестный священник.

Вот – в переложении Пакатского – несколько стихов из главы XIV «Книги Сираха»:

3. Богатство столько же прилично есть скупому,  
Как прелести цветов и зеркало слепому;  
Какая надобность в имении тому,  
Кто оного ссужать не хочет никому;
4. Кто тратить оное и для себя жалеет,  
Хоть пищи и одежд приличных не имеет,  
Кто копит оное в наследие других,  
Что будут ликовать на щет его благих.

<sup>212</sup> Книга премудрости... Предисловие (без пагинации).

<sup>213</sup> *Рижский М.И.* История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978. С.28.

5. Кто сам себе злодей, кому есть благодетель?  
Кто сам имущества есть раб, а не владетель <...>
10. Он в сытость своего вкусить жалеет хлеба,  
Чтоб деньгам лишнего не причинить ущерба,  
От скудного стола голодным восстает  
И выговор жене за роскоши дает<sup>214</sup>.

Строки Пакатского немедленно приводят на память монологи Альбера и Филиппа из пушкинского «Скупого рыцаря». В виршах священника мы узнаём многие черты Филиппа, который служит своему богатству «как алжирский раб», а сам «пьёт воду, ест сухие корки».

Разумеется, Пушкин был знаком с библейским текстом независимо от Пакатского. Соотнесение «Книги Сираха» с пушкинским творчеством было бы само по себе плодотворно, но сейчас в нашу задачу не входит. Заметим только, что в случае со «Скупым рыцарем» перевод (точнее – пересказ) священника неточен, весьма удалён от оригинала. У Сираха нет, конечно, сравнения скупого со слепым, которому не нужны цветы и зеркала. Но гораздо важнее отступления от библейского текста там, где Пушкин и Пакатский используют одни и те же образы.

Например, у Сираха в стихе 5 нет ничего похожего на строчку: «Кто сам имущества есть раб, а не владетель». Там сказано другое: «Иже себе зол, кому добр будет; и не возвеселится в имени своем» (Сирах: XIV, 5). Точно так же в стихе 10 нет аналогии стиху Пакатского: «Чтоб деньгам лишнего не причинить ущерба». Древний автор вообще не упоминает здесь денег: «Око лукаво завидливо и о хлебе, и на трапезе своей скудно» (Сирах: XIV, 10).

Тут нет места для множества аналогичных примеров. Поэтому скажем обобщённо: «Скупой рыцарь» и по образной ткани, и по мысли гораздо ближе к переводу (пересказу) Пакатского, чем к церковно-славянскому оригиналу.

Такое же соотношение – библейского оригинала, пересказа «слепого попа» и пушкинского текста – мы найдём, если обратимся к другим изданным книгам Пакатского, быть может, не ускользнувшим от внимания поэта. Это, надеемся, будет видно из самого материала сопоставлений.

<sup>214</sup> Книга Премудрости... С. 84-85.

В 1814 году Пакатский издал стихотворное переложение библейской книги «Плач Иеремии» (цензурное разрешение от 1 июня 1813 года). Время написания – не случайность. Перевод посвящен графу Ф.В. Ростопчину, главнокомандующему Москвы. И – судя по предисловию – ветхозаветные сетования пророка есть для переводчика только повод, только прикрытие его скорби о разорении старой столицы французами<sup>215</sup>. Иеремия плачет о Иерусалиме; Пакатский – о Москве. В русле одной и той же культурной традиции оба понимают гибель столицы не как результат военного поражения, а как наказание согрешившим народу и городу.

Одна из «иеремиад», возглашаемых пророком, напоминает о наказании Божьем через потоп:

«Возлияся вода выше главы моя; рек: отриновен есмь» (Плач Иерем.: 3, 54).

Как и в случае с «Книгой Сираха» Г.А. Пакатский далеко отступает от оригинала. Один ветхозаветный стих он разворачивает в картину, над которой, на наш взгляд, мог бы задуматься исследователь «Медного всадника»:

Как море во своей окружности пространно,  
И бурею ветров из ложницы изгнанно,  
Исходит из берегов на окрестный предел  
И наводняет в нем громады разных тел:  
Так ярости Твоей, о! Господи! стремленье  
Наводит на меня ужасно потопленье<sup>216</sup>.

Иерусалим и Москва – города не приморские. Пакатский – житель Петербурга, постоянно посещаемого наводнениями. Возможно, поэтому под пером иерея скромный мотив библейского пророка многократно усиливается; потоп видится ему образом Божественной ярости, становится в ряд с военным нашествием, мором, голодом и поруганием святынь. Потом тем же путём пойдёт и Пушкин. Разрушение Москвы и затопление Петербурга ведут его к библейским аналогиям, о чём много написано – не стоит повторять. Напомним только одно знаменитое двустишие «Медного всадника»:

<sup>215</sup> Поэма Плач Иеремии, преложенный стихами церкви Санктпетербургских Богаделен Священником Гавриилом Пакатским. СПб.: Типография Военного Министерства, 1814. С.1.

<sup>216</sup> Поэма Плач Иеремии... С. 36.

...Народ

Зрит Божий гнев и казни ждёт (V, 141).

За этой строкой в поэме следует эпизод с Александром I, вышедшим на балкон. Царь тоже «зрит Божий гнев и казни ждёт», но кроме того ещё понимает своё бессилие против Божьей стихии, с которой «царям не совладеть» (V, 141). В этом русле «Медный всадник» может быть понят как применение Священных страниц к истории отечества, что в каком-то смысле аналогично попытке Пакатского (пусть и наивной) через пересказ библейского пророка оплакать разрушение Москвы французами.

Здесь мало места для полного сопоставления переводов Пакатского с творчеством Пушкина; поэтому мы ограничимся только ещё одним примером – параллелью со стихотворением «Я памятник себе воздвиг...».

В том же «Плаче Иеремии» Пакатский дополняет древнего автора мотивом, которого в библейском тексте совсем нет. Вся «Песнь первая» переосмыслена; «слепой поп» сделал её как бы стихотворным предисловием к своей книге. Поэтому о Иеремии он говорит не от первого лица, как в Библии, а в третьем лице. Кроме того, библейские пророки (за исключением, может быть, царя Давида) не называют себя поэтами, певцами. Пакатский же без колебаний обращается к Иеремию как к поэту.

Важный для нас мотив содержится в стихах 5 и 6 «Песни первой» перевода, где речь идёт об отношении поэта и читателя:

Какое бранных уст потребно одобренье  
Иеремию читающим творенье?  
Чем мог почтить того витийственный язык,  
Кто был по имени пред Господом велик?<sup>217</sup>

Сама мысль о том, что пророк, ведомый Богом, не нуждается в одобрениях и почитаниях, была бы простым общим местом. Но у Пакатского она выражена и ещё в двух строках, по-видимому, никогда не обсуждавшихся в пушкиноведении:

И кто б не ублажил толикого певца?  
Но наших он похвал нетребует венца<sup>218</sup>.

<sup>217</sup> Поэма Плач Иеремии... С. 2.

<sup>218</sup> Там же. С. 1.

Конечно, смысловая, просодическая и рифмическая похожесть двустопия на хрестоматийно известную последнюю строфу пушкинского «Я памятник себе воздвиг...» и удивляет, и завораживает. Но сходство, думается, не должно повлечь за собой каких-то коренных, обязывающих выводов. Пакатский – младший современник и подражатель Державина. А пушкинский «Памятник» как раз и написан в формах XVIII века, в державинской традиции. В этом русле «переключка» Пушкина и Пакатского легко понятна и объяснима.

Контуры проблемы можно искать в иных сферах. Например, исследователи давно выстраивают ряд пророческих стихотворений Пушкина, ориентированных на библейские источники. Общеизвестна связь между «Пророком» и «Книгой Исая», стихотворением «Герой» и «Евангелием от Иоанна». Нам уже приходилось говорить о существовании в «Памятнике» целого пласта смыслов, тяготеющего к «Апокалипсису»<sup>219</sup>. В этом ряду наивные стихи Пакатского ничего по существу не меняют. Но они добавляют в картину ещё одну краску, точнее, ещё один оттенок.

Работая над «Памятником», Пушкин вряд ли прямо ориентировался на конкретного ветхозаветного пророка – в том числе и на Иеремию. Но среди других примеров, несомненно, вели его и обобщённые библейские образы. Может быть, этим и объясняется сходство его стихов с русским переложением пророка у Пакатского. Это сходство скорее всего случайно как единичный факт, но отдаёт закономерностью в более широком художественном поле, в русле ломоносовско-державинской традиции обращения к священным текстам.

Последнее наблюдение над сочинениями «слепого попа», которое мы здесь можем себе позволить, относится к его книге, упомянутой в исходной для нас публикации «Русского Инвалида». В списке предлагаемых к продаже «прежних книг» Пакатского Пушкин прочёл и такое название: «Свет зримый, в стихах, 5 рублей»<sup>220</sup>.

Полное название этой книги заслуживает того, чтобы выписать его целиком: *Пакатский Г. Зримый свет в стихах или возникающая Аврора. В пользу обучающихся юношей и всех вообще любителей стихотворения. СПб, 1805.* В предисловии Пакатский

<sup>219</sup> Листов В.С. Миф об «островном пророчестве» в творчестве Пушкина // Легенды и мифы о Пушкине. Изд. 2-ое. СПб., 1995. С.192-215.

<sup>220</sup> «Русский Инвалид...», 1825. № 34, 10 февраля. С.137.

сообщает: «Важность и достоинство книги сея уже давно почтенной публике известны; она в разные времена, в разных нациях, многократно выходила и всегда от любителей словесности со удовлетворением была приемлема, да и в нашем отечестве вторым тиснением была по желанию публики в 1789 году напечатана». Переводчиком «книги сея» с немецкого языка полтора десятилетия назад Пакатский называет профессора Российской Академии Наук Ивана Парфеновича Хмельницкого<sup>221</sup>.

Ни Пакатский, переложивший книгу стихами, ни Хмельницкий<sup>222</sup>, не называют автора книги, предлагаемой русскому читателю – таковы традиции XVIII столетия. Но на вопрос об авторе ответить нетрудно. Речь идёт о великом чешском просветителе и педагоге Яне Амосе Коменском (1592-1670). В 1658 году он написал книгу для юношества «Видимый мир в картинках» (в латинском оригинале – «Orbis pictus»), действительно переведенную на основные европейские языки<sup>223</sup>. Это иллюстрированный прекрасными гравюрами том, больше всего напоминающий энциклопедию для юношества. В книге даны описания основных предметов видимого мира. Например, «Вода», «Огонь», «Облака», «Горы», «Пустыня», «Лебедь». Но есть и менее «видимые» предметы – «Путь», «Смертоносная зараза», «Болящий», «Богатый». Материальные объекты, таким образом, соседствуют с понятиями. Всё это дано образно, с литературными параллелями.

При многочисленных переводах и переизданиях тексты Коменского искажались и дополнялись. Например, в русских переложениях поминается землетрясение в Лиссабоне в 1755 году, до которого Коменский не дожил 85 лет.

Для нас важно только одно: Хмельницкий перевёл книгу с немецкого языка, а Пакатский в 1805-ом переложил его труд русскими стихами. Читая в «Русском Инвалиде» о старой книге

<sup>221</sup> Пакатский Г. Зримый свет в стихах или возникающая Аврора. СПб., 1805. С.1 (без пагинации).

<sup>222</sup> Свет зримый в лицах; ...в пользу всякого состояния людям, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам. Перевёл с Немецкого языка на Российский Иван Хмельницкий. Изд. 2. СПб., 1789.

<sup>223</sup> См.: Смирнов В.З. Коменский // Большая Советская Энциклопедия. М., 1953. Т. 22. С.132; Кожик Франтишек. Ян Амос Коменский. Прага, 1980. С.57. У Коменского в латинском оригинале книга называлась «Orbis pictus» («Мир в картинках»).

Пакатского, Пушкин скорее всего знал, о каком издании идёт речь – слишком мала вероятность того, что Пушкину не знакома одна из самых распространённых в Европе книг, да ещё и рекомендованных в России как пособие для стихотворцев.

К сожалению, здесь нет места для сколь-нибудь обширного сопоставления трудов Коменского и переводов Хмельницкого и Пакатского с творчеством Пушкина. Наше внимание ограничится только одной короткой статьёй – «Лебедь».

В переводе Хмельницкого это 77-ая по счёту описательная статья. «Сия птица, – сказано в ней, – посвященная Аполлону, называется купно Венериною, или по причине белизны перьев своих, либо по тому, что древние почитали ея похотливою». Далее среди прочих материй обсуждается «лебединая песнь», т.е. легендарное поэтическое прощание лебедя перед смертью. «Стихотворцы, – читаем в переводе Хмельницкого, – не взирая на противоречия испытателей естества, по неоспоримому своему праву всегда заставляют лебедя петь и приняли его своим знаменованием. Гораций до тех пор называться будет Венузинским лебедем, доколе не престанут его читать, то есть до скончания мира»<sup>224</sup>.

Это место и послужило Г.А. Пакатскому для стихотворного пересказа, в котором близкий Пушкину мотив звучит гораздо отчётливее и сильнее. Вот возражения стихотворцев естествоиспытателям, считающим, что лебеди не поют:

Стихов творцы их отрывают,  
Неверя спорным тем словам  
Петь лебедю повелевают  
По неоспоримым правам.

И взяв его знаменваньем  
Стихотворения певцов  
Почтили сим именованьем  
Гремевших славою отцов.

Гораций, лебедь Венузинский,  
Титулом будет сим греметь,  
Покуду стих его Латинский  
В почтенье станут все иметь.

<sup>224</sup> Пакатский Г. Зримый свет... С.307-308.

Но то едва ль когда случится,  
Чтоб перестали почитать:  
Так видно имя сохранится  
Доколе будет мир стоять<sup>225</sup>.

Тут складывается довольно необычная пушкиноведческая ситуация. С одной стороны понятно, что вирши Пакатского опять надо как-то осмысливать в связи со стихотворением «Я памятник себе воздвиг...». С другой стороны формально-историческая удалённость стихов Пакатского от гораціанского первоисточника едва ли не бесконечна, превышает все мыслимые возможности.

Напомним. Горация по-латыни читал Коменский. Потом труд Коменского «*Orbis pictus*» был переведён на немецкий язык. С немецкого на русский книгу перелагал И.П. Хмельницкий. И только его переложение Пакатский взял подстрочником для своих виршей. Ничего от «стиха Латинского» в сочинении петербургского священника остаться не могло, не должно было.

Как и во всех предыдущих случаях речь не идёт о влияниях и заимствованиях. Для того, чтобы написать свой «Памятник», Пушкин не имел надобности обращаться к слабой тени, к далёкому отблеску европейских литератур. Вопрос стоит иначе. Академик М.П. Алексеев в своей монографии о стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» выявил множество обращений к Горацию в русской литературе XVIII – начала XIX столетий. Он предпринимал такие поиски вовсе не для того, чтобы приписать произведениям Пушкина какие-то прямые протографы. На массе примеров он доказывал, что пушкинский «Памятник» буквально созрел в русской словесности, в среде, где знание многих античных образцов перестало быть редкостью.

В известных нам трудах М.П. Алексеева «слепой поп» не упоминается. Но в их русле имя Г.А. Пакатского можно было бы осторожно поместить в ряд с именами писателей XVIII-XIX веков, равнодушных к античному наследию; они-то и пролагали дорогу ко многим вершинам литературы пушкинской поры, да и к творчеству самого Пушкина.

---

<sup>225</sup> Пакатский Г. Зримый свет... С.263.

Изучение виршей Г.А. Пакатского нашей работой далеко не исчерпано – даже в пушкиноведческом направлении. Думается, его переводы и переложения с любопытством прочтут исследователи, занятые «Евгением Онегиным», «Полтавой», «Моцартом и Сальери», лирикой и даже прозой. В нашу же задачу вошло только напомнить забытое имя старшего пушкинского современника и привести несколько показательных примеров из его сочинений.

### **ПОЭТ – СОСТАВИТЕЛЬ КОНСПЕКТА ТРУДА И.И. ГОЛИКОВА «ДЕЯНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО...»**

Тетради, заключающие в себе результат работы поэта над сочинением историка, давно привлекают внимание исследователей. Но и до сих пор самый длинный автограф Пушкина остается и самым малоизученным<sup>226</sup>. В тридцатые годы нашего века к нему обращался П.С. Попов<sup>227</sup>. Позднее И.Л. Фейнберг стал лучшим знатоком и тонким толкователем пушкинского конспекта. Фейнбергу принадлежат важнейшие наблюдения над текстом, выявление источников, суждения о жанровой и стилистической природе автографа.

Но работы И.Л. Фейнберга далеко не исчерпали всей глубины необычного произведения Пушкина; многие очевидные вопросы остались без ответов. И.Л. Фейнберг видел свою основную задачу в том, чтобы в ткани конспекта отыскать стилистически законченные фрагменты исторической прозы Пушкина и доказать, что сам автор полагал их готовыми для включения в будущую книгу. Отсюда особое внимание исследователя к кускам связного текста – без помарок, сокращений слов, без назывных предложений. Находя такие места в конспекте, Фейнберг считал, что Пушкин мог «перенести в окончательный текст своей “Истории” содержащиеся

---

<sup>226</sup> Обзор работ и источников по теме см.: *Фейнберг И.* Читая тетради Пушкина. М., 1985. С.13-214 (библиография в подстрочных примечаниях).

<sup>227</sup> См.: *Попов П.* Пушкин в работе над «Историей Петра I» // Литературное наследство, 1934. Т. 16-18. С.474-476.

уже в подготовительном тексте ее готовые – или почти готовые — страницы»<sup>228</sup>.

Такой чисто стилистический подход к конспектам вряд ли безупречен.

Во-первых, пришлось бы решать за Пушкина, что он внес бы в книгу, а что – нет. Некорректность таких решений очевидна.

Во-вторых, Пушкин готовил свой труд не как вольное сочинение вольного автора. Его заказчиком был сам император. Взгляды Пушкина и Николая I на «Историю Петра» не совпадали. Поэт легко предвидел столкновения с царем и цензурой. Поэтому большая готовность текста к печати нередко отличалась и большей удаленностью от того, что Пушкин думал, хотел сказать.

Это обстоятельство нетрудно проверить на материале других произведений, хотя бы на сличении автографов «Бориса Годунова» с текстом первого издания трагедии. Многие места подвергались авторской правке, многие цензурно сомнительные пассажи исчезли «при первой переписке». Тем же изъятиям и смягчениям подлежали бы, конечно, и редакции «Истории Петра» по мере приближения текста к августейшему читателю, а тем более к печатному станку.

Пушкин это прекрасно сознавал, чему свидетельством сами страницы конспекта. Например, назвав Петра «самовластным помещиком», чьи указы «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом», Пушкин, как бы спохватившись, рассудительно замечает в скобках: «Это внести в Историю Петра, обдумав...» (X, 266). Здесь отчетливо видна разница между записью «для себя» и обдуманным, взвешенным повествованием для книги. Видимо, у черновика, испещренного помарками, изобилующего неряшливостями, недописанными словами, есть важное преимущество – преимущество полной неподцензурности, свободы авторской речи.

Поэтому, обращаясь к подготовительным материалам «Истории Петра», мы не будем искать связных текстов, не будем обсуждать художественные достоинства прозы. Обозначим иные принципы подхода к конспекту.

Во-первых, мы ориентируемся на смысл, на содержание выписок, а не на их стилистические особенности.

Во-вторых, нас будут интересовать, мотивы, по которым Пушкин выбирал те или иные места в сочинении историографа. Двенадцать основных томов голиковских «Деяний...» – мощный

<sup>228</sup> Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. С. 214.

пласт фактов и суждений, для Пушкина, конечно, не равноценных. В свой конспект Пушкин вносит далеко не все, а вносимое экспонирует с разной степенью полноты и подробности. Постигание тех аргументов, по которым Пушкин отбирает из текстов Голикова, должно, на наш взгляд, помочь выявить какие-то грани содержания будущей книги о Петре I.

Наконец, в-третьих. Судьба распорядилась так, что отбор и пересказ Голикова пришлось на середину тридцатых годов, т.е. стали памятниками пушкинской мысли на заключительном этапе ее развития. Конспектированию страниц историографа предшествовала вся жизнь поэта, вся биография его души. Поэтому очень важно соотнести содержание конспекта с мыслью Пушкина, предвещающей его работу над «Историей Петра». Другими словами, показания конспекта необходимо как бы «встроить» в систему размышлений Пушкина, развивающуюся на протяжении целых десятилетий.

Полный комментарий к материалам «Истории Петра», основанный на таком подходе, занял бы много страниц. Поэтому мы ограничимся здесь только отдельными примерами.

Так, у нас есть возможность соотнести один из фрагментов конспекта с размышлениями Пушкина, берущими начало еще в 1826 году, т.е. почти за десятилетие до заполнения «голиковских» тетрадей.

8 сентября 1826 года Пушкин, только что возвращенный из ссылки, был принят в московском Кремле императором Николаем I. Беседа с царем, решительно изменившая судьбу поэта, стала событием, к которому Пушкин позже постоянно мысленно обращался. Мы не знаем в точности содержания беседы, хотя этот эпизод, если воспользоваться удачным выражением одного историка, сильно «оброс литературой». Ее обзор не входит в нашу задачу. Достаточно будет напомнить только один мотив беседы, который довольно уверенно обсуждают в своих работах А.А. Ахматова, а позднее В.С. Непомнящий, Н.Я. Эйдельман и другие исследователи.

Мотив этот сводится к тому, что в кремлевской беседе царь что-то Пушкину обещал. Что именно – гадать не будем. Ясно только, что речь шла о судьбах России, и царское обещание выходило далеко за пределы личных обстоятельств жизни Пушкина. Диапазон возможностей, к которым клонило слово государя, был очень широк – например, от прощения ссыльных декабристов до ослабления или даже отмены крепостного состояния.

Для нас важно только одно: царь своего слова, данного поэту, не сдержал. Отсюда – разочарование Пушкина, его стойкая неприязнь к Николаю I в последние годы жизни, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих сюжетов. Пушкин не позднее 1834 года говорил своему другу Алексею Вульфу, что вновь «возвращается к оппозиции»<sup>229</sup>. Может быть (и даже скорее всего) царский обман не был единственной причиной нового перехода Пушкина в оппозицию.

А.А. Ахматова, изучая последнюю сказку Пушкина, «Сказку о золотом петушке» (1833), неоднократно обращала внимание на важную смысловую грань этого произведения – нарушение монаршего слова, данного скопцу, как причина бедствия для царя и царства<sup>230</sup>.

Острые сказки было направлено, конечно, не против вымышленного Дадона, а против реально царствующего Николая I, не умеющего держать однажды данное слово. Сходность сказочного и действительного положений подчеркивалась еще и тем, что девицу следовало отдать скопцу, т.е. человеку, которому лично она не нужна. Мудрец, странный персонаж сказки, не женщины добивается, а исполнения царского слова. Тут ясная параллель с ситуацией самого Пушкина – ведь обещание Николая I не сулило поэту личных выгод или преимуществ. Своей сказкой Пушкин настаивает: обещание, в чем бы оно ни состояло, надо выполнять. Это обязательно для порядочного человека – тем более для монарха.

Но обратимся к пушкинскому конспекту «Деяний...».

Под 1711 годом Пушкин нашел у Голикова рассказ об очередной русско-турецкой войне. Она закончилась поражением России. Войска, возглавляемые самим Петром I, были окружены турками на реке Прут. Только подписав крайне невыгодные условия мира, Петр избежал пленения. Заметим, что апологетический Голиков на этих страницах не слишком подробен – речь как-никак идет о поражении его кумира. Да и Пушкин, может быть, больше знает о Прутском подходе, если он уже знаком с записками участника и очевидца событий бригадира Моро-де-Бразе (X, 293-339)<sup>231</sup>.

<sup>229</sup> Вульф А.Н. Из «Дневника» // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 421.

<sup>230</sup> Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Горький, 1984. С. 49-50.

<sup>231</sup> Вопрос о хронологии работы Пушкина над конспектами крайне сложен и здесь нами не ставится.

Тем не менее, одна деталь голиковского повествования прочно приковывает здесь внимание Пушкина. О ней мы уже упоминали, теперь самое время сказать об этом подробнее.

По предшествующим страницам тетрадей видно, что Пушкин отметил переход в русское подданство молдавского господаря Дмитрия Кантемира, отца известного поэта. Еще весной 1711 года, до Прутского похода, Петр принял Кантемира под свою руку и обещал ему покровительство, что и было утверждено специальным дипломом (X, 159).

Летом того же года, будучи в трагической ситуации прутского окружения, Петр изучает тяжелые условия мирного трактата. Он вынужден согласиться на потерю портов в Приазовье, на вывод русских войск из Польши, на предоставление Турции разных прав и преимуществ. Только одно требование турецкого визиря отклоняется Петром решительно и твердо.

Вот как об этом пишет Голиков: «Но сколь однако же ни величайшую имел Монарх нужду в мире, но когда увидел между мирными статьями одну, чтоб выдан был им Волошский Господарь Кантемир, тогда никакими бедствиями непобеждаемый дух великого сего Ироя отверг таковое требование, сказав: “Я лучше оставлю Туркам землю, простирающуюся до Курска, уступив оную; надежда Мне остается паки ее возвратить: но нарушение данного слова невозвратно. Я не могу оного преступить и предать Князя, оставившего свое владение из любви ко Мне. Мы ничего не имеем собственного, кроме чести. Отступить от нее есть перестать быть Государем”»<sup>232</sup>.

И турки отступили перед такой твердостью.

Излагая эпизод в своем конспекте, Пушкин намерению подчеркивает формулу Петра: «...отступиться от своего слова, значит перестать быть государем» (X, 168). Мы не знаем и, по-видимому, не узнаем никогда, как отразилось бы это место

---

<sup>232</sup> (Голиков И.И.). Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России... М., в Университетской типографии, у Н.Новикова, 1788. Часть III. С. 380-381. Приводя слова Петра I, Голиков ссылается на «Историю князей Кантемиров» и на вольтеровскую «Историю Петра Великого». См. также: Голиков И.И. Сравнение свойств и дел Константина Великого... с свойствами и делами Петра Великого... и происшествий, в царствование обоих сих монарховслучившихся. М., в типографии Платона Бекетова, 1810. Часть II. С. 109.

конспекта на страницах готовой книги. Но мотив «урока царям»<sup>233</sup> звучит здесь громко и определенно. Он тем важнее, что Николай I с самого дня восшествия на престол насаждал в стране настоящий культ Петра Великого, подчеркивал прямую преемственность своего правления от царствования северного исполина.

«Неподобие» потомка пращуру становилось для Пушкина все более очевидным.

Но в целом позицию поэта не следовало бы сводить к плоской попытке учить царя, как мы бы сегодня сказали, на положительном примере. Пушкин не Голиков; он, Пушкин, знает, что под пером настоящего историографа, каким, например, был Карамзин, важны, поучительны и теневые стороны характеров государей, и самые низменные их пороки.

Поэтому эпизод с Кантемиром, где Петр предстает благородным хозяином своего слова, Пушкин точно уравнивает другим, как бы обратным случаем, относящимся к взятию Выборга русскими войсками в 1710 году.

Шведы, оборонявшие крепость, согласились сдать. Среди условий сдачи, дарованных самим Петром, был пункт: «Выпустить гарнизон без музыки, знамен и ружей, с пожитками и семействами» (X, 146). Но, захватив Выборг, государь не выпустил защитников крепости, объявил их военнопленными. Вопреки Голикову, который пытается затуманить поступок царя массой благонамеренных фраз, Пушкин прямо определяет суть дела: «Петр не сдержал своего слова» (X, 146). Это главное. И лишь потом Пушкин вскользь отмечает причину: царь «озлоблен был обидою, учиненною его белому флагу» (X, 146).

«Озлоблен», «не сдержал слова» – эти выражения применительно к Петру Великому были нецензурны. Зато с абсолютной точностью определяли отношение Пушкина к монаршему вероломству. Общеизвестная неоднозначность пушкинских суждений о Петре отчетливо выступает при сравнении «выборгских» страниц конспекта с «кантемировскими».

В том же русле и другой пример. Так же, как и первый, он может быть выявлен, если соотнести конспект «Истории Петра» с устойчивым мотивом творчества Пушкина.

---

<sup>233</sup> См.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 397.

Через всю жизнь поэта проходит – среди прочих – тема «священных рощ». Ее истоки, разумеется, лежат в области античных традиций. Священные рощи Эллады с юных лет тревожат воображение Пушкина. «Приют задумчивых дриад», «лесов таинственная сень» станут постоянным местом поклонения в последующие годы. Поэт прекрасно чувствует не только смысл рощи как храма, но и смысл храма как рощи. Известно, например, что классический архитектурный ордер Парфенона – колонны, несущие фронтоны – есть каменная аналогия первоначальной святыни: рощи богини-девушки.

Но Пушкин, конечно, не замыкается в кругу античных образов. Уже в лицейские времена мотив священных рощ наполняется русским, патриотическим содержанием. Лицейист воспевает леса вокруг подмосковного сельца Захарова, царскосельские сады; потом наступит пора священных рощ Михайловского, Болдина.

Изучая конспект «Истории Петра», мы не ставим своей целью подробно рассказывать, как Пушкин развивал и углублял тему русского лесного святилища. Но несколько примеров его творчества все-таки полезно будет соединить – хотя бы пунктирно.

В двадцатые годы Пушкин пишет стихотворный отрывок «На тихих берегах Москвы»<sup>234</sup>, где интересующий нас мотив ясно звучит во второй строфе:

Кругом простерлись по холмам  
 Вовек не рубленные рощи,  
 Издавна почивают там  
 Угодника святые мощи (II, 261).

Несомненно, «вовек не рубленные рощи» тут куда более значительны, чем простая пейзажная ситуация. Они хранят святыню. Они место паломничества и поклонения. Греческая языческая мифология, конечно, не угасает здесь вовсе, но мощно продолжается образами отечественных священных преданий.

В следующее десятилетие – уже в середине тридцатых годов – Пушкин вновь прибегает к тому же мотиву, выраженному буквально

<sup>234</sup> Подробный анализ этого стихотворения содержится во втором сюжете книги. Аргументы в пользу гипотезы о датировке отрывка серединой 1820-х годов см.: *Фомичев С.А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД №832. (Из текстологических наблюдений) // Пушкин. Исследования и материалы. М., 1986. Т. XII. С. 224-242.

теми же словами. Речь идет об известном стихотворении «На выздоровление Лукулла» (III, 404-405). В нем под весьма прозрачным флером древнеримской истории содержался намек на неблагоприятные действия министра просвещения С.С. Уварова, стремившегося присвоить чужое наследственное имение. В черновике стихотворения был приведен список гнусностей, которые готов совершить незаконный наследник. Он в мечтах, утверждалось в одном из вариантов, уже

*Рубил наследственные рощи*<sup>235</sup>.

Ясно, что подлец покушается не только и не столько на денежно-ценный предмет, сколько на святыню, на средоточие духовной жизни народа. Заметим попутно: порубка рощ – совсем не римская деталь. Но Пушкин и от нее отказывается ради окончательно неримской – негодный, наследник крадет «казенные дрова». Повествование решительно удаляется от времени Лукулла, а заодно и намеренно снижается. Может быть, мотив нерубленных наследственных рощ показался автору слишком высоким, слишком обязывающим для сатирической оды.

О том, сколь устойчив в сознании Пушкина образ священных рощ России, свидетельствует и одно из последних (если вообще не последнее) стихотворений поэта – печальное четверостишие о птичке в клетке:

Забыв и рощу и свободу,  
Невольный чижик надо мной  
Зерно клюет и брызжет воду  
И песнью тешится живой (III, 438).

«Роща» и «свобода» – не случайная пара. Предмет, поставленный рядом с понятием, сам обретает высоту идеи, сам осознается как философская теза. Собственно, роща тут и есть символ свободы, ее зримое и конкретное выражение.

Так думал, так чувствовал Пушкин.

А теперь вновь вернемся к страницам конспекта голиковских «Деяний...».

Следуя за ходом изложения Голикова, Пушкин, разумеется, выписывает все, что хоть сколько-нибудь его занимает. Но по мере углубления в труд историка на страницах конспекта среди массы разнообразных фактов возникают устойчивые, из года в год идущие

<sup>235</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. С. 430.

сквозные темы. Так, Пушкин не ослабляет внимания к актам о службе дворянских недорослей; о строении Петербурга; о наследовании имений; о расширении прав чиновничества – и некоторым другим. Среди таких сквозных тем – все, что касается положения заповедных лесов России. Каждый раз, когда историк касается этого предмета, Пушкин неукоснительно вносит в конспект соответствующую запись. Например, под заголовком «Указы 1705...» в конспекте отмечено:

«Запрещение рубить заповедные леса без челобития» (X, 89).

Или позже, под 1712 годом:

«Петр послал... осматривать дубовые леса по реке Волге, Оке etc. и указами повелел оные хранить» (X, 181).

Еще шесть лет спустя, под 1718 годом:

«31 января Петр строго подтвердил свои прежние указы о нерубке лесов» (X, 241).

До массового, хищнического, уничтожения «священных рощ», до вырубки чеховского вишневого сада Пушкин не дожил. Но тревога о судьбе природных богатств отечества уже поселилась в сознании самых дальновидных его современников. Поэт и сам был среди них. Конспектируя труд Голикова, он должен был понять, что наследственные рощи Захарова, Михайловского, Болдина, других поэтических уголков России, – могли бы и не сохраниться, не будь строгих, подчас и жестоких указов Петра Великого.

Однако и здесь, как в случае с нарушением царского слова, пушкинское отношение к петровской реформе и самому государю – не идиллическое. Все та же неоднозначность вновь видна на страницах тетрадей.

Под 1712 годом Пушкин дает весьма важный в интонационном отношении комментарий к очередным указам о хранении дубовых лесов. Петр, записывает Пушкин, «запретил *под жестоким наказанием* самим помещикам на их земле рубить дубовый лес без позволения лесного смотрителя Адмиралтейской коллегии» (X, 181).

Тут завязывается очень интересный смысловой узел.

Оказывается, в действиях Петра было больше заботы о русском кораблестроении, чем понимания сакрального, поэтического смысла священных рощ отечества. Пушкин, конечно, прекрасно понимает всю необходимость «ногою твердой стать при море» – недаром же в конспекте намечены основные вехи ранней истории русского флота. Но взгляд поэта шире, тоньше. Он схватывает многие стороны исторического явления.

Так, запрет помещикам рубить дубовый лес в имениях без разрешения коллежских смотрителей несомненно находился в русле известных размышлений Пушкина о правах сословий. Он недаром подчеркивает момент «жестокого наказания». Именно с петровских реформ, по Пушкину, начинается ущемление прав вотчинников и возвышение чиновничества.

Патриархальные идеалы и отношения сметались произволом служилых людей, и в этом Пушкин видел одну из важных причин бедствий современной ему России, о чем мы уже говорили в сюжете, посвященном болдинскому отрывку «Не смотря на великие преимущества».

Перед нами, следовательно, не столько новый корпус пушкинской прозы, сколько некий пласт сознания поэта, освобожденный от привычных жанровых форм выражения. Подробное изучение этого пласта кажется нам весьма перспективным, особенно если записи конспекта будут рассматриваться не в контексте голиковских «Деяний...», а в общем русле суждений Пушкина.

## РАЗГОВОР С КНИГОПРОДАВЦЕМ О ПОЭТЕ

В мае 1837 года из Петербурга в Москву почтовым дилижансом прибыл безвестный в ту пору немец – Иоганн Георг Коль. Был он уроженцем Бремена и не достиг тридцатилетнего возраста. Ему ещё предстояло стать знаменитым географом, а пока занимал он скромную должность учителя в доме графа Александра Григорьевича Строганова.

Коль не был знаком с Пушкиным.

Скорее всего, учитель оказался в Петербурге уж после смерти поэта. Но даже если бы Пушкину и Колю суждено было одновременно обитать на берегах Невы, положение домашнего человека при графе А.Г. Строганове не только бы не способствовало, но скорее препятствовало бы сближению учёного немца с Пушкиным. Граф Александр Григорьевич, влиятельный вельможа, к Пушкину относился далеко не дружелюбно и отзывался о нём и о его окружении отрицательно<sup>236</sup>. Позднее Строганов рассказывал

<sup>236</sup> Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Л., 1968. С. 420.

П.И. Бартеневу, как он «ездил в дом к раненому Пушкину, но увидел там такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца не ездить туда»<sup>237</sup>.

Впрочем, суждения Коля совершенно не зависели от мнений графа. Да и самое служба у него – не более, чем случайный эпизод.

Свои наблюдения над Россией и русскими Коля собрал и издал в книге «Путешествие по внутренним частям России и Польши», изданной в 1841 году<sup>238</sup>.

Коля – внимательный путешественник и остроумный писатель. Под его пером оживают многие стороны и детали московского быта, ныне уже малодоступные или вовсе недоступные читателю. В старую столицу он попадает всего через год после того, как Пушкин навсегда отсюда уехал. Уже это обстоятельство должно привлечь внимание к страницам немецких путевых записок. За год, прошедший от последнего визита Пушкина, Москва, понятно, не претерпела серьёзных изменений ни в своём облике, ни в образе жизни – всё, в основном, осталось таким, каким и было при поэте. Набрасывая картины парадных улиц и тихих окраин, описывая храмы и театры, торговые площади и дворянские усадьбы, трактиры и книжные лавки, Коля и не подозревает, что водит своего читателя по пушкинским местам, как бы ещё не остывшим от недавнего присутствия знаменитого москвича.

О Пушкине Коля мог узнать многое и у многих, но не узнал: другие у него были интересы, другие задачи. И всё-таки пушкинский круг, воспоминания о поэте, должны были «преследовать» его повсюду.

Вот пример, взятый почти наугад.

Наш путник приближается к столице и, покуривая в карете послеобеденную трубку, наслаждается «видом постепенно приближающегося великолепного города. На закате я заметил вдали голубую дымку, в которой то здесь, то там поблёскивали золотые точки. Вскоре стало видно ещё больше пуговок башен и куполов церковей, и я спросил почтальона: “Что это?”. Я был бы рад, если б он, как в случае господина фон Энгельгардта, стянул бы шапку, перекрестился и сказал: “Это, сударь, наша святая матушка

<sup>237</sup> *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. С. 420.

<sup>238</sup> *I.G. Kohl.* Reisen in Inneren von Russland unci Poland. Erster Theil. Moskau. Mit einem Titeikupfer und einem Plane von Moskau. Dresden-Leipzig 1841. См. также: *Коля И.Г.* Москва 1837-1841. Записки путешественника. М., 2005. Далее в ссылках: *Коля И.Г.*

Москва!»). Но он ответил мне просто и без большой охоты: «А чему ж быть? Москва это, сударь!»<sup>239</sup>.

Этот отрывок – и содержательно, и интонационно – весьма характерен для вольного, иронически настроенного автора. Вместе с тем, объектом необидной насмешки служит здесь Георг-Рейнгольд (он же Егор Антонович) фон Энгельгардт, директор Царскосельского лицея, в котором до 1817 года учился Пушкин. Коль прямо ссылается на изданное по-немецки сочинение Энгельгардта «Русские заметки», откуда и заимствован благочестивый эпизод о «святой матушке Москве».

Точно так же наш путешественник приводит читателя к множеству московских реалий, которые Пушкин знал и помнил с детства. Тут подробное описание Кремля с его соборами, берегов Москвы и Яузы, центральных площадей, бульваров и садов. Коль понимает условия русской жизни; поэтому почти не упоминает по именам и фамилиям лиц, с которыми общается в Москве. И всё-таки на страницах его книги помянуты некоторые московские персоны.

Свои записки автор заключает главой с характерным названием: «Разное», которая завершается небольшим разделом «Русский писатель». Именно в этом разделе Коль и упоминает Пушкина – в контексте, заслуживающем, как нам кажется, пристального внимания.

Вот как путешественник, понимающий по-русски, начинает свой рассказ:

*«Однажды я зашёл в московскую книжную лавку на Никольской улице, чтобы вооружиться новыми инструментами для совершения открытий на московских улицах, то есть, некоторыми новыми русскими оборотами речи, которые я хотел бы заучить наизусть. Продавец не хотел уступить мне книжицу с такими фразами меньше, чем за пять рублей, чего она, однако, не стоила. Я был раздражён его наглостью и вознамерился хоть как-то возместить себе этот расход, а потому уселся на стул в его магазине и стал слушать его рассуждения о московской книжной торговле. Поговорив о продавцах книг, мы перешли на их производителей. Он напомнил мне о живущем здесь московском писателе историй Полевом»<sup>240</sup>.*

---

<sup>239</sup> Коль И.Г. С. 75.

<sup>240</sup> Там же. С.288.

Коль несомненно посещает книжную лавку Глазуновых, что на Никольской улице. Одного из Глазуновых автор поминает ещё и раньше, в разделе «Рынки», как одного из самых крупных книготорговцев<sup>241</sup>. Для нас важно будет заметить, что немец покупает фразеологически любопытное издание не у хозяина лавки, а у наглеца, которого называет просто продавцом. Поэтому собеседник Коля вряд ли располагает какими-то знаниями или соображениями, отличающими его в кругу грамотных простолюдинов, любителей чтения, ценителей книжных сокровищ. На общественной лестнице он стоит существенно ниже, чем «производители» книг.

Между тем, книгопродавец угощает своего покупателя подробной биографией Н.А. Полевого, писателя из купцов, бывшего издателя журнала «Московский телеграф» и автора многотомной «Истории русского народа». Повествование настолько занимательно, что Коль решает ехать к Полевому и потом, выполнив своё намерение, даже заканчивает свою книгу рассказом о лестном своём знакомстве с историком. Всё это, в основном, за пределами нашей темы. Отметим только, что главные вехи биографии Полевого, как она сложилась к середине 1837 года, до отъезда в Петербург, – путешественник со слов продавца изложил если и не совсем верно, то близко к фактам.

Книгопродавец в своём изложении не упустил и той критики, с которой его герой выступил против «Истории государства российского» Н.М. Карамзина. По мнению рассказчика, к середине тридцатых годов, после закрытия «Московского телеграфа», Полевой обрелся в глубокой опале. Но потом прощён был государем. Коль публикует этот эпизод в нескольких абзацах, которые стоят того, чтобы привести их полностью:

*«Это произошло так: когда император Николай в 1835 [году] посетил художественную выставку в Москве, он вспомнил об опальном купце и распорядился в знак своего благоволения заказать именно ему издание отчёта о высочайшем визите, в течение которого император сделал несколько красноречивых высказываний. Полевой приступил к работе со всем вдохновением, на которое только был способен. Описание высочайшего посещения было опубликовано в “Пчеле”, и это трудолюбивое насекомое донесло его до глаз и ушей широкой публики и двора. Император*

---

<sup>241</sup> Коль И.Г. С. 126-127.

*отблагодарил автора статьи бриллиантовым кольцом и не преминул и другими путями высказать своё удовлетворение. Теперь Полевой вновь обрёл мужество и прочит себе по бриллиантовому перстню бриллиантовое будущее, тем более, что угасли звёзды другого кольца или, по крайней мере, переместилась к звездам надземным. Я имею в виду звезды, венчавшие главу поэта Пушкина, которая совсем недавно ещё жила и творила, но в 1836 [году] угасла, и теперь её за несколько рублей можно приобрести в каждой гипсовой лавке Петербурга в том виде, в каком она умерла и окончила.*

*На эту главу рассчитывал император, когда ему вздумалось заказать какому-нибудь искусному перу жизнеописание Петра Великого. Николай является большим поклонником Петра Великого и считает его гением, посланным самим небом на благо и спасение России. Три года назад он поручил Пушкину заняться этим трудом и собрать материалы для этого жизнеописания. Ему было оказано всяческое содействие, открыты все архивы и положено немалое ежегодное жалование. Пушкин работал уже три года, но до сих пор не произвел ещё ничего значительного, когда бы император ни спрашивался о ходе дела, ответом было одно: Пушкин собирает материалы. Работал он, по-видимому, весьма неспешно, ибо ещё при жизни Пушкина Полевому намекнули, что, если он о том попросит, дело, возможно, будет передано ему. Полевой набросал даже уже своего рода введение, продром, или пролог к такому труду; оно было предъявлено императору, который нашёл его вполне соответствующим своим собственным представлениям.*

*Смерть Пушкина теперь должна была окончательно повернуть всё дело в благоприятную для Полевого сторону»<sup>242</sup>.*

Таким образом, запись Коля даёт нам кое-какие сведения о некоторых особенностях русской историографии в тридцатые годы, о непростых отношениях, складывающихся вокруг царского заказа – написать биографию Петра I.

Напомним: с «Историей русского народа» Полевого, по мнению Пушкина, оскорбительной для памяти Н.М. Карамзина, поэт полемизировал ещё 1830 году в «Литературной газете» (XI, 119-124). В дальнейшем Пушкин весьма заинтересованно следил за правительственными преследованиями «Московского телеграфа» и за опалой, которой подвергся сам Полевой.

<sup>242</sup> Коль И.Г. С. 291-292. Указано М.В. Нащокиной.

В феврале 1833 года имя Н.А. Полевого в весьма характерном контексте прозвучало в разговоре императора Николая с Пушкиным на балу в австрийском посольстве. Занимаясь официально заказанной «Историей Петра» уже около полутора лет, Пушкин начал догадываться, что работа эта ему не под силу. И попросил у государя себе в помощь известного историка М.П. Погодина. Рассказывая в письме к Погодину о результатах беседы с царём, Пушкин заметил, что при имени будущего помощника император «было нахмурился (он смешивает вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твёрдый, хоть молодец и славный царь). Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Д.Н. Блудов всё исправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий. К сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа. Таким образом дело слажено» (XV, 53).

Письмо Пушкина к Погодину надёжно подтверждает, что в 1833 году Полевой был в глубокой опале: император нахмурился уже при произнесении первого слога его фамилии.

Однако близкое будущее оказалось гораздо благоприятнее для Полевого, чем для Пушкина. Погодин благоразумно ускользнул от сотрудничества в работе над «Историей Петра» и поставил Пушкина в отчаянно трудное положение. Напротив, Полевой был не только прощён, но даже и пожалован государем, о чём книгопродавец с удовольствием поведал Колю. Опять-таки заметим: беседа в книжной лавке более или менее достоверно воспроизводит ход событий. Правда, собеседник мемуариста оказался нетвёрд в хронологии – Пушкин работал над «Историей Петра» по царскому заказу «за жалованье» не три года, а больше пяти. И погиб, разумеется, не в 1836, а в 1837 году. В свою очередь Полевой, кажется, удостоился бриллиантового перстня позже и по другому поводу. Но существо дела от этого не меняется.

То, что автор записок спокойно называет «неспешной работой» Пушкина, скрывало в себе настоящую жизненную драму поэта. Он взялся за труд, совершенно не соответствующий характеру собственных способностей, труд, требующий долгого, кропотливого изучения источников. Весь стиль, весь образ жизни Пушкина противоречили таким академическим усилиям. По родственности поэтических кровей это век спустя поняла, например, М.И. Цветаева. В стихотворении «Пётр и Пушкин» она прямо

утверждает, что царь Николай «заморил» Пушкина архивами; поэт «заки» у него в древлехранилищах<sup>243</sup>.

С другой стороны, ещё большим препятствием для поэта-историографа стали те знания, которые он обретал, работая над отечественной историей начала XVIII столетия. Самый образ Петра в сознании поэта претерпевал коренные изменения. Мудрый отец отечества, просвещённый реформатор, постепенно превращался в гнусного тирана, палача своего народа, садиста. На первый план выходили тёмные стороны петровского царствования.

За год до разговора географа с книгопродавцем Пушкин беседовал с актёром М.С. Щепкиным и сказал ему просто и ясно: «Я разобрал теперь много материалов о Петре и никогда не напишу его истории, потому что есть много фактов, которые я никак не могу согласить с личным моим к нему уважением»<sup>244</sup>.

Тем самым Пушкин признавал, что задание царя – написать апологию первому русскому императору – не выполняется и выполнено не будет. Это влекло за собой невыгодные для Пушкина последствия как в глазах Николая I, так и во мнении светского общества, с самого начала сомневавшегося в достоинствах Пушкина-историографа, наследника Карамзина. Сам Александр Сергеевич за несколько недель до своей последней дуэли откровенно признавался лицеисту IV выпуска Д.Е. Кёллеру: «Я до сих пор ещё ничего не написал <...>. Это работа убийственная <...>. Если бы я наперёд знал, я бы не взялся за неё»<sup>245</sup>.

«Убийственная работа» над «Историей Петра» и связанная с нею государственная служба угнетали поэта, наряду с другими причинами вели его к гибели, о чем подробно мы скажем в последующем сюжете книги.

В свидетельстве Коля мы слышим эхо другого, непущинского голоса. Книгопродавец и географ видят всю эту историю с точки зрения Полевого, который существенно меняет свои позиции под влиянием царского прощения и благоволения. Вот уж воистину – нет худшего ретрограда, чем вчерашний либерал. Писатель готов воспользоваться затруднениями Пушкина и раньше него поднести государю столь желанную и – главное – совершенно апологетическую «Историю Петра Великого». Тёмные стороны

<sup>243</sup> Цветаева М. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 276.

<sup>244</sup> Михаил Семёнович Щепкин. Жизнь и творчество. Т. 2. М., 1984. С. 341.

<sup>245</sup> Цит. по кн.: *Абрамович С.* Пушкин. Последний год жизни. М., 1994. С. 478.; *Фейнберг И.* Читая тетради Пушкина. М., 1987. С. 114-115.

правления культовой персоны – Полевого не затрудняют. И даже, может быть, не волнуют.

Предложение Полевого сочинить официальную биографию Петра ещё при жизни Пушкина – широко известно, обсуждалось и современниками, и академической наукой в наши дни. Е.О. Ларионова, например, отмечает: «П<олевой> через Бенкендорфа представил Николаю I (января 1836) программу задуманной им “Истории Петра Великого” (изд. ч. 1-4, СПб, 1843)»<sup>246</sup>.

Записки Коля вносят в этот эпизод весьма существенный оттенок. Оказывается, Полевой подал государю свою программу не по собственному почину. Он получил намёк, «что если он о том попросит, дело, возможно, будет передано ему»<sup>247</sup>. Кажется, нетрудно догадаться, от кого этот намёк последовал. Полевой не мог, просто не имел права, обращаться со своим посланием прямо к царю. Такие обращения шли через министров, вельмож или генерал-адъютантов. В данном случае – через начальника III отделения А.Х. Бенкендорфа. Весьма вероятно, что Бенкендорф, самый осведомлённый приближённый государя, знал о затруднениях Пушкина и был тем вельможей, от которого Полевой и получил намёк на блистательную возможность угодить императору «Историей Петра Великого». Иначе почему бы программа будущего труда шла наверх именно через Бенкендорфа?

Царь вообще одобрил патриотические устремления Полевого, поддержанные III отделением, однако в своём решении проявил строгую последовательность: «Историю Петра Великого пишет уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной коллегии, двоим в одно и то же время поручать подобное дело было неуместно»<sup>248</sup>. В сентенции государя была ясная державная логика. Император придерживался первоначального решения, а заодно и стоял как бы на страже интересов Пушкина. Ведь «поручать подобное дело» ещё и Полевому означало бы проявлять открытое недоверие Пушкину, возбуждать в обществе невыгодные о нём мнения. Свет и без того с большим сомнением относился к историографическим достоинствам поэта. Прозрачное напоминание об этом содержится даже в пресловутом анонимном дипломе, полученном Пушкиным осенью

<sup>246</sup> См.: Ларионова Е.О. Полевой // Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. Т.5. М., 2007. С. 36.

<sup>247</sup> Коль И.Г. С. 292.

<sup>248</sup> Цит. по: Абрамович С. Пушкин. Последний год жизни. С. 45-47.

того же 1836 года. Там Александр Сергеевич назывался историографом ордена рогоносцев, что и намекало на несостоятельность его историографических занятий, заданных царём<sup>249</sup>.

Тут был путь в ад, в очередной раз высланный добрыми намерениями – на этот раз добрыми намерениями императора. Развязка драмы – известна.

Но вернёмся теперь к беседе путешественника с книгопродавцем. Она в интересующем нас фрагменте, как мы видели, посвящена Полевому и касается Пушкина лишь постольку, поскольку писатели сталкиваются в пространстве биографии Петра I, намеченном царской волей. Ни слова о дуэли, ни слова о Дантесе и Наталье Николаевне. Оно и понятно. Сведения об этих потаенных подробностях начнут более или менее свободно обсуждаться и проникать в печать много лет спустя.

Гораздо удивительнее другое.

Уже летом 1837 года в Москве, в книжной лавке на Никольской улице, два безвестных человека – русский и немец – рассуждают о Пушкине и его занятиях историей. В их диалоге слышны совершенно неожиданные мотивы. Оказывается, торговец, простолюдин, знает, что официальная биография Петра не давалась поэту; знает он и о том постоянном и опасном для Пушкина интересе, который император проявлял к труду придворного историографа. Сидельцу в лавке Глазуновых, оказывается, знакомы и трудности, преследующие поэта-историографа, и атмосфера соперничества и интриг, в которой живут литераторы, близкие к царскому двору. Не забудем и того, что беседа немца с торговцем происходит не в Петербурге, а в Москве, где о жизни столичного высшего света знают куда меньше.

Значит, вокруг смерти поэта обсуждались далеко не только пикантные подробности поведения кавалергарда и светской красавицы, но и совершенно прозаические мотивы государственной службы, придворного соперничества, царских решений. Всё это существенно расширяет область причин, оборвавших жизнь Пушкина. В этом контексте последняя его дуэль выглядит скорее как отчаянная попытка освободиться, развязать многие узлы, чем мгновенная вспышка запоздалой ревности.

---

<sup>249</sup> См.: *Вересаев В.* Пушкин в жизни. М., 1984. С. 484.

Несомненно, Иоганн Георг Коль знал об этом больше, чем внёс в свои «Записки путешественника». В предисловии к ним автор утверждает, что придерживался «тактичной осторожности, дабы изложением и публикацией полученных данных не компрометировать лиц, невольно послуживших их источником»<sup>250</sup>. В разговоре с московским книгопродавцем географ несомненно соблюдает это своё правило и тем самым лишний раз демонстрирует своё верное понимание особенностей русской жизни.

---

<sup>250</sup> Коль И.Г. С. 28.

<sup>т</sup>  
Земляки! вы увидите вальт.  
Мудро ~~предсказание~~ <sup>иногда</sup> ~~иногда~~ <sup>иногда</sup> ~~иногда~~

Иногда ~~иногда~~ <sup>иногда</sup> ~~иногда~~ <sup>иногда</sup> ~~иногда~~

та казан, — за Земляки —

Но почему так поздно

~~Видно~~ ~~иногда~~ ~~иногда~~ ~~иногда~~ ~~иногда~~

Видно Видно Видно

т



## Часть II. Правда ВЫСОКОГО ВЫМЫСЛА

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Смысловый центр этого раздела книги – отечественная история во многих её проявлениях.

На первый, поверхностный, взгляд Пушкин взялся изучать прошлое лишь в последние годы своей жизни, когда был назначен придворным историографом. Тут-то и проявился интерес поэта к временам Петра I и его «ничтожных» наследников, к «просвещенному» правлению Екатерины II, к романтическому эксцентризму Павла I. Однако, это только на первый взгляд. Более серьёзное изучение приводит к иному выводу: Пушкин живо интересовался всемирной историей и историей России с молодых лет, с лицейских времён. Только постигал он прошлое не в рамках научного, академического подхода, а в образном, художественном пространстве.

Воображение поэта не знало границ.

Допустим, сегодня он ощущал себя современником древней египетской царицы Клеопатры или участником наполеоновских войн; завтра – осаждал Царьград со славяно-росской дружиной или следил за греховными путями женщины, переодетой папой римским. В рукописях Пушкина мы встретим имя китайского философа Конфуция, немецкую средневековую легенду о докторе Фаусте, южно-американского свободолюбца Боливара, дикие племена гетов и сарматов, обитавших по Днестру и Дунаю, африканский остров Мадагаскар в XVIII веке... И ещё много стран, племён, лиц, событий. Можно утверждать, что из рук Пушкина мы получаем образные суждения о мировой и русской истории и культуре – от начала времён и почти до середины XIX века.

Я понимаю общераспространенную формулу Белинского о главном произведении Пушкина как «энциклопедии русской жизни», но, честно сказать, вижу в ней серьёзный изъян. Всё-таки энциклопедия (если не брать в расчёт сочинение Дидро и его единомышленников) есть статичный справочник, тяжёлое сродоточие тщательно проверенных фактов. Разве такое название подходит к роману в стихах «Евгений Онегин»?

Конечно, поиски документальной, фактической достоверности пушкинских сочинений о прошлом есть важное и почтенное занятие. Но оно чаще всего недостаточно для углублённого понимания и истолкования как «давно минувших дней», так и событий и характеров, современных Пушкину. Надо ещё понимать,

как вымысел подкрепляется фактами, как факты преобразуются в вымышленном повествовании.

У исследователей прошлого есть важнейший, можно сказать, основополагающий термин – *исторический источник*. Всякий реальный носитель сведений о днях минувших – от серьёзного державного документа до бутылочной этикетки или уличного слуха – может служить источником для исторического труда. Или не служить таковым. Быть или не быть той или иной информации историческим источником, зависит от ее содержания и многих других обстоятельств. Например, гора Машук на Кавказе сама по себе не исторический источник, но безусловно им становится в пределах труда о гибели Лермонтова. Иначе сказать: *некий предмет может стать или не стать источником в зависимости от характера исследования*.

Именно характер приобщений Пушкина к отечественному прошлому доказывает, что у поэта было своё собственное, художественное отношение к источникам, своя иерархия ценностей в этой непростой области. Пушкину, несомненно, была доступна логика гражданских историков, когда во главу угла ставилась и ставится прямая достоверность фактов. Но в мире, творимом Пушкиным, ценности были расставлены существенно иначе. Здесь главенствовала не только правда факта, но ещё и правда характера героя, правда субъективной версии художника и даже чистая правда высокого вымысла. И ещё много правд, прямо не основанных на источниках.

Об этом – и не только об этом – идёт речь в предлагаемом разделе книги.

## ПУШКИН: ЖИЗНЬ В ВООБРАЖЕНИИ

Сюжет, нами избранный, требует вступительного замечания.

Речь пойдёт не только и не столько о твёрдо установленных, оставивших документальный и мемуарный след фактах жизни поэта; не только и не столько о пушкинском творчестве, понимаемом как отдельное, более или менее замкнутое явление. В поле нашего зрения должно попасть самое широкое пограничье между тремя основными стихиями мира Пушкина – творчеством, реальным жизненным путём и автобиографически направленным воображением. Последнее можно было бы назвать и «биографией души».

Границы здесь, понятно, зыбки и условны. Но их осторожное соблюдение, надеемся, будет нелишним для истолкования кое-каких особенностей предмета.

Жизнь Пушкина и его творчество сопоставляли бесчисленное множество раз. Все согласны с тем, что соответствия тут сложны, неочевидны; ключ к истолкованию, скажем, стиха или прозаического отрывка часто отыскивается в фактах биографической хроники; что без обращения к содержанию стихов, прозы, драматургии Пушкина нельзя написать его полноценную биографию. Оно так. И тут Пушкин мало чем отличается от других сочинителей. Но позволим себе заметить: воображение, мечтательная способность, фантазия – весь это ряд равно принадлежит и творчеству, и биографии поэта. В царстве вымышленных героев и положений воображению следовало бы отвести основную роль. Однако и для того, что можно условно назвать реальностью пушкинской биографии, воображение – даже не оставившее очень заметного следа в произведениях – свою роль играет.

Вот этот мотив и стоит обсудить.

Фантазия, мечтательная способность у Пушкина становятся питательной средой не только, например, для поэмы или элегии, но и для реального жизненного шага, осуществлённого в той или иной мере.

Ясным, всем известным со школьной скамьи примером служит последняя дуэль Пушкина. Она сначала была воображена для гибели Ленского в «Евгении Онегине», а уж потом воплощена с соблюдением массы важных и неважных подробностей (поэт, женщина, осложнение с секундантом, зима, падение пистолета на снег и т.д.) в поединке на Черной речке.

Нам, может быть, предстоит понять, что последний акт жизненной трагедии Пушкина в этом смысле есть *правило*, а не исключение из правила.

## I

Более полутора столетий (с 1844 года) мы обсуждаем последствия творчества Пушкина для его жизни на основе статьи Н.В. Гоголя «О том, что такое слово», вошедшей в «Выбранные места из переписки с друзьями». Если верить автору «Мёртвых душ», то основной афоризм поэта на указанную тему возник в разговоре о Державине:

«Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,

За дела сатирик чтит... –

сказал так: “Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела”»<sup>1</sup>.

Запись Гоголя была не вполне ясна, требовала объяснений и истолкований. Они немедленно явились. О словах и делах поэта, как их понимал Пушкин, по-разному судили Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, П.А. Плетнёв, П.А. Вяземский и другие авторы<sup>2</sup>. В недавние советские времена фраза Пушкина нередко служила простой иллюстрацией к мысли об активной преобразующей роли литературы и искусства в жизни народа, что, разумеется, не находит опоры в документально подтверждённых мнениях поэта.

Сложную задачу, поставленную афоризмом Пушкина о словах и делах поэта, три десятилетия тому назад пришлось решать и В.Э. Вацуру. В подцензурном советском издании Вацура, разумеется, не мог объективно трактовать ни официально шельмуемые гоголевские «Выбранные места...», ни религиозно-креативную версию В.А. Жуковского, ни даже тонкую иронию П.А. Вяземского, направленную против Третьего отделения с его «словом и делом» государевым. В результате обзор оценок пушкинских слов Вацура предложил в следующем виде:

<sup>1</sup> См.: Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1952. Т. VIII. С. 229.

<sup>2</sup> Библиографию вопроса см.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 479-471.

«Гоголь толковал их как знак понимания Пушкиным проповеднической функции слова. Иначе понял их Жуковский: в статье “О поэте и современном его значении” (1848), отвечая Гоголю, он развил мысль о художественном творчестве как отражении божественного деяния (творения). Эта мистическая идея уже вовсе не была свойственна Пушкину; между тем формула продолжала самостоятельную жизнь. Плетнёв, знавший ещё в рукописи как книгу Гоголя, так и статью Жуковского, через четыре года процитировал слова Пушкина в некрологической статье о Жуковском; в его понимании они означали общественную ценность литературы как рода человеческой деятельности. Один лишь Вяземский, позже обративший внимание на эти слова, попытался подойти к ним с меркой исторической критики, поставив вопрос об их конкретном смысле в их реальном контексте, – но контекст был уж утерян невзвратно, и Вяземский вновь повторяет их, ограничившись собственным, уже неисторическим комментарием. Исторический факт почти растворяется в интерпретации»<sup>3</sup>.

Здесь неясно, о каком историческом факте идёт речь. Никто из современников Пушкина не усомнился в формальной достоверности самого высказывания, в его аутентичности. Значит, в интерпретациях «растворяется» самое содержание афоризма. Но ведь оно никакого «исторического факта» не содержит – примерно так, как не содержит его большинство поговорок, пословиц. Совершенно внеисторически подразумевается, что «слова» поэта суть его «дела» на все времена. Так или иначе, но философическое наполнение афоризма кажется гораздо влиятельнее его исторической составляющей, если она вообще есть. Вацуро верно понял Жуковского: Пушкин видел в «слове» поэта отражение божественного творения; это отражение и было его, поэта, «делом». По обстоятельствам своего времени исследователь не мог ни явно согласиться с Жуковским, ни даже подробно изложить его взгляд в рамках своего полемического отрицания. Вацуро сделал максимум того, что мог сделать в 1974 году: под прикрытием критики («мистическая идея... не была свойственна Пушкину») отослал читателя к тексту, ближе всего подводящему к системе представлений Пушкина.

Сам же исследователь тщательно *растворил* свой комментарий в неясной интерпретации псевдоисторического текста.

---

<sup>3</sup> Вацуро В.Э. Пушкин в сознании современников // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т.1. С. 35-36.

Статья Жуковского «О поэте и современном его значении» (она же – письмо к Н.В. Гоголю от 29 января 1848 г.) есть ответ старшего друга Пушкина на запись, сделанную Гоголем. Жуковский начинает с поддержки пушкинской мысли о Державине, который «не совсем прав»:

«Стихи Державина <...>, служащие, так сказать, темою твоей статьи, не имеют, по моему мнению, никакого ясного смысла: ошибки писателя не извиняются его человеческими добродетелями; и самолюбие поэта, оскорблённое критикою, не утешится, когда он сам себе или его аристарх ему скажет: ты *негодный поэт*, но *человек почтенный*»<sup>4</sup>.

Мысль Жуковского о неполной возможности судить поэта по общим моральным нормам находит множество аналогий в наследии Пушкина; они общеизвестны; не станем их приводить. Для нас важно только то, что Жуковский с первых строк поддерживает и развивает именно общее с Пушкиным понимание роли поэта и «современного его значения». Жуковский напоминает коренную для круга русских поэтов «золотого века» мысль о единстве поэтической души, лишь условно разделяемой на четыре ипостаси – по мере восхождения от низшего к высшему: ум, воля, творчество, вера.

Ум и волю автор называет низшими способностями души, т. к. они подчинены земным законам, необходимости. Например, путь ума он сравнивает с поездкой по железной дороге: предопределено всё, кроме, разве, места в вагоне. Воля выше ума; она свободна; но и она ограничена земными законами и порядками. Иное дело – творчество. «Сила <...>, данная поэту, должна быть не иное что, как призвание от Бога, есть, так сказать, вызов от Создателя вступить с Ним в товарищество создания. Творец вложил свой дух в творение: поэт, его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия. Таков истинный смысл его призвания, его великого дара, который в то же время есть и страшное искушение, ибо в сей силе полёта высокого замечается и опасность падения глубокого»<sup>5</sup>.

С высоты серых бастионов нашей терминологической эстетики всё это может показаться наивным, устаревшим и даже умершим вместе с романтизмом XIX столетия. Допустим. Но

<sup>4</sup> Жуковский В.А. О поэте и современном его значении. Письмо к Н.В. Гоголю // Полн. собр. соч. В.А. Жуковского. В 3 т. Т. 3. Пг., 1918. С. 225.

<sup>5</sup> Там же. С. 229.

Пушкин-то и его маститый старший современник думали, а скорее даже чувствовали, именно так. Они воистину видели себя вступившими с Богом в «товарищество создания». Отсюда их твёрдая уверенность в том, что лучшие творения находятся в родстве с Божественными, устроены на тех же началах, что и мир Божий. Только на таких основаниях – никак не ниже – русские поэты «золотого века» согласны обсуждать соотношение своего «слова» и своего «дела».

Приняв это во внимание, можно заметить: самое понятие «слово» здесь будет употребляться не в узком бытовом (державинском?) смысле, не в смысле «произведение», «сочинение», «opus» и т.д., а в неизмеримо более широком значении – творчества, креативной способности. «В начале было Слово» (Ин.: 1, 1).

Бытовое сознание и сейчас ещё путает «слово» как язык, как речь или единицу речи – со «Словом» как Сыном Божьим, как ипостасью Св. Троицы. Невозможно сомневаться в том, что, обсуждая пушкинскую реплику, Гоголь и Жуковский вкладывают в понятие «слово» не бытовое содержание. Участие с Богом в «товариществе создания» далеко не равно простому литературному сочинительству. Жуковский говорит об этом прямо. «Спросят: кто же из поэтов вполне осуществил идеал поэта? Ответ самый простой: никто. Ещё ни один ангел не сходил с неба играть перед людьми на лире и печатать свои стихотворения у Дидота или Глазунова»<sup>6</sup>.

Разнице между блаженством ангела, который «молча был поэт», и литератором, несущим рукопись Глазунову, посвящён у Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом». Молчание поэта канонически восходит здесь к тому же Новому Завету, где истина выражена *молчанием* Агнца перед Пилатом. Тот же мотив будет продолжен в финале «Бориса Годунова»: безмолвие народа с его традиционным ангельским терпением близко напоминает молчание поэта, вступившего в «товарищество создания».

Тут уместно вспомнить русскую пословицу о Боге, который правду видит, да не скоро скажет.

Несколько страниц своего письма к Гоголю Жуковский посвящает попытке объяснить поэтическое состояние души, не находящее внешнего выражения. Максима Пушкина о словах и делах подвигает Жуковского к размышлениям, близким тютчевскому «Silentium!». Или к смиренному афоризму Руссо,

---

<sup>6</sup> Жуковский В.А. О поэте и современном его значении. С. 229.

который Василий Андреевич приводит: «Прекрасное только то, что не существует». Грубая существенность – скорее по разряду ума и воли, чем по высоте творчества и веры. Отсюда – понимание прекрасного, разобщённого с нами во времени, пространстве, а, возможно, и в бытии.

«В эти минуты тревожно живого чувства <прекрасного> стремишься не к тому, чем оно произведено и что перед тобою, но к чему-то лучшему, тайному, далёкому, что с ним соединяется и чего в нём нет, но что где-то, и для одной души твоей, существует. И это стремление есть одно из невыразимых доказательств бессмертия: иначе отчего бы в минуту наслаждения не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет! эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно только мимопролетающий благовеститель лучшего; оно есть восхитительная тоска по отчизне, тёмная память о утраченном, искомом и со временем достижимом Эдеме; оно действует на нашу душу не одним присутственным *настоящим*, но и неясным, в одно мгновение слиянным *воспоминанием* всего прекрасного в прошедшем и тайным *ожиданием* лучшего в будущем»<sup>7</sup>.

Для нашей темы важно заметить, что версия творчества, как высокой ипостаси души, вырастает у Жуковского из реплики Пушкина о «словах» и «делах». Речь идёт, как видим, о некоей трудно постигаемой области между воспоминанием и ожиданием; между памятью о потерянном рае и надеждой обрести лучшее будущее. При этом ни прошлое, ни грядущее не мыслятся и не чувствуются как что-то завершённое или имеющее произойти с неизбежностью астрономического события. Тут зыбкие, но прекрасные миры, в которых Поэт усыплен своим воображеньем. Грубо окликнутый Книгопродавцем, он как бы возвращается из этих миров: «я был далёко» (II, 324).

Но пир воображенья, бледный снимок с которого поэт предьявляет публике, в данном случае существует в условном прошедшем («Я время то вспоминал»). Именно там, среди реально прожитых и воображаемых событий, среди образов действительных и воспринятых духовными очами, – совершается течение монолога Поэта. В сущности монолог есть один из бесчисленных примеров игры воображения; на самом деле игра не ограничена ни

<sup>7</sup> Жуковский В.А. О поэте и современном его значении. С. 227.

«Разговором книгопродавца...», ни вообще какими бы то ни было условиями времён, пространств, конкретных обстоятельств.

Особенность поэта в том и состоит, что он творит сразу две жизни – видимую и невидимую, дольную и горную. В пустыне мира его положения и поступки более или менее очевидны и могут быть осознаны, увидены посторонним взглядом. Жизнь воображаемая есть тайна. Это каждый знает. Она ничем не ограничена – хотя нетрудно понять, что в ней должны присутствовать и мотивы, как-то связанные с реальным положением мечтателя, автора. Эта идеальная действительность должна быть выше и прекраснее, чем реальная биографическая канва. Круг образов, в котором поэт «был далёко», неизмеримо шире и глубже, чем ткань написанных, известных нам произведений. Судить о «жизни в воображении», как правило, невозможно. Но из этого правила есть редкие, а потому особенно драгоценные исключения. Они возникают в тех случаях, когда автор прямо проговаривается; или тогда, когда можно доказать, что художественная ткань произведения основана на личных помыслах и претензиях сочинителя, более или менее прямо соткана из его идеальных представлений о себе самом.

Вот сравнительно простой пример.

В «Наброске предисловия к “Борису Годунову”» Пушкин замечает: «Гаврила Пушкин – один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашёл в истории и в наших семейных бумагах <...>. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашёл в Погорелом Городище – городе, который он сжёг...»<sup>8</sup>. Никаких семейных бумаг о Смутном времени у захудалого дворянского рода Пушкиных к началу XIX столетия, конечно, не было. Во всяком случае вероятность их существования в кругу источников «Бориса Годунова» исчезающе мала. Даже доказывая своё 600-летнее дворянство, Пушкин склонен был ссылаться скорее на историю, на труды Карамзина, чем на собственный семейный архив. Ещё меньше вероятность находки источника о сожжении Погорелого Городища, населённого места Тверской губернии. Такая грамота, если б она существовала, могла сохраниться где угодно, но только не на пепелище, оставшемся после пожара.

---

<sup>8</sup> Пушкин А.С. Борис Годунов / Коммент. Л.М. Лотман и С.А. Фомичева. СПб., 1996. С. 481.

Видимо, существование «бумаг» следует отнести не к реальной, а к идеальной ситуации. Автор, «пыль веков от хартий отряхнув», вслед за летописцем Пименом переписывает правдивые сказанья и делится ими с читателем. История отечества в этом мечтании видится в известной мере как собственная история, что и подкрепляется воображаемыми «семейными бумагами». В сущности они могли бы и быть; истории это не противоречило бы. То же и с грамотой о поджоге. Она скорее всего есть плод воображения Пушкина, действительно в конце 1828 года совершившего поездку в Тверскую губернию, и уж точно не входит в круг источников трагедии. В этом убеждают простые хронологические выкладки. Из Тверской губернии (а, значит, из Погорелого Городища, если он там вообще был) автор «Бориса Годунова» выехал до 15 января 1829 года<sup>9</sup>; под наброском предисловия к трагедии стоит дата – 30 января 1829 года, т.е. всего двумя неделями позже. Самая трагедия была написана за несколько лет до того, и грамота, будь она даже и найдена в Тверской земле, никакого влияния на изображение характера Гаврилы Пушкина оказать не могла бы.

Эпизод из наброска предисловия к «Борису Годунову» нужен нам не по его прямому смыслу: доказать, что Пушкин, мол, далеко уходит от исторического факта, мистифицирует читателя. Нет. Ловить поэта (а уж тем более Пушкина) на фактических несоответствиях – дело совершенно бессмысленное. Пример приведён с иной целью. В игре вокруг грамот Смутного времени мы как бы подбираем крохи пушкинского «пира воображенья». В данном случае главное действующее лицо – сам поэт.

С конца михайловской ссылки (осень 1826 г.) и до женитьбы (зима 1831 г.) идут так называемые «годы странствий» Пушкина. Это быстрая, калейдоскопическая смена впечатлений: скверные дороги и скука почтовых станций, гостевые спальни в домах друзей, трактирные нумера, собрания столичного и провинциального бомонда, поспешные романы с дамами различных достоинств, карты, альбомные вирши, сплетни московской родни и т.д. Всё это длится уже третий год. Пушкин устал. Нет постоянного дома; нет привычного письменного стола; любимые рукописи и книги не стоят на полках, а мнутся в дорожных сундуках и баулах. Приехав из Тверской губернии в Петербург в январе 1829 года, Пушкин снова

<sup>9</sup> См.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. В 4 т. Т. 2. Сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова. М., 1999. С. 429.

поселяется в осточертевшем Демутовом трактире. Именно здесь, у Демута, Пушкин, надо полагать, и набрасывает вариант предисловия к «Борису Годунову». Такова правда; такова жизненная проза.

Но вместе с поэтом, героем своего давнего стихотворения, Пушкин опять мог бы сказать: «Я был далёко». Вот он кладёт на бумагу свои размышления о трагедии, об истории отечества. Приметы столичного жилья, описанные потом в «Египетских ночах», отступают. Перед читателем должен предстать не странствующий менестрель, не бездомный юродивый, не светский петиметр, а старинный дворянин, ведущий летопись рода, сословия, царства. Он несомненно видит себя в родовой усадьбе, в кабинете, увешанном портретами предков; вот он подходит к старинному инкрустированному бюро, достаёт оттуда грамоты царей и столбцы скорописи. Всё это – надёжная основа сочинения о царе Борисе и настоящей беде государству. Потом, прервав свои кабинетные занятия, он едет в тверские земли, где ищет и находит драгоценные свидетельства минувших веков. Таким он видит себя; таким он хочет предстать перед читателем.

Этому же идеальному образу соответствуют строки из будущей «Моей родословной»:

Под гербовой моей печатью  
Я кипу грамот схоронил (III, 262).

Но здесь ситуация уже вполне обыкновенная. Лирический герой стихотворения, понятно, не обязан быть равным персоне автора, и вопрос – какие такие грамоты им схоронены? – вовсе теряет смысл. Эти грамоты стоят в ряду с необозримым множеством других предметов, явлений и лиц, составляющих весь корпус художественного творчества писателя.

Ситуация из предисловия к «Борису Годунову» – другое дело. Грамоты XVI-XVII столетий, вымышленные для наброска, в летописи жизни и творчества Пушкина уже без комментариев принимаются как факт – наряду с другими фактами. И помещаются под конкретными датами на рубеже 1828 и 1829 годов<sup>10</sup>. У исследователя тут трудная альтернатива: либо автобиографические замечания Пушкина принимать на веру, без комментариев; либо полагать предисловие неотделимой частью самой трагедии и тогда относиться к нему как к художественной ткани. В этом случае «семейные бумаги» и грамоты становятся в один ряд с пыльными

<sup>10</sup> См.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 2. С. 429.

хартиями Пимена или сыскным указом, читаемым в корчме на литовской границе.

Божественное «товарищество создания» на том и основано, что творец не всегда проводит границу, отделяющую его самого от его собственного творенья. Канонически это и выражено в понятии «Слово»: оно одновременно и «у Бога», и Само есть «Бог».

## II

Над сложностью отношений между творцом и его твореньем Пушкин, по-видимому, начал задумываться очень рано. Одновременные нераздельность и неслиянность обеих ипостасей (сочинитель и сочинение) отчётливо выступили уже в первых лицейских опытах жизни и творчества. Оказалось, что поэтическая выдумка, плод воображения, полноправно существует в кругу предметов реальных и даже, может быть, вещественных.

В 1834 году Пушкин попытался написать нечто о своём лицейском друге Антоне Дельвиге – то ли воспоминания, то ли биографию. Это произведение ему завершить не удалось. Осталось только быстрое введение, где кратко перечислены необходимые формальности: место и время рождения, родители, поступление в Царскосельский лицей. Из характерных черт Дельвига названы только «ленивые понятия», невеликая склонность к наукам и незнание иностранных языков.

После этих невыгодных для друга сведений Пушкин рассказывает о Дельвиге такой эпизод:

«В нём заметна была только живость воображения. Однажды вздумалось ему рассказать нескольким из своих товарищей поход 1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошёл до нашего директора А.Ф. Малиновского, который захотел услышать от самого Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг постыдился признаться во лжи столь же невинной, как и замысловатой, и решился её поддержать, что и сделал с удивительным успехом, так что никто из нас не сомневался в истине его рассказов, покамест он сам не признался в своём вымысле. – Будучи ещё пяти лет отроду, вздумал он рассказывать о каком-то чудесном видении и смутил им всю свою семью. В детях, одарённых игривостью ума, склонность

ко лжи не мешает искренности и прямоту. Дельвиг, рассказывающий о таинственных своих видениях и о мнимых опасностях, которым будто бы подвергался в обозе отца своего, никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания» (XI, 273).

В приведённом отрывке эпизод лицейской жизни, записанный Пушкиным, предстаёт как развитие максимы о «словах» и «делах». В той действительности, которая находится перед мысленным взором Дельвига, он, сочинитель, совершает антинаполеоновский поход 1807 года в обозе своего отца, боевого офицера. Воображение подростка (Дельвигу 14-15 лет) рисует упоительные картины битв, опасностей, головокружительных приключений. Это понятно. Понятно так же, почему юный поэт не утаивает, не удерживает при себе своих грёз. Всё внимание лицейстов поглощено текущими событиями походов 1812-1815 годов, и Дельвиг своими рассказами как бы воплощает общую мечту об участии в сражениях.

Неясно другое. Отчего Пушкин открывает биографию Дельвига историей, сразу выходящей за рамки спокойной комплиментарности? Почему «склонность ко лжи» является здесь свойством, с которого читатель начинает знакомиться с несомненно положительным героем? Зачем вспоминать лень и тупость друга?

Разгадка, как нам кажется, лежит всё там же – в кругу понятий, определяемых Жуковским в письме к Гоголю. В самом деле: ведь именно там ум и воля названы в числе низших способностей души, способностей, определяемых дольными, житейскими обстоятельствами. В этой, как мы сказали бы теперь, шкале ценностей невысоко стоят простые, общепонятные добродетели – вроде сальерианского трудолюбия, терпения при постижении наук и иностранных языков, быстрого соображения. Дельвиг прежде всего поэт, и потому его биография начинается у Пушкина с первого проявления поэтического дара<sup>11</sup>.

В том же ряду – творчество, вера – находится и поминаемое Пушкиным «чудесное видение», смутившее семью Дельвигов.

---

<sup>11</sup> Сам Пушкин, будучи на год моложе Дельвига, тоже начал с живости воображения, а не с проявлений ума и воли. Его сестра, О.С. Павлицева, вспоминала потом: «До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного, напротив, свою неповоротливость, происходящую от тучности тела, и всегдашнюю молчаливость, приводил иногда мать в отчаяние». – А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 44.

Правдивость Дельвига в обыкновенной жизни, бесстрашная готовность нести ответственность за свои поступки, поставленные рядом с проявлениями поэтического таланта, намекают на очевидное противоречие. С одной стороны, как мы убедились, поэт нельзя судить по всей сумме общих законов. С другой – сам поэт не хочет поблажек, скидок на особенность своего призвания. Отсюда вырастает целая линия поведения, свойственная Пушкину и его поэтическому кругу: поэт является в свете с образцовыми для дворянина понятиями о чести и долге, с постоянной готовностью эти ценности отстаивать. И не только «словом». Лучше всего это выражено в болдинском «Отрывке», а потом и в близких к нему «Египетских ночах». Об отрывке мы уже подробно говорили в первой части книги. Здесь же – в русле новой темы и нового сюжета – считаем необходимым несколько повториться.

Болдинский «Отрывок» прямо начинается замечанием о том, что у стихотворцев нет никаких преимуществ, «кроме <...> т.<ак> наз.<ываемых> стих.<отворческих> вольностей» (VIII, 409). Поэт создаёт собственные миры, но и тот мир, в котором он обыденно живёт, имеет на него свои права, налагает на него свои обязанности.

Отрывок «Не смотря на великие преимущества...» служит редкостным примером соотношения обоих миров – реального и воображаемого, в которых протекает жизнь поэта. Герой, ещё не получивший имени Чарского, постоянно пересекает границу, отделяющую грёзу от действительности. Поэт «Отрывка», понятно, не совсем Пушкин. Но в его поступках и характере читатель без труда находит следы пушкинского автобиографизма. На наше счастье они зримо проявляются и там, где поэт покидает реальную почву, предаётся мечтаньям.

Приведем еще раз один примечательный фрагмент текста, в котором некий воображаемый автор рассказывает о воображаемом же приятеле:

«Приятель мой происходил от одного из древнейших наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил 3<мя> строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер 3<мя> звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти всё наше старинное дворянство, он подымая нос уверял, что никогда не женится или возьмет за себя княжну рюриковой крови, именно одну из княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно, ныне пашут сами и, встречаясь друг со другом на своих бороздах отряхают сохи и говорят: “Бог помочь, князь Антип <Кузмич>, а сколько твоё

княжое здоровье сегодня напало?» – «Спасибо, князь Ерёма Авдеевич...»» (VIII, 410).

Это написано в Болдине осенью 1830 года и живо напоминает всё тот же набросок предисловия к «Борису Годунову», появившийся почти два года назад в номере Демутова трактира. Опять перед читателем сочинитель из древнего аристократического рода; опять он весьма внимателен к истории своих предков; естественно звучат нотки самоиронии по поводу аристократической спеси, не подкреплённой прочным положением в современном обществе. Но если автор «Бориса Годунова» просто примысливает себе достоинство оседлого владельца наследственной усадьбы, хранителя исторических «бумаг» и грамот, то «приятель» из «Отрывка» в мечтах своих заходит гораздо дальше.

Попробуем понять смысл его фантазий.

Для этого необходимо напомнить о том, с какой стойкой неприязнью Пушкин относился к новой, служилой аристократии, пришедшей к власти на гребне реформ Петра Великого и императриц. Параллельно с «Отрывком» написана «Моя родословная» – злая сатира на тех, чьи предки добивались чинов, орденов с состояний через служебное пресмыкательство и угодничество. «Звезда двоюродного дяди», как клеймо выскочек и бездарных карьеристов, переключает потом в строфу <VI> поэмы «Езерский» (V, 99). Да и «Сказка о рыбаке и рыбке» – не о том ли? Может быть, не менее плачевно с точки зрения Пушкина и засилье иных хозяев жизни – «бородатых миллионщиков». Век-торгаш уже мало считается со старинными родословными, дворянские гербы на фронтонах усадеб сменяются вывесками коммерческих заведений. Это один из основных мотивов будущего пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург, того же «Езерского» и многих других сочинений.

Старинный, патриархальный, возможно, даже докрепостнический уклад усадебной жизни кажется Пушкину идеальным. Тут он следует патриархальной утопии Н.М. Карамзина. Но в отличие от историографа поэт понимает всю несбыточность возврата к прежним временам, когда между вотчинником-отцом и крестьянами-детьми не впирались чиновники, купцы, заводчики, судейские и т.п. Ныне патриархальный рай потерян, и это больно отзывается на героях «Романа в письмах», «Дубровского», «Капитанской дочки».

Для пушкинского героя-поэта (он же как бы и сам Пушкин) невеста из рюриковичей-пахарей есть идеал, есть предел матримониальных мечтаний.

Эту ситуацию нам уже приходилось соотносить с реальной биографией болдинского затворника<sup>12</sup>.

Мы, понятно, не настаиваем на прямых и упрощённых параллелях: Пушкин, мол, осердясь на безродных и вздорных Гончаровых, придумал себе на выбор две лучших невесты – Муромскую и Елецкую. Соотношение реальности и вымысла тут сложнее и тоньше. Достаточно хотя бы напомнить, что автор удалил от себя Лизу Муромскую сколь возможно в сторону: «Барышню-крестьянку» некая девица К.И.Т. рассказывает условному персонажу И.П. Белкину, а уж тот делится этим сюжетом с анонимным «Издателем» (VIII, 61), в котором непосвящённый читатель никогда не узнает Пушкина.

И всё же: трудно, невозможно отрицать, что идеальные Муромская и Елецкая совсем уж нейтральны к жизненной коллизии, настигшей Пушкина осенью 1830 года. Они являются поэту тогда, когда, устав от невыносимой действительности, он может сказать о себе: «Я сладко усыплен моим воображеньем» (III, 321). Поэзия воистину выступает здесь как спасительница, как ангел-утешитель.

Воображаемый мир, заметим попутно, вовсе не рай, не царство бесконфликтного счастья. Безымянный стихотворец «Отрывка» беден, живёт «имея поминутно нужду в деньгах» (VIII, 410). А в анекдоте о князьях-пахарях подразумевается тягостная история захудания некогда могучего аристократического семейства, разрыв связей с новой знатью. Княжна из рюриковичей не может так просто выйти замуж – на ярмарке невест она, бесприданница, ничего не стоит; да гордые родители и не повезут её на эту ярмарку. «Одна из княжон Елецких», кажется, должна страдать на манер капитанской дочки. У Маши Мироновой тоже нет среды, в которой она могла бы найти жениха. В этом смысле изба Елецких сродни окраинной деревне, называемой Белогорской крепостью. Единственный, кто может пренебречь реальными житейскими обстоятельствами и жениться – поэт. Герой «Отрывка» только намекает на такую возможность. А Петруша Гринёв, сочиняющий стихи, даже и женится. Ужасные препятствия, которые он при этом преодолевает, составляют фабулу романа «Капитанская дочка».

<sup>12</sup> См.: *Листов В.С.* Новое о Пушкине. М., 2000. С. 154-159.

Тут важны два обстоятельства.

Во-первых, в зыбкой области пушкинской мечты всё-таки не царит полный произвол; в ней видны свои закономерности, свои привычные ходы, свои постоянные особенности самосознания. Опыт воображения, направленного на себя самого, оказывается у Пушкина не менее устойчивым, чем остальной опыт, условно называемый жизненным. Во-вторых, воображаемая игра с самим собой у Пушкина не замкнута миром грёз. Она иногда отражает действительные жизненные коллизии, а иногда пытается их опережать, предсказывать, корректировать. В дальнейшем мы убедимся, что жизненная правда биографии всегда оказывается ниже, прозаичнее автобиографического вымысла, «биографии души».

Чтобы это понять, достаточно сравнить родовую усадьбу с Демутовым трактиром, а хлебопашцев Елецких с полотняными заводчиками Гончаровыми...

### III

Душной майской ночью в Кишинёве Пушкину явился Онегин.

Это, с позволения сказать, *событие* вот уж почти два века тревожит внимательных исследователей и читателей Пушкина. Все понимают: тут нечто большее, чем просто явление вымышленного героя, соответствующего некому исходному и отныне воплощаемому авторскому замыслу. Причин, точнее, импульсов, по которым Пушкин пишет свой стихотворный роман об Онегине, бесчисленное множество. И мы не собираемся все их обсуждать. Сам текст романа, а уж тем более обширная литература о нём, убеждают в том, что образ главного героя рождается на скрещении самых разных и многоплановых обстоятельств – личных, общественных, литературно-художественных, а, может быть, даже и просто случайных. Ответить на вопрос – зачем Пушкину в «смутном сне» явился Онегин? – так же невозможно, как объяснить, например, «зачем крутится втр в овраге?»...

Но всё-таки мы достаточно знаем кое-какие, пусть и внешние, подробности жизни автора, чтобы высказать предположение об одной из многочисленных сторон воображаемой творческой родословной героя.

Завершая роман и мысленно возвращаясь к его началу, Пушкин, как известно, записал: «I песнь *Хандра* Кишинёв, Одесса» (VI, 532). Эта запись должна была возродить в его памяти обстоятельства семи-десятилетней давности: ссора с

правительством, ссылка на юг, слегка декорированная переводом по службе; тяжёлая для него неволя канцелярской службы; ежедневное общение с провинциальными чиновниками, вращение в кругу их мелких и скучных интересов.

В переписке 1820-1826 годов один из главных мотивов – как вырваться из ссылки, как вернуться.

В особенности тягостен был для Пушкина «проклятый город Кишинёв» (II, 291). Не станем углубляться в удручающие детали молдавской жизни поэта. Они во внушительном множестве находятся в его письмах, дневниковых записях, воспоминаниях знакомых и сослуживцев<sup>13</sup>, а также в работах биографов и краеведов<sup>14</sup>. Достаточно будет напомнить хотя бы о черновике письма Пушкина и М.Ф. Орлова из Кишинёва в Петербург, адресованного осенью 1820 года друзьям по литературному обществу «Арзамас» (XIII, 20). Там поэт сравнивает свою молдавскую ссылку с библейским эпизодом вавилонского пленения (Пс.: 136), а себя – с ветхозаветным невольником. Его плач на берегу кишинёвской речки Бык, заменяющей «реки вавилонские», обращён к братьям, украшающим собою берега Мойки и Фонтанки. «Жалобный Сверчок», как по-арзамасски называет себя Пушкин, остро скучает по Петербургу, по своему столичному кругу общения<sup>15</sup>. А ведь от начала ссылки ещё и полугодя не прошло.

На третьем году изгнания Пушкин в письме к Н.И. Гнедичу (27 июня 1822 года) рисует своё положение как крайне безнадежное: «Пожалейте обо мне: живу меж гетов и сарматов; никто не понимает меня; со мною нет просвещённого Аристарха, пишу как-нибудь, не слыша ни оживительных советов, ни похвал, ни порицаний» (XIII, 39).

Упоминание племён гетов и сарматов, живших когда-то на месте Молдавии, Пушкин несомненно заимствовал у Н.М. Карамзина. Смысл заимствования в том, что историограф подчёркивает крайнее невежество этих племён и их борьбу с Римом как «войну дикого

<sup>13</sup> См.: *Вигель Ф.Ф.* Из записок; *Лугинин Ф.Н.* Из «Дневника»; *Горчаков В.П.* Выдержки из дневника об А.С. Пушкине; Его же. Воспоминания о Пушкине; *Вельтман А.Ф.* Воспоминания о Бессарабии; *Долгоруков П.И.* 35-й год моей жизни... // Пушкин в воспоминаниях современников. Т.1. М., 1974 (по оглавлению).

<sup>14</sup> См., например: *Трубецкой Б.* Пушкин в Молдавии. Изд. 4-ое. Кишинёв, 1976.

<sup>15</sup> См.: *Листов В.С.* «Голос музы тёмной». М., 2005. С. 162-163.

варварства с гражданским просвещением, которая заключилась, наконец, гибелью последнего»<sup>16</sup>. Тем самым ссыльный поэт видит себя в среде варваров и дикарей, попирающих просвещение.

Не менее значима и другая жалоба Пушкина: в Кишинёве нет «просвещённого Аристарха». Узкий и конкретный смысл этого сетования очевиден. Именем знаменитого александрийского филолога изгнанник называет Н.И. Гнедича, переводчика Гомера. Ведь именно Аристарх Самофракийский знаменит тем, что собирал и комментировал произведения Гомера. Но к XIX веку в России имя древнего учёного уже обрело нарицательный смысл – строгий и знающий критик, умный советчик, вообще справедливый ценитель прекрасного и занимательный собеседник<sup>17</sup>.

Так вот: Пушкину в Кишинёве не хватает не только Аристарха-Гнедича, но и вообще аристарха.

Эта роль и будет принадлежать Евгению Онегину. Воображаемый собеседник войдёт в жизнь поэта и заменит собою несуществующего реального собеседника.

Пушкина неодолимо тянет из Кишинёва в Петербург, и «добрый приятель», родившийся на берегах Невы, становится постоянным спутником поэта в его мысленных прогулках по улицам и набережным северной столицы. Недаром же в этих прогулках едва ли не основной смысл первой главы стихотворного романа. Именно в беседе с ровней, с человеком своего круга, Пушкин находит некое забвение серой кишинёвской действительности. Надо ли напоминать строфы XLV – XLVIII? Онегин-собеседник выступает в них с совершенной ясностью. Его «неподражательная странность», его презрение к людям и обстоятельствам создают то магнитное поле притяжений-отталкиваний, которое и возводит героя в степень постоянного спутника поэта:

Всё это часто придаёт  
Большую прелесть разговору.  
Сперва Онегина язык  
Меня смущал; но я привык  
К его язвительному спору,

<sup>16</sup> Карамзин Н.М. История Государства Российского. М., 2002. С. 16.

<sup>17</sup> В первом разделе нашей работы мы уже приводили цитату из статьи В.А. Жуковского, в которой слово «аристарх» употреблено именно в этом, нарицательном смысле и потому пишется со строчной буквы.

И к шутке с желчью пополам  
И злости мрачных эпиграмм (VI, 24).

По мере движения фабулы романа роли действующих лиц, понятно, изменяются и усложняются. Однако создатель и создание всё равно в той или иной форме остаются собеседниками, участниками постоянного и напряжённого диалога. Этот диалог пронизывает ткань романа и подразумевается на всём его протяжении – почти до самого конца. Но тень исходного импульса иногда скользит и там, где автор формально, кажется, не присутствует. Например, в главе II собеседником Онегина становится другой поэт, не Пушкин. А дальше авторское начало романа по отношению к Онегину олицетворяет, как известно, его главная героиня, и исповедальный диалог «Татьяна – Онегин» продолжается уже до самого финала.

Ближе к концу, в черновой рукописи «Путешествия Онегина», собеседование из косвенного, опосредованного, вновь становится прямым: «Как Цицероновы авгуры // Мы рассмеялись тишком (VI, 504). Петербургские прогулки открывают роман, а одесские («По берегам Эвксинских вод») его как бы завершают. И тут ещё один признак общеизвестной симметрии всей вещи.

Ещё раз оговоримся. Ролью воображаемого собеседника автора место Онегина ни в жизни, ни в романе – не ограничивается. Это должно быть совершенно понятно. Но вместе с тем создание далеко не нейтрально по отношению к своему создателю; творение имеет свои права на творца и, как известно, не полностью от него зависит. Прощаясь с героем, Пушкин совершенно точно определяет, что значил для него Онегин и в чём была личная мотивация сочинения романа:

Прости и ты, мой спутник странный,  
И ты, мой верный Идеал  
И ты, живой и постоянный,  
Хоть малый труд. Я с вами знал  
Всё, что завидно для поэта.  
Забвенья жизни в бурях света,  
Беседу сладкую друзей... (VI, 190)

Конец романа возвращает к его началу, к «Разговору книгопродавца с поэтом», послужившему когда-то вступлением к главе I (II, 324-330; 1139). Поэт как бы снова напоминает: я был далёко, я достиг забвения жизни через игру воображения; помянута

и «беседа сладкая друзей», среди которых, быть может, подразумевается и вымышленный «добрый приятель», скрасивший годы ссылки и скитаний.

Но развязка истории творца и творенья оказывается совсем не такой, какая виделась поэту. Он, впрочем, с самого начала подозревал, что выступает в роли автора «большого стихотворения, которое никогда, вероятно, не будет окончено» (VI, 638). В русле избранной нами версии это значит, что конца изгнанию не видно, поэтому вымышленный странный собеседник вернее всего превратиться в вечного спутника и исчезнет одновременно со своим создателем. Вместе с тем обстоятельства возникновения и существования героя как бы подразумевают, что где-то там, на севере, в Петербурге, есть некий круг друзей-аристархов, понимающих поэта. От этого реального круга и представляет себя при Пушкине вымышленный Онегин. Жизнь автора складывается так, что «беседу сладкую друзей», т.е. тех, кто украшает собою берега Мойки и Фонтанки, приходится оттягивать с года на год, переносить в мир фантазий и воображаемых положений.

Всех последствий такой расстановки фигур Пушкин не оценивает, точнее, оценивает только позже, так сказать, задним числом. За семь лет, проведенных вдали от Петербурга, поэт сильно меняется – и умственно, и нравственно. Между забиякой-мальчишкой, в 1820 году изгоняемым на окраину империи, и умнейшим человеком России, беседующим с царём на коронации, лежит очевидная пропасть. Петербургский дендизм Онегина первой главы Пушкин сам относит к концу 1819 года и признаёт его поверхностное, едва ли не шуточное сходство с характером героя Байрона (VI, 638). Если б Онегин не менялся вслед за своим создателем, он, понятно, быстро утратил бы достоинство умного и желанного собеседника. С героем, застывшим на отметке 1819 года, Пушкину довольно скоро толковать было бы не о чем.

Онегин меняется; но эти перемены происходят вовсе не по логике эволюции реального человеческого характера... Примеров много.

Онегин первой главы – образцовый полужнайка, едва ли не невежда. Хрестоматийное «учились понемногу // Чему-нибудь и как-нибудь» (VI, 7) определяет собою довольно узкий горизонт знаний героя. В «важном споре» он молчит – молчит ровно до тех пор, пока более образованные спорщики не выяснят фактическую подоснову вопроса. Только тогда в огне неожиданных эпиграмм

загорается онегинское остроумие, рассчитанное скорее на улыбки дам, чем на поиски истины. Ирония героя тут сродни иронии автора.

Онегин главы второй выглядит совершенно иначе.

Хронология романа не допускает никаких сомнений: «В свою деревню в ту же пору // Помещик новый прискакал» (VI, 33). Приезды Онегина и Ленского в деревни совпадают по времени – «в ту же пору». Чего ищет Ленский в общении с Онегиным? Да того же, что и Пушкин – собеседничества, исполнения роли умника, аристарха. В этом убеждает хотя бы знаменитая строфа XI главы II-ой. Ленскому так же не нравятся «благоразумные» разговоры соседей «о сенокосе, о вине // О псарне, о своей родне», как Пушкину, видимо, надоело выслушивать «вздоры» кишинёвских и одесских сослуживцев о винопроизводстве, пасхальной прибавке к жалованию и способах лечения геморроя. Дары Владимира может оценить только Евгений. Позднее славное словцо на эту тему Пушкин отдаст другому герою, Швабрину: «стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом (VIII, 301).

Но что же следует из одновременного приезда Онегина и Ленского в соседственные деревни? А вот что: между петербургским поверхностным полузнайкой Евгением и глубокомысленным деревенским собеседником поэта *нет хронологической пропасти*. В самом деле: от столичной салонной болтовни до разговоров с Ленским проходят какие-то дни, много – недели; а между тем Онегин сразу становится полноправным участником обсуждений глубоких философических вопросов – от «племян минувших договоров» до нравственного смысла наук в духе Ж.-Ж. Руссо. Перемена разительная, в ходе реального времени невозможная. Ленский-то питомец Геттингенского университета – по русским меркам человек исключительно образованный. И вот Онегин становится с ним наравне.

Всё это, повторяем, происходит не по общепонятной житейской логике, а по логике авторского воображения.

Другой пример – не менее показательный.

На протяжении первых семи глав романа читатель привыкает к Онегину-собеседнику, к его охлажденному уму и резким суждениям, к язвительному спору и мрачным эпиграммам. Не он ли осаживает восторженного мальчика – Ленского? Не он ли даёт ледяной ответ Татьяне-барышне?

И вдруг, опять вне житейской логики, характер Евгения меняется. Свидетельством тому строфы VII-IX главы восьмой, где

автору вздумалось вступить в светскую беседу насчёт человеческих свойств своего героя:

– Зачем же так неблагоклонно  
 Вы отзываетесь о нём?  
 За то ль, что мы неугомонно  
 Хлопочем, судим обо всём,  
 Что пылких душ неосторожность  
 Самолюбивую ничтожность  
 Иль оскорбляет, иль смешит..? (VI, 169)

Герою, скептику и желчевнику, почему-то присваивается черта характера, подходящая скорее Татьяне или Ленскому: «пылких душ неосторожность». Объяснение, будто герой переродился от встречи с Татьяной-княгиней – не годится. Пылкостью неосторожной души Евгений пожалован ещё до появления Татьяны на светском рауте, где произойдёт эта встреча. Прежний, разочарованный Онегин почему-то Пушкину не нужен; он, видимо, безнадежно отстал от авторских размышлений и чувствований. Роман опять совершенно симметричен. Нелогичность перехода от Татьяны-провинциалки к Татьяне – знатной даме заметил ещё П.А. Катенин (VI, 197). Но оказывается, что и Онегин совершает мгновенное преобразование скорее по произволу своего создателя, чем по мотивам, диктуемым ходом романного времени и переменой обстоятельств.

О таком способе обращения с героем (героями?) Пушкин, конечно, сам знает и прибегает к нему порой даже и сознательно. Уже на исходе первой главы романа он отмечает: «Противоречий очень много, // Но их исправить не хочу» (VI, 30). К характеру героя-собеседника это можно отнести едва ли не в первую очередь. По ходу движения романной фабулы воображаемый Онегин как-никак должен оставаться приятелем-аристархом, чей разговор для автора занимателен и жив. Пушкин меняется стремительно; Онегин (точнее, исходно заданные его черты) постоянно отстаёт от своего создателя. Насильственные коррективы происходят постоянно, и требуется всё мастерство поэта, чтобы читатель не замечал неловкостей – вроде тех, что мы назвали.

В этом же одна из причин, почему где-то после дуэльной кульминации роман начинает клониться к закату. В седьмой главе заглавный герой не действует. Возникают такие вставные явления как «Альбом Онегина», декабристские строфы («X песнь..?»), наконец, «Отрывки из путешествия Онегина», где фабульные связи даны прозой, а Евгений незаметно исчезает где-то на половине пути.

«Добрый приятель» явно утрачивает для поэта свою многолетнюю необходимость.

Воображаемый диалог «Пушкин – Онегин» всё очевиднее склоняется к монологу поэта.

В пределах своих наблюдений это отметила А.А. Ахматова. В заметке «Болдинская осень (8-ая глава “Онегина”» она прямо утверждает, что Онегин «стал похож на поэта, т.е. на него, Пушкина». Далее Ахматова выступает со своей знаменитой, но вряд ли серьёзно обсуждаемой догадкой: «Чем кончился Онегин? – Тем, что Пушкин женился. Женатый Пушкин ещё мог написать письмо Онегина, но продолжать роман не мог»<sup>18</sup>.

Ахматова, кажется, неверно, преувеличенно, толкует внешние обстоятельства, сопутствующие роману. Всё-таки «Евгений Онегин» кончился не оттого, что Пушкин женился. Роман скорее завершился потому, что исчерпались внутренние возможности корректировать характер главного героя. Воображение настолько опасно удалялось от реальности, что это уже становилось заметно читателям-профанам. Они, читатели, вдруг могли бы догадаться, что автор вообще пишет роман по причинам, «важным для него, а не для публики» (VI, 197).

Внешние обстоятельства, разумеется, надо учитывать. Герой, мы помним, рождается как плод воображения изгнанника, поэта, оторванного от своей среды. Кончается изгнание – кончается и исходный импульс, определяющий иллюзорное бытие героя. Долгие годы, находясь в ссылке, Пушкин стремится в Петербург, где его ждут, как он надеется, просвещённые друзья, стоящие с веком наравне. В мае 1827 года – ровно через семь лет после невольного отъезда – Пушкин, наконец, в Петербурге<sup>19</sup>. Воображаемый собеседник (Онегин) должен отступить перед собеседниками реальными.

Но действительность опять оказывается гораздо ниже мечты. Петербург 1827-1828 годов далеко не равен Петербургу 1820 года. Круг собеседников, от которых вымышленный герой представлялся у поэта на юге и в Михайловском, распался. И дело тут не только в разгроме декабристов («одних уж нет, а те далече»), но и в общем понижении умственной жизни, сопровождавшем перемену царствования. Философические беседы

<sup>18</sup> Ахматова А.А. О Пушкине. М., 1989. С. 189-190.

<sup>19</sup> Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т.2. С. 727.

теперь сильно потеснены картёжной игрой, пьяным разгулом и визитами к Софье Астафьевне. Парадокс состоит в том, что реальный Петербург, грозивший прекратить эфемерное бытие Онегина, кажется, на деле его продлевает; общение героя и автора продолжается – хоть и с перерывами – ещё целых четыре года (1827-1831). Одна из причин очевидна: Петербург и Москва обретают кое-какие провинциальные кишинёвские признаки, поэтому мысленная беседа с «добрым приятелем» всё ещё актуальна.

Другая сторона ситуации ещё более трагична. Сам Пушкин развивается с чрезвычайной быстротой. Шесть-семь лет вне столицы подняли его на такую высоту, что он просто не может быть до конца понят даже и многими лучшими из соотечественников. Если б каким-то волшебством Пушкин 1827 года был перенесён назад, в Петербург 1820 года, то и там вряд ли нашёл бы конгениальный круг общения. Страшное сознание одиночества приходит к поэту после ссыльной неволи, на рубеже тридцатых годов: «Ты царь: живи один» (III, 223).

Пушкин, уже написавший своего «Пророка», обнаруживает себя как бы вне круга умственного общения дюжинных современников. Невзгоды конкретного ссыльного изгнания уступают понятию «изгнания земного». С этой, неизмеримо более высокой точки зрения почти неразличима разница между столицей и селцом Михайловским, между августейшими братьями Александром и Николаем Павловичами, а заодно уж и между придуманным Онегиным и реальными петербургскими гуляками 1828 года.

«Спутник странный», насильственно удерживаемый в сознании до последней возможности, должен отступить, уйти. Теперь Пушкин будет искать собеседников в совсем ином ряду – Гомер и Данте, Шекспир, Сервантес, Гете.

«Онегин» – и роман, и герой – кончился потому, что Пушкин его перерос. Перерос, как мы уже говорили, умственно и нравственно.

Когда Пушкина спрашивали, почему он не завершил «Онегина» и не собирается ли он его продолжить, поэт обыкновенно отшучивался, объяснял, отчего он не хочет ни женить героя, ни уморить его. Всё это было в пределах понимания нормальных светских людей, начитанных дам и барышень.

Причин, по которым Пушкин оставил свой труд, было, вероятно, много. Но в русле нашей темы необходимо напомнить то, с чего мы начали – комментарий Жуковского к пушкинской

формуле о словах поэта, которые суть уже его дела. Старший друг Пушкина говорит о единстве поэтической души, разделяемой на ипостаси – ум и воля (низшее), творчество и вера (высшее). Можно предположить, что продолжение и завершение диалога с Онегиным (а, следовательно, продолжение романа) были подвластны уму и воле автора. Но они уже вошли в глубокое противоречие с перспективой его творчества, с глубиной его религиозного и философского опыта. Мгновение, когда Пушкин это понял, и стало последней точкой, последним проблеском существования воображаемого героя. Поэт сумел расстаться с ним в одночасье, «вдруг».

Это, если угодно, стало победой автора над приземлёнными возможностями ума и воли.

#### IV

Самосознание Пушкина на протяжении долгих лет приводило его к устойчивому образу – образу черного предка, Абрама Петровича Ганнибала. В размышлениях поэта причудливо сплетались разные смысловые потоки: семейные бумаги и предания, сочинения историков и анекдоты; и даже ветхозаветный рассказ об Иосифе Прекрасном, сновидце, проданном в Египет и служившем фараону<sup>20</sup>.

Пушкину свойственно отождествлять себя с чёрным предком, сподвижником Петра Великого. «Царю наперсник, а не раб» занимает поэта не только по признаку кровного родства, но ещё и по сходству положений в русском аристократическом обществе, от которого оба по разным причинам и в разной степени отторгаются. Жизненный путь царского арапа с его фантастическими взлётами и падениями несомненно служит для Пушкина предметом острой зависти. Чего стоит хотя бы только география путешествий черного предка – от Африки до Петербурга, от Франции и Испании до сибирской границы с Китаем. Пушкин, который писал о себе: «...с детских лет путешествия были моею любимой мечтою» (VIII, 463) – вынужден был пройти теми же путями, но не в действительности, а только в воображении, в грёзах.

<sup>20</sup> См.: *Листов В.С.* Легенда о чёрном предке // *Легенды и мифы о Пушкине* / Сост. М.Н. Виролайнен. СПб., 1994. С. 53-64.

Любопытный след эти грёзы оставили в «Евгении Онегине» и в сопутствующих роману эпизодах пушкинской биографии. Строфа L – одно из самых цитируемых мест первой онегинской главы. Напомним:

Придёт ли час моей свободы?  
Пора, пора! – взываю к ней;  
Брожу над морем, жду погоды,  
Маню ветрила кораблей.  
Под ризой бурь, с волнами споря,  
По вольному распутию моря  
Когда ж начну я вольный бег?  
Пора покинуть скучный брег  
Мне неприязненной стихии,  
И средь полуденных зыбей  
Под небом Африки моей  
Вздыхать о сумрачной России,  
Где я страдал, где я любил,  
Где сердце я похоронил (VI, 25-26).

Обычно эти строки истолковывают в русле пушкинской «тоски по чужбине», в контексте планов побега ссыльного поэта за границы отечества. Однако, возможно и другое, может быть, не менее убедительное объяснение. В.В. Набоков начинает свою работу «Пушкин и Ганнибал» прямо с воспроизведения L строфы и выставляет *над ней* имя: *Абрам Ганнибал*. Тем самым вся строфа становится как бы монологом предка. Это тонкое наблюдение над набоковским комментарием сделала Н.К. Телетова. Обосновывая своё предположение, Н.К. Телетова напоминает, что к этому «основание дают слова “Африки моей” – родины Ганнибала, но не Пушкина»<sup>21</sup>.

Если Н.К. Телетова права, то придётся признать, что Набоков остановил здесь свой комментарий на стадии самого первичного намёка, не продолжил его до вразумительной ясности. В самом деле: с какой бы стати монолог предка, жившего век назад, должен врываться в авторский текст, посвящённый сначала прогулкам по Петербургу летом 1819 года, а потом переживаниям ссыльного в Одессе пять лет спустя? Не проще ли полагать, что поэт говорит тут о себе и только о себе? Конечно, проще. И ни Набоков, ни Телетова

<sup>21</sup> Телетова Н.К. Примечания // Набоков В.В. Пушкин и Ганнибал // Легенды и мифы о Пушкине. С. 42.

вовсе не стремятся отменить очевидное традиционное истолкование строфы. Здесь совсем иная игра. Перечитайте L строфу: в ней действительно нет *ни одного* признака, отличающего начало XVIII века от начала века XIX-го. Решительно всё, что автор говорит о себе и своих жизненных обстоятельствах в Одессе, мог бы сказать о себе и его предок, бродя над Балтийским морем почти столетие тому назад. Та же самая жажда свободы, та же самая любовь-неприязнь к России, тот же мотив страдания, разбитого сердца. Только у черного арапа больше прав, чем у Пушкина, называть Африку «моей».

Истолкование полного сходства положений и чувствований не вызывает сомнений: Пушкин в своём воображении отождествляет себя с предком. Поэтому окончательно выбирать из двух возможных истолкований L строфы не приходится – она как бы удерживает в себе оба смысловых пласта, судьбу обоих поколений одной семьи.

Пушкин не просто воображает себя своим собственным предком. Он даже знает, в каком пункте полёта фантазии его ждёт явное расставание с правдой характера реального Абрама Ганнибала. Царский арап, как герой романа, наделён у Пушкина такой изысканной тонкостью чувств, такой ранимостью, каких в его время и в его кругу, конечно, не было. Тот же Набоков полагал, что предок Пушкина «был человек угрюмый, раболепный, взбалмошный, робкий, тщеславный и жестокий; военным инженером он, может быть, и был хорошим, но в человеческом смысле был полным ничтожеством, ничем не отличавшимся от типичных русских карьеристов своего времени, поверхностно образованных, грубых, колотивших своих жён, живших в скотском и скучном мире политических интриг фаворитизма, немецкой муштры, традиционной русской нищеты и грудастых императриц на бесславном престоле»<sup>22</sup>.

По долгу семейной чести Пушкин, конечно, не согласился бы с такой оценкой царского арапа. Но и он, Пушкин, понимал, что XIX век существенно смягчил нравы дворянства по сравнению с нравами, царившими при дворах Петра I и императриц; он знал, «какие суровые люди окружали ещё престол Екатерины» (XII, 32). Тем не менее образу предка поэт придал многие свои черты, и это ясно выступает, например, на страницах романа о царском арапе.

<sup>22</sup> *Набоков В.* Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Перевод с английского. СПб, 1998. С. 735.

Сходство характеров дополняется сходством положений. В конце двадцатых годов, когда пишется роман, Пушкин высоко ставит императора Николая I, видит в нём продолжателя дела Петра Великого. Отсюда – постоянное смущение вольного сочинителя: он не служит, не участвует в благих преобразованиях власти. Более того. В своих мечтах он видит себя не в России, а за границей, в Париже. Служебное неустройство дополняется неустройством личным. Все семьи, где поэт ищет себе невесту, ему отказывают.

У Ибрагима-арапа, героя пушкинского романа, совершенно те же затруднения. Он тоже выбирает между Францией и Россией, между службой и неслужбой обожаемому монарху; он тоже страдает от своей африканской внешности, далёкой от образцов европейской красоты. Арапа ждёт лишь призрачное, насильственное счастье, основанное не на личном выборе, а на государственном решении царя Петра<sup>23</sup>.

Теперь, помня о близком сходстве характеров и положений автора и героя, вернёмся к строфе L первой главы «Евгения Онегина».

В первом издании этой главы строка об «Африке моей» была снабжена прозаическим примечанием, содержащим краткую биографию пушкинского предка, начатую знаменательной фразой: «Автор со стороны матери происхождения Африканского» (VI, 530). В русле нашей темы мы обратимся только к тому фрагменту примечания, который отражает жизнь арапа Аннибала (так называет его здесь Пушкин) в годы после смерти Петра Великого:

«В царствование Анны, Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча жестокостью климата и безлюдством, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху – Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно; Аннибал удалился в свои поместья, где жил всё время царствования Анны, считаясь в службе и в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями» (VI, 530-531).

Прежде, чем разбирать фрагмент по существу, необходимо понять, на каких источниках он основан. Сам Пушкин, заключая своё примечание, утверждает: «Странная жизнь Ан.<нибала>

---

<sup>23</sup> Счастливый русский соперник Ибрагима носит в романе имя *Валериан*. Здесь, возможно, след реальной ситуации. В 1826 году Пушкин сватался к своей дальней родственнице Софье Пушкиной, но она вышла за *Валериана* Панина. См.: *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 334.

известна только по семейственным преданиям» (VI, 531). Видимо, возникает ситуация, уже знакомая нам по предисловию к «Борису Годунову», где образ предка, якобы, создавался на показаниях каких-то семейных бумаг, существовавших в воображении автора. Во всяком случае, ссылаясь на семейные предания, как на *единственный* источник («только» они), поэт утверждает себя в правах полновластного и непрерываемого владельца исторических сведений. И тем обретает по отношению к ним абсолютную творческую свободу.

Но реальное фамильное предание семейства Ганнибал, отражённое в так называемой «Немецкой биографии», записанной А.К. Роткирхом<sup>24</sup>, совершенно иначе рисует жизненный путь арапа в послепетровские годы. Опираясь на это свидетельство, продиктованное, быть может, самим Абрамом Петровичем, Пушкин излагал потом историю сибирской ссылки своего предка существенно иначе:

«Екатерина <I> очень любила <Аннибала – В.Л.> – во все 2 года Царствования... После её смерти Пётр II взошёл на престол и Ан<нибал> был отдалён от двора <...>.

Меншиков под предлогом благовидным сослал Африканца на берега Амура, мерить Китайск<ую> <стену> границы, препоручение, найденное токмо для его удаления. После падения <Меншикова> Долгорукие не сочли за нужное призвать Аннибала, он всё ещё оставался там <...>.

Миних помог ему возвратиться из Сибири и спрятан был в Перновский Гарнизон Инженерным Майором»<sup>25</sup>.

Как видим, между реальным семейным преданием и пушкинским примечанием к стихотворному роману нет почти ничего общего. Точнее, общее сводится только к тому, что после царствования Петра I арап был сослан в Сибирь, а потом возвратился в Европу. Его гонителем, оказывается, был вовсе не Бирон, а А.Д. Меншиков и после него князя Долгорукие, временщики при дворе Петра II. Не было самовольного возвращения прадеда из ссылки; при императрице Анне Иоанновне (т.е. как раз при правлении Бирона) генерал-фельдмаршал и президент Военной коллегии Б. Миних вполне официально вернул арапа их ссылки и

<sup>24</sup> См.: *Телетова Н.К.* К «Немецкой биографии А.П. Ганнибала // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л., 1982. С. 272-285.

<sup>25</sup> Рукою Пушкина. С. 37-38.

вовсе не прятал его в «его поместьях, которыми Абрам Петрович в ту пору, кстати сказать, ещё и не владел»<sup>26</sup>.

Короче говоря, рассказывая в «Евгении Онегине» историю ссылки и возвращения своего предка, Пушкин не воспользовался версией семейного предания, записанной в «Немецкой биографии». Почему?

Ещё в 30-е годы Н.Г. Зенгер объяснял это хронологическими причинами. Он указал, что цензурное разрешение на издание первой онегинской главы подписано 29 декабря 1824 года. Значит, примечание об арапе к этому времени уже написано. Только 8 месяцев спустя, 11 августа 1825 года, Пушкин пишет П.А. Осиповой: «Я рассчитываю ещё проведать моего старого негра-дедушку, который, как я предполагаю, на этих днях умрёт, а между тем мне необходимо раздобыть от него записки, относящиеся до моего прадеда» (подлинник по-французски). С другой стороны, Н.Г. Зенгер верно указал, что ясные следы знакомства Пушкина с «Немецкой биографией» видны в романе о царском арапе (1827). Значит, перевод с немецкого, а, следовательно, знакомство Пушкина с семейным преданием о Ганнибале относятся к хронологическому промежутку: не ранее 1825 и не позднее 1827 годов<sup>27</sup>.

Кажется, всё ясно. Своё примечание к L строфе Пушкин пишет не позднее, чем в 1824 году, а с «Немецкой биографией», противоречащей его фантастическому рассказу о предке, он знакомится тогда, когда глава I стихотворного романа с этим примечанием вышла в свет. Поправить уже ничего нельзя; поздно.

Но хронологические выкладки, сколь бы убедительны они ни были, недостаточны. Дело в том, что биографию А.П. Ганнибала Пушкин сохранил и в примечании ко второму изданию главы «Евгения Онегина». Разночтения между первым и вторым изданиями здесь мало существенны; например, как отметила Н.К. Телетова, изменён порядок следования двух последних

---

<sup>26</sup> Возвращение А.П. Ганнибала из ссылки состоялось совершенно легально – переводом по службе в сентябре 1730 года. Столь же законным, ни от кого не скрываемым, было назначение военного инженера в Пернов. Все эти и другие реальные подробности, в общих чертах совпадающие с семейным преданием Ганнибалов, документированы в кн.: *Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал*. Таллинн, 1984. С. 72-73.

<sup>27</sup> См.: *Зенгер Н.Г.* Комментарий // *Рукою Пушкина*. С. 42.

абзацев<sup>28</sup>. Второе издание вышло в 1829 году, когда Пушкин давно и несомненно знаком с «Немецкой биографией». А между тем весь корпус вымышленных сведений вокруг ссылки чёрного арапа оставлен в неприкосновенности<sup>29</sup>.

Эта очевидная странность возвращает нас ко времени и месту отсылки в печать примечания об арапе – 1824 год, Михайловское. Независимо от того, какие подробности биографии предка ему известны, Пушкин здесь неизбежно должен понимать коренную сходственность положений. Он, как царский арап, сначала отправлен под видом перевода по службе; он, как и царский арап, страдает, «наскуча жестокостью климата и безлюдством» – особенно после тёплой и весьма «людной» Одессы. Авантюрный выход из положения, связанный с побегом, с самовольным оставлением места ссылки – напрашивается. Фантастическая мысль о бегстве занимает Пушкина ещё на юге. Недаром же L строфа начинается знаменитым вопросом:

*Придёт ли час моей свободы?*

Задумываясь над сибирскими мучениями прадеда, Пушкин весьма резонно примысливает ему те же чувства и стремления. Его арап хочет вернуться из ссылки во что бы то ни стало, хоть бы и через побег. И вот, в своём воображении, поэт заставляет офицера нарушить не только законы империи, но ещё и правдоподобие исторического факта и исторического характера.

Нетрудно понять, как в своём мечтании Пушкин в облике арапа проделывает весь нелегальный путь из Сибири в Петербург и анахронически является к Миниху. А Миних, пришедший в ужас, отсылает эту странную персону (не то Александра Сергеевича, не то Абрама Петровича) от греха подальше, в глухую деревню. В то же, например, Петровское или даже Михайловское. И теперь михайловскому изгнаннику ничто не мешает вспоминать небо «Африки моей», службу в Петербурге, Испанию, разгульный Париж и годы, потерянные далеко за Уральским хребтом.

<sup>28</sup> Телетова Н.К. Примечания <к работе В.В. Набокова «Абрам Ганнибал»> // Набоков В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 737.

<sup>29</sup> Только в <«Начале автобиографии»>, писанном уже в тридцатые годы, Пушкин отчасти корректирует свой рассказ о ссылке арапа. Здесь А.П. Ганнибал сослан не Бироном, а Меншиковым. Но остаются и самовольный отъезд из Сибири, и деревня, где арап скрывается от Бирона – правда, неназванного (XIII, 312).

Пушкин надеялся издать биографию предка; на самом деле грезится роман о царском арапе, в котором трудно будет отличить героя от автора, предка от потомка. Мечта в очередной раз возьмёт верх над историей и «семейственными бумагами».

На биографию самого Пушкина всё это накладывается весьма причудливо. Вымышленный Ганнибал сидит в своей вымышленной деревне и ждёт своей свободы через перемену царствования. И дожидается: императрица Елизавета Петровна, вступив на отцовский престол, осыпает арапа милостями. Реальный Пушкин сидит в реальном Михайловском и тоже, как потом окажется, ждёт перемены царствования, чтобы обрести свободу. Так что вымысел оказывается пророческим. Известная самооценка Пушкина: «Душа! я пророк, ей-богу пророк!» (ХП, 249), высказанная в Михайловском по поводу стихотворения об Андрее Шенье, может быть отнесена и к примечанию L строфы, и ещё ко многим суждениям поэта о себе и о своём творчестве.

Для полного отождествления с воображаемым предком Пушкину не хватает только одного звена – побега из ссылки. Мысль о побеге преследует Пушкина едва не всю жизнь – от зрелища скованных екатеринославских арестантов, переплывающих Днепр<sup>30</sup>, до рассказанной Карамзиным истории князя Курбского; от «Кавказского пленника» и «Кирджали» до драмы царевича Алексея Петровича и собственного тяжкого признания «усталого раба», замыслившего побег.

Мы не будем приводить сведений о наивной конспирации поэта, примерявшего на себя роль беглеца из ссылки на протяжении всей первой половины 20-х годов. Эти сведения известны, собраны и неоднократно комментированы<sup>31</sup>. Для нас важно только то, что воображаемые действия параллельны здесь истинным движениям души и даже нередко их обгоняют. Самовольный отъезд Ганнибала из Сибири, придуманный Пушкиным, служит ему же, Пушкину, как исторический прецедент, как оправдание собственным опасным стремлениям и намерениям.

Вопрос только вот в чём: не слишком ли мы доверчивы? Не торопимся ли буквально принимать криминальные мечты и слова поэта за его реальные и даже повседневные дела? Не слишком ли

<sup>30</sup> См.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т.1. С. 184.

<sup>31</sup> См. например: Дружников Ю.И. Узник России. По следам неизвестного Пушкина. М., 1993.

опять спешим украсить биографическую хронику пушкинской грёзой, далёкой от воплощения? Сходство с вымышленным Ганнибалом всё-таки скорее подходит не реальному, а идеальному Пушкину, автопортрету, созданному воображением самого поэта.

В декабре 1825 года, в острый момент междоусобицы, вся читающая Россия уже знакома с первой онегинской главой и знает из примечания, как чёрный невольник внезапно является в Петербург к Миниху. Что-то в этом роде видится и Пушкину. Не исключено, что выдумка об арапе находится среди аргументов, подвигающих её автора к решительной, но, быть может, мечтательной попытке. Наиболее полно со слов Пушкина об этом эпизоде рассказал С.А. Соболевский:

«Известие о кончине Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаниях по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решил отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя – потребуют паспорта; у великосветских друзей тоже опасно – огласится тайный приезд ссыльного. Он положил захватить сперва на квартиру к Рылеву, который вёл жизнь не светскую, и от него записать сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собраться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское – ещё заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец, повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь – в воротах встречается священник, который шёл проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч – не под силу суверенному Пушкину, он возвращается от ворот домой и остаётся у себя в деревне. “А вот каковы были бы последствия моей поездки, – прибавлял Пушкин. – Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылеву на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом;

вероятно, я <...> попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»<sup>32</sup>.

Запись Соболевского есть, конечно, лишь весьма приблизительный пересказ устной новеллы Пушкина, сделанный много позднее. Дело, кажется, осложняется и финальной проговоркой: это, скорее всего, застольная беседа, участники которой («мои милые») вряд ли были совершенно трезвы. Внезапная белая горячка слуги тоже очень подстать обстоятельствам. Тем не менее основные, знакомые нам черты «арапской» истории налицо: герой в ссылке; он скучает от безлюдья и ждёт перемены царствования. Дождавшись, собирается в дорогу; он знает, к какому лицу, заслуживающему доверия, он явится в Петербурге. Предок-военный может положиться на военного же, Миниха; потомок-поэт прибегает к содействию поэта, Рылеева. Симметрия соблюдена.

Вся новелла Пушкина, слышанная Соболевским, видимо, построена не как мемуарный эпизод, а как отрывок художественной прозы – романа, повести. Если бы поездка состоялась или хотя бы была всерьёз задумана, Пушкин вряд ли предполагал бы остановиться у Рылеева. Очное с ним знакомство на рубеже 1819 и 1820 годов было коротко и, возможно, осложнилось какой-то неясной дуэльной историей. Тайное пристанище Пушкин скорее искал бы у кого-нибудь из лицейских товарищей, например, у Дельвига. Но Пушкина в его устном рассказе заботит не правдоподобие, а острый сюжетный поворот. Отсюда – не только сходство с выдуманными приключениями Ганнибала, но ещё и ясное читательское ощущение: всё так и было – в воображении Пушкина. Он уже видел себя 13 и 14 декабря в Петербурге, в самом «кипятке мятежа». И мысленно даже расплатился за это; почему и не мог потом сидеть с милыми друзьями за пиршественным столом.

Приняв всё это в соображение, можно предположить, что рассказ о несостоявшейся поездке в Петербург едва ли построен на реальных фактах. Тут скорее сложный сплав чувствований ссыльного, первых прозрений будущего прозаика, ранних размышлений будущего историка. «Биография души» опять здесь влиятельнее грубой ткани биографической хроники, окончательной, не знающей альтернативы свершившемуся факту.

<sup>32</sup> *Соболевский С.А.* Из статьи «Таинственные приметы в жизни Пушкина // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 7. Этот эпизод известен также в записях М.И. Осиповой, А. Мицкевича, П.А. Вяземского, В.И. Даля.

Да, Пушкин задумал побег. И мысленно его совершил – со всеми отсюда вытекающими последствиями. Но в действительности ничего из того, о чём он рассказывал, могло и не случиться. Например, подозрителен слуга, «вдруг», внезапно, заболевший белой горячкой. Недостоверна и осведомлённость священника о готовящемся тайном отъезде; вместо того, чтобы по долгу присяги донести на пасомого куда следует, он приходит к нему мирно прощаться.

Наконец, рассказ о пресловутом зайце (или зайцах?), перебежавшем дорогу и тем совершенно переменившем судьбу поэта, тоже особой фактической убедительностью не отличается. Этот случай, впрочем, как и все остальные случаи из рассказов Соболевского, проверке не поддаётся. Но и он носит скорее художественный, чем реальный характер. Через десять лет после междуцарствия 1825 года Пушкин будет работать над «Капитанской дочкой», где роль судьбоносной детали, меняющей жизнь героя, сыграет заячий тулупчик, как бы близкий родственник того самого михайловского зайчика. Родство, скорее всего, состоит не только в названиях и, так сказать, в фактуре предметов, но и в общей их принадлежности к вымышленному миру<sup>33</sup>.

С этой точки зрения нетрудно будет объяснить, почему Пушкин в 1829 году, вновь издавая первую онегинскую главу, не отказался в примечании от побега Аннибала, хотя уже знал историческую невозможность такого события. Во-первых, он сделал это по чисто художественным причинам; иначе в его сознании не складывался мятежный образ предка. Во-вторых, именно в 1829 году (и шире – на рубеже двадцатых – тридцатых годов) Пушкин вновь испытывает острое чувство несвободы. По существу ему запрещены поездки. Власти не пускают поэта в Полтаву, и на Кавказ, в Париж, в Италию, даже за китайскую (!) границу; запрещено сопровождать войска, сражающиеся на двух русско-турецких фронтах. Скрытая обида на новое невольничество сквозит в стихотворном отрывке 1829 года «Поедем, я готов, куда бы вы, друзья...» (III, 191). На волне таких настроений Пушкин совершает побег в Арзрум, благополучно названный потом «Путешествием».

---

<sup>33</sup> Мотив можно продолжать на материале «Бориса Годунова» (закрывание границы литовской), «Сказки о попе и его работнике Балде», «Сказки о медведихе» и других сочинений Пушкина, но это далеко увело бы от нашей темы.

Таким образом, мотив невольничества и побега актуален для поэта и в 1824-м, и в 1829-м году. Сам Пушкин, оставляя примечание к строфе L во втором издании, вряд ли это отчётливо для себя формулировал. Ту скорее ход чувства, чем ход мысли. Но так или иначе ясно, что Пушкин по-прежнему отождествляет себя с предком и готов идти по его следам хоть в Париж, хоть в Китай.

Продолжением легендарной непоездки в Петербург в декабре 1825 года служит, как известно, пушкинская заметка «О графе Нулине» (<1830>), тоже довольно, кажется, легендарная. Объяснив связь своей шуточной вещи с поэмой Шекспира, римской историей и недавним соблазнительным происшествием в соседнем уезде, автор завершает заметку так:

«Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, и я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Гр. Нулин писан (?) 13 и 14 дек<абря>. – Бывают странные сближения» (XI, 188).

Эти «странные сближения» вот уже второй век занимают пушкинистов. Соблазнительное происшествие прямо и вполне основательно связывают с трагедией на Сенатской площади. Однако, как бы ни толковать, всё равно выйдет, что «странные сближения» происходят не столько в жизненной реальности, сколько в воображении самого поэта.

Отметим здесь ещё одну грань таких вымышленных сближений.

В начале 1825 года Пушкин пишет из Михайловского в Петербург брату Льву: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведёт странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143). По существу «странное действие» сродни «странному сближению». Почти за год до восстания декабристов Пушкин советует Рылееву «сблизить» образ черного предка с образом крупнейшего события Северной войны, ввести его в историческую картину решающего сражения. Совершенно то же самое, только на материале текущей жизни, Пушкин видит и для себя. Узнав о возмущении 14 декабря, он в воображении проживает своё участие в восстании и для этого помещает свою собственную «арапскую рожу» в центр исторической драмы.

Отождествление с предком продолжается. И не только в сфере сходства личных характеров, но и на исторической сцене. Не

забудем и о том, что «Заметка о графе Нулине» относится примерно к 1830 году (XI, 558), т.е. ко времени, когда написана «Моя родословная», где мотив «странного сближения» автора с царским арапом звучит открыто и сильно.

Некоторые воображаемые мотивы устойчиво проходят у Пушкина через годы и десятилетия. Но – с другой стороны – от мечты, от грёзы трудно вообще ожидать стабильности и постоянства. Поэт и сам прекрасно знал ту лёгкость, с которой один эфемерный образ сменяется другим, подчас противоположным. В романе о царском арапе он выразил это через эпиграф одной из глав, заимствованный из трагедии В.К. Кюхельбекера «Аргивяне»: «Как облака на небе, // Так мысли в нас меняют лёгкий образ, // Что любим днесь, то завтра ненавидим» (VIII, 13).

Ни царя Петра, ни тем более арапа Ганнибала Пушкин, разумеется, не оставил вниманием к концу двадцатых годов. Но тень предка, конечно, не стояла за его плечами, когда он сочинял «Полтаву». Так или иначе, но поэт не последовал своему же собственному совету, поданному Рылееву: в детально нарисованной картине баталии среди сподвижников Петра нет странной фигуры «негра безобразного».

Позже, в тридцатые годы, при переизданиях «Онегина» Пушкин откажется и от развёрнутого примечания к строке «Под небом Африки моей», содержащей мифологизированную биографию Ганнибала; теперь он ограничится только формальной отсылкой: «См. первое издание Евгения Онегина» (VI, 192), где любопытствующий читатель найдёт, если захочет, объяснение очередной странности – «Африки моей». Истолкование такой перемены можно, кажется, отнести на счёт пушкинского разочарования в Петре I и его реформах. Занявшись вплотную историей императора, поэт познакомился с тёмными сторонами его характера и его правления; теперь потомок, по-видимому, не испытывает особой гордости от участия предка в петровских преобразованиях. Отсюда же два нейтральных, ни к чему не обязывающих, упоминания Ганнибала в пушкинской «Истории Петра» (X, 4; 269).

В последующие годы жизни Пушкин видит себя «под небом Африки моей» не в облике царского арапа, а, скорее, в образе Отелло. Это больше соответствует воображению женатого поэта, искреннего, доверчивого, так и не ставшего «царю наперсником». По царской линии у Пушкина были совсем другие грёзы, другая мифологическая устремлённость.

## V

В пушкинские времена по русским законам и обычаям подданный не мог обращаться прямо к императору. Существовала сложная система установлений и этикетных правил, определявшая порядок, по которому следовало оберегать монарха от случайных, не им инициированных сообщений. В присутственном месте, на воинском смотре, на балу, на улице – нельзя было первым заговорить с царём, а уж тем более задать ему вопрос. Письмо к императору обычно адресовали формально не ему самому, а кому-то из его близкого окружения – придворному, министру, генерал-адъютанту<sup>34</sup>. Самодержец мог не только не ответить на письмо, но и сделать вид, что никакого письма не было. Послание ведь не ему, царю, адресовано. Наоборот: письменное обращение монарха есть большая редкость и большая честь. Это становится семейной реликвией. Вспомним хотя бы собственноручное письмо императрицы Екатерины II за стеклом и в рамке в финале «Капитанской дочки».

Характерный пример есть в биографии самого Пушкина. В октябре 1828 года он решает кончить следственное дело о поэме «Гавриилиада» прямым обращением к императору Николаю Павловичу. Но царь в отъезде. И тогда Пушкин просит у петербургского главнокомандующего графа П.А. Толстого разрешения написать письмо лично государю. Разрешение получено; письмо отослано. На рукописи «Полтавы» Пушкин помечает: «2 октября письмо к Ц<sup>а</sup>рю»<sup>35</sup>. Для нас важно, во-первых, что писать к царю можно только с разрешения самого царя или, как в данном случае, с разрешения лица, его замещающего. Во-вторых, факт письма к государю есть крупное событие в жизни подданного; оно отмечается Пушкиным даже независимо от крайне невыгодных для поэта обстоятельств, связанных с его содержанием.

Понятно, что обращения к царю весьма часто и естественным образом «перетекают» из сферы реальных событий в область воображения. На протяжении всей своей жизни Пушкин испытывает множество осложнений в своих отношениях с властью. Эти

<sup>34</sup> Поток рутинных прошений с обращением «Всемилоостивейший Государь!» по существу не был адресован императору; дела решались чиновниками разных рангов. Некоторые преимущества имели тут дамы; их обращения к царю (весьма, впрочем, редкие) император обычно читал сам.

<sup>35</sup> Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т.2. С. 420-421.

осложнения заставляют его искать аргументы для оправданий, объяснений, просьб. Так было вокруг отъезда в ссылку и возвращения из неё, по поводу дел об «Андрее Шенье», «Гавриилиаде», с самовольным путешествием на Кавказ, с поступлением на службу, просьбами об отставках, с последней дуэльной историей. В этих и многих других случаях можно подозревать мысленные диалоги Пушкина с монархами.

Они не оставили следов в известных нам источниках.

Единственное исключение – «<Воображаемый разговор с Александром I>» (XI, 23-24), записанный где-то на рубеже 1824 и 1825 годов в Михайловском.

Несмотря на мечтательный, вымышленный характер беседы царя и поэта, он построена по всем этикетным правилам. С первых же строк роли распределены так, что все преимущества на стороне монарха. Не подданный начинает разговор, а император. Не поэт ставит вопросы, а Александр I преследует собеседника всё более и более острыми, неудобными вопросами, ведущими к ссоре, к разрыву отношений. Пушкин вопросов не задаёт; два риторических вопроса, не обращённых прямо к царю, разумеется, не счёт. Тем самым диалог строится как вариант реального разговора.

Попутно заметим, что непушкинский редакционный заголовок наброска «Воображаемый разговор с Александром I» вступает в противоречие со смысловым и этикетным наполнением самой беседы. В духе времени и обстоятельств его скорее надо было бы назвать иначе: «Воображаемый разговор императора Александра I с Пушкиным».

Игра осложнена и тем, что под маской царя скрывается всё тот же Пушкин («Когда б я был царь, то позвал бы А.П. ...»). Дальше разговор изложен от имени царя, а Пушкин поминается во втором и третьем лицах: «он», «Пушкин», «вы», «Александр Сергеевич». Исходное неправдоподобие как бы переходит в реальность; разговор, однако, обрывается на такой же фантастической ноте, с какой он начинался: царь, допустим, может сослать дерзкого поэта в Сибирь, но он, царь, не может знать, какую поэму ссыльный напишет в Сибири. Тут реальный автор по явному недосмотру сбивается на первое лицо: в Сибири, «где я бы написал» (XI, 298), но тут же вносит исправление – «где он бы написал поэму, *Ермак* или *Кочум...*» (XI, 24). Дальше диалог продолжаться не может – он сюжетно исчерпан и очевидно неправдоподобен.

Мы не ставим своей задачей разбор всего «Воображаемого разговора...». Для нашей темы достаточно будет внимательного прочтения только его начальных и заключительных строк.

За вступительной фразой «Когда б я был царь, то позвал бы А.П. ...», стоит, как нам представляется, хорошо известная в России модель поведения. Пушкин находится в положении ссыльного невольника и тяжело переносит условия своей бессрочной несвободы. Его главное, всепоглощающее желание – вырваться из заключения, переменить участь хоть ненадолго, а там – что Бог даст. Если бы царь позвал – хотя бы даже на суд неправый, на расправу – всё равно; перемена, какая б она ни была, желанна.

Это же стремление прослеживается, например, в известном письме из Михайловского к В.А. Жуковскому от 31 октября 1824 года. В нём Пушкин просит старшего друга выволочь его из ссылки любой ценой: «Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырём» (XIII, 116). Мертвая скука деревни, безлюдье, раздражающие ссоры с отцом так досадили Пушкину, что в минуту отчаяния он согласен на перемену участи даже в заведомо худшую сторону. Здравый-то рассудок должен был бы напомнить, что крепость и монастырь тяжелее родительского имения, которое как-никак «прелесный уголок».

Настроение поэта – как раз сродни чувствам монастырских и тюремных невольников. В истории того же Соловецкого монастыря в XVI-XIX столетиях отмечено множество случаев именно такого, совершенно, кажется, безумного, поведения. Заключённый не выдерживает тюремных условий и решается на рискованную перемену участи. Он объявляет «слово и дело государево»<sup>36</sup>, т.е., якобы, готов дать секретные показания, имеющие общегосударственное значение. Тогда по закону его нельзя допрашивать на месте; его под конвоем должны отправить в столицу. Но от Соловков до столицы не так-то просто добраться. На это могут уйти многие недели и месяцы; сама поездка – уже развлечение. Когда выяснится, что ничего важного арестант сообщить не может, его подвергнут наказанию «на теле», т.е. выпорют и, добавив срок, пошлют сидеть дальше. Возможно, уже не в Соловки, а куда-нибудь в другое, пусть даже худшее место. Но так

---

<sup>36</sup> Вспомним, как в этом, совершенно полицейском духе П.А. Вяземский иронически трактовал формулу Пушкина о «словах и делах» поэта.

или иначе заключённый своей цели достиг; он на долгое время прервал однообразие своего подневольного существования<sup>37</sup>.

Тут, думается, и есть основной смысл пушкинского мечтания. Если бы царь «позвал» в Петербург, то, независимо от неясных последствий, завершилась бы текущая, смертельно надоевшая полоса жизни. А в игре с царём, как и во всякой игре, можно проиграть, но можно и ведь и выиграть. Пушкин – и это весьма для него характерно – выбирает для себя как раз проигрышный, а заодно и более правдоподобный вариант судьбы. В конце разговора он дерзит монарху и по делом подвергается наказанию. Вот последний обмен репликами и финал:

«Признайтесь, вы ведь всегда надеялись на моё великодушие» – Это не было бы оскорбительно, Ваше Величество<sup>38</sup>, но вы видите, что я бы ошибся в своих расчётах.

Тут бы П. разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму, *Ермак* или *Кочум* русским (?) размером с рифмами» (XI, 24).

На этом прерывается текст, но, разумеется, не прерывается игра воображения. По следам своего предка Абрама Ганнибала Пушкин отправляется в Сибирь, где пишет стихи и ждёт начала нового царствования, т.е. живёт той мечтой, о которой мы пытались рассказать в предшествующем разделе работы.

Осенью 1825 года – «Воображаемый разговор...» скоро уж год как написан – Пушкин получает письмо от А.П. Керн: она советует обратиться к царю с просьбой о возвращении из ссылки. Пушкин, уже переживший мысленно это обращение, отвечает так, будто он знает, чем дело кончится или даже кончилось: «Ваш совет написать Его Величеству тронул меня, как доказательство того, что вы обо мне думали – на коленях благодарю тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь: я не хочу в это вмешиваться» (XIII, 229 – подлинник по-французски)<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> См.: Колчин М. Ссылные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI-XIX вв. М., 1908.

<sup>38</sup> Здесь отступаем от Большого Академического собрания сочинений, которое даёт совершенно бессмысленную расшифровку сокращения: «не было бы оскорбительно ваше<му> в<еличеству>» (XI, 24).

<sup>39</sup> Вместе с тем среди бумаг Пушкина сохранились два черновых письма 1825 года к Александру I – от 20-х чисел апреля (XIII, 166) и от июля-сентября (XIII, 227-228). В нашу задачу не входит их рассмотрение, т.к. это по существу официальные бумаги. Однако заметим, что и в них факты,

Ровно через год после письма к А.П. Керн ситуация «Воображаемого разговора...» осуществилась, но уже не с Александром I, а с его преемником, Николаем I. Царь буквально «позвал» Пушкина из михайловской ссылки и беседовал с ним в Москве, где находился по случаю коронационных торжеств. Об этой аудиенции существует обширная мемуарная и исследовательская литература, которой мы здесь касаться не будем. Для нас важно только одно обстоятельство: реальная жизнь Пушкина в очередной раз пошла вослед его воображению, оказалась предвиденной в мечтательных образах.

В сентябре 1826 года по дороге из Псковской губернии в Москву Пушкин, сопровождаемый фельдъегерем, имел время для того, чтобы всесторонне обдумать своё положение. Он понимал, что смертная казнь или каторга по делу о возмущении 14 декабря ему не угрожают: персоны, провинившиеся перед правительством гораздо больше него, отделались менее серьёзными наказаниями. В случае новой ссоры с властями Пушкин мог получить, допустим, ссылку в Сибирь. Но это был бы как раз тот самый приговор, который поэт устами Александра I вынес себе сам в «Воображаемом разговоре...». Такой исход беседы с царём не стал бы для Пушкина неожиданностью, громом среди ясного неба. Мысленно он всё это – даже и худшее – уже пережил в сердце своём.

Реальный разговор с императором был непрост, даже опасен. Но всё же диалог, по-видимому, не достиг той остроты, которую Пушкин придал воображаемой беседе с царём. Естественно: в биографии Пушкина жизненная реальность, при всей своей драматичности, не отличается той трагической высотой, на которую восходит воображение поэта. Вымышленная биография снова художественно сильнее, чем то, что произошло или может произойти в действительности.

---

быть может, соседствуют с воображаемыми ситуациями. Например, утверждение второго письма, будто ещё до южной ссылки Пушкин размышлял, не убить ли ему адресата, т.е. императора Александра I, кажутся нам не следом реального замысла, а воспоминанием о фантастических замыслах пятилетней давности. Исследователи иной исторической школы склонны понимать Пушкина буквально и видеть в нём носителя террористических намерений. См., например: *Пугачев В.В.* Пушкинский замысел царевубийства весной 1820 г. и декабристы // Индивидуальный политический террор в России XIX – начала XX в. Материалы конференции / Сост. К.Н. Морозов. М., 1996. С. 5-16.

Слова поэта воистину обернулись его делами; созданное в воображении стало, хоть и не в полной мере, фактом биографии. Словесный поединок с царём, вымышленный когда-то в Михайловском, привёл не просто к реальному событию, но к памятной странице жизни, в свою очередь, питающей воображение. С этой точки зрения нам уже приходилось разбирать два знаменитых эпизода «Капитанской дочки» – беседу Петра Гринёва с мужицким царём Пугачёвым и диалог Маши Мироновой с императрицей Екатериной Великой в финале романа<sup>40</sup>.

Воображаемый, романский Пугачёв провоцирует своего гостя вопросом, по существу не имеющим благополучного ответа: «Ты не веришь, что я великий государь?». Теперь, если Гринёв ответит, что не верит, то может лишиться жизни; ведь именно за это неверие пострадали его сослуживцы в Белогорской крепости. Если же герой ответит утвердительно – «верю» – то рискует потерять уважение самозванца; Емелька умён; поймёт, что офицер здесь лжёт и трусит. Похожий вопрос, точно так же провоцирующий неизбежно опасный ответ, задаёт Пушкину Николай I в кремлёвской аудиенции: «Что сделал бы ты, если бы 14 декабря был в Петербурге?». Возникает положение, похожее на то, что десять лет спустя будет в романе. Сказать «примкнул бы к мятежникам» – и есть риск поехать в реальную, а не воображаемую Сибирь. Сказать «не примкнул бы к мятежникам», и умный император поймёт, что ты трус, человек, не достойный уважения. Как известно, и Пушкин, и его герой выбрали самые опасные варианты ответа. Властные собеседники, реальный (Николай I) и вымышленный (Пугачёв), по достоинству оценивают людей, ставящих честь выше благополучия, даже выше самой жизни.

Есть ещё одно обстоятельство, кажется, до сих пор не замеченное. Гринёв говорит простую правду: он действительно не верит, что казак Емелька есть великий государь. Но говорит ли царю правду Пушкин? Мог ли он поручиться, что действительно вышел бы на Сенатскую площадь, окажись он 14 декабря в столице? Ответа на этот вопрос нет и не будет. Скорее всего, его не знал и сам Пушкин.

Ко дню восстания он уже далеко отошёл от декабристского политического и философского экстремизма, преодолел, вероятно, более половины пути по направлению к либеральному консерватизму и этически ограниченному монархизму в духе

---

<sup>40</sup> См.: *Листов В.С.* «Голос музы тёмной». Его же. Новое о Пушкине. С. 95-96.

Н.М. Карамзина. Вехами на этом пути можно считать стихотворения «Свободы сеятель пустынный...», «Андрей Шенье», трагедию «Борис Годунов», первые главы романа «Евгений Онегин». Об этом же свидетельствует едва ли не весь корпус пушкинских писем и других прозаических произведений середины двадцатых годов.

Проблема выбора, если б она настигла Пушкина 14 декабря, не решалась так просто. Коль скоро Пушкин оказался бы в Петербурге и не вышел бы на площадь, ему не в чем было бы себя упрекнуть: явная идейная удалённость от мятежников позволяла ему не брать оружия в руки и не разделять потом судеб восставших.

Пушкин мог не знать, как ему поступить в декабре 1825 года. Но как поступить в сентябре 1826 года в разговоре с царём, он знал. Самый вопрос, заданный императором: «Что сделал бы ты, если бы 14 декабря был в Петербурге?» – носил не реальный, а условный характер, явился плодом царского *воображения*. Поэтому и ответ Пушкина – «встал бы в ряды мятежников» – тоже мог бы тяготеть к вымыслу, к мечтательной сфере. Мы ведь помним, как в своей новелле, рассказанной при С.А. Соболевском, Пушкин прожил 13 и 14 декабря, окунувшись у Рылеева в самый «кипяток мятежа». Ответ царю, подсказанный воображением, оказался достойнее и даже благополучнее, чем сложная, противоречивая и трудно умопостигаемая правда.

В свою очередь вообразим и мы, что Пушкин в кабинете у императора говорит всю правду: как он в молодости был близок к будущим мятежникам, как писал вольнолюбивые и похабные стихи; как потом раскаялся, изменил свои взгляды и как теперь предстаёт пред Его Величеством законопослушным и нравственно чистым подданным. Умный царь, конечно, не наказал бы Пушкина, но и не уважал бы его. И уж, конечно, не назвал бы умнейшим человеком России.

Таким образом, из всех вариантов своей судьбы Пушкин своим ответом выбрал вариант самый поэтический, самый близкий к ткани художественного произведения<sup>41</sup>.

Мы проследили линию, ведущую от «Воображаемого разговора с Александром I» к кремлёвской аудиенции 1826 года, а оттуда к страницам «Капитанской дочки». Похожая перспектива

---

<sup>41</sup> Мы отдаём себе отчёт в том, что наша версия диалога поэта и царя есть гипотеза, оставляющая место множеству других толкований. Эта гипотеза, по нашему мнению, не носит полемического характера.

открывается и в другом ряду: «Воображаемый разговор...» – беседа Николая I с Пушкиным летом 1831 года в Царскосельском парке – роман «Капитанская дочка».

Первым сигналом к построению этой линии служит место действия. Император Николай и Пушкин реально встречаются в аллее Царскосельского парка; там же происходит вымышленный разговор Екатерины Великой с капитанской дочкой Машей Мироновой, написанный скорее всего пятью годами позже, где-нибудь летом-осенью 1836 года. Обе беседы – и жизненная, и романная – круто изменяют судьбы царских собеседников. Пушкин получит задание написать официальную «Историю Петра», вступит в государственную службу и до конца дней своих будет тяготиться положением при дворе и в обществе. Капитанская дочка напротив, кажется, обретёт счастье: вымолит у государыни прощение для жениха, выйдет замуж, заживёт вольной барыней. У её потомков собственноручное письмо императрицы будет висеть за стеклом и в рамке, как и полагается драгоценной фамильной реликвии («семейные бумаги»).

К тридцатым годам у Пушкина уже был немалый опыт бесед с монархами – воображаемых и реальных, шутовских и серьёзных. Летним утром 1831 года государь был настроен добродушно, спрашивал, как Пушкин живёт, что пишет. Пушкин отвечал, что живёт хорошо, пишет сказки. По записи фрейлины А.О. Россет, сделанной скорее всего со слов Пушкина, разговор почему-то зашёл о Петре Великом и тоже стал похож на сказку:

«Государь сказал Пушкину:

– Мне бы хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме.

Пушкин ответил:

– Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники.

Государь рассмеялся и сказал:

– Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволения работать в архивах»<sup>42</sup>.

Запись фрейлины подстать устному рассказу С.А. Соболевского о зайце, перебежавшем дорогу. И то, и другое несет на себе черты исторического анекдота, более занимательного, чем отражающего существо происшествия. Встреча поэта и царя в

<sup>42</sup> Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 556.

парке скорее всего не была случайностью; ее готовил круг друзей Пушкина, в который входила и фрейлина Россет. По-видимому, и царь, и Пушкин заранее знали, что речь пойдет о вступлении поэта в службу и о его будущем звании придворного историографа. Это соответствовало тогдашним желаниям самого Пушкина<sup>43</sup>. Но он не был заинтересован в том, чтобы приводить в движение все языки светских салонов: вот, вчерашний фрондер и вольнодумец выпросил у государя придворное местечко; вот, сочинитель соблазнительных стишков метит в новые Карамзины; вот, придворная интрига и искательство, оказывается, не чужды служителю муз. Исторический анекдот, заместивший настоящую историю вступления Пушкина в службу, должен был утвердить общество во мнении, будто все произошло случайно, на прогулке, во время самой невинной и даже шутиливой светской болтовни. Оба собеседника сохраняли лицо. Пушкин как бы ничего не просил у императора; государь как бы не навязывал поэту служебную зависимость – ведь разговор-то произошёл не на официальной аудиенции, а в парке, когда обе четы, и царская, и пушкинская, совершали утренний променад. Сказка, записанная Россет, видимо, переводила реальный разговор в воображаемый. Таким он должен был остаться в истории.

Пять лет спустя, сочиняя царскосельский эпизод «Капитанской дочки», Пушкин выстроил встречу Екатерины Великой и Маши Мироновой примерно на тех же мотивах, мотивах исторического анекдота. Капитанская дочка не пятнает себя придворным искательством; она не обращается к «сильным людям», которые могли бы передать её челобитную императрице. Всё происходит как бы случайно, и Марья Ивановна даже будто и не узнаёт царицу в даме, гуляющей с английской собачкой. Но внимательный читатель романа может заметить, что встреча в парке, возможно, не вовсе случайность. Всего абзацем раньше Марья Ивановна «со вниманием» слушала рассказ племянницы придворного истопника Анны Власьевны о распорядке дня Екатерины II:

«Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, *прогуливалась* (курсив наш – В.Л.) – словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства <...>.

---

<sup>43</sup> См.: Анненков П.В. Общественные идеалы Пушкина // Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск, 1998. С. 253-254.

Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом (VIII, 371).

Вдумавшись в обстоятельства, предшествующие встрече героини с императрицей, каждый читатель волен сам судить, была и эта встреча случайной, и не намеренно ли Маша совершила свою раннюю прогулку, «вредную <...> для здоровья молодой девушки (VIII, 373).

Страницы романа завораживающе близко совпадают со страницами биографии самого Пушкина, а заодно опасно удаляются от исторической действительности. Можно не сомневаться, что Пушкин прекрасно знал историю Царского Села. Тем не менее в царскосельском эпизоде его ведёт не история, а воображение, основанное на собственном, личном опыте.

Напомним: Маша Миронова приезжает в Царское Село по романному отчёту времени в 1774 году. Однако по смыслу предьявляемых реалий это происходит гораздо позже, во дни Пушкина. Весь эпизод её разговора с императрицей начинается анахронической фразой: «Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию, и, узнав на почтовом дворе, что Двор находится в Царском Селе, решила тут остановиться (VIII, 371). Дальше следует даже не описание, а простое упоминание уголка на почтовой станции, где будет обитать безвестная провинциалка.

Всё это совершенно невозможно. Городок София Петербургской губернии был основан в 1780 году<sup>44</sup>, т.е. шестью годами позже воображаемой остановки Маши Мироновой в домике софийского станционного смотрителя. Только в 1808 году, незадолго до поступления Пушкина в лицей, София станет частью Царского Села<sup>45</sup>. Значит, выстраивая эпизод романа, автор ориентируется не на исторические источники, а на собственные впечатления. Он как бы видит себя лицеистом; в его воображении живут прогулки по парку и на почтовую станцию в Софию. Достаточно. Романный эпизод обретает контуры. Это нормальный ход творческого сознания. Для нас, однако, важно наблюдать, как художественный мир романа обратным светом высвечивает факты пушкинской биографии.

---

<sup>44</sup> Гилельсон М.И. Мильчина В.А. Комментарий // «Современник». Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию. М., 1987. С. 183.

<sup>45</sup> Там же. С. 183.

От встречи с царём в парке Пушкин в мечтах ожидал примерно того же, что его героиня ожидает от беседы с императрицей – решения коренной жизненной проблемы, благого поворота судьбы, лучшей участи. Для Пушкина это не сбылось. Действительность опять оказалась куда хуже и ниже того, чем тешилось воображение. К 1836 году, когда писалась «Капитанская дочка», это выявилось с полной очевидностью. И эпизод романа стал как бы частью биографии, памятником несбывшемуся.

«Воображаемый разговор с Александром I», мы помним, предшествовал аудиенции в кремле и в известной мере оказался сбывшимся пророчеством. В эпизоде «Капитанской дочки» – обратная зависимость. Сначала Пушкин реально переживает беседу с царём, а потом рисует её идеальную картину для своей любимой героини. Екатерина Великая в разговоре с Машей есть замечательный антипод своему внуку, ссылающему поэта в Сибирь...

Обсуждая воображение Пушкина, направленное по царской линии, мы неоднократно пересекали границу, отделяющую художественное творчество от биографии, документально и мемуарно подтверждённые факты от воздушных путей фантазии. Это определялось не произволом исследователя, а избранной точкой зрения, самой темой «жизни в воображении».

Вместе с тем завершить наш сюжет придётся вполне «земным», академическим соображением. Всё сказанное убеждает в том, что «Воображаемый разговор с Александром I» мы напрасно помещаем в том пушкинской критики и публицистики. Конечно, это весьма специфическое произведение Пушкина, но таких материй, как критика и публицистика, в нём не больше, чем в других, чисто художественных сочинениях автора. Не только вымышленность ситуации, но и явная условность действующих лиц, тяготеет здесь больше к беседе Гринёва с Пугачёвым или к диалогу Маши с Екатериной, чем к документированной газетно-журнальной выходке.

Ничто не мешает нам видеть в «Воображаемом разговоре...» явные признаки художественной прозы, а, может быть, и драматургии.

\* \* \*

На протяжении всей работы мы стремились показать, сколь сложна и неоднородна ткань сочинений Пушкина, как много в ней

зависит от того, что можно назвать самовоображением, воображением, направленным на жизненные обстоятельства и характер самого автора. Рассуждая чисто теоретически, нетрудно понять, что рамки этой темы гораздо шире, а сама она гораздо влиятельнее, чем здесь представлено. Но тема строго ограничена источниками. Основная часть мира мечты, мира воображения, не оставляет следов, исчезает вместе с мечтателем. Лишь изредка и случайно удаётся подслушать и понять, что Пушкин придумывает о себе во время ночных бессонниц.

Во всяком случае для нас бесспорно одно: «автобиографические» грёзы поэта одной природы с его творчеством; они так же грациозны и артистичны, как все его записанные сочинения.

### **Один греческий мотив в «Путешествии в Арзрум»**

Греческие мотивы в творчестве Пушкина – не редкость.

Размышлениями о судьбах древней Эллады и о новейшей истории страны так или иначе отличается едва ли не все основные произведения поэта. «Путешествие в Арзрум», написанное в 1835-ом и опубликованное в 1836 году, не составляет исключения. На первый взгляд ничего удивительного тут нет – свои путевые записки Пушкин ведёт на Кавказе в разгар очередной русско-турецкой войны, в которой греческий вопрос – один из главных. Но, как это нередко бывает у Пушкина, не все мотивы его творчества выходят на поверхность текста; многое остаётся в подпочве.

Предметом нашего внимания будет знаменитый «грибоедовский эпизод» из «Путешествия в Арзрум», в котором ни греки, ни Греция прямо не упоминаются. Между тем нам предстоит показать, что важные особенности эпизода объясняются именно фактами близкой Пушкину истории Греции. Рассказывая о трагической гибели русского поэта и дипломата А.С. Грибоедова в Тегеране в 1829 году, Пушкин ориентировался и на греческие источники.

Начнём с маленькой, едва заметной исторической неточности, допущенной поэтом. Обращаясь к обстоятельствам гибели Грибоедова, Пушкин пишет: «Обезображенный труп его, бывший

три дня игральцем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею» (VIII, 461). Но три дня надругательства над телом посланника – вещь вряд и возможная. Хорошо известно, что шахское правительство, напуганное перспективой разрыва Туркманчайского договора и войны с Россией, постаралось немедленно прекратить беспорядки. На этом сходятся и русские дипломаты К.К. Бодэ, И.О. Симонич, И.С. Мальцов, и анонимный персиянин, автор известной «реляции» о трагических событиях в Тегеране<sup>46</sup>.

Само по себе выявление таких неточностей у Пушкина – не плодотворно, не имеет особого смысла. Они должны быть поставлены в реальную связь с кругом представлений поэта.

Как же истолковать «три дня игральца тегеранской черни»?

В поисках ответа на этот вопрос нам придётся последовать за Пушкиным в один из литературных салонов, где поэт встречался с Жуковским, Вяземским и Мицкевичем. В известной статье «Мицкевич о Пушкине» П.А. Вяземский рассказывает о вечере, на котором присутствовали все четыре названных поэта. Вот его впечатления:

«Мицкевич был не только великий поэт, но и великий импровизатор... Для русских приятелей своих, не знавших польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Из свёрнутых бумажек, на коих написаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему в ту пору и поэтическую и современную: приплытие Черным морем к одесскому берегу тела константинопольского православного патриарха, убитого турецкой чернью. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своём. Вскоре выступил он с лицом озарённым, озарённым пламенем вдохновения: было в нём что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза, более отрезвляющая, нежели упоющая мысль и воображение, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие ее ещё памятно; но за неимением положительных следов, впечатления не передаваемы. Жуковский и

---

<sup>46</sup> См. Грибоедов А.С. в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 204, 213, 218; Грибоедов А.С. в воспоминаниях современников. М., 1980. С.292-302, 328.

Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге»<sup>47</sup>.

Эти воспоминания Вяземского приводились и комментировались много раз. Обычно они служат основой для предположения о том, что прототипом импровизатора в «Египетских ночах» был для Пушкина именно Мицкевич. Действительно, обстоятельства импровизации и впечатления от неё в описании Вяземского близко напоминают эпизод из третьей главы «Египетских ночей», где для итальянца наугад вынимают из урны свёрнутую бумажку с названием темы.

Но обратимся теперь к теме, «поэтической и современной», с которой Мицкевич выступает в присутствии Пушкина. Напомним, как называет ее Вяземский: «*Приплытие Черным морем к одесскому берегу тела константинопольского православного Патриарха, убитого турецкой чернью*».

Тема импровизации, заданная Мицкевичу, несомненно была основана на реальных исторических фактах. Она связана с биографией уроженца Пелопонеса Григория V (1751-1821). Святитель греко-восточной церкви получил начальное образование в Афинах, в смирнской евангелической школе и продолжил его в богословской школе при монастыре Святого Иоанна Богослова на острове Патмос. Возглавлял несколько митрополий, а в 1797 году стал константинопольским Патриархом. Сын бедных родителей, Григорий V прославился заботами о пастве, строгой нравственностью и борьбой за права греков, страдающих от турецкого произвола<sup>48</sup>.

В 1821 году, когда началось восстание греков против турок, правительство султана Махмуда Второго учинило в Стамбуле несколько кровавых расправ над греками. Один из погромов пришелся на воскресенье, 10 апреля, когда православные греки праздновали Пасху. По замыслу властей избиение должно было начаться в церквах, куда прихожане соберутся на праздничную молитву. Но, предвидя это, патриарх Григорий V отсоветовал своей пастве собираться в тот вечер во множестве; по его разрешению православные могли молиться и по домам.

<sup>47</sup> Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 293-294.

<sup>48</sup> См. Жмакин В. Погребение константинопольского патриарха Григория V в Одессе // «Русская старина», 1894. Т. 82. С. 198-213.

Рассерженные провалом своего плана репрессий, представители турецких властей жестоко пытали Григория V и, наконец, в полном праздничном облачении повесили его на воротах патриаршего дома. Тело несчастного святителя провисело три дня, подвергаясь надругательствам турецкой толпы. Затем оно было тайком доставлено на корабль, стоявший на стамбульском рейде под русским флагом. 5 мая судно вошло в одесский порт.

Торжественные похороны патриарха состоялись в Одессе 19 июня 1821 года<sup>49</sup>.

Если бы желание П.А. Вяземского исполнилось и стенограф записал бы памятную импровизацию Мицкевича, то в наших руках оказалось бы слышанное Пушкиным поэтическое переложение только что рассказанной истории. Прямые сюжетные и даже детальные аналогии между устным творением польского поэта и грибоедовским эпизодом из пушкинского «Путешествия в Арзрум» – напрашиваются сами собой. Но прежде чем их обсуждать, мы должны обратиться к греческим мотивам, предшествующим второй поездке Пушкина на Кавказ.

Мы не знаем, когда Мицкевич импровизировал в присутствии Пушкина. Но ясно, что это произошло до арзрумского путешествия, т.к. возможности личного общения русского и польского поэтов заключены в хронологические рамки между осенью 1826 и весной 1829 года<sup>50</sup>. Эти рамки для импровизации Мицкевича, кажется, можно и сузить. Вяземский называет тему гибели Григория V не только поэтической, но и «современной». Вряд ли русское общество долгие годы переживало историю похорон патриарха. «Современной» или, говоря нынешним языком, актуальной, ее сделала очередная русско-турецкая война, начатая весной 1828 года.

Одной из причин этой войны русское правительство выставляло преследование православных христиан турками. И полузабытый эпизод семилетней давности вновь обрёл державное значение, удостоился внимания общества. Если это соображение верно, то импровизацию Мицкевича следует отнести ко времени между весной 1828 и весной 1829 годов, когда поэты встретились в Петербурге.

<sup>49</sup> Жмакин В. Погребение константинопольского патриарха Григория V в Одессе. С. 189.

<sup>50</sup> См. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 266-267.

Но с самой трагедией Григория V и историей его похорон Пушкин и Мицкевич познакомились раньше и независимо друг от друга.

Весной и летом 1821 года ссыльный Пушкин жил в Кишиневе и, как известно, остро переживал все события греческого восстания против турок. Пасхальный погром в Стамбуле не мог пройти мимо его внимания. В мае сообщения о нём появились в русских газетах<sup>51</sup>. В Кишиневе же, близком к турецкой границе, новость должна была распространиться гораздо раньше. Столь же несомненна осведомлённость Пушкина о «приплывтии тела патриарха» в Одессу. Вот сообщение, помещенное 3 июня 1821 года в «Русском инвалиде»:

«Казнь греческого патриарха воспоследовала в Константинополе на третий день Святой недели в присутствии бесчисленного множества народа. Турки изъявляли одобрение своё неистовым криком и с ужаснейшими поруганиями влчили труп несчастного архипастыря по всему городу. К счастью, некоторые греки успели сторговать его тело за 100.000 пиастров прежде, нежели бесчеловечная чернь разорвала его на части. При наступлении ночи было оно брошено в море, поднято находившимися уже в готовности корабельщиками и отправлено в Одессу, куда оно уже и привезено».

О событиях в Одессе Пушкин мог знать не только газетам. Его кишиневский знакомец князь Никола Суццо не просто знал Григория V, но и принимал участие в опознании его тела в Одессе<sup>52</sup>. Кроме того, по воле Александра I погребение патриарха в Одессе совершал епископ Кишиневский Дмитрий Сулима<sup>53</sup>, только что сменивший на Кишиневской кафедре митрополита Гавриила Банулеско, чьи похороны Пушкин описал в своём дневнике (XII, 303). Возвращение архиерея со свитой из Одессы и подробности совершения обряда наверняка обсуждались в кишиневском кругу Пушкина.

В 1823-1824 годах Пушкин живёт в Одессе. В этом молодом городе ещё нет исторических достопримечательностей, и могила христианского мученика в греческой церкви – едва ли не единственное памятное место. Мог ли Пушкин не обратиться на него внимания и, следовательно, не вспомнить о Григории V? Скорее

<sup>51</sup> См., например: «Русский инвалид», 1821. № 118, 21 мая. С. 476.

<sup>52</sup> См.: Жмакин В. Погребение константинопольского патриарха Григория V в Одессе. С. 202.

<sup>53</sup> См.: «Русский архив», 1894. № 10. С. 148.

всего, не мог. И сама могила, и круг людей, принимавших участие в церемонии погребения, должны были постоянно напоминать поэту о событиях двух-трёх летней давности. Например, среди одесских знакомцев Пушкина был отставной (смененный М.С. Воронцовым) новороссийский генерал-губернатор граф А.Ф. Ланжерон. По свидетельству П.И. Бартенева, граф не только мучил Пушкина чтением своих стихов и трагедий, но и давал читать ему свою переписку с Александром I<sup>54</sup>. Если среди посланий, читанных Пушкиным, были письма от весны и начала лета 1821 года, то поэт мог познакомиться с историей Григория V по официальным документам: царь детально распорядился процедурой похорон<sup>55</sup>.

За одесской ссылкой Пушкина последовала одесская же ссылка Мицкевича. Польский поэт приехал сюда в феврале 1825 года, когда Пушкин был уже в Михайловском. Мицкевич прожил в Одессе около девяти месяцев. Круг общения у него был почти тот же, что у Пушкина. Поэтому знакомство Мицкевича с подробностями «привезения тела патриарха» столь же вероятно.

Общие воспоминания об Одессе с неизбежностью должны были звучать в беседах поэтов в 1826-1829 годах. Мы не знаем, кто именно из присутствующих при импровизации задал Мицкевичу греческую тему. Но Пушкин как автор этой темы весьма вероятен. Ведь он, как никто другой, понимал затруднения Мицкевича, которому предстояло импровизировать на неродном языке. Поэтому именно Пушкин мог предложить сюжет, заведомо Мицкевичу известный, обсуждавшийся, как-то обдуманый им заранее.

Импровизация Мицкевича не была первой попыткой поэтического осмысления темы. Над гробом патриарха в 1821 году с обширной проповедью выступил греческий эмигрант пресвитер Константин Икономс (Экономид). Два года спустя повелением Александра I эта проповедь была напечатана по-гречески и в русском переводе. А весной 1829 года – явно в связи с русско-турецкой войной – состоялось новое издание, на этот раз только по-русски<sup>56</sup>. Таким образом, к моменту импровизации Мицкевича

<sup>54</sup> См.: «Русский архив», 1894. № 10. С. 148.

<sup>55</sup> См.: *Жмакин В.* Погребение константинопольского патриарха Григория V в Одессе. С. 205-211.

<sup>56</sup> См.: *Константин Экономид* (Икономос). Слова, говорённые в Одессе на греческом языке в 1821 и 1822 годах при погребении Константинопольского патриарха. СПб., 1829. О К. Экономиде (1780-1857) см.: *Дестунис Г.* О жизни и трудах Константина Экономоса. СПб., 1860.

известна минимум одна публикация, а к кавказскому путешествию Пушкина «Слова...» Экономоса были среди книжных новинок.

В произведении пресвитера Константина много канонических, житийных мотивов. В параллель с историей гибели Грибоедова в нем можно поставить три основных момента: герой, отдающий жизнь за угнетаемых мусульманами единоверцев-христиан, посмертное надругательство над телом героя и, наконец, перевезение праха в Россию для похорон.

Конечно, повода к прямым стилистическим сопоставлениям с произведениями Мицкевича и Пушкина сочинение греческого проповедника не дает. Но в легенде, творимой Константином, некоторые детали любопытны. Например, утверждение – вслед за газетами – о том, «как в продолжение трёх дней пасхи Святейший Патриарх висел на древе купно с тремя первенствующими членами Синода его... Тела их были преданы поруганию»<sup>57</sup>.

Не будем настаивать на том, что это трёхдневное поругание просто переключалось из «Слов...» Константина Экономоса в путевые записки Пушкина. Но легенда о константинопольском патриархе, включающая деталь о трёх днях поругания, была достаточно широко распространена в обществе и, вероятно, хорошо знакома поэтам. Она прямо связана с импровизацией Мицкевича и косвенно – по отмеченному сходству ситуаций – могла отразиться в «Путешествии в Арзрум».

Общность источников или, по меньшей мере, общность впечатлений трёх поэтов просматривается и при сопоставлении текста Пушкина с названием приводимой Вяземским темы импровизации Мицкевича. У Пушкина: «...труп, бывший три дня игралищем тегеранской черни». У Вяземского: «...патриарх, убитый турецкой чернью». Интересно отметить не только сходство основных враждебных сил (и тут, и там действует воинствующая «чернь»), но ещё и общность отвлечения от реальных фактов. В первом случае надругательство не продолжалось три дня; во втором – Григорий V вовсе не был «убит чернью», как пишет Вяземский, но казнен официально, по решению турецкого правительства.

Таким образом, историческая неточность, проникшая в грибоедовский эпизод «Путешествия в Арзрум», оказывается прямо связанной с размышлениями поэта над греческими сюжетами, с тем интересом, который проявлял Пушкин к освободительной борьбе

<sup>57</sup> *Константин Экономид*. Слова, говорённые в Одессе... С. 18.

греков. Возможно, смешение обстоятельств гибели Григория V с обстоятельствами смерти Грибоедова отчасти определены и тем, что самое «Путешествие в Арзрум» предпринималось как отчёт автора о походе на войну, в которой решались судьбы народов. В том числе и греческого...

### «Одну Россию в мире видя...»

11 августа 1832 года Александр Иванович Тургенев отправил из Мюнхена в Париж к брату своему Николаю письмо, в котором писал:

«Есть тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает между прочим о тебе:

Одну Россию в мире видя,  
Преследуя свой идеал,  
Хромой Тургенев им внимал  
И плети рабства ненавидя,  
Предвидел в сей толпе дворян  
Освободителей крестьян»<sup>58</sup>.

Об этом шестистишии, завершающем знаменитую онегинскую строфу о Лунине, самом Пушкине и Якушкине, написано очень много<sup>59</sup>. Обычно обсуждение строк, приведенных в письме А.И. Тургенева, идет в двух основных руслах – отношения Пушкина с ранним декабризмом и разветвление гипотез вокруг так называемой десятой главы «Евгения Онегина». Мы начнем с того, что попытаемся выйти из этих обычных направлений, обратим внимание на одну маленькую особенность текста.

В Большом академическом собрании сочинений разбираемое шестистишие приведено в двух вариантах – по автографу Пушкина

<sup>58</sup> См.: Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1913, XLIV, март. С. 16-17 (вторая пагинация).

<sup>59</sup> К сожалению, здесь нет места не только для историографии, но даже для библиографии. Назовём лишь имена исследователей: П.О. Морозов, В. Истрин, Б.В. Томашевский, А.Н. Шебунин, Н.Л. Бродский, Б.С. Мейлах, Б.М. Лотман, А.Е. Тархов и др.

(VI, 524) и по письму А.И. Тургенева (VI, 526). Судя по этой публикации, в строке – «Одну Россию в мире видя» – разночтений нет. Между тем, разночтение есть и, кажется, очень важное. В этом случае плохую услугу оказывает нам переход от старой орфографии к новой.

В тексте письма А.И. Тургенева в слове «мире» стоит «и с точкой», так называемое «и десятиричное». Так принято было писать слово «мир» в значении «вселенная», «весь свет», «род человеческий»<sup>60</sup>. Если принять такое написание, то «хромой» Тургенев выступает как крайний патриот, который ничего на свете не видит, кроме своего отечества.

В пушкинском автографе<sup>61</sup> правильным чтением будет слово «мире» через букву «и», «иже», т.е. совпадающую по начертанию с современным «и». Ситуация в автографе несколько осложнена тем, что разбираемое слово написано над строкой. Но «и десятиричное» в нем никак не читается. Так, первый публикатор строки П.О. Морозов, твердо выявив букву «иже», предложил даже такое неожиданное чтение: «Одну Россию в иге видя»<sup>62</sup>.

Патриотический порыв «хромого» Тургенева, как он представлен у Пушкина, должен был удивлять читателей потаенного «Онегина». И сразу после 1812 года, и позже они знали Николая Ивановича совсем другим. Его «идеалом» никак не может быть Россия. Вот – почти наугад – одно из многочисленных подтверждений. В конце февраля 1818 года в чужие края собирается общий приятель Пушкина и братьев Тургеневых – Н.И. Кривцов. По этому поводу Николай пишет брату Сергею: Кривцов «...говорит, что печально ему расставаться с Россиею. Я напротив нахожу, что, может быть, ни в какую другую эпоху разлука с Россией не была так willkommen. Ни действительности, ни надежд!»<sup>63</sup>. Так не может судить человек, чей идеал – Россия. Николая Тургенева, одного из лидеров «Союза Благоденствия», 14 декабря застанет, как известно, за границей. Там он, лишенный возможности вернуться в отечество, еще не раз скажет о России горькие слова, полностью отрицающие смысл

<sup>60</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1979. С.330-331.

<sup>61</sup> Фотокопию см.: Литературное наследство, 1934. №16-18. С. 391.

<sup>62</sup> См.: Морозов П.О. Шифрованное стихотворение Пушкина // Пушкин и его современники. Вып. 13. СПб., 1910.

<sup>63</sup> Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату, С.И. Тургеневу. М.-Л., 1936. С.250. Willkommen (нем.) – здесь в значении «вовремя», «в добрый час».

пушкинских строк о России-идеале. Достаточно будет напомнить, как Николай Иванович обиделся на Пушкина, прочитав шестистишие о себе в 1832 году. Мнение Пушкина он сравнивал с мнением варваров-судей, ведших процесс декабристов. Комментируя свой портрет, нарисованный поэтом, опальный эмигрант пишет: «Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения, и при всем том быть варваром. А Пушкин и все русские, конечно, варвары»<sup>64</sup>.

Верное прочтение автографа впервые ввел Б.В. Томашевский, опубликовавший в 1934 году свою работу о десятой главе в «Литературном наследстве». В пушкинском тексте, воспроизведенном по старой орфографии, он уверенно дает «в мире» через букву «иже»<sup>65</sup>. Исследователь не аргументирует своего решения, но оно напрашивается: слова «в мире» стоят над зачеркнутым «в щастье». А это синонимично как раз обороту «в мире» в значении: «покой», «тишина», «лад», «согласие» и т.д.<sup>66</sup>. Томашевский был подготовителем и комментатором онегинского текста в Большом академическом собрании сочинений, и остается только гадать, почему он, давая и тургеневский, и собственно пушкинский варианты, не обозначил известного ему разночтения.

Итак, Пушкин рекомендует нам «хромого» Тургенева как ревнителя России в покое, согласии и единодушии. От этого Николай Иванович, конечно, не перестает быть патриотом, но все-таки неясно: почему умеренный либерал и будущий западник видит счастье и покой для «одной России», а не для всей любезной ему семьи европейских народов?

Таким образом, перед нами два варианта одной строки. Казалось бы, первый вариант, где Россия в мире-вселенной, можно отбросить как противоречащий автографу. Но с него-то мы и начнем, так как именно версия письма А.И. Тургенева была в ходу у современников Пушкина, незнакомых с автографом; кроме того, он же объясняет происхождение всей строки «Одну Россию в мире вида».

Если «хромой» Тургенев так яростно ругает Россию и русских и в 1818, и в 1832 годах, то действительно можно подумать, что Пушкин зря приписывает ему русофильство. На самом же деле

<sup>64</sup> См.: Журнал Министерства Народного Просвещения. С. 17 (вторая пагинация).

<sup>65</sup> См.: Томашевский Б. Десятая глава «Евгения Онегина». История разгадки // Литературное наследство, № 16-18. С. 396.

<sup>66</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2. С. 328.

взгляды Н.И. Тургенева не развивались по прямой линии, и автор «Онегина» имел все основания доверять тому, что сам видел и слышал в 1819-1820 годах.

Как раз в это время в сознании Николая Ивановича происходит резкий, хотя и недолгий, сдвиг. Подобно герою пушкинского стихотворного романа, Тургенев однажды утром просыпается «патриотом». След этого перелома ясно виден в его дневнике, куда под 2 января 1819 года внесен отрывок из письма к Михаилу Орлову: «Я весь состою из одной идеи – *беспредельная любовь к отечеству!*». И далее: «Я ничего не вижу в жизни, кроме этого прелестного идеала, называемого отечеством»<sup>67</sup>. Здесь не место разбирать характер декабристского патриотизма – нам важно только подчеркнуть большую осведомленность Пушкина в идейных эволюциях Тургенева.

Комментатор переписки братьев Тургеневых, А.Н. Шebuнин, давно высказал предположение, что есть прямая связь между строкой «Одну Россию в мире видя» и текстом, принадлежащим перу Николая Тургенева<sup>68</sup>. Речь идет о статье «От издателей», которую Николай Иванович предназначал для задуманного им журнала «Россиянин XIX века» (другое название – «Архив Политических наук и Российской Словесности»). В статье, в частности, содержится такой важный для нашей темы пассаж: «Добрый смысл Русского народа, так сказать, инстинкт величия, спасавший наше отечество в эпохи бедствий и разрушения, никогда не оставит Россию, будет ей сопутствовать и направлять ее на поприще гражданственности. Есть одна только Россия в мире; и она не должна иметь себе равной», – сказал Петр Первый»<sup>69</sup>.

Афоризм Петра I в пересказе Н.И. Тургенева Пушкин должен был знать – поэт не только был приглашен сотрудничать в журнале, но и участвовал в собрании его будущих авторов, где программная статья «От издателей»

<sup>67</sup> Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Пг., 1921. С. 138.

<sup>68</sup> Шebuнин А. Братья Тургеневы и дворянское общество Александровской эпохи // Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. С. 72.

<sup>69</sup> Архив братьев Тургеневых. С. 379. На полях, видимо, рукою Н.И. Тургенева, сделана приписка: «Смотри речь Петра Великого после поражения шведского флота близ Аландского острова в 1714 году» (подлинник приписки – по-английски).

могла ходить по рукам и даже обсуждаться<sup>70</sup>. Разумеется, Петр здесь видит страну в мире через «и десятиричное» – весь контекст фразы говорит о России среди других держав, а не о России в покое и единодушии, чего нельзя было и ожидать от Петра-реформатора.

Установив вслед за А.Н. Шебуниным зависимость онегинской строки от указанного источника, можно было бы не продолжать комментарий. Но тогда остается необъясненным смысл автографа: слово «мире» все-таки писано в нем через букву «иже», и Н.И. Тургеневу предлагается совсем другой «идеал» – идеал России в покое и согласии. Что здесь – простая описка? Или Пушкин сознательно корректирует хорошо известные ему обстоятельства?

Думается, об описке или ошибке Пушкина не может быть и речи – скорее от нас до сих пор ускользал какой-то смысловой оттенок. Выявление этого оттенка, как мы постараемся показать, наполняет все выражение «Одну Россию в мире видя» иным, совершенно неожиданным содержанием. Чтобы это понять, попробуем объяснить начальную формулу строки: «Одна Россия». Ибо она вводит нас в круг традиционных понятий, ныне уже полузабытых, а то и вовсе утраченных.

Вот пример, который поможет выявить существо дела.

В 1802 году Н.М. Карамзин, только начинающий исторические разыскания, опубликовал в своем журнале «Вестник Европы» длинную статью под названием: «Исторические воспоминания и размышления на пути к Троице». Эта статья – важное промежуточное явление карамзинского творчества. С одной стороны, она отголосок «Писем русского путешественника» – все философические и нравственно-исторические замечания принадлежат здесь путнику, сделаны как бы под стук колес кареты. С другой стороны, это обширный эскиз к будущей «Истории Государства Российского» – путь пролегал от Москвы к Троице-Сергиеву монастырю, и путешественник беседует с читателем о прошлом России.

Вот как Карамзин передает одно из своих впечатлений:

«Верст за семь от Троицы открываются, среди зеленых лесов, золотые главы церквей ее, вокруг огромной колокольни,

---

<sup>70</sup> Архив братьев Тургеневых. С. 375; *Пушкин И.И.* Записки о Пушкине // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 99-100.

подобной величественному столбу. – Я въехал на гору Волкушу... Русские Патриоты! Это место должно быть вам известно. Здесь Архимандрит монастыря Троицкого благословлял крестом и кропил святою водою достойных сынов России, которые с Вождем Пожарским и Гражданином Мининым шли освободить Москву от чужестранных тиранов!.. Я стал на вершине горы – и воображение представило глазам моим ряды многочисленного войска под сению распущенных знамен, украшенных именем городов, которых добрые жители шли под ними: Нижнего Новгорода, Дорогобужа, Вязьмы, Ярославля, Владимира и проч. Мне казалось, что я вижу сановитого Пожарского среди мужественных воевод его и слышу гром оружия, которому через несколько дней надлежало грянуть во имя отечества!.. *Русские были тогда сиротами: не имели Государя и сражались за одну Россию*<sup>71</sup>.

Таким образом, «одна Россия» – это Россия без государя, без царя.

Карамзин здесь находится в русле очень древней отечественной традиции, когда монарх и подданная ему страна воспринимаются народным сознанием как супружеская чета. Священная пара «царь-батюшка и Россия-матушка» еще и сегодня – понятный всем архаизм. Та же традиция легко различима в пословицах, собранных Владимиром Далем в его словаре: «Без царя народ сирота», «Без царя земля вдова»<sup>72</sup>. Еще пример: на смерть Петра Великого была выбита медаль, на которой Россия изображалась в виде прекрасной женщины-вдовы, окруженной морскими просторами, кораблями, атрибутами наук, искусств, ремесел; с парящего облака Петр Великий обращался к России-вдове со словами: «Виждь, какову оставих тя»<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> <Н.М. Карамзин>. Исторические воспоминания и замечания по пути к Троице // Вестник Европы, 1802. №15 (август). С. 225-226 (курсив наш – В.Л.).

<sup>72</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 570; 173.

<sup>73</sup> Изображение этой медали см.: *Фейнберг И.* Читая тетради Пушкина М., 1985. С. 213. Описание медали см.: *Заворотная Л.А.* Медали на события эпохи Петра I. Из коллекции А.А. Стаховича. Новые поступления в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Каталог выставки. М., 1988. С. 70-71.

Пушкинское «Одну Россию в мире видя» очень близко сходствует с изображением и надписью «виждь» на этой медали.

Нетрудно было бы доказать, что Пушкин хорошо знал все приведенные источники – и пословицы, и карамзинское эссе, и петровскую геральдику. Но в этом нет необходимости, потому что строка из «Онегина» – не результат знакомства автора с какими-то конкретными текстами, а дань самым общим, самым расхожим и массовым представлениям, бытовавшим в XVIII-XIX столетиях. Их отзвук хорошо слышен даже в знаменитом четверостишии «Медного всадника»:

И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова (V, 136).

Сравнение Москвы со вдовою основано на том, что эта столица олицетворяет старую Россию<sup>74</sup>, которую покинул царь Петр. У Карамзина сиротство и вдовство отечества возникают как следствие бесцарствия в «смутное время», а в «Медном всаднике» старомосковская Русь вдовевает в эпоху империи. Для нас важно только понять, что исходная формула «Одна Россия» может традиционно заключать в себе понятие о державе без монарха.

Тогда общественная позиция, которую Пушкин отмечает у Николая Тургенева, обозначается так: Россия без царя, но «в мире», то есть в покое, в согласии. Осталось только понять, как это соотносится с реально выраженными взглядами декабриста.

Если подводить общий итог политической жизни Николая Ивановича, то придется признать, что «хромой» Тургенев не был в рядах крайних республиканцев. Он скорее либерал, умеренный сторонник конституционной монархии на английский манер. Как бы там ни было, но антимонархизм, стремление к «одной России», Россия без царя на престоле – вовсе не может считаться главным и отличительным признаком тургеневского государственного «идеала». Здесь, как и в случае с патриотизмом, необходимо

<sup>74</sup> См. в варианте: «И ты Москва, страны родной // Глава сияющая златом» (V, 439). Попутно напомним: вдова – не непременно женщина, у которой умер муж. Например, в пушкинском отрывке «Мы проводили вечер на даче» Вольская представлена как «вдова по разводу» (VIII, 421). Есть и понятие «соломенная вдова».

отделять общие, суммарные представления от конкретной реальности 1819-1820 годов. Именно это время сопровождалось для тридцатилетнего Тургенева неожиданной вспышкой любви к отечеству и столь же неожиданным приступом республиканизма.

Ключевой эпизод, своеобразную вершину антимонархизма Николая Тургенева запечатлели для истории показания П.И. Пестеля в следственном комитете по делу декабристов. В них рассказан случай, происшедший на заседании Коренной думы Союза благоденствия в 1819 году. В докладной записке царю следователи так изложили результаты допроса:

«Полковник Пестель в показании своем между прочим объясняет, что в совещании коренных членов Союза благоденствия, собранных в 1819 году в Петербурге на квартире полковника Федора *Глинки*, присутствовали: граф Федор *Толстой* в качестве председателя, князь Илья *Долгорукий* в качестве блюстителя, Николай *Тургенев*, полковник Федор *Глинка*, полковник Иван *Шинов*, Сергей *Муравьев-Апостол*, Никита *Муравьев* и *Пестель*, что в сем совещании князь Илья *Долгорукий* именем всех присутствующих членов пригласил полковника *Пестеля* изложить все выгоды и невыгоды монархического и республиканского правлений с тем, чтобы потом каждый член касательно того, которое из сих двух образов правлений считает удобным ввести в России, объявил свои суждения и мнения»<sup>75</sup>.

Речь Пестеля, видимо, была сильна и увлекательна. Он с такой логикой и страстью защищал республиканский образ правления, что поколебал даже оппонентов, сторонников ограниченной монархии. Когда членам Коренной думы предложили выбрать между монархом и президентом, то все высказались единодушно.

«Каждый из присутствующих, – говорилось в докладной записке, – при сем объяснял причины своего выбора, а когда очередь дошло до Николая *Тургенева*, то он сказал по-французски: *Le president sans phrases*, т.е. президент без дальних толков»<sup>76</sup>.

Несколько позже и Матвей Муравьев-Апостол подтвердил, что «Николай *Тургенев* одобрял намерение ввести республиканское правление»<sup>77</sup>.

<sup>75</sup> Восстание декабристов. Документы. Т. 16. М., 1986. С. 89-90.

<sup>76</sup> Там же. С. 90.

<sup>77</sup> Там же. С. 87.

Республиканизм Тургенева на рубеже 1819 и 1820 годов, таким образом, не подлежит сомнению – в это время Николай Иванович, как видим, стоял за «одну Россию», Россию без государя. Вопрос только в том, мог ли об этом знать Пушкин. Конечно, члены тайного общества не знакомили его с ходом своих дебатов. Но, во-первых, близкое приятельство с «хромым» Тургеневым давало Пушкину возможность чувствовать перемены в его политических воззрениях. Во-вторых, все-таки не будем забывать, что посвященное Тургеневу шестистишие поэт написал десятилетие спустя, когда многие подробности истории декабристов перестали быть тайной<sup>78</sup>.

От Пушкина скрывали существование общества, но республиканские идеи, взгляды при нем, конечно, высказывали свободно. В письме Александру Тургеневу, написанном как раз в 1819 году, Пушкин называет его братьев – Николая и Сергея – «братьями Мирабо»<sup>79</sup>. Сравнение весьма обязывающее и в отношении Николая Тургенева удивительно точное. Мирабо, один из лучших ораторов Великой Французской революции, шел с республиканцами, но все-таки не порывал и с королевским двором; колебался между роялистами и революционным Национальным собранием. Если отбросить личную нечистоплотность Мирабо, то на его политический портрет Николай Иванович мог бы смотреть как в зеркало – и именно в то время, которому посвящены декабристские строки «Онегина». Крайняя точка радикализма Тургенева, обозначенная идеалом «одной России», России без царя, не прошла для Пушкина незамеченной.

Напомним контекст, в котором обсуждаемая строка существует в строфе:

Меланхолический Якушкин  
 Казалось молча обнажал  
 Цареубийственный кинжал  
 Одну Россию в мире видя,  
 Лаская в ней свой Идеал<sup>80</sup>,  
 Хромой Тургенев им внимал... (VI, 524)

<sup>78</sup> Из восьми перечисленных участников «Коренной думы» Пушкин лично знал семерых. См.: *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Изд. 2-е. Л., 1988. С. 102, 142, 272, 274, 327, 439, 449.

<sup>79</sup> Пушкин. Письма / Под ред. Б.Л. Модзалевского. Т. 1. М.; Л., 1926. С. 192.

<sup>80</sup> Слово «Идеал» с прописной буквы приводим по автографу, отступая от текста Большого Академического собрания сочинений.

Думается, смысловая последовательность – «цареубийственный кинжал» и «одна Россия» – здесь не случайность, а прямое развитие темы. Ибо как раз применение цареубийственного кинжала и приводит к ситуации без государя в стране – к «одной России». Не менее существенна строка «Хромой Тургенев им внимал...». В ней отражена известная Пушкину способность Николая Ивановича на мгновение увлечься чужим мнением, куда более радикальным, чем его собственное. Что и подтверждается рассказанным эпизодом после речи Пестеля.

Таким образом, реконструкция характера и взглядов Н.И. Тургенева, как они сложились к 1819-1820 годам, в онегинской строфе вполне достоверна; во всяком случае, она согласуется с твердо установленными фактами...

В заключение попробуем ответить на старый вопрос, давно поставленный исследователями: почему Николай Тургенев обиделся на Пушкина, прочитав о себе потаенные онегинские строки? Например, Б.В. Томашевский полагал, что дело тут вовсе не в стихах – Тургенев «протестовал против самого факта, не допуская, чтобы Пушкин, о котором он составил свое мнение по другим данным, осмеливался произносить свое суждение по вопросам, в которых Тургенев считал его совершенно некомпетентным»<sup>81</sup>.

Возможно, какая-то часть истины в суждении Томашевского заключена. Но все-таки обида Николая Ивановича выражена так резко, что вряд ли тут достаточно простого мотива: Пушкин, мол, много на себя берет, это не его ума дело. Объяснение, нам кажется, лежит в иной плоскости.

Н.И. Тургенев отдает должное Пушкину, понимает, что он первый поэт своего времени. Отсюда и начало его инвективы – у Пушкина «талант для поэзии, много ума, воображения»<sup>82</sup>. Тургенев помнит, как потаенными стихами Пушкина были буквально наводнены салоны и усадьбы, дворцы и казармы. Поэтому ему совсем небезразлично, как он, Николай Иванович Тургенев, предстанет перед соотечественниками в его стихах. Да еще и брат, Александр Иванович, подливает масла в огонь, называя эти

<sup>81</sup> *Томашевский Б.* Десятая глава «Евгения Онегина». История разгадки. С. 389.

<sup>82</sup> Журнал Министерства Народного Просвещения, 1913. С. 17.

пушкинские строки «бессмертными». Но в каком же виде Пушкин обессмертил Николая Тургенева?

Конечно, уважаемый либерал и космополит, критик России с позиций европейской образованности просто взбесился, когда Пушкин напомнил ему то прошлое, которое он как раз хотел бы забыть, вычеркнуть из памяти. Тургенев издали поносит отечество, а Пушкин нехотит свидетельствовать: был патриотом. Тургенев почитает русских дворян дикарями, варварами, а Пушкин – свое: надеялся ведь, что дворяне сами мужиков освободят. Тургенев высоко ставит оригинальность своего ума и своих соображений, а поэт подчеркивает его давнюю умственную зависимость от крайних декабристов: «им внимал»<sup>83</sup>. Бессмертие в таком виде не вызывало у Н.И. Тургенева ничего, кроме гнева и отвращения. В системе своих понятий он прав; ничего нового тут нет – бесчисленное множество раз и до, и после Тургенева от исторических романов требовали свойств исторических монографий: исчерпывающей полноты и абсолютной объективности. И никогда не добивались.

Нам же остается только глубже проникать в мощные культурно-исторические пласты, которые выходят на поверхность всего только единственной онегинской строкой: «Одну Россию в мире видя...»

### **К СОДЕРЖАНИЮ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ «ОН ВИДИТ БАШНЮ ГОДУНОВА» ЧЕРНОВОЙ СТРОФЫ ИЗ «СТРАНСТВИЯ ОНЕГИНА»**

Внимательные читатели пушкинского стихотворного романа хорошо знают, что путешествие главного героя по европейской России совершается не только в историческом пространстве, но ещё и в историческом времени. Движение кареты Онегина происходит именно там, где отечественное прошлое напоминает о себе в полный голос: Великий Новгород, Валдай, Москва, Нижний, Астрахань,

---

<sup>83</sup> А.И. Тургенев заранее чувствовал, что на выражение «им внимал» брат может обидеться. «Им», т.е. заговорщикам. Поэтому специально для брата приписал, будто сказал Пушкину, «что ты и не внимал им и не знавал их» (Журнал МНП. С.17).

Кавказ, Крым, Петербург... Автор рекомендует эти страницы своего сочинения, как «Отрывки». И, если это действительно отрывки, то выбраны они не только по произволу сочинителя, но и по мотивам, соответствующим размышлениям героя о судьбах отечества. Можно сказать, что путеводителями героя и автора здесь являются Н.М. Карамзин и его «История государства Российского».

Напомним текст разбираемой строфы, написанной в конце 20-х годов и не входившей в корпус прижизненных изданий произведений Пушкина:

Москва Онегина встречает  
 Своей восточной суетой,  
 Старинной кухней угощает,  
 Стерляжей подчует ухой.  
 [Народных заседаний проба]  
 В палате Английского клоба  
 О кашах пренья слышит он –  
 Глубоко в думу (?) погруж[он].  
 Он видит башню Годунова,  
 Дворцы и площади Кремля,  
 И храм где царская семья  
 Почила близ мощей святого.  
 Он ходит меж ноч[ных] огней  
 В садах Московских богачей (VI, 478).

Строфа в целом и четверостишие в её составе не обойдены вниманием исследователей. К ней обращались наиболее авторитетные комментаторы стихотворного романа. Вместе с тем, полагаем, смысл четверостишия не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Казалось бы, ход мысли Пушкина прям и прост. Герой входит в московский Кремль и «видит» древние достопримечательности – башню Годунова, она же колокольня Ивана Великого, и рядом с ней Архангельский собор, где покоятся мощи Св. Димитрия Углицкого, младшего сына царя Ивана Грозного. Кажется, под пером Пушкина готовы вновь ожить герои и коллизии трагедии «Борис Годунов», написанной за 4-5 лет до «Путешествия Онегина». Во всяком случае, поставленные рядом исторические фигуры царевича и его убийцы предопределяют именно такой ход рассуждений.

Но, возможно, дело не обстоит так просто.

## I

Первой деталью нашего рассказа, которая выбивается из ясной и непротиворечивой картины, будет едва заметная неточность, допущенная в Справочном томе к академическому Полному собранию сочинений Пушкина, составленном и отредактированном С.М. Бонди и Т.Г. Цявловской-Зенгер.

На с. 96 справочного тома читаем:

«*Архангельский собор в Москве VI 478* (“храм где царская семья почил...”)».

На с. 434 того же справочного тома сказано другое и о другом:

«*Филипп митрополит московский (Федор Колычев) VI 478 (?)* (“святой”)».

Перед нами по существу два комментария к одному и тому же четверостишию. Первый комментарий глухой и обобщенный: царская семья «почила» в кремлёвском Архангельском соборе поблизости от мощей похороненного здесь святого; имя святого не раскрыто, поскольку справочные сведения даны к статье словника *Архангельский собор*, а в этом случае такое раскрытие и не требуется. Тут всё неоспоримо. У Пушкина под словом *храм* именно этот собор и подразумевается. В нём похоронены последние рюриковичи и первые Романовы. Последним из «царской семьи» рюриковичей как раз и будет младенец Димитрий. Ничто не противоречит общепринятой версии об Онегине-путешественнике, который сразу «видит» следы и благодеяния, и злодеяния Бориса – воздвижение колокольни Ивана Великого и убийство царевича..

Другое дело – вторая описательная статья: «*Филипп митрополит московский (Федор Колычев) [...] (?)* (“святой”)». Составители тома – Бонди и Цявловская – разумно осторожны. Расшифровывая слово «святой» как «Филипп, митрополит Московский», они ставят вопросительный знак. Они не уверены: этот ли святой подразумевается Пушкиным как похороненный в Архангельском соборе? Да и Архангельский ли собор в таком случае «видят» Пушкин и его герой Онегин? У нас здесь нет возможности рассказывать о трагедии убийства и захоронения противника Ивана Грозного митрополита Филиппа. Довольно будет напомнить: в конце концов, он был погребён там, где и следовало упокоиться митрополиту – в кремлёвском Успенском соборе. Успенском, а не Архангельском.

Попутно заметим: историю Успенского собора Пушкин знал – даже, может быть, отчасти как семейную историю. В 1642 году

стольник Григорий Гаврилович Пушкин надзирал за работами мастеров, украшавших главный храм России<sup>84</sup>.

Составляя Справочный том, подготовители его, известные пушкинисты, допустили очевидную оплошность. Если под наименованием «святой» Пушкин подразумевает Филиппа (Колычева), то объект внимания Онегина – Успенский собор, где обретается рака с мощами этого святого. Но тогда и автору, и герою романа пришлось бы расставаться с внутренним пространством собора Архангельского, где находится некрополь правителей Московии с XIV века, с Ивана Даниловича Калиты. Автор «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» прекрасно ориентировался в кремлёвских святынях. Первое соотнесение действующего лица трагедии – Годунова – с реликвиями Архангельского собора находим ещё в сцене «Кремлёвские палаты», когда только что избранный на царство Борис возглашает: «Теперь пойдем, поклонимся гробам // Почиющих властителей России» (VII, 15). Для нашей темы будет важно, что Пушкин вкладывает в уста монарха слово «властители». Оно точнее, чем «цари», т.к. с патриархом и боярами Борис идёт именно в Архангельский собор, где покоятся не только цари, но и царская семья, великие, князья.

Невязка в отсылочных справочных данных у Бонди и Цявловской может быть отмечена, но ее не следует преувеличивать. Гораздо существеннее другое. Наши выдающиеся пушкинисты *не приняли безоговорочно версию, по которой некрополь царской семьи располагается вокруг могилы младенца, Св. Димитрия*. В отсылках к его имени вообще не упоминается разбираемая строфа «Путешествия Онегина» (VI, 478). Почему?

Трагедия, спрессованная в кремлёвских впечатлениях Онегина, по нашему мнению, была, возможно, много древнее «смутного времени». Для того, чтобы это понять, нам на некоторое время придётся оставить не только «башню Годунова», соборную площадь Кремля, но даже и Москву, которую озирает тоскующий Евгений.

## II

Примерно лет за десять до того, как Пушкин начал сочинять «Путешествие Онегина», Н.М. Карамзин напечатал первые тома своей «Истории государства Российского». Говоря современным

<sup>84</sup> Малиновский А.Ф. Обозрение Москвы // Сост. С.Р. Долгова. М., 1992. С.20.

языком, они стали бестселлером. По наблюдениям поэта, их бросились читать все – даже светские женщины (XII, 305). Онегин принадлежал к тому столичному кругу, в котором знакомство с карамзинской «Историей» почиталось непременно условием широко понимаемой «олигархической беседы». Поводов, влекущих к страницам отечественного прошлого, находилось немало. Например, все ещё хорошо помнили 1812 год, нашествие французов, бедствия начального этапа войны. Может быть, поэтому главы многотомника, посвященные разорению отечества от монгольского завоевания, читались с повышенным интересом, воспринимались с особой остротой.

В главе I тома IV Карамзин рассказывает о первых годах монгольского владычества над Русью. Уже Тверь и Владимир, Москва и Киев, многие грады и веси русских земель разорены пришельцами; князья вынуждены признать свою вассальную зависимость от язычников, платить им дань. Карамзин подробно прослеживает судьбу одного из удельных владык – князя Михаила Всеволодовича Черниговского.

К этому времени князь немолод, особенно по меркам той эпохи – ему под шестьдесят. Его политическая биография соткана из противоречивых, разнонаправленных событий. С переменным успехом правил он в Новгороде, неудачно пытался сколотить единый фронт русских князей против монголов; бежал от их нашествия в Венгрию, Польшу; пробовал создать коалицию европейских государей против хана Батыея – не вышло. В 1246 году он отправился в Орду, чтобы под властью хана утвердить своё княжение в Чернигове.

Вот как повествует об этом неоднократно и внимательно прочитанный Пушкиным Карамзин:

«Михаил <...> прибыл в стан к моголам и хотел вступить в Батыев шатёр; но волхвы, или жрецы сих язычников, блюстители древних суевренных обрядов, требовали, чтоб он шёл сквозь разложенный перед ставкой священный огонь и поклонился их кумирам. “Нет!” – сказал Михаил, – я могу поклониться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу государств земных; но христианин не служит ни огню, ни глухим идолам.

Услышав о том, свирепый Батый объявил ему <...>, что должно повиноваться или умереть. “Да будет!” – отвечивал

князь»<sup>85</sup>. Вместе со своим боярином Федором Михаил был казнён, и сам Батый, пишет историограф, удивлялся твёрдости несчастного князя<sup>86</sup>.

Оба мученика были причислены к лику святых. Всё это имеет прямое отношение как к историческим впечатлениям автора и героя, так и к судьбе кремлёвского собора-некрополя. Пора напомнить: храм, который «видит» Онегин, освящён в честь Архангела Михаила; полное его название – Михайло-Архангельский государев собор. В нем и покоятся мощи соименника архангела, Черниговского князя.

В нашу задачу не входит подробное изложение истории канонизации мучеников, их захоронения. Скажем только, что татары отдали тела родне и они были преданы земле в Чернигове. Впоследствии мощи перенесли в Москву, и они нашли свой новый приют в церкви Св. Михаила и Феодора, устроенной в Тайницкой башне Кремля. Затем, в связи с начатой при Екатерине II реконструкцией Кремля, церковь упразднили, а мощи временно положили в Сретенском соборе. Наконец, 21 ноября 1774 года, останки Св. Михаила и его сподвижника торжественно перенесли в Кремль, в Михайло-Архангельский собор. Серебряную раку установили на возвышении в пять ступеней. Среди изображений, коими она была украшена, есть и «принуждение князя Михаила с боярином его шествовать на поклонение кумирам чрез огонь»<sup>87</sup>. Монумент, венчающий могилу, чеканил английский мастер Пётр Роберт<sup>88</sup>.

Значит, с 1774 года Архангельский собор заместил собою церковь Михаила и Федора, упраздненную при начале екатерининской перестройки Кремля. Святыня, что была в Тайницкой башне, не только сохранялась, но как бы повышалась в своём значении. «Царская семья», упокоившаяся близ святого, обретала ещё одного покровителя. Это соображение могло распространяться и на убиенного царевича Димитрия – он ведь тоже при жизни находился в статусе члена царской семьи.

Таким образом, святой Михаил Черниговский упокоился в храме, названном в честь его небесного покровителя – архангела Михаила. Храм в Кремле как бы обрёл, если позволено будет так

<sup>85</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 2009. С.278-279.

<sup>86</sup> Там же. С. 276.

<sup>87</sup> См.: Малиновский А.Ф. Обзорение Москвы. С. 37.

<sup>88</sup> Там же. С. 38.

сказать, двойное посвящение – во-первых, общехристианскому предводителю бесплотных сил и, во-вторых, русскому мученику, до конца стоявшему за веру. Благочестивую эпитафию Михаилу Черниговскому заблаговременно сочинил митрополит московский Амвросий, потом убитый чернью во время холерного бунта в Москве.

Всё сказанное, думается, существенно, но не должно служить прямому и решительному отрицанию традиционной версии, по которой Онегин воспринимает храм как место упокоения Дмитрия Углицкого. Например, полностью остаётся в силе суждение Н.И. Клеймана: «Пушкин выделил в панораме Кремля памятники вполне определённой эпохи: колокольню “Иван Великий”, построенную при царе Борисе, и гробницу убиенного царевича Дмитрия, мощи которого перенесли из Углича в Архангельский собор при царе Василии Шуйском. Это вехи той поры царевубийства, узурпаторства, самозванства и смуты, что волновала умы многих современников Евгения Онегина: в частности, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина и К.Ф. Рылеева (в думе которого как раз упоминаются “кровь царевича святая” и “отрок святой”).

Возникающий благодаря этим акцентам исторический фон – безусловно трагедийный, чтобы не сказать – кровавый»<sup>89</sup>.

Если под сводами одного собора как бы соединяются трагедии двух эпох – XIII и XVI столетий – то религиозно-нравственный фон не становится менее кровавым, а как раз ещё больше сгущается. Исторические видения героя и автора обретают многовековую глубину. И вопрос окончательного исследовательского и читательского выбора между двумя святыми, видимо, не должен искусственно обостряться. Собственно, это далеко не первый пример равноправия разных смысловых потоков в пределах одного пушкинского утверждения. В том же романе в стихах находим, как известно, строки о характере героини: «Татьяна (русская душою // Сама не зная почему) <...> Любила русскую зиму» (VI, 98). Попробуйте понять, чего не знала Татьяна: почему она русская душою или почему она любила русскую зиму? Автор романа не отвечает на этот вопрос, отпускает читателей на свободу – толкуйте, как хотите. Или ещё: целая повесть «Пиковая дама» не даёт понять – происходят ли нереалистические эпизоды в ткани правдивого

<sup>89</sup> Клейман Н.И. «О кашах пренья...» (Опыт текстологического анализа) // Болдинские чтения. Горький, 1982. С.93.

рассказа или в больном (пьяном?) сознании главного героя? Достоевский, при всей своей проницательности, так и не разгадал этой загадки: «Вы не знаете, как решить»<sup>90</sup>. Так же и «Путешествие в Арзрум» не позволяет решить, встречал ли Пушкин тело убитого Грибоедова; текст записок даёт аргументы как сторонникам, так и противникам правдоподобия этой встречи<sup>91</sup>. Таких и подобных примеров можно привести множество. Имя святого в черновике московской строфы «Путешествия Онегина», по нашему мнению, находится в этом же ряду.

Как уже было сказано, нам не удалось найти фактических оснований для того, чтобы принять предположение С.М. Бонди и Т.Г. Цявловской, будто в изучаемой строфе речь идёт о мощах Филиппа, митрополита Московского, жертвы кровавых оргий Ивана Грозного. Но сам по себе ход мысли известных пушкинистов очевиден: в любом случае Пушкин имеет в виду праведника, погибшего от рук безбожного врага. Такое, чисто философское, истолкование, ничуть в принципе не меняется от перемены имени исторической личности, будь то Михаил Черниговский, Филипп Московский или Димитрий Углицкий.

Более того. Выбор, например, между Михаилом и Димитрием ещё более затрудняется, если вспомнить, как в первой же сцене «Бориса Годунова» князь Шуйский представляет заглавного героя:

«Вчерашний раб, *татарин*, зять Малюты» (VII, 7; курсив наш. – В.Л.).

Значит, в исторической ретроспективе святые одинаково казнимы одной и той же враждебной силой. И в каком-то смысле русское время как бы стоит на месте. Это понимали и Карамзин, и его современники-читатели – реальный автор и вымышленный Евгений. Русское прошлое несёт свои родовые черты от XIII века до XVI, а, может быть, и дальше – по направлению к XIX – XXI столетиям. Московская строфа, как, видимо, и все строфы «Странствия Онегина», не просто многозначна, не просто может быть наполнена различными смыслами. Она содержит в себе не столько точные фактические сообщения о старой столице, сколько некую образную ткань, художественно и суммарно отражающую мотивы, существенные для автора и героя.

<sup>90</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 30. Кн. 1. Л., 1988. С.192.

<sup>91</sup> См.: Фомичев С.А. Грибоедовская энциклопедия. СПб., 2007. С. 290.



взором путешественника должен возникнуть рассказ Карамзина: именно между огнями, которым он не желал поклониться, князь Михаил был влеком на казнь язычниками.

Дальним отблеском этих языческих огней мерцают давние московские пейзажи перед глазами петербуржца.

В этом смысле идейное поле строфы находит важные аналогии в творчестве Пушкина. Одна из любимых мыслей поэта в том и состояла, что с течением времени, со сменой исторических эпох, происходит измельчание как рода человеческого, так и отдельных его представителей. Этим наблюдением поэт делится столь часто, что здесь даже нет возможности дать полный и внятный обзор указанного мотива у Пушкина.

Например, на страницах «Египетских ночей» сравниваются герои древности – Клеопатра и ее любовники – с женщинами и мужчинами петербургского большого света. Сравнение не в пользу земляков Онегина, изленившихся и малодушных. В «Замечаниях по русской истории XVIII века» Петру I, северному исполину, наследуют «ничтожные» (XI, 14) правители. Потомки воинственных варягов в таком же ничтожестве прозябают в селе Горюхине. А современный полководец генерал И.И. Дибич, не взявший Царьграда, никак не соперничает с древним князем Олегом (см.: «Олегов щит»). В поэме «Езерский» подробно прослежено как «бледнеет блеск и никнет дух» от могучих предков до «гражданина столичного» (V, 100, 103), ничем, кажется, не замечательного,

Таких исторических наблюдений у Пушкина – неисчислимое множество.

Евгений, хандрящий и тоскующий в садах старой Москвы, - явление этого же ряда. Дальний предок не кланялся батыевым огням, отстаивая святыню собственной своей совести. И за то без колебаний расстался с жизнью. Теперь всеобщее унижение настигает и людей, и обстоятельства. Огни совершенно нейтральны, никому и ничем не грозят; на смену суровым противостояниям пришли бездумные праздники. Неприятие этих огней не подвергает Евгения риску, не зовёт испытывать твёрдость каких бы то ни было взглядов и убеждений. Единственный отклик героя на это холодное пламя – всё та же хандра, всё та же тоска.

На Соборной площади Кремля Евгений оказывается совсем не «лишним человеком». Он помещён здесь на скрещении исторических, философских и нравственных соображений. Тот моральный урок, который преподан у престолов Михайло-Архангельского храма, мог быть понят современниками Пушкина

как вечное напоминание: нет выше подвига, как положить душу свою за други своя. И нет больше преступления, чем детоубийство и поклонение царю Ироду.

Всё это могло подвергаться суду в кругу декабристов, например, на русских завтраках, сходках у К.Ф. Рылеева, помянутых в онегинских строфах (VI, 523). Там за чашею вина или за рюмкой водки могли обсуждаться коренные особенности отечественной мысли, передаваемые из века в век, из поколения в поколение. Так, в русле карамзинского рассказа о предсмертном монологе князя Михаила, уместно было бы поставить вопрос о деспоте, которому «небо вручило <...> судьбу государств земных». Следует ли по этой причине деспоту поклоняться? Верно ли мы толкуем евангельское «несть власти аще не от Бога»? В подобных размышлениях седая древность вдруг становилась злостодневной как свежая газета.

Соборная и Сенатская площади столиц неожиданно оказывались в близком историческом родстве.

Нам и раньше приходилось замечать такое родство. В пушкинской трагедии «Борис Годунов» простолудин из толпы на Соборной поднимает голос против державного вранья вокруг убийства царевича: «Вот ужо им будет, безбожникам» (VII, 76). И то же самое страшное «Ужо тебе» звучит в устах героя на Сенатской – против другого царя-Ирода, убившего своего, т.е. царского сына<sup>92</sup>.

\* \* \*

Всего четыре строки из «Путешествия Онегина» оказываются всеобъемлющим напоминанием, одним из магистральных направлений отечественной истории, понимаемой по-пушкински.

**«ЛЕТИТ ОРЕЛ, ТЯЖЕЛ И СТРАШЕН...»  
ОБ ОДНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МОТИВЕ  
В ПОЭМЕ «ЕЗЕРСКИЙ»**

Поэма «Езерский», созданная Пушкиным в первой половине тридцатых годов, не была завершена и, может быть, поэтому осознаётся как отдельный и связный текст, главным образом, среди

---

<sup>92</sup> Листов В.С. Новое о Пушкине. С. 56-63.

специалистов. Вместе с тем, основной корпус стихов, составляющих поэму, известен самому широкому кругу читателей, т.к. цитирован и комментирован необозримое количество раз по множеству поводов. Пушкинисты видят в нём некое переходное явление между «Евгением Онегиным» и «Медным всадником». Родство с романом в стихах определяется хотя бы тем, что вещь написана онегинской строфой, а черты петербургской поэмы проступают в родословной и биографии героя, застигнутого в столице перед великим наводнением 1824 года<sup>93</sup>. Сложные взаимоотношения «Езерского» с другими стихотворными произведениями Пушкина много и плодотворно обсуждались исследователями.

Определимся сразу: контекст «Езерского» среди других произведений – не наша тема, равно как и содержание *всей* поэмы. Нас будет интересовать только одна, а именно XIII строфа, пожалуй, в поэме самая знаменитая. Напомним её:

Зачем крутится ветер в овраге  
 Подъемлет лист и пыль несет,  
 Когда корабль в недвижной влаге  
 Его дыханья жадно ждет?  
 Зачем от гор и мимо башен  
 Летит орел, тяжел и страшен,  
 На черный пень? Спроси его.  
 Зачем Арапа своего  
 Младая любит Дездемона,  
 Как месяц любит ночи мглу?  
 Затем, что ветру и орлу  
 И сердцу девы нет закона.  
 Гордись: таков и ты поэт,  
 И для тебя условий нет (V, 102).

К этим стихам приводят автора две строфы, которые можно определить как лирическое отступление. Представив героя поэмы «регистратором» (малый чин, XIII класс по «Табели о рангах»), Пушкин предвидит недоумение критика: что за герой для поэмы? Отвечая на этот, ещё не заданный, вопрос, Пушкин рекомендует героя «соседом» и ссылается на Державина – певец Фелицы славил своих соседей. А то, что соседи Державина были куда чиновнее бедного регистратора, так ведь век другой: требуемый критиком

<sup>93</sup> Даты приведены по новому стилю за исключением специально оговоренных случаев.

«возвышенный предмет» теперь может возникнуть там и тогда, где и когда его никто не ждёт. И снова автор ссылается на себя: «Иль разве меж моих друзей // Двух, трех великих нет людей?» (V, 102). Таким образом, на риторический вопрос Пушкин отвечает риторическим же вопросом, после которого и следует целая цепь риторических вопросов, составляющих 10 из 14 строк знаменитой строфы «Зачем крутится ветр в овраге <...>».

Традиционно смысл этой строфы принято считать по ведомству едва ли не школьной темы: «Пушкин о поэте и поэзии». Поэт утверждает суверенитет служителя муз, его неподвластность общим законам и правилам. Отсюда и череда сравнений поэта с вольными стихиями, с предметами и явлениями, никаким условиям не следующими. Можно ещё заметить, что движение поэтического чувства и сознания сравнивается не только с кругом естественных реалий (ветер, морская стихия, горы, орёл, луна), но и с сердцем девы, т.е. с характером Дездемоны, героини шекспировской трагедии «Отелло». Тем самым Пушкин как бы утверждает, что высокая, вдохновенная поэзия стоит в одном ряду с божественно созданным миром природы.

Всё это давно выявлено, хрестоматийно известно. Сошлёмся, например, на работу Е.Г. Эткинда «У поэзии другое измерение»<sup>94</sup>, в которой совершенно верно поэтические строки сопоставлены с кругом природных явлений, со своенравием человеческого характера, наделённого свободной волей. Такой анализ необходим, однако же, думается, недостаточен. По нашему мнению у строфы «Зачем крутится ветр в овраге» есть как минимум и второй, пока не выявленный смысловой ряд.

## I

Поводом к иному, параллельному прочтению строфы явились знаменитые «Записки» Ф.Ф. Вигеля, напечатанные в Москве ещё в конце XIX века.

Весну 1815 года будущий мемуарист и приятель Пушкина встречал в Петербурге, где близко знакомствовал с Анной Андреевной Блудовой, урожденной Щербатовой. У неё, пишет Вигель, «была меньшая единственная сестра, фрейлина, княжна

<sup>94</sup> Эткинд Е.Г. У поэзии другое измерение // Эткинд Е.Г. Божественный глагол Пушкина, почитанный во Франции. М., 1999. С. 231-234.

Марья Андреевна Шербатова. Она по зимам жила вместе с нею, а лето и осень проводила в Павловске и Гатчине у императрицы Марии Федоровны, которой особенною милостью она пользовалась <...>. Один вечер (это было 6 марта) провели мы очень весело у старшей сестры ее. Она довольно поздно воротилась из дворца от императрицы; входя, очень равнодушно она сказала нам: “Слышали ли вы, что Наполеон бежал с острова Эльбы?”. Мы с изумлением посмотрели друг на друга. “Успокойтесь, – продолжала она, – не знали, куда он девался, и были в тревоге; но получили хорошее известие: он вышел на берег неподалеку от Фрежюса”, – Ну, правда, невольно усмехаясь, сказал Блудов, – добрые вести привезли вы нам!». Мы подивились, потолковали и разъехались.

В следующие дни все бросилось нарасхват читать газеты и ничего не находили в них ободряющего. Вечная война в лице Наполеона быстрыми шагами шла к Парижу. Возвратившись из России, многочисленные старые солдаты его поступили опять в полки, и новое правительство имело неосторожность послать их к нему навстречу. С хвастливым красноречием, приспособленным к их понятиям и сильно действующим на французское тщеславие, были написаны объявления его. От башни до башни, – говорил он, – полетят его орлы до Парижского собора<sup>95</sup>. И он сдержал своё слово...»<sup>96</sup>.

Этот отрывок из записок Вигеля сам по себе ещё ни о чем не говорит. Однако, он надёжно свидетельствует, что уже в марте 1815 года в петербургском свете обсуждалось воззвание Наполеона к армии, напечатанное вскоре после высадки. Тем самым, образ орлов, летящих мимо башен, был на слуху; это сравнение никак не могло миновать воспитанников Царскосельского лицея. Они, конечно, читали подробности высадки императора на южном побережье Франции, напечатанные в газетах. Например, такое сообщение было опубликовано в № 21 «Русского инвалида» от 13 марта. За движением Наполеона на Париж лицеисты наблюдали едва ли не с тем же вниманием, с каким три года назад следили за нашествием французов на Москву.

Начинались знаменитые наполеоновские «Сто дней».

<sup>95</sup> Вигель Ф.Ф. Записки: В 2-х кн. Кн. 2. М.: Захаров, 2003. С. 747-748.

<sup>96</sup> Е.В. Тарле приводит несколько иную редакцию перевода этого обещания Наполеона: «Мои орлы полетят с колокольни на колокольню и усядутся на соборе Нотр-Дам». См.: Тарле Е.В. Наполеон. М.: Госиздат, 1939. С. 251.

«В это гремучее время, – продолжал свои воспоминания Вигель, – поэзия у нас не умолкала: её голос иногда громко раздавался, и воины, равно как и граждане, с восторгом внимали ему. Жуковский, Вяземский, Батюшков, Шаховской и многие другие литераторы и стихотворцы вступили в дружины и ополчения на врагов отечества... Все журналы гласили только о военных или политических происшествиях <...>».

Различить можно было и умирающие звуки лиры Державина, и нежный, но уже сильный голос ещё ребёнка-Пушкина, который посвятил ему первые плоды чудесного своего таланта<sup>97</sup>. Текущие события вдохновляли шестнадцатилетнего Пушкина: он пишет стихотворение «Наполеон на Эльбе», романтическое переосмысление предыстории побега Бонапарта из ссылки. Точная дата написания «Наполеона на Эльбе» в 1815 году неизвестна; но уже 25 июня (по ст. стилю) оно опубликовано в № 25-26 журнала «Сын Отечества». Значит, образный строй стихотворения, наполеоновские реалии здесь предъявленные, едва ли не полностью определяются потоком новостей, служат в немалой степени откликом на злобу дня.

Для нашей темы важна особенность композиции стихотворения. Первые 12 строк – авторское введение, в котором Наполеон представлен в условно-романтических декорациях острова Эльба, мечтающий о реванше, о новом покорении Европы. Далее следуют 67 строк как бы прямой речи злодея, его монолог. Финал опять авторский – 15 строк, предсказывающих скорую гибель тирана<sup>98</sup>. Стихи подражательные, отдающие обильную дань как общей традиционной риторике, так и военно-одической лексике XVIII-начала XIX столетий. По этому поводу сочинение Пушкина-лицейста позже подверглось суровой критике В.Ф. Раевского<sup>99</sup>. Нас, однако, занимает здесь не столько художественная сторона вообще, сколько тематические и образные переключки с разбираемой строфой «Езерского».

Завершив обширный монолог Бонапарта, Пушкин сочиняет авторский финал, предсказывающий близкое будущее императора:

<sup>97</sup> Вигель Ф. Записки. Кн. 2. С. 761.

<sup>98</sup> Пушкин А.С. Стихотворения лицейских лет. 1813-1817. СПб., 1994. С. 93-95. Иное истолкование стихотворения «Наполеон на Эльбе» см.: Листов В.С. Новое о Пушкине. М., 2000. С. 343-344.

<sup>99</sup> Раевский В.Ф. Вечер в Кишинёве // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 367-369.

Умолк. На небесах лежали мрачны тени,  
И месяц, дальних туч покинув темны сени,  
Дрожащий слабый свет на запад изливал –  
Восточная звезда играла в океане,  
И зрелась ладья, бегущая в тумане  
Под сводом Эльбских скал.  
И Галлия тебя, о хищник осенила;  
Побегли с трепетом законные цари.  
Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла  
Лицо пылающей зари.  
Простерлась тишина над бездною седою,  
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,  
Все смолкло... трепещи! погибель над тобою  
И жребий твой еще сокрыт<sup>100</sup>.

Пушкин пишет всё это в апреле-мае 1815 года. И, в отличие от героя своего стихотворения, уже знает ближайшие события, предшествующие «Ста дням»: отплытие корабля с острова («ладья, бегущая в тумане»), высадка в бухте Жюан, триумфальная встреча императора («И Галлия тебя, о хищник, осенила»), бегство Бурбонов из Парижа («Побегли с трепетом законные цари») и т.д. В ходе авторских размышлений встречаем мы и месяц, покинувший «тёмны сени», и даже мечту узурпатора: «И вспыхнет брань! за галльскими орлами // С мечом в руках победа полетит»<sup>101</sup>. Более чем за полтора десятилетия до «Езерского» мы в пределах наполеоновской темы встречаем любопытную последовательность образных соответствий: «ладья» – «корабль», «галльские орлы» – «орел тяжел и страшен», «месяц, изливающий дрожащий свет» – «месяц, любит ночи мглу», «мятежной думы полн» – «нет закона» и т.д.

Согласимся: и это, как и отрывок из мемуаров Вигеля, само по себе мало что доказывает. В конце концов, локальная склонность в возвышенной романтической лексике может проходить через всё творчество поэта, быть характерной и для лицеиста, и для придворного историографа. Но дело далеко не только в лексическом наборе, включающем в себя и общераспространённые клише. Нам предстоит соотнести строфу «Зачем крутится ветр в овраге» с известными Пушкину фактами похода Наполеона от Эльбы до Парижа.

<sup>100</sup> Пушкин А.С. Стихотворения лицейских лет. С. 94-95.

<sup>101</sup> Там же. С. 93.

## II

Несколько лет тому назад в Москве вышла весьма содержательная книга П.Ф. Николаева «Полёт орла. Хроника “Ста дней Наполеона Бонапарта”»<sup>102</sup>. В ней именно *по дням* прослежена биография императора французов – от побега с острова Эльба до второго отречения и отплытия во вторую ссылку, на остров Святой Елены. Теперь нам предстоит соотнести показания этой подробной хроники со строфой «Езерского».

**«Зачем крутится ветер в овраге, // Подъе́млет лист и пыль несет, // Когда корабль в недвижной влаге // Его дыханья жадно ждёт?»**

На 26 февраля 1815 года Наполеон назначил тайное отплытие к южным берегам Франции. Таиться приходилось потому, что в Средиземном море вокруг Тосканского архипелага крейсировали английские суда; они могли перехватить беглеца, не имевшего права покидать свой остров.

«Всходя на корабль, Наполеон вспомнил знаменитую фразу своего далёкого предшественника по военному ремеслу: “Жре́бий брошен!”. Шлюп быстро доставил его на бриг “Непостоянный”, с которого раздался пушечный выстрел – сигнал к отплытию флотилии... Но из-за отсутствия ветра корабль ещё пять часов, долгих и мучительных, простоял на рейде, рискуя быть обнаруженным английскими сторожевыми судами.

Только в полночь маленькая армада направилась к желанным берегам прекрасной Франции» [с. 40-41]<sup>103</sup>.

Всё это, допустим, не доказывает окончательно, что речь в стихах идёт именно и только о бриге «Непостоянный», и именно и только о его многочасовом тревожном стоянии на эльбском рейде 28 февраля 1815 года. Но такое истолкование – возможно; оно не противоречит исторической действительности. Кроме того, обращение к наполеоновской легенде смягчало бы слишком резкий смысловой переход между двумя вопросами, поставленными в XII и XIII строфами «Езерского». XII строфа завершается вопросом: «Иль

<sup>102</sup> Николаев П.Ф. Полёт орла. Хроника «Ста дней» Наполеона Бонапарта. М., 2009. Далее ссылки на страницы этого издания даны в квадратных скобках.

<sup>103</sup> Плавание продолжалось почти трое суток, так как попутный ветер несколько ослабел. См.: *Тарле Е.В.* Указ. соч. С. 240.

разве меж моих друзей // Двух, трех великих нет людей?». А дальше: «Зачем крутится ветер в овраге <...>?».

Тем самым, давая намёк на наполеоновскую легенду, автор в каком-то смысле уравнивает и себя, и своего героя-регистратора с самым знаменитым человеком современности. Поэт потому и похож на природное явление, ветер, что он, поэт, одинаково не считается с важными для людей общественными обстоятельствами. Ему, поэту, всё равно: «император» или подспудно рифмуемый с ним «регистратор» ждёт на корабле попутного ветра. Как ветер, поэт равнодушен и к тому, захватят или не захватят беглеца английские патрули. Поэт и ветер выше общепонятных человеческих устремлений.

«Страстей единый произвол» будет пронизывать всё пушкинское творчество. Примеров на эту тему необозримое множество.

Клеопатра любит и казнит своих наложников (неслучайно разбираемая строфа введена в «Египетские ночи» (VIII, 269). И так же произвольно Петруша Гринев проигрывает деньги в симбирском трактире, «потому что так <...> вздумалось» (VIII, 285). «Страстей единый произвол» царит во все времена и у всех народов; ему равно подвержены и симбирский недоросль, и столичный чиновник, вдруг возвышающий голос против медного Петра Великого.

Почему ж в этом ряду не оказаться и «маленькому капралу» Бонапарту, которому «вздумалось» ещё раз испытать судьбу на мировой арене?

*«Зачем от гор и мимо башен // Летит орёл, тяжел и страшен...»*

Причалив 1 марта к французскому берегу недалеко от Антибского мыса, Наполеон устроил свой первый бивак на скрещении дорог, ведущих на Валери и Антиб. Этот лагерь находился около часовни Нотр-Дам ду Бон-Вояж. Самое название звучал как предзнаменование счастливого пути [с. 45]. Здесь, по-видимому, и надо искать объяснение мотиву из воззвания императора к армии: предстоял путь (вояж) через всю Францию – от башни Нотр-Дам ду Бон-Вояж до башни Нотр-Дам де Пари<sup>104</sup>.

<sup>104</sup> Воззвание Наполеон продиктовал ещё на Эльбе [с. 39], но напечатано оно было через несколько дней после высадки [с. 57], так что у автора была возможность внести в текст мотив башен уже на французской земле.

Позволим себе не обсуждать общеизвестное сравнение Наполеона с орлом. Даже сына его от австрийской принцессы называли «Орлёнком». А в наполеоновской армии резными изображениями императорских орлов были увенчаны древки знамён; соответствующие эмблемы украшали и полотнища.

В нашу задачу не входит прослеживание всего пути императора и его спутников от Антиба до столицы. Но одна деталь весьма существенна. Бонапарт не рискнул идти прямо на Париж; он ещё не был уверен, что королевские гарнизоны, контролирующие большие дороги и крупные города, без сопротивления перейдут на его сторону. Поэтому он избрал не прямой путь на северо-запад, а окольный – на север, на Гренобль. Источники полны описаний того, как горстка храбрецов с императором во главе, рискуя жизнью, преодолела заснеженные горные перевалы.

Всё это достаточно надёжная параллель к выражению «от гор и мимо башен». Именно так, от Прованских Альп, начинался «полёт орла», т.е. восхождение Наполеона к его «Ста дням».

Есть и другая, но, кажется, менее вероятная версия фактического наполнения пушкинских строк. Скрытое движение Бонапарта не было известно парижским властям на протяжении целых четырёх суток. Только вечером 5 марта королю Людовику XVIII был сделан доклад, в котором сообщалось о высадке Наполеона. Новость поступила по тогдашнему сигнальному телеграфу. Это изобретение принадлежало французскому инженеру К. Шаппу. Первый телеграф был открыт ещё в 1794 году между Парижем и Лиллем. Двадцать лет спустя в стране было уже несколько телеграфных линий. «Через каждые десять километров стояли четырёхметровые башни с двумя перекадинами на них. На перекадинах выставляли буквы передаваемого текста. Эти буквы были видны в подзорную трубу. Текст из 100 знаков доходил из Лиона до Парижа за 2 с небольшим часа» [с.53].

С 5 марта сигнальный телеграф будет регулярно сообщать в Париж о движении быстро растущей армии Наполеона. Это, между прочим, означает, что бонапартовы «орлы» продвигаются от диких Альп как раз мимо телеграфных башен.

---

Приведём и другую редакцию перевода этого предсказания: «Перелетая с колокольни на колокольню, орёл с трёхцветной кокардой долетит до башен собора Парижской Богородицы» [с. 58].

Таким образом, абстрактные, не прикрепленные к месту и времени, образы (ветер, корабль, горы, башни, орёл) из строфы «Езерского» обретают некие исторические параллели. Важны не только – и даже не столько – соответствия этих образов реалиям, сколько самая *последовательность* обозначения предметов у Пушкина. Она с довольно высокой точностью совпадает с последовательностью обстоятельств возвращения Наполеона во Францию с острова Эльбы.

*«Зачем Арапа своего // Младая любит Дездемона...»*

На первый взгляд здесь только ещё одно сравнение поэта, построенное на своеволии, на неподвластности общепринятым обычаям. Сердце аристократической красавицы склоняется к чернокожему герою, что должно снова подтвердить близкое родство человеческой страсти с природными стихиями, с ветром, морем, орлом и т.д. Оно так. Но тут обращает на себя внимание одно обстоятельство, кажется, к изучению Пушкина не привлекавшееся.

Дело в том, что первая жена Наполеона, Жозефина Богарно (урожденная де ла Пажери), происходила из богатой креольской семьи, жившей на о. Мартинике. Пять лет (1804-1809) она носила титул французской императрицы, и ее неевропейские корни ни для кого секретом не были. Пушкин, разумеется, знал о национальной принадлежности первой дамы Франции. Эта деталь должна была его заинтересовать по сходству семьи Бонапартов с семьёй Пушкиных.

Конечно, не все креолы негритянского происхождения. Конечно, в жилах Жозефины текла кровь скорее испанцев и американских индейцев. Но от средневропейского и русского сознания такие тонкости часто ускользали. Мать самого Пушкина, Надежду Осиповну, в свете называли «прекрасной креолкой», о чем свидетельствовала ее дочь Ольга<sup>105</sup>. Пушкин, как известно, с детства и до последних своих дней страдал не только от гнусных расистских намёков на своё африканское происхождение, но был повышенно чувствителен даже к невинным шуткам на эту тему. Например, И.И. Дмитриев назвал Пушкина-мальчика «настоящий арабчик», на

---

<sup>105</sup> Павлицева О.С. Воспоминания о детстве А.С. Пушкина // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т.1. С. 49.

что будущий поэт откликнулся мгновенно: «По крайней мере, отличусь тем и не буду *рябчик*» – Дмитриев был *рябоват*<sup>106</sup>.

В строках о любви Дездемоны к арапу могут быть выявлены разные смыслы. Хрестоматийное прочтение – буквально. Речь идёт о шекспировских героях смело, едва ли не героически, преодолевающих вековые предрассудки. Трагедия, по Пушкину, определяется, с одной стороны, светской клеветой, а с другой – гениальным простодушием чернокожего полководца. Аналогия с семьёй Пушкина проведена давно и не нами. Женатого Пушкина в свете едва ли не в глаза называли Отелло.

Креольское происхождение Жозефины неизбежно должно было занимать Пушкина, вызывать у него понимание и сочувствие. К началу тридцатых годов, т.е. к началу работы над «Езерским», Жозефина почти уже два десятилетия была в могиле; второе десятилетие пошло и со смерти Наполеона. Поток публикаций о личной жизни императорской четы ширился, появлялись всё новые и новые документы, письма, мемуары; становились известны многие подробности, ранее скрытые от публики.

Ко времени первого отречения Наполеона августейшие супруги уже около пяти лет были в разводе. Наполеон был женат вторым, политическим браком на австрийской принцессе Марии-Луизе; Жозефина вдовствовала. Но она по-прежнему была привязана к Наполеону, переписывалась с ним и с участием следила за его судьбой. В 1814 году союзные государи, особенно Александр I, отнеслись к ней с большой предупредительностью, но не позволили ей сопровождать Наполеона на о. Эльбу. Один из приближенных к свергнутому императору вспоминал, как тяжело эльбский изгнанник переживал весть о смерти Жозефины. Он бережно хранил локон, присланный ему после ее кончины. «Жозефина занимала особое место в сердце этого железного человека» [с. 13].

У нас нет прямых и бесспорных доказательств того, что Пушкин знал драму последних месяцев жизни Жозефины, хотя немалая вероятность такого знания существует. Если всё-таки знал, то ещё раз поэт должен был увидеть «ужасный век, ужасные сердца». Аналогии напрашивались. Прибавлялась ещё одна чёрная

---

<sup>106</sup> Макаров М.Н. Александр Сергеевич Пушкин в детстве [Из записок о моем знакомстве] // Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. 1. С. 46. «Арабчик» – «рябчик» – вероятно, первая по времени известная русская рифма Пушкина. – В.Л.

строка к моральному счёту, предъявляемому императору Александру I – не пустил «прекрасную креолку» на Эльбу. Между тем его брат и преемник разрешил ехать в Сибирь женам декабристов. Другая аналогия, более важная для «Езерского», состояла в том, что «сердце девы», если оно любит, не считается с внешними обстоятельствами – изменами, разлуками, разрывами, вступлением в иной брак, жизненными поражениями...

Но – довольно.

Дальнейшие соображения в этой области далеко увели бы нас от строфы «Езерского».

***«Гордись! Таков и ты, поэт. // И для тебя условий нет»***

Заключительное двустишие, обращённое к поэту, общепонятно. Оно не требовало бы комментария, если бы не малозаметная странность. В контексте строфы поэт сравнивается с ветром, орлом и сердцем девы, для которых нет *закона*. Простая логика требовала бы сказать: «И для тебя закона нет». Но Пушкин почему-то отступает от логики: «И для тебя *условий* нет». Всё-таки *закон* и *условие* – не синонимы.

Условие, как и закон, накладывает некие ограничения, но, во-первых, они не носят всеобщего характера; а во-вторых, именно условия, действующие среди людей, как раз и не распространяются на естественную среду, на природу. Сравнение поэта с ветром и орлом что-то начинает прихрамывать. Кто же уславливается с явлениями природы? Кроме того, на память приходит финал пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом», где последняя реплика Поэта звучит совершенно недвусмысленно: «Вот вам моя рукопись. Условимся» (II, 330). Значит, кое-какие *условия* для поэта всё-таки есть.

Мы здесь не станем вторгаться в область истории философии, приводить известные Пушкину метафизические построения – от Фомы Аквината до Монтеスキё. Дело, кажется, проще. В последнем двустишии Пушкин сравнивает поэта не только с дикой природой, но ещё и с Наполеоном.

Подписав весной 1814 года своё отречение от престола, Бонапарт принял от союзных держав *условия*, на которых должно было отныне строиться его дальнейшее существование. По этим условиям он сохранял императорский титул, владение островом Эльба, покидать который он не имел права, возможность общения с сыном, ряд денежных привилегий и т.д. Высадившись в бухте

Жюан, Бонапарт растоптал эти условия, показал миру, что для него условий нет.

Если принять, что Пушкин сравнивает поэтический дар с полководческим гением, то всё станет на своё место. Такое сравнение довольно легко выявляется в «Домике в Коломне», в «Полководце», в «Путешествии в Арзрум»<sup>107</sup> и других произведениях.

### III

Предлагая версию строфы «Езерского», мы попытались прокомментировать все ее строки, идущие к делу, все подробности, связанные с событиями весны и лета 1815 года во Франции. Вне нашего внимания осталось только интригующее смысловое образование:

Зачем <...>

Летит орёл <...>

На чёрный пень? Спроси его <...>

Собственно говоря, на этом мотиве можно было бы и не останавливаться. Даже если в подтексте строфы присутствуют исторические «Сто дней», это ведь не обязывает Пушкина неотступно, в каждом слове, следовать наполеоновской теме. Мы ведь, в конце концов, не знаем, зачем крутится ветер в овраге или зачем Дездемона любит своего арапа. Ничего особенного не было бы и в том, что «чёрный пень» буквален, никакого подтекста не содержит и служит только как снижение «возвышенных предметов» – гор, ветра и башен.

И всё-таки: если Наполеон предстаёт в аллегорическом образ орла, то зачем бы ему стремиться на гнилую древесину, прозябающую на лесной вырубке? Только ли потому, что ему, орлу, «так вздумалось»? Вообразим себе такой геральдический нонсенс: тяжелый и страшный орел, расправив крылья, восседает на чёрном трухлявом пне. Вряд ли. Скорее всего мы не учитываем здесь какого-то важного подразумевания.

Напомним прежде всего исключительно емкую характеристику исторической роли Наполеона, данную Пушкиным в стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге»:

Мятежной Вольности наследник и убийца (II, 311).

<sup>107</sup> См., например: *Листов В.С.* Новое о Пушкине. С. 261-283.

В одной строке здесь объяснен весь смысл жизненного пути императора. «Поэтический образ, – замечает О.С. Муравьёва, – допускает здесь очень широкое истолкование. Наполеон не “Робеспьер на коне”, ибо он – “убийца вольности”, но он и не просто деспот, задушивший революцию, ибо он – её “наследник”. Слово “наследник” может быть понято только в том смысле, что Наполеон получил верховную власть благодаря революции, так как путь от капрала до императора был, естественно, невозможен в условиях старого режима»<sup>108</sup>. Совершенно верно. Именно поэтому просвещённая Европа видела в наполеоновских «орлах» вооружённую силу французской революции, и никакие доводы о Бонапарте как «убийце вольности» не могли переубедить многих современников. Сам Наполеон в период своего могущества эту идею не поддерживал, старался, сколь возможно, дистанцироваться от революционных крайностей, от кровавого якобинства. Он не желал самоутверждаться как вождь Жакерии, как главарь санкюлотов. Поэтому формула Пушкина – «вольности наследник и убийца» – отражает ещё и противоречие между суммарно понимаемой исторической ролью Наполеона и его самосознанием.

Но события 1814-1815 года – военные поражения, отречение от престола, ссылка на Эльбу – существенно пошатнули сложившуюся систему его абсолютистских, имперских представлений. Новое восхождение к власти требовало возвращения на старый путь; республиканский генерал Бонапарт в своей борьбе против Бурбонов опять нуждался в доверии народных масс, в сочувствии и поддержке миллионов соотечественников. Его первые воззвания, обращённые к низшим сословиям сразу после Эльбы, поражают революционной простотой и цинизмом:

«Я явился, чтобы избавить Францию от эмигрантов. Я – порождение революции. Я явился, чтобы вырвать французов из рабства, которое им навязали священники и дворяне. Пусть поостерегутся! Я их всех повешу на фонарях» [с. 155].

Уже через две недели после возвращения к власти, 4 апреля, император своим декретом возродил устрещающий институт чрезвычайных комиссаров. В их число попало много деятелей революции [с. 179], хорошо помнивших приёмы и методы, какими

---

<sup>108</sup> *Муравьёва О.С.* Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант наполеоновской легенды) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. Л., 1991. С. 15.

вёлся якобинский террор. С явлением, родственным этим комиссарам, Пушкин сталкивался на страницах русской истории XVII века. Мы помним, как в наброске предисловия к «Борису Годунову» (он же, может быть, письмо к Н.Н. Раевскому-младшему, 1829) поэт сравнивает своего предка Гаврилу Пушкина, сторонника Самозванца, с комиссарами Конвента (XIV, 47 – подлинник по фр.). Эти комиссары – одна из многочисленных примет «Смутного времени», которое наступило во Франции весной 1815 года.

Все мятежи оказывались похожи друг на друга.

Император заигрывал с толпой, заказывал Б. Констану конституционный акт, созывал наспех выбранные палаты Законодательного корпуса, принимал антидворянские декреты. Но далеко не только аристократы видели в нём коронованного якобинца [с. 178]. Европейские государи вступили в 7-ю коалицию против «революционной» Франции. Русское дворянство посылало очередные проклятия узурпатору и тирану, обе столицы, Петербург и Москва, кипели негодованием. Замечательно просто оценивала положение газета «Московские ведомости»:

«Всякая сволочь толпится теперь в Тюильрийском саду и вызывает к себе нередко Бонапарта, к коему прежде и подступиться не осмеливались. Для улучшения успехов своих замыслов Бонапарт подружился с якобинцами. Он и ныне почитает их для себя весьма нужными, дабы не лишиться вдруг своей силы в народе. Якобинцы повсюду берут верх» [с. 178].

Напомним: мы начали попытку изучения строфы «Зачем крутится ветер в овраге» с воспоминаний Ф.Ф. Вигеля, приятеля Пушкина и внимательного наблюдателя «Ста дней». Обратимся к его мемуарам ещё раз. Вот мнение Вигеля:

«Отрезанный от своего прошлого ссылкой на Эльбу, Наполеон казался другим человеком, даже в самой Франции. Очарование исчезло; сосуд, избранный Провидением, ударившись оземь, расшибся; склеенный и подъятый вновь, он потерял большую часть цены своей и в глазах народов. Как *утопающий хватается за гнилой сук дерева*, так он прибегнул к оружию, употреблённому против него венчанными его противниками: *он заговорил о свободе*»<sup>109</sup>.

Таким образом, русская пресса честит простонародных приверженцев Наполеона «всякой сволочью», а Вигелю угодно

<sup>109</sup> Вигель Ф.Ф. Записки. Кн. 2. С. 757-758. Курсив наш – В.Л.

называть эгалитарные идеи Французской революции *гнилым суком*, за который хватается император на исходе своей власти. *Гнилой сук* или *чёрный пенёк* – велика ли разница? И тот, и другой равно не могут служить основанием для «обновляемой» императорской власти.

О социальной базе бонапартизма написаны многие тысячи (если не сотни тысяч) страниц, и мы, понятно, не последуем за их авторами, останемся в пределах пушкинской темы. Здесь существенно то, что и «чёрный пенёк» Пушкина, и «гнилой сук» Вигеля отделены от «Ста дней» несколькими десятилетиями. Трагедия ушла в прошлое и подлежала осмыслению на основе недавнего исторического опыта. Конечно, шестнадцатилетний Пушкин-лицеист, ещё всерьёз не тронутый декабристским вольнолюбием, относился к Наполеону и его «Ста дням» с общих патриотических позиций своего круга. Конечно, он простодушно гордился победами русского оружия, радовался успехам антинаполеоновских коалиций, сочувствовал французским эмигрантам. В последующие годы быстро созрел не только его поэтический талант, но и его понимание общественных проблем и обстоятельств. «Езерского» писал человек, уже давно вкусивший от запретного плода либерализма и декабризма, разочаровавшийся в революционном противостоянии монархам. Во всяком случае, он хорошо знал цену возгласам «Аристократов на фонарь!» и другим подобным призывам. Деспотизм толпы, плебса, оказывался не лучше, а, может быть даже хуже деспотизма наследственных государей.

Знаменитый диалог Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем в декабре 1834 года доказывает, что к этому времени поэт понимал бонапартизм как монархию, пренебрегающую аристократией и покровительствующую черни. Опыт позднего Наполеона можно было наблюдать и в правлении династии Романовых, которые, по Пушкину, революционеры и уравниатели. В этом смысле между Петром I и Бонапартом особой разницы не было. Великий князь верно понял мысль Пушкина: «Спасибо: так ты жалуешь меня в якобинцы!» (XII, 335).

Якобинство позднего Наполеона как раз и состояло в пренебрежении дворянством и в опоре на простой народ, на чернь («чёрный пенёк?»). Выходило так, что Бонапарт, как и Романовы, тоже выступал уравниателем и революционером. Будучи сам великим карьеристом и выскочкой, император, однако, не был последователен. В 1812 году он не освободил от крепостной зависимости русских мужиков, а в 1815-ом, восхваляя революцию, не попытался облегчить положение французских крестьян и

ремесленников, разоренных войнами, налогами; он не призвал к народной войне против интервентов. Император так и остался в истории великим человеком, для которого главной жизненной целью была власть, власть сама по себе – независимо от интересов и чаяний нации...

\* \* \*

Подведём некоторые итоги.

Мы нимало не ставим под сомнение традиционную версию строфы «Зачем крутится ветр в овраге»; её глубокое философское наполнение остаётся в силе. Вместе с тем, последовательность эпизодов, которая в ней прослеживается, заставляет искать соответствий между содержанием строфы и конкретными историческими событиями 1815 года. Отсюда берёт начало и иное, параллельное истолкование этих стихов.

Примерно в 1830 году, ещё до того, как строки «Езерского» легли на бумагу, Пушкин набросал («Заметку “О графе Нулине”»), более всего известную своей заключительной фразой – бывают, оказывается, странные сближения. Между тем, фразе этой предшествует другая, отчасти объясняющая, чем могут наполняться сближаемые стороны: «Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, и я не мог воспротивиться двойному искушению» (XI, 188). В изучаемой строфе, по нашему мнению, именно это и происходит. Только Шекспир (через Отелло и Дездемону) назван прямо, а история наполеоновских «Ста дней» обозначена косвенно, метафорически.

К началу 30-х годов Пушкин, давно расставшийся с «либеральным бредом», близок к идеям этического монархизма и аристократизма в духе Н.М. Карамзина, и это тоже находит, по видимому, своё отражение в строфе, где наполеоновский орёл, оставивший возвышенные предметы, летит на «чёрный пень»...

**НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К «ПИКОВОЙ ДАМЕ»  
О СТИХОТВОРЕНИИ  
«НЕДВИЖНЫЙ СТРАЖ ДРЕМАЛ НА ЦАРСТВЕННОМ ПОРОГЕ...»**

В мире произведений Пушкина непросто проводить какие бы то ни было границы – видовые, жанровые, тематические, идейные и т.д. Каждый, кто близко соприкасался с творчеством поэта, знает это великое «перетекание» смыслов и мотивов – между стихами и прозой, между драматургическими опытами, и, например, журналистикой, между былью и легендой, между прошлым и настоящим. Написанное и сказанное Пушкиным можно уподобить океану – все борозды, все грани, которые мы пытались бы наметить на поверхности или в глубине, немедленно смыкаются; океан снова предстаёт перед нами вольным, беспокойным и весьма парадоксальным монолитом.

То же самое произойдёт, если мы попытаемся твёрдо отделить у Пушкина реальное от фантастического. Тогда в поле зрения, конечно, попадут такие явления прозы как <«Воображаемый разговор с императором Александром I»>, устная новелла «Уединенный домик на Васильевском», «Пиковая дама»; такие примеры драматургии как «Русалка», «Каменный гость», «Сцены из рыцарских времён»; такие образцы лирики как «К молодой вдове», «Недвижный страж дремал на царственном пороге», отрывки о Фаусте, «Гусар», «Олегов щит». Перечень явно не полон, но не в этом дело. В сущности, каждое из этих произведений можно было бы подвергнуть строгой проверке: а фантастика ли это? Не есть ли тут вполне узнаваемая жизненная правда, чуть только декорированная нереальными обстоятельствами?

В своё время Г.А. Гуковский не склонен был видеть фантастику, например, в «Пиковой даме»: по мнению исследователя, всё запредельное происходит здесь не в реальных фабульных связях, а только в пьяном, а потом и больном сознании главного героя<sup>110</sup>. Между тем, подобная или близкая к этой точка зрения отчасти может опираться на мнение самого Пушкина. В конце 1833 года, которым помечена «Пиковая дама», граф В.А. Соллогуб присутствовал при обмене репликами между Пушкиным и знаменитым сочинителем фантастических повестей

---

<sup>110</sup> Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 364.

В.Ф. Одоевским, только что выпустившим в свет свои «Пёстрые сказки». Вот запись Соллогуба:

«...Одоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин <его> книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами: “Читал...ничего...хорошо” и т.п. Видя, что от него ничего не добьёшься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошёл; тут Пушкин <...> сказал: “Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их не трудно”»<sup>111</sup>.

Пушкин (если, конечно, Соллогуб верно передаёт его слова) здесь отчасти лукавит. Его собственная фантастика не выглядит нетрудными, лёгкими упражнениями, с размаху положенными на бумагу. Тут обмануться могут только окончательные профаны. Серьёзные исследователи склонны видеть в отступлениях Пушкина от детерминированной реальности скорее глубокие философские причины, чем досужие, ничем не стеснённые игровые мотивы

Г.В. Краснов находил в стихотворении «Недвижный страж...» поэтический портрет крупного политического деятеля, «владыки мира», вершителя судеб народов, портрет беспрецедентный как в творчестве Пушкина, так и, по-видимому, и во всей отечественной литературе<sup>112</sup>.

Прямое соотнесение «Недвижного стража...» с «Пиковой дамой» находим в одном из примечаний к «Биографии Пушкина», написанной Ю.М. Лотманом. Речь идёт о Наполеоне, чей фантастический образ возникает в стихотворении и затем, много лет спустя, возвращается в прозаическую повесть в облике Германна. Биограф так определяет идейную связь великого корсиканца и неизвестного петербургского инженера: «Пушкин обожествляет Свободу в стихах, которые посвящены невозможности утвердить её в мире эгоизма и корысти. В более поздних произведениях <...> наступивший после Наполеона век эгоизма будет прямо определен как буржуазный. Это делается одним из ключей к образу Германна в “Пиковой даме”»<sup>113</sup>. Далее автор протягивает эту нить к героям Гоголя и Достоевского.

<sup>111</sup> Разговоры Пушкина. Собрала С. Гессен и Л. Модзалевский. М., 1929. С. 205.

<sup>112</sup> Краснов Г.В. Личное сообщение. Коломна, 2007.

<sup>113</sup> Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960-1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 88 (примечание).

Спору нет: установление родства между Германном, Чичиковым и Раскольниковым по признаку буржуазности – возможно; оно хрестоматийно сопровождает понимание образа Наполеона в русской литературной классике. Но не будем забывать, что соотношение названных героев по признаку «буржуазности» есть не более, чем исследовательский конструкт. Сам Пушкин не отмечает буржуазной природы Германна. И вообще ни слова «буржуа», ни производных от него в русском языке Пушкина нет<sup>114</sup>. Лотман недаром осторожно говорит, что буржуазность есть лишь *один из ключей* к образу века и образу его героев.

На наш взгляд, близкая родственность действующих лиц «Недвижного стража...» и «Пиковой дамы» выявляется и по иным признакам, весьма удалённым от социологических аргументов. Для того чтобы это понять, достаточно внимательно прочесть текст стихотворения 1823 года, написанного на исходе южной ссылки<sup>115</sup>. В произведении, стилистически тяготеющем к одической традиции, всего два героя – Александр I и Наполеон. Призрак императора французов является к ныне здравствующему русскому императору. Явление это обставлено множеством романтических атрибутов: парадный чертог, полночь, грозный образ пришельца, «мгновенный хлад», объяввший царя, – всё это признаки едва ли не театрального порядка, поднимающие действие в условные, наджизненные пределы.

К театру тяготеют и строфы 3-4 – совершенно сценический монолог, обращённый Александром I к самому себе и воображаемой публике. В этом монологе подводятся победный итог истекающего десятилетия – от падения Бонапарта до торжества России и Священного союза над европейскими революциями. Вся логика развития стихотворной фабулы убеждает: представ пред русским монархом, Наполеон должен дать некий ответ на только что прозвучавший победный монолог. Какой ответ?

Этого мы не знаем. Стихотворение обрывается именно в тот миг, когда явно наступает очередь говорить призраку императора французов. Заметим только – прежде чем русский монарх *«молвил»*, мы проникаем в его сознание, узнаём, что он *«думал»*:

<sup>114</sup> Словарь языка Пушкина. Т.1. М., 1956. С. 191.

<sup>115</sup> Мы принимаем датировку стихотворения «Недвижный страж...» по Фомичеву. См.: *Фомичев С.А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835. Из текстологических наблюдений // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С. 54.

И делу своему владыка сам дивился.  
*Се благо*, думал он, и взор его носился  
От Тибровых валов до Вислы и Невы  
От саркосельских лип до башен Гибралтара:  
Всё молча ждёт удара,  
Всё пало – под ярем склонились все главы (II, 310).

Если принять, что стихотворение мыслилось в сознании автора как симметричная композиция, то можно осторожно предположить: монологу Наполеона тоже должно предшествовать некое размышление о его победах, о покорённой Европе, ещё недавно целовавшей жезл Франции. Именно такому размышлению и отданы строфы 7-10. Конечно, различие очевидно. Если русский царь *думает* сам, то напоминание о прошлых победах императора французов автор присваивает себе, *размышляет* за своего героя. Но это не меняет дела. Для нас важно только то, что столкновению речей предшествует столкновение мыслей, воспоминаний.

Это вновь наводит на мысль о театре.

Прежде, чем сценическое действующее лицо начинает говорить, драматург заботится о том, чтобы в какой-то форме сообщить публике, кто именно держит речь, действует. Здесь это тем более необходимо, что оба героя ни разу не названы по именам – только прозрачные псевдонимы: «владыка севера» («полуночи»), «владыка запада» («чудный муж»).

Обсуждая, по-видимому, только структуру «Недвижного стража...», мы, оказывается, уже изначально находимся в художественном пространстве, близко напоминающем мир «Пиковой дамы». И дело тут далеко не только в простом и очевидном фабульном сходстве двух явлений потустороннего мира – визита призрака графини\*\* Германну и прихода покойника Бонапарта в царский чертог. Подобные параллели можно проводить между тем же «Недвижным стражем...» и «Каменным гостем», «Андреем Шенье», «Медным всадником», «Олеговым щитом» и другими примерами пушкинского творчества.

Но соотнесение стихотворного отрывка 1823 года и повести 1833 года – случай особый. Тут необходимо напомнить, что общение Германна и графини\*\* не единичный акт, а целая цепь событий, которые происходят в широком пограничье между посюсторонним и потусторонним мирами. Проследим звенья этой цепи:

*Германн приходит в спальню графини\*\*; результат – смерть старухи.*

*Германн, выходя под утро от Лизаветы Ивановны, видит покойницу в той же спальне.*

*Германн является на похороны убитой; встречен её насмешливым взглядом из гроба.*

*Старуха-призрак является ночью в спальню Германна; посвящает его в тайну трёх карт.*

*Старуха-призрак является как изображение дамы пик на карте, определившей денежный и жизненный крах Германна.*

Таким образом, речь идёт о некоей довольно очевидной системе отношений между двумя действующими лицами, системе, в которой верх берёт то одна, то другая сторона. А.А. Ахматова, обсуждая пушкинско-титовскую инфернальную повесть «Уединенный домик на Васильевском», утверждала, что светский Петербург («Большой свет»), по Пушкину, есть «филиал ада»<sup>116</sup>. Так и есть. По существу злодей-инженер и старая ведьма обмениваются визитами – по всем светским правилам.

Мы застаём Германна в обществе петербургской молодёжи среди знакомых внука графини\*\*, офицера Павла Томского. Тем самым в некоторой степени обозначается принадлежность графини и инженера к одному светскому кругу. Но для нас важно будет напомнить принадлежность обоих действующих лиц – графини и Германна – и к другому кругу, кругу тех, кто знается с потусторонними силами. Посмертные движения старухи – насмешливый взгляд из гроба, явление в комнате офицера, замещение дамы пик на карте – всё это видимые знаки невидимого приобщения старухи к инфернальному миру. Причастность Германна «филиалу ада» обсуждалась лишь в общей форме – как сторона жизни всякого грешника – до тех пор, пока А. Магазаник не выявил странности в описании проникновения инженера в дом графини: герой необъяснимым образом входит с улицы через парадную *запертую* дверь<sup>117</sup>.

Мы не склонны соглашаться с теми, кто видит здесь описку, недосмотр Пушкина. Вряд ли. Скорее тут ещё один элемент симметричного построения вещи. Ведь и графиня, надо полагать, тоже проникает к Германну с улицы через *запертую* на ночь дверь. Уравнивая своих героев по признаку призрачности, Пушкин даёт понять: между живыми и мёртвыми грешниками петербургского

<sup>116</sup> Ахматова А.А. О Пушкине. Статьи и заметки. Горький, 1984. С. 223.

<sup>117</sup> См.: Пушкин и теоретико-литературная мысль. М., 1999. С. 41.

«омута», в сущности, нет границы; это одна среда, один круг. И так ли уж ошибается один из светских людей, присутствующих на похоронах графини, когда называет Германна её побочным сыном?

Это равенство и даёт обыденную возможность – нанести визит, отдать визит. Читателям-современникам Пушкина всё тут должно быть знакомо.

На протяжении повести Германн дважды сравнивается с Наполеоном. В художественном мире «Пиковой дамы» он, собственно, и есть лицо, замещающее Наполеона. Родственность героя «Пиковой дамы» с Бонапартом напоминает и о русском народном поверье начала XIX века: Наполеон – Антихрист. Оно, конечно, не забыто в отечественном быту в 20-30-ые годы, когда были написаны стихотворение «Недвижный страж...» и прозаическая повесть о трёх картах.

Условный знак равенства между императором французов и Германном неизбежно влечёт за собой исследовательское искушение: найти в истории петербургского инженера прямые аналогии с «большой» наполеоновской историей. Такую попытку, например, сделал Д.С. Дарский в своей статье «Пиковая дама», основанной на докладе в московском «Пушкинском кружке» в 1922 году. Выясняя мотивы, по которым Германн идёт на похороны графини\*\*, Дарский не может совместить наполеоновские черты характера героя с его желанием *просить прощения* у покойной: «Как? Что такое мы слышим? <...> где же здоровый рационализм Германна? <...> Время здравых понятий и нераздельного владычества воли навсегда миновало, и Германн подпадает под власть безотчётных движений, нервных возбуждений, непозволительных страхов. Большая чувствительность возбуждена, и душа открыта призракам. *Наполеон идёт просить прощения у своей жертвы*»<sup>118</sup>.

Невозможно.

Обратным светом эта невозможность высвечивается и в стихотворении 1823 года. Если Германна, по намёкам Пушкина, ещё можно как-то принять за Наполеона, то уж старуха-графиня совершенно не годится на роль «владыки севера». Кроме того, в повести живой приходит в церковь к покойнице, лежащей во прахе, а в стихотворении, наоборот, мёртвый владыка посещает живого. Ещё кроме того: трудно вообразить себе, в чём и для чего Наполеон

---

<sup>118</sup> Дарский Д.С. «Пиковая дама» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XV. СПб., 1995. Публикация В.А. Викторovichа. Курсив наш. – В.Л.

мог бы просить прощения у Александра I. Да и сам хладный страх, объявший «владыку слабого и лукавого» при появлении призрака, указывает на иные мотивы и последствия загробного явления.

Дарский прав, когда подчёркивает разницу между характером Германна и характером Наполеона. Безотчётные движения души, нервные возбуждения, большая чувствительность, страхи – всё это черты безвестного офицера, а не «корсиканского чудовища»; эпигона, а не гения. Попутно не грех будет еще раз напомнить и одну из любимых мыслей Пушкина – об измельчании современных поколений по сравнению с предками. Царьград завоёвывает древний князь Олег, а не современный генерал И.И. Дибич («Олегов щит»); бескомпромиссные понятия о чести не у нас, а у допетровских бояр, соблюдавших местничество («Езерский»); Пётр I, северный исполин, возвышается над своими ничтожными преемниками («Заметки по русской истории XVIII века»). И т.д.

Тем самым, подчёркивается далеко не только социологический характер сходств и различий между литературными героями

Вернёмся теперь к стихотворению «Недвижный страж...». Мы по-прежнему не знаем ни мотивов появления призрака в чертоге «владыки севера», ни содержания ответного монолога «владыки запада». Но обращение к «Пиковой даме», кажется, не вовсе бесплодно. Мы видели, как общения героев повести перетекают из реальных в призрачные и обратно, как между героями складывается целая *система* взаимодействий, в которой границы бытовых и фантастических явлений постоянно нарушаются.

Не исключаем, что именно система обращений к сверхъестественному получила у Пушкина какой-то импульс как раз в десятилетие после 1823 года. Отсюда, быть может, берут начало уже упомянутые произведения – «Олегов щит», «Андрей Шень», «Каменный гость», а потом и «Медный всадник», «Пиковая дама». Все они в той или иной мере – фантастика.

Особняком в этом перечне вновь будет стоять постоянно важный для нашей темы <«Воображаемый разговор с Александром I»>, написанный примерно через год с лишним после «Недвижного стража...» (XI, 531). В нём нет, конечно, нарушений бытового правдоподобия, но вымысел очевидно граничит с фантастикой.

Кажется, никто не сравнивал «Недвижного стража...» с <«Воображаемым разговором...»>; скажем точнее и осторожнее – нам такие сравнения неизвестны. Между тем, они напрашиваются. Что происходит? Пушкин оставляет возможный (невозможный?) диалог Александра I с Наполеоном, чтобы примерно год спустя

обратиться к фиктивному диалогу Александра I с поэтом А.П., т.е. с самим собою. Берёмся утверждать, что тут не случайность, а вполне осознанное дерзновение.

Пушкин-протей постоянно присваивает себе характеры, сознания, иногда и внутренние монологи своих героев. Так происходит и в нашем случае. Мифологизированные, далеко не равные друг другу образы Александра I действуют и в стихотворении, и в прозаическом «Разговоре...». В стихотворении Пушкин, если бы продолжил работу после строфы 10, вынужден был бы дать слово Наполеону, а значит взять на себя призрачную роль «владыки запада».

Готовность Пушкина к такому творческому ходу подтверждается, среди прочего, нашим давним наблюдением. Обратившись к лицейскому стихотворению «Наполеон на Эльбе» (1815), мы отметили, что поэт помещает своего самого знаменитого современника в декорации, сопутствующие прозрениям древнего пророка. Это, во-первых. А во-вторых, молодой поэт уже и сам мысленно примеривает на себя лавры «владыки запада», Наполеона. В следующем десятилетии Пушкин как раз и сможет заговорить от имени пророков, полководцев, исторических лиц<sup>119</sup>.

В данном случае смысл сопоставления усиливается положением воображаемых пришельцев. К императору Александру I будто бы сначала приходит призрак героя, сосланного на остров и там умершего. Затем русский император даёт воображаемую аудиенцию мятежному поэту, прозябавшему в ссылке, как бы заживо похороненному в деревне, которую он, поэт, неоднократно сравнивает с островом. Роли собеседников «владыки севера» – разные. Понятно. Поэт А.П. озабочен, допустим, возвращением из долгого изгнания. Цель Наполеона, хоть нам и неизвестная, явно совершенно иная. Он не ищет царского суда хотя бы потому, что никакому земному суду уже неподсуден. Скорее он сам выступает в диалоге обвиняющей стороной; недаром же его приход поселяет некий ужас в собеседнике: «*Владыке полунощи // Владыка запада, грозный, предстоял*» (II, 312).

Неравенством положений А.П. и «владыки запада» предопределена разность содержания двух диалогов; поэтому попытка на основании «Воображаемого разговора...» представить себе по аналогии смысл речи Наполеона, кажется, заранее обречена

---

<sup>119</sup> Листов В.В. Новое о Пушкине. С.344-345.

на неудачу. Единственная возможность продолжить сопоставление – вспомнить уже обозначенную ситуацию «Пиковой дамы». Мы видели, как вымышленные герои повести от встреч в условной реальности переходят к общению в безусловно фантастических обстоятельствах. Постоянное нарушение границы между посюсторонним и потусторонним и есть здесь одна из отличительных черт повествования.

Кажется, в «Недвижном страже...» тоже необходимо принимать в расчёт *систему* реальных, т.е. в данном случае исторических, общений героев.

Первое, самое знаменитое реальное общение государей произошло летом 1807 года в Тильзите, когда оба монарха встретились на плоту по середине реки Неман. С этой встречей связана весьма распространённая легенда. В России Бонапарта почитали Антихристом, и народ не понимал, как же это православный царь видится и беседует с врагоугодником? Отсюда возникло народное суждение: не зря, мол, наш государь принимал Наполеона на реке – Супостата сперва окрестили, а уж после привели пред светлы очи русского монарха<sup>120</sup>. Как видим, уже здесь миф и факт идут, что называется, рука об руку. Новая встреча императоров произошла в следующем, 1808 году в тюрингенском городе Эрфурте по случаю подписания франко-русской конвенции. Больше монархи не встречались.

В сознании образованных русских Тильзит и Эрфурт остались знаками национального унижения, торжества злой воли Наполеона. Психологическую травму перенёс и лично император Александр Павлович. Обе встречи подчёркивали не только преимущества французского оружия, но ещё и личные неравенства самих монархов – неравенства способностей вообще, дипломатических дарований и даже неравенство возрастное (Наполеон старше). Неприятный осадок в душе царя должно было оставить и эрфуртское сватовство безродного капрала к любимой сестре государя, Екатерине Павловне.

Ничто не мешает даже выявить сходство матримонимальных ситуаций в не сложившихся семьях Бонапарта и великой княжны Екатерины Павловны, Германна и Лизаветы Ивановны.

Так или иначе – мыслимый *воображаемый разговор* Александра I, как героя пушкинского стихотворения, с западным оппонентом должен был вызывать у «владыки севера» неприятные

<sup>120</sup> Вяземский П.А. Старая записная книжка. М.: Захаров, 2003. С. 249.

воспоминания и приступы понятной робости. Это можно утверждать довольно основательно: Пушкин своею авторской волей приводит в царский чертог не побеждённого Наполеона-изгнанника, а императора французов в расцвете сил, в славе Аустерлица, Фридланда и Тильзита. Вот последняя, 10-ая строфа «Недвижного стража...»:

Таков он был, когда в равнинах Австерлица  
Дружины севера гнала его десница  
И русский в первый раз пред гибелью бежал,  
Таков он был, когда с победным договором  
И с миром и с позором  
Пред юным он царём в Тильзите предстоял (II, 312).

На указанном анахронизме построен основной контраст написанной части стихотворения. Вся континентальная Европа подвластна царю, «весь мир у ног его». И только один мятежный исторический дух Наполеона, подвергнутого казни через «мучение покоя», Александру I неподвластен и неподсуден.

Приняв всё это во внимание, обратимся ещё раз к <<«Воображаемому разговору...»>. Он начинается со слов «Когда б я был царь...». Здесь *когда* в значении *если*. Примерно тот же смысл выражения – в миниатюре «Когда помилует нас Бог, // Когда не буду я повешен...» или в строке «Когда не в шутку занемог...» из романа в стихах. Это *когда б* звучит как сигнал, посылаемый автором: всё дальнейшее гадательно – может сбыться, а может и не сбыться. Вместе с тем, кое какие достоверные исторические ситуации всё-таки просвечивают сквозь текст разговора.

Поэт А.П. – ссылный. Путь от «Недвижного стража...» к <<«Воображаемому разговору...»> для Пушкина в биографическом смысле есть путь из южной ссылки в Михайловское. В предшествующие пять лет (1820 – 1825), размышляя о судьбе Бонапарта, Пушкин неизбежно должен был сравнивать в воображении своё изгнанничество с изгнанничеством Наполеона. В формуле *казнённый мучением покоя* слышится, по нашему мнению, и автобиографическая составляющая.

Нет необходимости напоминать конкретные признаки этой казни – особенно в Кишинёве и в Михайловском; они общеизвестны. Вся воображаемая аудиенция у императора именно и построена как решающий поединок – либо поэт А.П. обретает свободу, либо несносное ссылное упокоение продолжается в худших ещё условиях и, может быть, пожизненно. Пушкин верен

себе. Из всех возможных исходов поединка с царём он мысленно выбирает для себя самый неблагоприятный, самый трагический: наговорить императору дерзостей («много лишнего»), рассердить его и получить ссылку в Сибирь, где «казнь покоя» может тянуться сколь угодно долго, хоть до гробовой доски.

Не забудем: всё это поэт пишет около 1825 года, когда триумфы и трагедии жизненного пути Наполеона уже завершены, уже в прошлом. Можно только удивляться, с какой точностью и тщательностью Пушкин примеряет на себя основные вехи биографии позднего Бонапарта. Ещё лицеистом он, Пушкин, помещал себя в воображении на остров Эльбу, на высоту скалы, где вместе со своим героем предавался честолюбивым мечтам. Теперь, десятилетие спустя, он и дальше пытается идти след в след за своим великим современником – в поэтических мечтаниях, в грёзах. Параллельно пути Наполеона (*о. Эльба – «сто дней» – Ватерлоо – о. Святой Елены – смерть*) он расставляет свои биографические вехи (*южная ссылка – Михайловское – разговор с Александром I – Сибирь – смерть?*).

Конечно, не всё совпадает так буквально и однозначно.

Несходны, например, масштабы событий. Два падения Наполеона и битва при Ватерлоо между двумя ссылками суть явления всемирной истории. С этими явлениями, разумеется, несоизмеримы изгнания малоизвестного в Европе русского поэта – тем более ещё и вымышленные (как ссылка в Сибирь). Но нас занимает не сличение масштабов, а сходство биографий. И притом не совершенно реальных биографий, а таких, какими складывались они в видениях Пушкина. Именно там, где «в вымыслах носился юный ум», можно было сравнивать сражение при Ватерлоо и словесный поединок с царём, а изгнание на остров Святой Елены со ссылкой в Сибирь.

У воображения, как правило, нет ясной цели. Оно обычно совершенно бескорыстная игра ума и чувства. Поэтому мы даже не ставим вопрос: *зачем* михайловскому изгнаннику высокое сравнение с Наполеоном? Перед нами – весьма нередкий у Пушкина способ постижения и его собственных жизненных путей, и исторических характеров. Выводя на историческую сцену поэта А.П., он получает возможность глубже проникнуть в существо драмы, разыгрываемой на этой сцене. И, наоборот: в контексте всемирной истории собственный характер, собственный жизненный путь, обретают великую значимость, объясняются по аналогии с судьбами народов, монархов.

«Мы видим, как мысль пародировать историю и Шекспира» (XI, 188) представилась Пушкину в том же 1825 году и в том же Михайловском, т.е. там же и тогда же, когда были воображены разговор с императором и ссылка в Сибирь. Сложение «Графа Нулина», о котором здесь идёт речь, и диалога с Александром I в каком – то смысле совершенно сходно. Конечно, «Граф Нулин» разыгран на придуманных героях. Но ведь в <«Воображаемому разговору...»> оба собеседника – и Александр Сергеевич, и Александр Павлович – тоже довольно вымышлены, хоть и носят исторически достоверные имена. То же самое происходит и в стихотворении «Недвижный страж...» – это опять-таки видение поэта, пародирующее всемирную историю.

На следующем этапе творчества Пушкина пародия на Наполеона во образе Германа явится к пародируемой княгине Н.П. Голицыной, скрытой под маской графини\*\*. Пушкин и сам видит себя в ряду своих героев, мысленно переживает события своей собственной жизни как исторические события. В этой связи усложняется отношение поэта к Наполеону. Давно и не нами замечено: уже в двадцатые годы Пушкин видит в нём не только врага России, как полагалось бы патриоту, но ещё и сильную личность, властелина судьбы, гения, который повелевает народами и государствами<sup>121</sup>.

В «Недвижном страже...» дана и ещё одна, весьма обязывающая характеристика «владыки запада». Наполеон представлен как *мятежной вольности наследник и убийца*. Эта двойная формула много и всесторонне обсуждалась исследователями<sup>122</sup>. Она служит наиболее ёмким и кратким пушкинским определением императора французов. Нам остаётся только понять её *видоизменение* в перспективе, в пародийных образах героев-эпигонов, тех самых двуногих тварей, которые «глядят в Наполеоны».

Наиболее известный из таких героев – Онегин. «Уж не пародия ли он?» – спрашивает Пушкин. Эмблема Онегина – столбик с куклюю чугуновой в усадебном кабинете, т.е. бюст всё того же императора. Между тем, уже первая глава романа в стихах рекомендует Евгения как наследника («наследник всех своих

<sup>121</sup> См., напр.: *Муравьёва О.С.* Пушкин и Наполеон (пушкинский вариант «наполеоновской легенды»). С. 5-32.

<sup>122</sup> *Там же.* С. 15.

родных», а в главе шестой он становится убийцей («убийца брата»). Понятно: речь не идёт о буквальном сходстве жизненных путей. Кто-кто, а уж деревенский старожил-дядюшка никакой мятежной вольности не олицетворяет. Точно так же и Ленский со своим патриархальным идеалом женитьбы на уездной барышне ни в каком родстве с французской революцией не состоит. И всё-таки оба слова об Онегине сказаны: *наследник* и *убийца*. В быту российского дворянства повседневно известны и наследования имений, и – куда реже – гибель у дуэльного барьера. Масштаб таких происшествий, конечно, не мог соизмеряться с событиями всемирной истории. Но под пером Пушкина нередко самые заурядные проявления уездной жизни, пусть и уменьшенные в подобии, обретают внутреннее сходство с историей страны и мира.

Возможность облечь «большую» историю в формы обыкновенного, частного существования, бесспорно осознавалась Пушкиным. Эта возможность, вытекающая из жизненного опыта, несла в себе и обратный ход: разыграть высокую драму, достойную исторической сцены, в кругу частных лиц и выстроить ее как аналогию крупных общественных деяний. Сближение коллизий и характеров неисторических героев литературных произведений с теми коллизиями и характерами, что остаются в летописях народов, постоянно занимают Пушкина<sup>123</sup>.

И тут – прямой путь через десятилетие от стихотворения «Недвижный страж...» к «Пиковой даме».

Германн – не наследник графини\*\*\*. Её прямым наследником выступает внук, Томский<sup>124</sup>. Но претензии инженера на наследство, ему не принадлежащее, отмечено уж в первой главе повести. Он удивлён: как же Томский не выведал у бабки тайну трёх карт? То, что тайна, быть может, связана с погибелью души, Германна не смущает. Он хочет наследовать вопреки родственным связям, наперекор обычаям и традициям. Это сближает искателя не только с Наполеоном вообще, но с Наполеоном в Эрфурте, претендующим на русское наследство вместе с рукой великой княжны из дома Романовых.

Оба героя – и император, и скромный инженер – ведут себя в сущности одинаково. Отказ в сватовстве для одного и отказ открыть тайну для другого заставляют обоих взяться за оружие. Конечный

<sup>123</sup> Листов В.С. Новое о Пушкине. С. 82-89.

<sup>124</sup> Указано Л.А. Перфильевой.

результат в обоих случаях одинаков. В довершении аналогий напомним, что Германн, потерпев поражение с пистолетом в руках, соглашается на мирный брак с воспитанницей графини. Другими словами, он – на своём уровне – вращается в том же кругу соображений, что и его венценосный двойник – об этом у нас как раз и шла речь.

Наполеон и Германн – убийцы.

Но в сознании Пушкина императору предъявляется не только душегубство вообще, но прежде всего конкретно знаменитое убийство герцога Энгиенского в 1804 году. Именно казнь герцога, совершенную по ложным обвинениям, поминает Пушкин в одной из своих помет к статье М.П. Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия» (XII, 248). Сопоставление убийств русского царевича и французского принца, разделённых двумя столетиями, занимает Пушкина как пример бессмысленных преступлений, продиктованных ложно понятой необходимостью<sup>125</sup>.

Преступление Германна столь же бессмысленно и так же зиждется на ложных посылках. Оно, а не одно лишь портретное сходство, даёт основания сравнивать офицера с «владыкой запада». Тут не больше смысла, чем в сравнении пощёчины Тарквинию с происшествием в соседнем уезде.

Не больше.

Но ведь и не меньше...

\* \* \*

На протяжении всей работы нам не раз пришлось пересекать границы между творчеством Пушкина и его биографией, а равно между его произведениями разных видов и жанров, между исторической реальностью и художественным вымыслом. В конце концов, мы приходим к тому, с чего начали: в пушкинском мире оказывается трудно, иногда просто невозможно твёрдо указать границы, отделяющие одно сочинение от другого; размежевать характеры героев, мотивы, а то и целые пласты их и пласты авторского сознания. Достаточно бывает поставить в центр внимания какое-то одно произведение или даже один мотив, и это немедленно влечёт за собой приобщение к другим сочинениям, к иным героям и сюжетным мотивам.

<sup>125</sup> Муравьёва О.С. Пушкин и Наполеон. С. 18-19.

Так и происходит в данном случае со стихотворением «Недвижный страж дремал на царственном пороге...».

**«СЫН КАЗНЕННОГО СТРЕЛЬЦА»:  
НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА**

В томе прозы большого академического собрания сочинений Пушкина на последних двух страницах раздела, озаглавленного «Планы ненаписанных произведений», помещены пять отрывочных записей, объединенных общим редакционным, не принадлежащим автору заголовком: «Планы повести о стрельце» (VIII, 430-431).

Заключительному, пятому из этих отрывков и посвящен предлагаемый сюжет.

Вот текст пушкинского наброска, известного исследователям на протяжении почти столетия<sup>126</sup>.

**«Сын казненн.<ого> стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему П.<етр> поручает свое письмо. –**

***Приказч.<ик>* вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имени своего, и отдан в солдаты. Стрел.<ецкий сын> посещает его семейство и у П.<етра> выпрашивает прощение молодому <барину>» (VIII, 431).**

Текст столь краток, что о полной реконструкции неосуществленного замысла нечего и думать. Однако можно попытаться подробно прокомментировать набросок, установить некоторые существенные фабульные и идейные связи как внутри текста, так и в прилежащем к нему окружении других произведений Пушкина. Все это и входит в нашу задачу.

**I**

Интересующий нас набросок обычно датируется примерно 1834 годом. Основанием служит водяной знак на бумаге: «А.Г. 1834». Согласно научному описанию рукописей Пушкина,

---

<sup>126</sup> Первую публикацию см.: *Зильберштейн И.С.* Из бумаг Пушкина. М., 1926. С. 31-32.

хранящихся в ИРЛИ, такой знак имеет бумага № 155<sup>127</sup>. В описании указывается всего на 24 случая употребления бумаги этого типа<sup>128</sup>. Среди них – 17 писем. Только два из них (А.Х. Бенкендорфу – в ноябре и декабре) датированы 1834 годом; остальные 15 приходятся на 1835 год. Самое позднее письмо – П.А. Клейнмихелю – от 19 ноября 1835 года.

Если Пушкин пользовался такой бумагой с конца 1834 по конец 1835 года, то, по-видимому, набросок «Сын казненного стрельца», и был написан в этот промежуток времени. Примерная датировка наброска 1835 годом выглядит даже более вероятной, чем общепринятая – 1834 год.

Б.В. Томашевский давно заметил, что «Сын казненного стрельца», возможно, «не имеет отношения к замыслу, с которым связаны первые четыре плана»<sup>129</sup>, т.е. наброски к повести о стрельце. Свое мнение исследователь основывал на различиях исторических эпох, в которые происходит действие: в повести о стрельце – 1682 год, в «Сыне казненного стрельца» – 1711 год, Прутский поход. Первые четыре плана датируются 1833-1834 годами. Если верно предположение о датировке «Сына казненного стрельца» – 1835 год, то мы со своей стороны можем подтвердить версию Б.В. Томашевского; действительно, этот автограф не имеет прямого отношения к четырем предыдущим и его следовало бы печатать отдельно от остальных и под собственным заголовком.

Отметим также несколько разночтений и особенностей в тексте «Сына казненного стрельца».

Во фразе: «*Приказч. <ик>* вдовы доносит на своего молодого барина» (VIII, 431) – над словом «приказчик» Пушкин надписывает: «*Sosed?*» – и подчеркивает надписанное слово. В варианте последней фразы указан чин стрелецкого сына – «офицер». Наконец, под текстом Пушкин записывает в столбик 5508/1654, т.е. дату по новому летосчислению (от Рождества Христова) пробует обозначить годом допетровского летосчисления – от сотворения мира. Но не завершает своего расчета, который дал бы ему год 7162. Связь даты с планом вероятна, но остается неясным, имеется ли тут в виду реальное

<sup>127</sup> См.: *Модзалевский Л.Б., Томашевский Б.В.* Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. М.; Л., 1937. С. 108-109.

<sup>128</sup> Там же. С. 326.

<sup>129</sup> *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. VI. С. 552.

историческое событие или вымышленный момент (например, год рождения казненного стрельца, чей сын воспитан вдовою).

Историко-фактографический комментарий к тексту наброска не вызывает особых затруднений.

Отец главного героя служил в стрелецком войске, он не был знатен. Пушкин в трудно датируемой заметке «В древние времена...» пишет, что «...дворяне гнушались службою стрелецкою и считали оную пятном для своего рода – по сей причине большая часть их начальников была низкого происхождения» (XII, 203)<sup>130</sup>. О чинах отца героя в плане не говорится: видимо, он не был дворянином по происхождению.

Казнь стрельца, очевидно, не входила в основную фабулу задуманного произведения. Она есть исходный факт, факт предыстории излагаемых происшествий. Однако Пушкин вряд ли мог не прикреплять мысленно это трагическое событие к какому-то реальному и конкретному эпизоду 80-90-х годов XVII столетия – историю регентства Софьи и «начала славных дней Петра» он знал весьма детально. Три исторических момента были в поле зрения Пушкина. Во-первых, осень 1689 года, когда после свержения царевны-регентши был казнен начальник стрелецкого приказа Федор Шакловитый со своими приверженцами. Во-вторых, раскрытие в 1697 году заговора полковника И.Е. Циклера, стоившее жизни заговорщикам из стрельцов. И наконец, в-третьих, массовые, ставшие легендарными, казни после стрелецкого бунта 1698 года.

В зависимости от характера своего замысла Пушкин мог ориентироваться на любое из трех событий. Дело Шакловитого, известное в пушкинские времена только специалистам, могло все же привлечь внимание автора. Если герой осиротел в 1689 году, то к моменту Прутского похода 1711 года ему должно быть не менее 22 лет. Тогда он вполне бы мог с малолетства воспитываться у вдовы-дворянки, «успевал» бы вступить в службу и получить офицерский чин. В результате же гибели отца в конце 90-х годов, исторически более вероятной, сирота попадал в новое семейство далеко не в раннем младенчестве; его жизнь у приемной матери исчисляется тогда сравнительно недолгим временем. А это должно было несколько ослаблять и мотив благодарности стрелецкого

<sup>130</sup> На связь между набросками «Сын казненного стрельца» и «В древние времена...» указывается в комментариях к кн: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под ред. М.А. Цявловского. М., 1936. Т. 5. С. 664.

сироты, и возможности подмены одного юноши другим при вступлении в службу. Пушкин, однако, вполне мог пренебречь такой строгой хронологической приуроченностью.

Его замысел, как мы покажем дальше, имел все признаки семейного повествования, в котором нередко использовались некоторые моменты биографий пушкинских предков. Автор поэтому вполне мог отнести семейную трагедию своего героя к раскрытию заговора Циклера в 1697 году, так как среди казненных действительно был предок поэта. («С Петром мой пращур не поладил // И был за то повешен им» – III, 262).

И, наконец, необходимо более внимательно всмотреться и в драматические обстоятельства стрелецкого бунта 1698 года, завершившегося великой казнью, жертвы которой исчислялись тысячами. Пушкин прекрасно представлял себе масштабы события. В подготовительных материалах к «Истории Петра» оно служит основанием для периодизации, недаром же целая тетрадь материалов озаглавлена: «До 1700 (от казни стрельцов)» (X, 42).

Почти полтора века отделяли Пушкина от «мятежей и казней» 1698 года. Но память о них была достоянием не одного только круга образованных людей. Она глубоко укоренилась в народном сознании. Известно, например, что мотив отмщения за убиенных стрельцов использовали «агитаторы»-пугачевцы. Один из них излагал историю следующим образом: «Блаженной памяти государь император Петр Первой казнил стрельцов по наветам бояр, и как после рассмотрел, что казнил их безвинно, то сказал боярам так: был Петр, которой казнил стрельцов напрасно, по одним наветам боярским, будет и еще Петр, который отмстит боярам за стрельцов неповинную кровь»<sup>131</sup>.

Таким образом, народная легенда гласила, что сыновья казненных стрельцов вместе с их внуками и правнуками, возглавляемые потомком Петра I, т.е. Петром III – Пугачевым, мстили боярам, исправляя старую историческую несправедливость, осознанную уже самим Петром I. Пушкин как историк Пугачева был необычайно чуток и внимателен к такого рода легендам. Мы не знаем – и, наверное, не узнаем никогда, – был ли он знаком с народным истолкованием пугачевской крестьянской войны как мести за невинно убиенных стрельцов. Если же среди сказаний о

---

<sup>131</sup> Цит. по: *Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977. С. 157 (примеч.).

Пугачеве, слышанных Пушкиным в 1833 году в поволжских и оренбургских краях, мелькнул мотив связи со стрелецкой казнью, то можно не сомневаться, что он остался в памяти поэта<sup>132</sup>. Разумеется, мы далеки от того, чтобы объявлять народное предание прямым источником пушкинского текста. Оно упомянуто только как свидетельство великой значимости события, определившего во многом судьбы персонажей задуманного произведения.

В пользу версии о казни отца героя именно в 1698 году говорит и еще одно важное обстоятельство. Д.П. Якубович давно провел существенную параллель между замыслом о сыне казненного стрельца и одной из сюжетных линий повести о царском арапе<sup>133</sup>. Там стрелецкий сирота Валериан воспитан в боярском доме Ржевских; мальчик взят в дом потому, что покойный отец его «во время бунта» (VIII, 26) спас жизнь боярину Ржевскому. Стрелецким же казням в связи с раскритием заговора Шакловитого и Циклера не предшествовали ярко выраженные бунты.

Кроме трех, указанных у Пушкина, была и четвертая возможность: вообще не называть конкретно историческое событие, осиротившее главного героя, а ограничиться обобщенным напоминанием о мятежах и казнях в 80-х и 90-х годах предшествующего столетия, близко затронувших семью. Самое вдовство приемной матери героя могло быть связано с репрессиями конца века. По замыслу Пушкина, она – вдова-дворянка: ее родной сын упоминается как «молодой барин». Момент очень важный. Мы помним, что стрелецкий сирота недворянского происхождения, и здесь, как нам кажется, корень всех дальнейших осложнений.

Если продолжать аналогию с повестью о царском арапе, то нетрудно заподозрить роман приемыша с названной сестрой. Романическая ситуация легко прослеживается в замысле 1835 года.

Как в большинстве случаев у Пушкина, здесь положение осложнено сословной и имущественной пропастью между

---

<sup>132</sup> Напомним, что многих участников бунта 1698 года Петр I сослал в Поволжье и на Урал, так что память о кровавых событиях конца XVII века должна была там жить в семейных преданиях. Заметим также, что среди мест ссылки мятежников-стрельцов была и Астрахань, о чем Пушкину было известно (X, 43), а приведенная А.И. Клибановым легенда записана в 1774 г. в Саратове. См.: *Клибанов А.И.* Народная социальная утопия... С. 156-157.

<sup>133</sup> См.: *Якубович Д.П.* «Арап Петра Великого» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1979. Т. IX. С. 290.

влюбленными. Мать девицы-дворянки владеет имением, за которым доглядывает приказчик. А приемыш – недворянского происхождения и беден. Надо отметить и еще одно обстоятельство, отягчающее и судьбу влюбленных, и жизнь вдовы: семья, принимающая сына казненного стрельца, поступает вопреки закону. И Пушкин об этом прекрасно знает. Читая и конспектируя труд И.И. Голикова «Деяния Петра Великого...», Пушкин выписывает указ Петра I, помеченный 1700 года, «О высылке из Москвы *остаточных* стрельцов и о недержании их никому» (X, 56). По этому указу москвичи были не вправе дать убежище у себя не только стрельцам, но также их женам и детям<sup>134</sup>. Значит, уже с самого начала, задолго до доноса приказчика, вдова и ее домочадцы нарушали этот жестокий запрет. Но главные отступления от закона состояли не только в этом.

Фраза из пушкинского плана о приеме, который «идет в службу» вместо сына приемной матери, влечет за собой необходимость подробного историко-фактографического комментария. В нашу задачу, разумеется, не входит исследование реальной службы дворянских недорослей в эпоху петровских реформ. Достаточно будет ограничиться тем кругом фактов, которые несомненно были известны Пушкину.

Сама ситуация, при которой один юноша подменяет другого, убеждает в том, что служба не добровольна. Это призыв. Он обязателен. Основной источник пушкинских сведений о Петре – труд И.И. Голикова – сообщает о призыве дворянских недорослей среди акций, предпринятых Петром I в мае 1706 года<sup>135</sup>. Далеко не все, сообщаемое историографом, Пушкин вносит в свой конспект, но этот факт воспроизведен рукою поэта: Петр, пишет Пушкин, «указом повелел нигде незаписанных недорослей из дворян, укрывающихся, записывать в службу» (X, 98). Перед абзацем, включающим эту запись, Пушкин ставит знак «нотабене» – NB<sup>136</sup>. В следующей тетради он (снова вслед за Голиковым) отмечает среди актов Петра I за 1706 г. указ «О записке недорослей из дворян в драгуны» (X, 109).

Следующие по времени известные Пушкину указы о явке недорослей относятся ко второму и третьему десятилетиям века и потому не имеют отношения к рассматриваемому замыслу, ведь сын

<sup>134</sup> См.: Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России... СПб., 1837. Т. 2. С. 28.

<sup>135</sup> Там же. С. 219.

<sup>136</sup> См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. IX. С. 113.

казненного стрельца в 1711 году участвует в Прутской кампании уже в офицерском чине, в числе людей, близких к Петру или по крайней мере ему известных. Следовательно, 1706 год можно считать рубежной датой в истории, намеченной пушкинским наброском. Заметим, что отношения действующих лиц с законом заметно осложнились. Во-первых, дворянский недоросль – родной сын вдовы – не идет в службу, укрывается от призыва. Во-вторых, сын казенного стрельца, человек неблагородного сословия, незаконно обретает дворянское достоинство, что помогает ему получить офицерский чин. Молодые люди как бы меняются жребиями: раньше сирота скрывал свое стрелецкое происхождение, теперь скрываться должен недоросль.

Такого рода «переодевания» (в духе Вальтера Скотта) нередки в творчестве Пушкина в 1830-е годы. Вспомним «Барышню-крестьянку», «Анджело», «Дубровского», «Капитанскую дочку». В последнем случае маскарад связан с преступлением, считавшимся в России одним из самых тяжких, – самозванством. В нем повинен теперь и сын казенного стрельца: он переменяет имя и тем повысил свой социальный статус. Самозванство всегда отягчалось еще и тем, что нарушало среди других государственных установлений и церковные законы. Ведь перемена прозвания была отказом от покровительства того святого, во имя которого человек был крещен, что почиталось кощунством.

Пушкинский план не дает, к сожалению, материала для суждении об участии женщин в подмене. Можно только догадываться о горе дочери, которую разлучают с возлюбленным, – по аналогии с тем, как плачет в «Арапе Петра Великого» Наталья Ржевская, когда уходит в войско стрелецкий сирота Валериан (VIII, 26). С другой стороны, вдова должна быть довольна: она сохраняет родного сына от опасностей военной службы и разлучает дочь с юношей, который ей не пара.

Впрочем, все это область догадок.

О том, что происходит с героями в пятилетие между 1706 и 1711 годами, мы тоже почти ничего не знаем. Достоверно известно одно: сын казенного стрельца дослужился до офицерского чина. Попытку более конкретно заполнить пробел его биографии мы сделаем несколько позже. О семье вдовы совсем ничего неизвестно: по-видимому, она существует в своем замкнутом патриархальном мире и, откупившись приемышем, пока никак не затронута петровскими преобразованиями.

Дальнейшее развитие действий, обозначенное в пушкинском наброске, приводит нас к подробностям Прутского похода Петра I.

Поход 1711 года против турок, как известно, окончился неудачей. Русские войска были окружены на реке Прут, и под угрозой полного поражения Петр I вынужден был согласиться на подписание мирного договора, который предусматривал отказ России от многих прежних завоеваний.

О Прутском походе существует обширная научная литература. Но нас в дальнейшем будет интересовать не столько область строгих и проверенных данных по этому предмету, сколько легендарная ситуация, связанная с письмом Петра I в Сенат. Предание, известное Пушкину и нашедшее отражение в изучаемом наброске, гласит, что Петр, попав в безнадежную военную ситуацию, якобы написал завещание, обращенное к сенаторам.

Известный собиратель анекдотов о Петре I Яков Штелин, к труду которого и восходит бытование легенды, так передает содержание этого письма-«завещания»: «Уведомляю вас, что я со всею армиею без всякой вины или неосмотрительности с нашей стороны, единственно по полученным ложным известиям, окружен со всех сторон турецким войском, которое вчетверо наших сильнее, и лишен всех способов к получению провианта, так что без особенной Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, как что со всеми нашими людьми погибну либо взят буду в плен. В последнем случае не почитайте меня царем и государем своим и не исполняйте никаких приказаний, какие тогда, может быть, от меня были бы к вам присланы, хотя бы они и собственной моею рукою были писаны, пока сам я не возвращусь к вам. Если ж я погибну и вы получите верное известие о моей смерти, то изберите достойнейшего из вас моим преемником»<sup>137</sup>.

И анекдот Штелина, и включенный в него текст «завещания» Петра I Пушкин прекрасно знал. В материалах к «Истории Петра I» он высказал критическое соображение о подлинности документа: «Штелин уверяет, – писал Пушкин, – что славное письмо *в сенат* хранится в кабинете е.<го> в.<еличества> при императорском дворце. Но к сожалению анекдот кажется выдуман и чуть ли не им самим. По крайней мере письмо не отыскано» (X, 168).

---

<sup>137</sup> Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. М., 1829. Ч. 1. С. 62-63.

От этого замечания Пушкина берет свое начало историография прутского «завещания» Петра I. Проблемой подлинности письма до революции занимались Н.Г. Устрялов, С.М. Соловьев, Ф.А. Витберг, Е.А. Белов, а в наше время Е.П. Подъяпольская, Н.И. Павленко и другие историки. Однако Пушкин, как утверждает современный исследователь, был первым, кто высказал сомнение в достоверности письма-«завещания»<sup>138</sup>. В настоящее время мнение о подделке штелинского текста разделяется многими специалистами<sup>139</sup>.

Но одно дело пушкинское понимание «выдумки» письма Штелиным, а другое – необходимость этого письма-«завещания» в ткани художественного произведения. Когда того требовала логика сочинения, Пушкин без колебаний отступал от «низких истин» строго документальной истории. Например, он прекрасно знал обстоятельства Смутного времени, но в «Борисе Годунове» воспроизвел их далеко не буквально: преувеличил роль своих предков, преуменьшил умственные способности патриарха Иова, вольно распорядился некоторыми фактами военной истории. Видимо, письмо-«завещание» с Прута должно было занять место в ряду таких сознательных пушкинских уходов от достоверных источников. В замысле о сыне казненного стрельца оно становится одной из кульминаций, ибо отражено в тексте кратчайшего конспективного наброска.

Итак, герой будущего повествования летом 1711 года, преодолевая турецкие заставы, везет пакет с «завещанием» Петра I из прутского окружения в Россию. Параллельно важные события должны происходить и в оставленном приемышем семействе вдовы-дворянки, где от царской службы скрывается названный брат героя.

В марте 1711 года, незадолго до выступления в поход против турок, Петр I издает указ, прямо влияющий на судьбу недоросля. В подготовительных материалах к «Истории Петра» Пушкин так излагает его содержание: «...объявить: кто сыщет скрывающегося от службы или о таковом возвестит, тому отдать все деревни того, кто ухоронивался» (X, 158). И эту запись Пушкин отмечает – на этот раз двумя знаками «нотабене» – NBNB<sup>140</sup>.

<sup>138</sup> См.: Павленко Н.И. Три так называемых завещания Петра I // Вопросы истории. 1979. № 2. С. 134.

<sup>139</sup> Там же. С. 138.

<sup>140</sup> См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. IX. С. 179.

Понятно, что такое царское повеление должно было по всей стране стимулировать доносчиков. Но реальных обстоятельств доноса на семью вдовы мы не знаем. Отметим только: вопросы «кто донес?» и «когда донес?» тесно между собой связаны. Мы помним, что, судя по автографу наброска, Пушкин выбирает на роль изобличителя одного из двух персонажей – соседа или приказчика. Для ситуации 1711 года больше подходит доносчик-сосед.

Приказчик у вдовы – вряд ли дворянин; скорее он из холопов, из дворовых. Разоблачение недоросля не принесет ему настоящей выгоды – он ведь по своему социальному положению не может владеть землей и крепостными, а значит ему нельзя «отдать все деревни того, кто ухоронивался». Другое дело – сосед. Он должен быть благородного происхождения. Ибо само понятие «соседство» в дворянском быту определяет собой момент некоего социального равенства, внутрисловной общности. Вспомним диалог из «Евгения Онегина»: «– Ты ей знаком? – “Я им сосед”» (VI, 173). Помещику XVIII-XIX вв. в голову не пришло бы назвать соседом простолюдина, живущего неподалеку. Значит, доносчиком в 1711 году скорее может быть дворянин, чьи поместья прилежат к землям вдовы. Изобличая соседскую семью, он «округляет» свое имение.

Все это правдоподобно, но не может считаться единственно возможной реконструкцией. Есть и другая версия.

В подготовительных материалах к «Истории Петра» Пушкин приводит целую цепь все более строгих указов о явке дворян в службу, изданных после 1711 года. Нас будут интересовать только три записи, сделанные рукою Пушкина. Первая запись – в тетради, отражающей правление Петра I в 1713 году: «Прибывшие из Москвы сенаторы, – пишет Пушкин, – донесли Петру, что вопреки указу 1711 года многие дворяне от службы укрываются. Тогда Петр издал тиранский свой указ (от 26 сент.<ября>), по которому доносителю, из какого звания он бы не был, отдавались поместья укрывающегося дворянина» (X, 202).

Под следующим, 1714 годом Пушкин записывает: «Целый месяц (сентябрь. – *В.Л.*) Петр каждый день присутствовал в сенате <...> Указ о дворянских детях подтвержден был с тою же строгостию, а доносы по оному повелел подавать самому себе» (X, 209).

И, наконец, третья запись – под январем 1716 года: «Петр повелел представлять дворянских детей для обучения и отсылки в чужие края, под опасением описания имения в пользу доносителя, хотя бы и холопа. В минувшем (т.е. 1715 г. – *В.Л.*) году было их

представлено 1006. 26 янв.<аря> имена их напечатаны и разосланы при указе о недорослях» (X, 220).

Все три записи – существенная документальная параллель к замыслу о сыне казненного стрельца. Они свидетельствуют о том, что с осени 1713 года отношение Петра I к неявишимся недорослям резко ухудшается; указ этого времени послужил стимулом к новым доносам, в которые оказался вовлеченным широчайший круг лиц – даже и людей холопского звания. Здесь и возможность обогатиться поместьями, и сделать карьеру – ведь есть редчайший случай подать бумагу на высочайшее имя. Зная все эти обстоятельства, Пушкин колеблется: «сосед» или «приказчик»? Если все-таки доносит приказчик, то ситуация тяготеет скорее ко времени не ранее 1713 года.

Заметим попутно, что эпизод доноса приказчика в связи с указами 1713-1716 гг. сильно обостряет замысел. Недаром же Пушкин, далеко отступая от текста благонамеренного Голикова, называет эти указы «тиранскими». Мотив для Пушкина не новый. В «Борисе Годунове» упоминаются «дворецкий князь-Василья и Пушкина слуга», которые «пришли с доносом» к родственнику царя (VII, 44). Это еще одно из многочисленных доказательств тиранического характера годуновского правления. Действия Петра в этом эпизоде еще ужаснее – он сам читает доносительские челобитные.

Таким образом, Петр мог познакомиться с доносом приказчика вдовы. Значит, когда сын казненного стрельца приходит просить за поруганное семейство, царь, быть может, уже знаком с обстоятельствами дела. Тут тоже есть прямая типологическая параллель с «Капитанской дочкой»: когда Маша Миронова просит за семью Гриневых, то императрица хорошо знакома с доносительскими показаниями Швабрина.

Теперь подведем итоги наших хронологических выкладок.

Сын казненного стрельца взят на воспитание дворянской вдовой в 80-90-е годы XVII столетия. Около 1706 года он уходит в военную службу. Летом 1711 года, уже офицером, он везет из прутского окружения письмо-«завещание» Петра I. Не ранее того же 1711 года (а скорее даже не ранее 1713 г.) родной сын вдовы по доносу лишен чести и имения, а затем отдан в солдаты. После этого сын казненного стрельца пытается прибегнуть к покровительству Петра I, чтобы спасти близкую семью – быть может, семью своей невесты.

Таков первый, историко-фактографический слой комментариев к пушкинскому наброску.

## II

Теперь нам предстоит ответить на один из основных вопросов: каково происхождение самой формулы «сын казненного стрельца»? Принадлежит ли она Пушкину или обозначение для безымянного героя есть заимствование из источника, знакомого автору?

Ответ на этот вопрос вновь приводит нас к основному сочинению И.И. Голикова.

В первых двенадцати томах голиковских «Деяний Петра Великого» изложена биография монарха, даны его письма, документы. Следующие восемнадцать томов суть «Дополнения к деяниям...», в которых автор нередко отступает от хронологии и даже собственно от биографии. Один из томов полностью посвящен анекдотам из жизни Петра I<sup>141</sup>.

Самое близкое знакомство Пушкина с томом голиковских анекдотов о Петре I сомнений не вызывает. Уже в «Опровержении на критики» (1830) поэт отмечает ошибку Голикова в анекдоте, посвященном арапу Ибрагиму (XI, 153). Мотив из анекдота о Петре-свате, женившем безродного Румянцева, обнаружил в «Арапе» Д.П. Якубович<sup>142</sup>. Теперь оказывается, что чтение дополнительного тома Голикова не прошло бесследно и для замысла о сыне казненного стрельца.

В этом томе помещен анекдот с длинным названием: «Князь Меншиков жалуется государю на князя Долгорукова; следствие о том»<sup>143</sup>. Насколько нам известно, его текст никогда не попадал в поле зрения пушкинистов. История, рассказанная Голиковым, в общих чертах такова.

Князь Долгоруков, отвечающий за снабжение армии, отпускает во все полки синее сукно для мундиров. Для одного полка, полка А.Д. Меншикова, синего сукна не хватило, и оно было заменено зеленым. Меншиков же, не зная причины замены, решил, что зеленые мундиры есть отличие именно его полка. Когда в следующий раз Долгоруков отпустил обычное синее сукно, Меншиков обиделся и

<sup>141</sup> Голиков И.И. Дополнения к Деяниям Петра Великого. М., 1796. Т. 17.

<sup>142</sup> Якубович Д.П. «Арап Петра Великого». С. 271.

<sup>143</sup> Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... Т. 17. С. 193.

послал своего полковника к Долгорукову с вопросом: «Для чего на полк его прислано сукно не того *колеры*?». Полковник оказался явно не силен в новой, иностранной терминологии петровского реформаторства. Вопрос своего шефа он забавно перевирает: «Для чего на полк отпущено сукно не того *калибра*?». Долгоруков за это назвал его глупцом и еще неосторожно прибавил: «...да и тот таков же, кто тебя в полковники произвел».

Но производство в чин полковника – компетенция самого царя. Поэтому последовал донос Меншикова Петру: Долгоруков, мол, назвал своего государя глупцом. Петр вызывает Долгорукова для объяснений. Вот как Голиков излагает беседу Петра с князем, обидевшим полковника: «Государь спрашивает его паки: говорил ли ты присланному к тебе от Меншикова полковнику, что он дурак, а тако ж и тот, кто его произвел в полковники? – Говорил, отвечает князь; но кто ж жалует в полковники? пресекает его речь государь: ведь это я; следовательно, и я у тебя дурак. – Нет, государь, сего ты на свой счет принять не должен; вы знаете, как я вас разумею; а сие сказано мною о Меншикове, который дурака того, из подлости и из изменничья сына производя, довел до полковника, которого ты по его же убеждению уже пожаловал в полковники. Но ты б, по правоте своей, конечно, его не пожаловал в такой чин, ежели б Александр похвалою службы его тебя к тому не убедил. Но спроси, где он служил и чем себя отличил, то окажется вся его заслуга в коварном только ласкательстве и в наушничестве ему, Александру. – Какого же изменника он сын? – спросил паки монарх. Казненного такого-то стрельца, – отвечивал князь; я о сем узнал достоверно и хотел было тебе о том сказать, но ты меня сам предупредил, причем рассказал монарху, за что он назвал его дураком».

Итак, источник основной формулы замысла – «сын казенного стрельца» – приведенный отрывок из текста Голикова.

Для своего наброска Пушкин заимствует у Голикова происхождение героя и его формальное положение – офицер из близкого окружения Петра I. Существенное сравнение персонажей затруднено. С одной стороны, Пушкин не успел достаточно развить характер сына казенного стрельца, хотя можно почти ручаться, что он олицетворял бы положительное начало повествования; с другой стороны, историограф вовсе не стремится к художественной характеристике своего полковника из опальной семьи. Голиковский офицер в анекдоте – даже не самостоятельно действующий субъект, а скорее объект соперничества Меншикова и Долгорукова. Мотив

такого соперничества проходит сквозь несколько соседствующих анекдотов.

Чем мог привлечь внимание Пушкина почти бессловесный персонаж, не отличающийся сильными умственными способностями? Думается, он заинтересовал Пушкина не сам по себе, не как туповатый носитель забавного каламбура «колер – калибр». В судьбе безымянного полковника проглядывают характерные черты эпохи. «Мятежи и казни» совершались так недавно, затронули такие людские массы, что память о них еще горячо кровотоцит в сознании, в быту всех сословий. Пушкину, конечно, нетрудно было вообразить молодого офицера, усвоившего все новые веяния; быстро, внешне легко поднимается он по ступеням служебной лестницы. Но в то же время его душу должны терзать и память о казненном отце, и вечный страх разоблачения; получая очередную чин или награду, все более возвышаясь, офицер этот внутренне постоянно ужасается: вдруг кто-нибудь узнает о его происхождении и донесет на «изменничья сына».

Именно так происходит и у Голикова, и у Пушкина. Только в анекдоте прямым доносчиком выступает аристократ Долгоруков, а в пушкинском наброске разоблачение настигает сына казненного стрельца «издалека», обнажая корни давней попытки обойти «тиранский» закон.

Симпатии Голикова на стороне Долгорукова. Мы увидим впоследствии, как князь, вызвав гнев Петра на сына казненного стрельца, потом выпрашивает для него прощение. Герой Пушкина – не игрушка царя и вельмож, в повествовании о нем «отразился век» со всеми его противоречиями. Сын жертвы Петра Петру же и служит, служит верой и правдой.

Мы помним, что приемыш дворянского семейства уходит в армию по призыву 1706 года. А донос, круто поворачивающий все действие, следует не раньше 1711 года; в том же 1711 году сын казненного стрельца удостаивается неслыханного доверия Петра – везет в сенат письмо-«завещание». На чем основано это доверие? Чем оно заслужено? Пушкин ничего о том не сообщает, оставляя в наброске пятилетие после 1706 года не заполненным событиями. Однако источники, которыми он пользовался, дают основание для гипотезы, которая по меньшей мере не противоречит сведениям, несомненно попавшим в поле зрения Пушкина.

Как уже было сказано в предыдущем разделе, всю историю с письмом-«завещанием» Пушкин знает по «Подлинным анекдотам о Петре Великом» Я. Штелина. Это сочинение и сегодня, два века

спустя, служит «единственным источником наших сведений о письме»<sup>144</sup>. Принимая (в чисто художественном плане) всю историю с «завещанием» как факт, Пушкин должен обратить внимание и на обстоятельства, при которых Петр I посылает свое письмо из прутского окружения, в том числе на эпизод, где государь выбирает курьера, с которым послание должно достичь Сената.

Штелин пишет, что, сочинив свое письмо в походной палатке, Петр вручил его офицеру, «которому все дороги и проходы в тамошних местах были известны; его величество может в том на него положиться, что он благополучно придет в Петербург». Выбор курьера оказывается верным: на девятый день он благополучно прибывает в столицу<sup>145</sup>.

Разумеется, Пушкин в своем замысле волен и не следовать за рассказом Штелина. Но в памяти Пушкина могла остаться версия исходного анекдота. Ибо она логична и естественна: письмо везет тот, кому в местах при Пруте «все дороги и проходы» известны. Предстоит преодолеть заслоны турецкого окружения, и знание местности тут обязательно.

Можно спорить, знает ли сын казненного стрельца «все дороги» на Пруте. Бесспорно другое – эта местность хорошо известна самому Пушкину. Прутские впечатления поэта относятся к началу 1820-х годов, со времени кишиневской ссылки. 13-23 декабря 1821 года Пушкин с разрешения своего начальника И.Н. Инзова сопровождает подполковника Якутского пехотного полка Ивана Липранди в его служебной поездке по Бессарабии. Маршрут этой поездки известен: Кишинев – Паланка – Аккерман – Шабо – Татарбунары – Измаил – Болград – Гречены – Готешты – Лека – Леово – Гура-Сарацика – Гура-Галбина – Резены – Кишинев<sup>146</sup>.

На протяжении всех десяти дней поездки воображение Пушкина, судя по воспоминаниям Липранди, тревожили призраки исторических событий, происходивших в этих местах от времен Овидия до XVIII столетия. Вот характерное замечание Липранди, прямо относящееся к местам вокруг Прута: «Подъезжая ко второй станции, к Гречени, он (Пушкин. – *В.Л.*) дремал; но когда я ему сказал: жаль, что темно, он бы увидел влево Кагульское поле, при этом слове он встрепенулся, и первое его слово было: “Жаль <...>”.

<sup>144</sup> Павленко Н. И. Три так называемых завещания Петра I. С. 129.

<sup>145</sup> См.: Подлинные анекдоты о Петре Великом... Ч. 1. С. 60-61.

<sup>146</sup> См.: *Трубецкой Б.* Пушкин в Молдавии. 4-е изд. Кишинев, 1976. С. 132-133.

Тут я опять убедился, что он вычитал все подробности этой битвы, проговорил какие-то стихи и потом заметил, что Ларга должна быть вправо <...> Начало рассветать, когда я ему показал, через Прут, молдавский городок Фальчи»<sup>147</sup>. Как видим, Пушкин хорошо знал историю побед П.А. Румянцева при Ларге и Кагуле в 1770 году и уверенно судил о местности, где происходили битвы.

Тот же интерес и ту же осведомленность Пушкин, надо полагать, обнаруживает и по отношению к местам, связанным с петровской эпохой. Так, под Бендерами, в селе Варница, ему, разумеется, хотелось видеть остатки шведского лагеря, в котором после Полтавской битвы жил Карл XII. Однако Липранди спешил, и в ту поездку посещение Варницы не состоялось<sup>148</sup>. Проследившая маршрут Пушкина и Липранди по карте, нетрудно показать, что они проделали немалую часть того пути, которым Карл XII скакал в 1711 году из Бендер к месту окружения русских на Пруте.

Таким образом, в декабре 1821 года автор столь близок к одному из мест действия своего будущего наброска, что напрашивается вопрос: знал ли Пушкин к этому времени штелинский анекдот о письме Петра с Прута? Скорее всего, знал. Судить о том можно с большой уверенностью. Ведь первое упоминание о письме Петра из окружения находится у Пушкина в примечании к «Заметкам по русской истории XVIII века», где поэт пишет, что «письмо с берегов Прута» приносит «великую честь необыкновенной душе самовластного государя» (XI, 14). Заметки датированы 2 августа 1822 годом, т.е. между поездкой с Липранди и их написанием проходит чуть более полугода.

Даже если принять крайний случай – Пушкин знакомится с анекдотом Штелина между январем и июлем 1822 года, то и тогда у него есть простая возможность еще в Кишиневе связать свою поездку на Прут с историей петровского письма-«завещания». В сознании Пушкина такое сближение тем вероятнее, что в кишиневское время он знает о Петре если не мало, то во всяком случае гораздо меньше, чем потом, в 1830-е годы. В материалах к «Истории Петра» Пушкин весьма не уверен в подлинности штелинского анекдота. А на полтора десятилетия раньше, в 1822 году, он еще не сомневался в правдивости рассказа о письме-«завещании».

<sup>147</sup> А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 311.

<sup>148</sup> См.: *Трубецкой Б.* Пушкин в Молдавии. С. 133-135.

История офицера, скачущего с пакетом из прутского окружения, должна была уже в начале 1820-х годов связываться в сознании Пушкина с зелеными степями Буджака,

Где Прут, [заветная] река,

Обходит русские владенья (III, 114).

Это еще не замысел повествования о сыне казненного стрельца – мы даже не можем доказать, что в 1821-1822 годах Пушкин знаком с трудом Голикова<sup>149</sup>, откуда заимствована сама формула произведения. Но нетрудно заметить, как в творческое сознание Пушкина входят впечатления, важные для воплощения будущего замысла. Весьма характерны слова Пушкина в письме к кишиневскому приятелю Н.С. Алексееву от 26 декабря 1830 года: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов ни поэтических, ни прозаических. Дай срок – надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто» (XIV, 136).

Отсюда явствует, во-первых, что Пушкин не считает «Цыган» поэтическим «следом» своей жизни в Бессарабии – в них действительно нет реальной истории страны. А во-вторых, задуманы, по-видимому, прозаические произведения, как-то реально эту историю отражающие. Думается, тут обещана не одна только повесть «Кирджали». Не позднее 1825 года<sup>150</sup> Пушкин знакомится с анекдотом Голикова о сыне казненного стрельца; ему остается только свести воедино штелинскую фабулу с голиковским персонажем, и замысел изучаемого наброска получит первые контуры.

Выявление источников, которыми пользовался Пушкин, не есть, конечно, достоверная реконструкция авторского замысла. Но все же оно способно как-то направить поиски, как-то очертить хотя бы фабульные связи задуманной вещи. Так, знакомство с материалами, собранными Пушкиными к «Истории Петра», по-видимому, дает ключ к существенной подробности из биографии героя.

Мы помним, что, по Штелину, выбор Петра падает на офицера, знающего местность при Пруте. Откуда такое знание у сына казненного стрельца в 1711 году? Он не может быть уроженцем Бессарабии. До 1706 года он мирно живет в русском доме вдовы-

<sup>149</sup> См.: *Листов В.С., Тархова Н.А.* Труд И.И. Голикова «Деяния Петра Великого...» в кругу источников трагедии «Борис Годунов» // *Временник Пушкинской комиссии*, 1980. Л., 1983. С. 114.

<sup>150</sup> См.: *Фейнберг И.Л.* Незавершенные работы Пушкина. М., 1979. С. 86.

дворянки. Значит, какая-то служебная надобность забрасывает его на берега Прута между 1706 и 1711 годами. Какая же?

Для того чтобы ее определить, обратимся сперва к завершающим строкам основного текста «Полтавы». Последние перед эпилогом поэмы строки повествуют о бегстве Карла XII и Мазепы после поражения. Мазепа покидает родную Украину:

И молча он коня седлает,  
И скачет с беглым королем,  
И страшно взор его сверкает,  
С родным прощаясь рубежом (V, 63).

Пушкин обрывает здесь историю бегства. Но это не значит, что она ему неизвестна. «Беглый король», преследуемый русской конницей, скрывается, наконец, за турецкой границей.

После создания поэмы проходит несколько лет, и в материалах к «Истории Петра» Пушкин весьма детально прослеживает драматический сюжет преследования Карла XII после Полтавской битвы. Бегство короля, сопровождаемого несколькими сотнями драбантов и запорожцев, начинается от местечка Переволочное. Петр приказывает «рассылкою легких войск» пересечь все дороги (X, 135). Голицын, Боур и Меншиков преследуют бегущих. Петр узнал от Левенгаупта о бегстве Карла в Турцию и «отрядил бригадира Кропотова и Волконского вслед за ним по разным дорогам» (X, 136). Кропотов и Волконский догоняют короля, убивают и берут в плен сотни шведов из королевской свиты (X, 139), но захватить самого Карла не удается.

Последняя запись Пушкина по этому поводу столь важна для нашего сюжета, что мы приведем ее полностью: «Петр писал Апраксину <...>, что бригадир Кропотов при местечке Чернявцах на остальных шведов напал (между ими и 500 запорожцев), побил их и перетопил в *Пруте*» (X, 140).

Слово «Прут» Пушкин здесь подчеркивает. Оно наполнено для него двойным смыслом. Тут и собственные впечатления начала 1820-х годов, и ниточка к эпизоду неудачного прутского похода.

Таким образом, для Пушкина русский офицер в 1711 году на Пруте, «которому все дороги и проходы в тамошних местах известны», – вовсе не странная случайность, не насилие над историческими обстоятельствами. Достаточно представить себе, что сын казненного стрелца участвует в Полтавском сражении, а потом в составе отряда бригадира Кропотова преследует рассеянные дружины шведов по буджакским степям, и штелинский намек обретает

надежное историческое основание. С другой стороны, у человека, взятого в военную службу в 1706 году, очень много шансов стать участником Полтавской битвы 1709 года. Все сходится.

Когда «при Пруте Петр поручает свое письмо», то это – напоминание о трагедии 1711 года. Окруженный превосходящими силами врагов, по существу отрекающийся от престола, царь вручает пакет офицеру, который оживляет в памяти его лучшие дни, дни Полтавы.

Конспектируя Голикова, Пушкин не мог не вспомнить собственное путешествие «по степям зеленым Буджака». Мы уже говорили о том, что Пушкин и Липранди были близки к местам событий 1711 года, но немного до них не доехали. Например, Пушкин выписывает у Голикова такой факт: «Петр повелел всему войску идти по правую сторону Прута (дабы река отделяла нас от турок) до урочища *Фальцы*», но «турки не допустили нас занять *Фальцы*» (X, 164, 165). Название «*Фальцы*» Пушкин опять-таки подчеркивает. Спустя век те самые молдавские *Фальчи* ему «показал через Прут» подполковник Липранди.

Пушкин настолько хорошо знает обстоятельства Прутского похода, что без колебаний поправляет мемуариста – известного бригадира Моро-де-Бразе. Сделав перевод и подготовив к печати его записки о походе 1711 года, поэт снабжает собственным примечанием мнение о буджакских степях бригадира, по словам которого там нет ничего, кроме раскаленного песка. «Степи Буджацкие, – замечает Пушкин, – не песчаные: они стелются злачной, зеленой равниною, усеянною курганами. Моро здесь пользуется правом рассказчика. Правда, что в 1711 году эти степи были голы: трава съедена была саранчею» (X, 308)<sup>151</sup>.

Следующими событиями, обозначенными в пушкинском наброске, будут донос приказчика (соседа?) и связанная с ним отдача молодого барина в солдаты.

<sup>151</sup> У того же Моро-де-Бразе Пушкин мог заимствовать любопытную для нас подробность. Оказывается, за две недели до окружения, когда войска уже шли по буджакским степям, Петр устроил 27 июня большой праздник в честь второй годовщины Полтавского сражения. Моро подробно описывает стол на 220 персон, священника, говорящего проповедь («Феофан Прокопович», – добавляет Пушкин), угощение императрицы (X, 309-310). Здесь еще один важный для нашего сюжета мотив, связывающий Полтавскую битву с Прутским походом.

Мы не знаем, чем была наполнена жизнь стрелецкого сироты от Прутского похода до посещения униженного семейства; не можем даже определить, как эти события соотношены во времени. Единственную известную нам возможность следовать дальше за пушкинским замыслом дает знаменитый голиковский анекдот, тоже обравший на себя внимание Пушкина.

Речь идет о сюжете под названием: «Слуга награждается достоинством морского офицера, а господин его определяется в матросы». Голиков рассказывает историю калужского дворянина Спафариева, посланного за границу. По возвращении Спафариев проваливается на экзамене у самого Петра I. Царь, однако, обращает внимание на слугу-калмыка, который безуспешно пытается подсказать барину ответы на вопросы. Проэкзаменовав калмыка, Петр I присваивает ему офицерский чин, а дворянина отправляет в матросы. «Калмык сей, – замечает Голиков, – в 1723 году был уже морским капитаном, а потом дошел по службе и до контр-адмиральского чина, и прозывался Калмыковым»<sup>152</sup>.

История барина и слуги, которые поменялись социальными ролями, лишь отчасти соответствует пушкинскому замыслу. Приемный все-таки не слуга, и калмык служит вместо барина не по тайному умыслу, а по воле самого монарха. И все-таки перемена жребия, так ясно выраженная в голиковском рассказе, не прошла мимо сознания Пушкина-читателя.

Достоинство рода и достоинство личности – вот тема, которая постоянно занимала Пушкина с конца 1820-х годов. Интерес к ней поддерживался как подробным изучением отечественной истории, так и нападками псевдодемократической критики. Пушкину, происходившему из древнего дворянского рода, удалось, как известно, стать выше сословных предрассудков, но в то же время сохранить высокие понятия фамильной и сословной чести.

В «Опровержении на критики» Пушкин отчетливо соотносит оба класса достоинств: «[...] Конечно, есть достоинство выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел

---

<sup>152</sup> Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... Т. 17. С. 260. Пушкин хорошо знал «калмыцкий анекдот». Так, первая фраза этого анекдота: «Между множеством разосланных Монархом в чужие края молодых Россиян <...> находился один из недостаточных калужских помещиков» – почти дословно повторена Пушкиным в зачинах «Арапа Петра Великого» (ср. VIII, 3) и статьи «Александр Радищев» (XII, 30).

родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением.]

Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, м.<ожет> б.<ыть>, все наши старинные родословные – но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами» (XI, 162).

С этой точки зрения анекдот Голикова весьма для Пушкина показателен. Петр ставит личное достоинство над родовым, но не уважает сословной чести. То же самое происходит и в наброске о сыне стрельца: сирота возвышен по способностям и знаниям, а молодой барин унижен вопреки своему происхождению. Противоречивость петровских преобразований выступает здесь для Пушкина в чистом виде; она-то и накладывает свой отпечаток на все столетие, отделяющее Пушкина от Петра I.

Но обратимся снова к фабуле наброска.

За моментом, когда молодой барин по доносу лишен имения и отдан в солдаты, следует развязка, обозначенная Пушкиным в одной фразе: «Стрелецкий сын посещает его семейство, и у Петра выпрашивает прощение молодому барину». По этой фразе, совершенно лишенной исторической конкретности, не так просто даже гипотетически воссоздать обстоятельства развязки замысла о сыне стрельца. Д.П. Якубович сделал попытку несколько развить пушкинский намек. Получилось вот что: «Приемыш, уже ставший офицером, по просьбе любимой девушки обращается к Петру, и тот, помня старую услугу, в награду прощает молодого барина»<sup>153</sup>.

В основе истолкования Д.П. Якубовича, видимо, лежат аналогии с «Капитанской дочкой», где инициатива обращения за царской милостью принадлежит невесте и где государыня милует офицера и дает ему возможность соединиться с невестой. Но такая аналогия кажется все-таки недостаточной. Во-первых, Пушкин отчетливо видит историческую разницу между жестоким правлением Петра и несколько смягченным просвещением веком Екатерины II, «которая поставила Россию на пороге Европы» (XVI, 393; подлинник на французском). Во-вторых, к чему Пушкину два произведения со столь сходной фабулой?

Видимо, следует – хотя бы и весьма осторожно – наметить другие возможности развязки.

Прежде всего заметим, что «прощением молодому барину» драматическое напряжение пушкинского замысла далеко еще не

<sup>153</sup> Якубович Д.П. «Арап Петра Великого». С. 290.

разрешается. Главный герой произведения не он, а его названный брат, сын казненного стрельца. Когда «стрелецкий сын посещает семейство», он неизбежно должен столкнуться с трагическим положением – ему нельзя жениться на любимой девушке. У Якубовича подразумевается ее отказ от свадьбы, пока родной брат не восстановлен в правах; отсюда «просьба девушки», толкающая жениха искать царской милости. Но исследователь не учитывает, что ситуация осложнена еще и самозванством стрелецкого сироты. Он носит имя и фамилию родного брата своей невесты. Брачный обыск, предшествующий венчанию, при любом исходе грозит разрушить счастье влюбленных. Если жених и невеста будут признаны родными братом и сестрой, то свадьбе не бывать. Если же они докажут свое неродство, то обнажится скрываемое происхождение жениха – сына казненного стрельца – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому стрелецкий сирота должен «выпрашивать» у Петра милости не только для «молодого барина», но и для себя. Получит ли он царское прощение? Соединятся ли влюбленные? Вот об этом-то в пушкинском наброске нет ни слова.

Не станем гадать о развязке. Обратимся вновь к источникам, известным Пушкину.

Изложение голиковского анекдота «Князь Меншиков жалуется государю на князя Долгорукова...» мы прервали на том месте, когда Долгоруков разоблачает перед Петром I происхождение меншиковского любимца – полковника, «сына казненного такого-то стрельца». О дальнейшей судьбе офицера Голиков повествует так: «Поелику же его величество верил во всем сему мужу (Долгорукову. – В.Л.), то и обратился весь гнев его уже на Меншикова; однако же не дав оному его почувствовать, помолчав немного, сказал Долгорукову: хорошо, дядя, я все сказанное тобою исследую, и тогда же в удовлетворение обиды, причиненной ему, полковника того приказал арестовать и отвести в крепость»<sup>154</sup>.

Мы уже говорили, что нельзя проводить полную аналогию между персонажем Голикова и героем замысла Пушкина. Но все-таки анекдот давал Пушкину некоторое понятие о том, как подобные дела решались у Петра I.

В чем виноват голиковский полковник, сын казненного стрельца? В разговоре с князем Долгоруковым он всего только

<sup>154</sup> Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... Т. 17. С. 198.

спутал значение слов «колер» и «калибр». Это не преступление. Оскорбленный затем собеседником, он пожаловался своему шефу Меншикову – действие тоже не криминальное. Долгорукова обидел не полковник, а Меншиков, истолковавший слова своего соперника как выпад против государя. Однако в крепость «в удовлетворение обиды» идет полковник. За что? Видимо, за то, что он сын казненного стрельца, скрывавший свое происхождение. Никакой иной вины за ним нет.

Об этом свидетельствует и дальнейшее развитие сюжета у Голикова. Меншиков идет к Долгорукову просить за своего любимца. Долгоруков согласен заступиться за полковника перед государем, если Меншиков поможет закончить и спустить на воду корабль, начатый долгоруковским «кумпанством». Меншиков соглашается. На спуске корабля Долгорукова действительно просит за арестованного. Вот развязка анекдота после этой просьбы: «Великий государь похвалил его великодушие, и тот час простил его (сына казненного стрельца. – *В.Л.*) и освободить повелел. Князь, возблагодаря монарха, ту ж минуту <...> адъютанта своего послал к полковнику сему объявить о сем указе государевом; и велел притом сказать ему, что если государь сам о чем будет спрашивать его, то б сказал ему всю правду, не осмелялся отнюдь что-либо утаить, а паче солгать; но до сего однако же не дошло: его величество уже не видал его; ибо в наказание князя Меншикова определил его в одну дальнюю крепость комендантом, куда и должен был он на другой день по освобождении своем отправиться»<sup>155</sup>.

Совет Долгорукова сыну казненного стрельца впредь не осмеливаться «отнюдь что-либо утаить» окончательно проясняет причину бедствия, постигшего офицера. Конечно, он пешка в крупной игре двух князей, интригующих при государе, но все-таки в крепость он попадает в прямой связи с сокрытием своего происхождения от «изменника».

Пушкин, конечно, не обязан следовать за Голиковым. Но он знает, чем кончается дело у историографа. Это знание способно влиять на его художественное решение. Во всяком случае можно предположить, что Пушкин вряд ли видел в финале простое и благостное прощение стрелецкого сироты и его соединение с невестой. Из того, что пушкинский герой «выпрашивает» милость

<sup>155</sup> Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... Т. 17. С. 200-201.

для названного брата, еще не следует благосклонность Петра к нему самому.

Апологет государя Голиков полагает, будто Петр простил сына казненного стрельца. На самом деле из анекдота явствует совсем другое: Петр заменяет арест более легкой мерой наказания – ссылкой «в одну дальнюю крепость». Но Пушкин-то, читая голиковский текст, это прекрасно понимает. Раздумывая над судьбой своего героя, он может выстроить ее и в согласии с версией историографа, и в полемике с нею.

Во всяком случае офицер, попадающий вместо столицы «в одну дальнюю крепость», есть фигура, хорошо знакомая нам по «Капитанской дочке». Это или добродетельный Гринев, следующий воле отца, или злодей Швабрин, сосланный по воле начальства. Пушкин мог и не остановиться на этой развязке для сына стрельца, но не исключено, что такой конец истории им рассматривался как вариант.

Далее конкретизировать было бы рискованно.

Остается рассмотреть еще одну возможность развязки, хорошо известную Пушкину. Речь идет о царской милости, которая круто и трагически поворачивает судьбы героев. В исследовании об «Арапе Петра Великого» Д. П. Якубович отметил, что основной фабульный ход незавершенного пушкинского произведения заимствован из голиковского анекдота «Щедрость монарха в награждении заслуг»<sup>156</sup>. Связь между анекдотом Голикова и романом о царском арапе действительно бросается в глаза.

Историограф рассказывает о бедном и безродном любимце Петра Александре Ивановиче Румянцеве, который задумал жениться. Но Петр, посмотрев выбранную Румянцевым невесту, решает расстроить свадьбу. Монарх уверен, что жених достоин лучшей партии. Он женит молодого офицера на другой, на дочери графа Матвеева, а затем осыпает молодую чету милостями – жалует чины, титулы, деревни и т.д.<sup>157</sup> Голиков, излагая все эти события, ничуть не сомневается в мудрости и милосердии государя. Пушкин же совершенно переосмысливает ситуацию. Царская милость обернется страшным горем для всех действующих лиц. Навсегда разлучены влюбленные Наташа и Валериан; страдает в семейственной жизни Ибрагим; не будет счастлив и внебрачный ребенок Наташи.

<sup>156</sup> Якубович Д.П. «Арап Петра Великого». С. 271.

<sup>157</sup> Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... Т. 17. С. 119.

Последствия «милости» Петра тяжело скажутся не только на судьбе героев, но и на жизни следующих поколений семьи.

Напомним: роман о царском арапе остался незавершенным и при жизни автора не печатался. Пушкин опубликовал только два отрывка (VIII, 1049), которые вне контекста всего произведения совершенно не выявляли ни сюжета, ни характеров действующих лиц. Поэтому история о царской «милости», разрушающей счастье влюбленных, могла быть использована Пушкиным и в повествовании о сыне казненного стрельца.

Допустим, Петр прощает не только молодого барина, но и стрелецкого сироту; за доставку письма с Прута, за другие служебные подвиги царь готов забыть обман, сопутствовавший началу карьеры. Но что, если монаршие благодеяния простираются и дальше? Что, если бедная дворяночка кажется Петру не парой для молодца, и царь берется сосватать ему невесту получше? Тогда вступает в свои права драматическая коллизия, намеченная в повествовании о царском арапе. Стрелецкий сирота по аналогии со своим черным двойником возносится на высокую служебную и родословную ступень, но расплачивается за это крахом своего личного счастья. Насильственная женитьба – нередкий мотив у Пушкина. Наталья Ржевская в «Арапе Петра Великого» и другая «молодая Ржевская» в плане повести о стрельце, Маша Троекурова из «Дубровского» – все это образы женщин, выданных замуж не по любви, без их выбора. Даже в «Каменном госте» есть едва намеченная черта: бедная мать велит красавице Анне «дать руку» богатому дону Альвару. Ни разу в пушкинских произведениях семья, созданная посторонней волей, не была счастлива. Если бы для истории стрелецкого сироты Пушкин выбрал такую развязку, то вряд ли она стала бы исключением из правила. Милость Петра обрекала бы на мучения и офицера, и его возлюбленную, и жену из «лучшей фамилии».

Мотивы прощения героя Петром и последующей насильственной женитьбы ясно читаются в черновиках поэмы «Езерский», написанной незадолго до наброска о сыне казненного стрельца. Напомним строфу поэмы:

Тогда Езерские явились  
 Опять в чинах и при дворе  
 При императоре Петре  
 Один из них был четвертован  
 За связь с Царев<ною> <?> – другой  
 Его племянни к молодой  
 [Прощен] и [милостью окован]

И умер знатен и богат.

Он на голландке был женат (V, 399-400).

В вариантах этой строфы находим важные разночтения: «четвертован за бунт стрелецкий»; «Сам государь его женил на [внучке] немке» (V, 400).

Значит, еще до наброска о сыне казненного стрельца в сознании Пушкина возникал образ героя, чья вина перед Петром восходит к временам стрелецкого бунта и отягчена казнью родственника. Прощение и выгодная женитьба не по любви на немке или голландке фабульно соответствуют румянцевскому анекдоту, идейно же – трагической формуле Пушкина: «Прощен и милостью окован».

Мы не знаем, какой именно анекдот Голикова положил бы Пушкин в основу развязки – румянцевский? долгоруковский? калмыцкий? Или вообще направил бы свое повествование по иному, совершенно не известному нам пути? Дело не в том, верны или неверны наши конкретные предположения. В 1835 году, набрасывая строки о сыне казненного стрельца, Пушкин еще и сам мог не делать выбора, мог не задумываться о том, чем завершить произведение. Вполне возможно, что на стадии столь раннего плана автор «сквозь магический кристалл» почти не различает развязки и даже не особенно ею озабочен. Дело, повторяем, не в этом. Гораздо важнее понять, как, на какой литературно-исторической и мемуарной основе складываются представления Пушкина о петровской эпохе, о судьбах людей, захваченных лавиной реформ.

Поскольку тридцатитомные «Деяния...» были основным источником сведений Пушкина о Петре I, постольку мы и пытались искать существенные параллели между текстами Голикова и едва намеченным пушкинским замыслом. Такие параллели несомненны. И столь же несомненно коренное переосмысление голиковских и штелинских сюжетов, положений и характеров в творческом сознании Пушкина.

### III

В начале нашей работы мы говорили о том, что изучаемый набросок следовало бы публиковать не в общей подборке «Планов повести о стрельце», а отдельно, под собственным заголовком. Пушкин, конечно, видел в перспективе широкое, многоплановое произведение, не связанное напрямую с более ранними текстами о

временах регентства царевны Софьи. Произвольная подверстка плана о сироте к планам о регентстве, допущенная в большом академическом и других собраниях сочинений, механически распространила на замысел не только тематическое, но и жанровое определение: «Планы повести о стрельце». Между тем сам Пушкин не называет замыслами повести ни первые четыре, ни пятый из набросков. Поэтому к установлению жанра задуманного Пушкиным произведения необходимо отнестись с понятной осторожностью. Трудности при этом очевидны.

Фабула «Сына казненного стрельца» изложена всего в четырех не очень длинных фразах; обозначены только шесть действующих лиц; завязка и развязка едва намечены; внутренняя хронология произведения еще до конца не установлена. В таких обстоятельствах нелегко отличать рассказ от повести, повесть от романа. Тем более что в пушкинские времена (да и позднее тоже) границы между прозаическими жанрами не были совершенно отчетливыми<sup>158</sup>. Поэтому долгие рассуждения о том, задумал Пушкин роман или повесть, были бы неизбежно схоластическими. Гораздо вернее, кажется, продолжить сопоставление наброска с другими произведениями Пушкина, но уже не на материале отдельных мотивов, а на уровне целостных построений.

Замысел «Сына казненного стрельца», как мы убедились, основывался у Пушкина на мощном пласте документальных и мемуарных свидетельств и был подкреплен собственными впечатлениями автора, побывавшего на месте действия. Метод, которым Пушкин выстраивает историю стрелецкого сироты, больше всего напоминает начало работы над «Капитанской дочкой». Ранние планы романа о пугачевском восстании (VIII, 928-930), относящиеся к 1833-1834 годам, и стилистически, и по смыслу сходны с изучаемым наброском.

Последовательность авторских усилий в обоих случаях одинакова. Сначала идет изучение исторической эпохи во всех ее реальных проявлениях; ближайший результат – документированное повествование. В первом случае это законченная «История Пугачева», во втором – незавершенная «История Петра». Но еще задолго до окончания документальной книги, еще на стадии сбора материала, Пушкин как бы на полях исследований набрасывает

---

<sup>158</sup> Сам Пушкин, например, называет «Капитанскую дочку» то повестью (VIII, 928), то романом (XV, 70).

контуры будущих исторических романов<sup>159</sup>. Пугачевская тема приводит Пушкина к образу дочери казненного капитана, петровская – к образу сына казненного стрельца.

Довершает сходство остросюжетная подоснова обоих замыслов, частный анекдот, вокруг которого концентрируются события «большой» истории. В варианте предисловия к «Капитанской дочке» автор отметил: «Анекдот служащий основанием повести нами издаваемой, известен в Оренбургском краю» (VIII, 928). Точно так же и набросок «Сын казненного стрельца» восходит к анекдотам петровского времени. Не будет большой натяжкой сказать, что замысел «Капитанской дочки» примерно так относится к «Истории Пугачева», как замысел «Сына казненного стрельца» относится к «Истории Петра».

Между опубликованием «Истории Пугачева» и выходом в свет «Капитанской дочки» прошло более двух лет. К январю 1837 года поэт еще далек от завершения «Истории Петра». Значит, если принять нашу аналогию, исполнение замысла о стрелецком сироте могло быть отложено Пушкиным на конец 1830-х или даже начало 1840-х годов.

Как ни велик соблазн поискать в наброске черты пушкинского творчества, каким оно могло быть после 1837 года, мы от такой попытки откажемся. Достаточно уже того, что замысел «Сына казненного стрельца» находит твердые параллели в мире пушкинской прозы и поэзии; развитие идейного и образного потенциала этого мира и было прервано гибелью писателя.

Выбор героя определялся общими чертами творчества зрелого Пушкина. Стрелецкий сирота есть универсальный персонаж. По своему происхождению он человек простонародной среды, близкий родственник Самсона Вырина и Адрияна Прохорова из «Повестей Белкина». Но воспитание юноши, все его понятия о чести и службе – дворянские. Вместе с тем его дворянство изначально ущербно; ведь он *воспитанник*, т.е. лицо, страдающее на манер Валериана из «Арапа Петра Великого» или барышень из «Пиковой дамы» и «Романа в письмах».

Такие персонажи, что давно замечено, вытесняют блестящий онегинский круг в пушкинском творчестве 1830-х годов. Конечно,

---

<sup>159</sup> Мы, разумеется, отвлекаемся здесь от реальных историко-хронологических деталей, связанных с воплощением замыслов Пушкина о Пугачеве и Петре; речь идет о широко понимаемой логике движения пушкинских замыслов.

во времена Петра I еще далеко до массовой разночинной среды, но и в историческом замысле нетрудно проследить новые веяния, новые проблемы, которые будут волновать русское общество на подходе к середине XIX столетия. С такой точки зрения эпоха, в которую формально происходит действие, до какой-то степени условна. В 1835 году – видимо, одновременно с «Сыном казненного стрельца» – Пушкин пишет «Сцены из рыцарских времен», герой которых, Франц, выступает как идеально внесловный тип. Рожденный в купечестве, он усваивает рыцарские понятия, а затем становится вождем крестьянского мятежа.

Пушкин отчетливо видит размывание средневековых сословий в России. В его творчестве оно оставляет глубокий и заметный след. Художественное чутье, усиленное историческими изысканиями, приводит его к временам Петра I как началу краха сословной структуры<sup>160</sup>.

Сын казненного стрельца служит Петру I; этим многое сказано. Тут основное противоречие: человек, чей отец погублен Петром, служит императору верой и правдой. Почему? Чем объяснить логику его поступков, его поведения? Самый первый и самый естественный ответ на эти вопросы очевиден: сын казненного стрельца понимает необходимость петровских преобразований для России; это понимание дает ему силу для того, чтобы возвыситься над личной обидой и действовать на пользу отечеству.

Такое объяснение представляется верным, но неполным. Вряд ли пушкинский замысел основывался только на одних социальных мотивах. Личность Петра I, его характер – вот что должно привлекать стрелецкого сироту, вот что заставляет его быть в рядах сторонников петровских реформ. У нас совсем мало материала для суждений об образе Петра I; он только едва намечен в наброске. Но оба упоминания о нем – в благожелательном контексте. Эпизод с письмом-«завещанием» из прутского окружения рисует нам облик идеального государя, который ставит интересы своей страны выше личных притязаний, который способен жертвовать не только престолом, но и самою жизнью ради благополучия нации.

Подобно Ибрагиму, герою «Арапа Петра Великого», стрелецкий сирота готов «быть сподвижником великого человека и

---

<sup>160</sup> В «Романе в письмах» устами героя несомненно говорит сам автор: «Древние фамилии приходят в ничтожество <...> Состояния сливаются» (VIII, 53).

совокупно с ним действовать на судьбу великого народа» (VIII, 12). Можно более или менее ручаться, что таковы ощущения героя во время Прутского похода и позже, вплоть до самого поворота сюжета, за которым следует развязка. Не зная достоверно смысла развязки, мы не можем судить и о том, хватило ли стрелецкому сироте готовности служить Петру и после своего разоблачения. Столь же трудно предугадать эволюцию образа Петра – остается ли он до конца идеальным государем?

Любопытно заметить, как «мысль быть сподвижником великого человека» в конце II главы «Арапа Петра Великого» мгновенно сменяется другого рода «мыслями» в эпиграфе к следующей, III главе, взятом из трагедии В. К. Кюхельбекера «Армяне»:

...Как облака на небе,

Так мысли в нас меняют легкий образ,

Что любим днесь, то завтра ненавидим (VIII, 13)<sup>161</sup>.

Семейная трагедия, ждавшая Ибрагима вслед за «милостью» царя, вполне могла если не поколебать, то усложнить образ идеального государя в сознании арапа. У стрелецкого сироты при неблагоприятной развязке еще больше поводов «завтра ненавидеть» того, кто вчера казнил отца, а сегодня, допустим, разлучает с любимой девицей или ссылает в дальнюю крепость.

Так или иначе, сюжет, в основе которого лежит судьба человека из «униженного и растоптанного» рода, был хорошо подготовлен всем пушкинским творчеством 1830-х годов. Вслед за Валерианом этот мотив сопровождает Евгения из «Медного всадника» и просматривается в судьбе семейства Гриневых из «Капитанской дочки». «Пращур» старика Гринева «умер на лобном месте» (VIII, 370) при Анне Иоанновне, а сам старик тем не менее верно служит престолу и от сына своего Петруши требует такой же честной службы.

В служебном поприще «родов дряхлеющих обломка» можно различить и автобиографический момент, некоторую соотнесенность с жизненным путем самого Пушкина в 1830-е годы, о чем уже сказано нами в сюжете, посвященном болдинскому «Отрывку».

<sup>161</sup> Пушкин близко к тексту цитирует слова Протогена (действие III, явл. 3). Эти стихи Кюхельбекер приводил в примечании к «Отрывку из путешествия по Германии» в альманахе «Мнемозина» (1824). См.: *Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 29.

Известно пушкинское определение одного из главных литературных жанров начала XIX века: «В наше время под словом *роман* разумею историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» (XI, 92).

Набросок плана о стрелецком сироте, относящийся к середине 1830-х годов, обещал многоплановое, широко отражающее петровскую эпоху вымышленное повествование. Полтора века русской жизни должны были предстать в нем с той верностью и полнотой, какие отличают все произведения исторической прозы Пушкина.

### УСАДЕБНЫЕ СТРАНИЦЫ ПУШКИНСКОГО «СОВРЕМЕННОКА»

По первому впечатлению: мы не много узнаём о давней усадебной жизни, перелистывая сегодня четыре тома пушкинского журнала «Современник». Они выходили из печати в течение 1836 года и предназначались более всего обитателям усадеб – вольным, неслужилым помещикам, их патриархальным супругам и дочерям, сентиментальным барышням. Пушкин-издатель, примериваясь к кругу своих подписчиков, должен был, кажется, сообщать обо всём на свете как раз *кроме* усадебного быта, и без того хорошо известного читателям.

Отсюда ясный уклон «Современника» в область «большой» истории и литературы, вроде бы удалённую от провинциального дворянского гнезда. В первом же номере начинает печататься очерк «Париж» («Хроника русского») А.И. Тургенева, помещены кавказские записки «Путешествие в Арзрум» Пушкина и «Долина Ажигутай» С. Казы-Гирея. В стихотворном отделе «Ночной смотр» В. Жуковского (о Наполеоне) соседствует со «Скупым рыцарем», а «Роза и кипарис» П. Вяземского – с пушкинским отрывком «Из Андрея Шенье». Так и дальше будет. Издатель предложит трагедию из эпохи крестовых походов, очерк о Французской академии, статьи о теории вероятностей, о Вольтере и т.д.

Очередное «окно в Европу»? Повод для «возвышенных» суждений между благородными соседями после обильного ужина? Однако ж, нет – далеко не только это.

Поставим маленький мысленный эксперимент: вообразим себе, что кроме пушкинского «Современника» у нас нет источников по истории русской усадьбы. Что же мы узнаем о нашем предмете? Оказывается, довольно много.

В четвёртой книжке журнала Пушкин помещает свой роман «Капитанская дочка», в самом начале которого дано едва ли не лучшее в нашей словесности описание провинциального помещичьего быта. Усадьба Гринёвых предстаёт перед нами как образ земного рая, где проходит безмятежное детство героя. Там баре блюдут «честь смолоду», а мужики патриархально преданы господам; там, вдалеке от растленного петербургского двора Екатерины II, земледельческие заботы хозяина чередуются с выездами на охоты, скромными пирами и неазартными играми («в орехи»). Получение и отправление письма – событие. «Исторические» явления отсчитываются не столько по календарю, сколько от местных происшествий – «в тот самый год, когда окривела тётушка Настасья Герасимовна» [IV, 46]<sup>162</sup>.

Время и пространство барского дома замкнуты, цикличны. Тут всё было бы мирно и предсказуемо, если б не последующие острые повороты романной фабулы.

Внимательный читатель, однако, быстро догадывается, что симбирская деревня Гринёвых всё-таки не полностью принадлежит екатерининскому времени. Шесть десятилетий, отделяющих роман от событий, в нём описанных, не прошли бесследно. Вольно или невольно автор привносит в свой рассказ собственный жизненный опыт – особенно там, где речь идёт о появлении в усадьбе учителя-француза мсье Бопре, выписанного «из Москвы вместе с годовым запасом вина и Прованского масла» [IV, 43].

Для того, чтобы реальный, а не вымышленный парикмахер Бопре в качестве *outchitel* мог появиться в глухой степи, в приволжской усадьбе, – должна была произойти Великая революция 1789 года, а, может быть, и крах наполеоновского нашествия 1812 года; именно тогда, а не до пугачёвщины, в барские дома стали массово принимать эмигрантов и пленников в губернеры – «числом поболее, ценою подешевле». Весь эпизод амурных походов француза в кругу дворовых девок есть скорее результат собственных наблюдений Пушкина, чем итог его исторических изысканий.

---

<sup>162</sup> Здесь и далее в квадратных скобках даны ссылки на том и страницу пушкинского журнала «Современник» на 1836 год.

Личный опыт автора «Капитанской дочки» хорошо виден в знаменитой сцене изгнания Бопре из усадьбы.

Когда Гринёв-старший входит в учебную комнату сына, он застаёт своего Петрушу над географической картой. Сын сооружает из карты воздушного змея и прилаживает «мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды» [IV, 45]. Нам уже приходилось замечать, что в творчестве Пушкина этому мотиву предшествует сцена «Царские палаты» из трагедии «Борис Годунов». Там царь-отец тоже входил в палату, где его сын Фёдор склонялся над географической картой. Между реальными Годуновыми и вымышленными Гринёвыми – более полутора веков исторического времени и десять лет творческой биографии Пушкина; ничего общего, кажется, нет у кремлёвской палаты царей и скромного жилища екатерининских дворян<sup>163</sup>. Но общее, видимо, есть. Обе сцены опять-таки восходят к личному опыту Пушкина, в данном случае к воспоминаниям Пушкина-мальчика. Семья Сергея Львовича Пушкина в начале XIX века снимала жильё в палатах Юсуповых в московском Большом Харитоньевском переулке<sup>164</sup>. Поэтому, когда Пушкин в трагедии пишет ремарку «*Царские палаты*», он воскрешает в воображении своём толстые стены и сводчатые потолки старого боярского терема, где прошло детство.

Мы уже высказывали предположение, что однажды отец, Сергей Львович, застал самого Пушкина-мальчика в палате «у Харитонья в переулке» над географической картой, и это отразилось потом как в «Борисе Годунове», так и на страницах романа, помещённого в «Современнике».

Автор прекрасно знает те природные и рукотворные декорации, в которых совершается постановка дворянской жизни XVIII-XIX столетий. Та же «Капитанская дочка» начинается в усадебной глуши, а идёт к развязке не где-нибудь, а в Царском Селе с его дворцами и парком. Воспоминания Пушкина и тут отчётливо различимы; ведь ещё с лицейских времён «смуглый отрок бродил по аллеям» и считал эти места своим «отечеством».

Мы не будем останавливаться на подробностях царскосельских мифов, восходящих к началу XVIII столетия, что увело бы нас далеко и от усадебной истории, и от особенностей

<sup>163</sup> См.: Листов В.С. Новое о Пушкине. С. 44-45.

<sup>164</sup> См.: Волович Н.М. Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979. С. 23.

пушкинского журнала. Да и написано об этом много<sup>165</sup>. Напомним только, что пушкинское описание парка и утренней прогулки Екатерины II точно соответствует известному портрету императрицы работы В.А. Боровиковского (1791), гравированному позднее Н.И. Уткиным.

Любопытно будет, однако, заметить, что капитанская дочка Маша Миронова приезжает в Царское Село по романному отсчёту времени в 1774 году, а по смыслу предъявленных реалий – гораздо позже, во дни Пушкина. Решившись просить за возлюбленного, сирота покидает усадьбу Гринёвых и направляется в Петербург, но не попадает в столицу. Весь эпизод встречи капитанской дочки с императрицей начинается анахронической фразой: «Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав, что двор находится в Царском Селе, решила тут остановиться» [IV, 208]. Дальше следует даже не описание, а простое упоминание угла на почтовой станции за перегородкой, где будет обитать безвестная провинциалка.

Как мы уже ранее отмечали, городок София Петербургской губернии был основан в 1780 году<sup>166</sup>, т.е. шестью годами позже остановки Маши Мироновой в домике софийского станционного смотрителя. Только в 1808 году, незадолго до поступления Пушкина в лицей, София станет частью Царского Села<sup>167</sup>. Значит, выстраивая эпизод романа, автор ориентируется не на исторические источники, а на собственные воспоминания и впечатления<sup>168</sup>. Или, может быть, на логику художественного повествования, которая мало считается с хронологическими невязками.

Сегодня, когда текст «Капитанской дочки» бесчисленное множество раз переиздан и существует в миллионах экземпляров,

---

<sup>165</sup> См. библиографию при статье: *Оксман Ю.Г.* Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка» // Пушкин А.С. Капитанская дочка. Изд 2-ое, дополненное. Л., 1984. С. 145-199; *Макогоненко Г.П.* Исторический роман о народной войне. Там же. С. 200-232.

<sup>166</sup> *Гиллельсон М.И., Мильчина В.А.* Комментарий // Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию. М., 1987. С.183.

<sup>167</sup> Там же.

<sup>168</sup> Этот случай в творчестве Пушкина далеко не единственный. Например, в «Борисе Годунове» упомянута ярусная колокольня московского Ново-Девичьего монастыря, к «смутному времени» ещё не построенная. См.: *Листов В.С.* Новое о Пушкине. С. 42-43.

мало кому понадобится читать его по первой, журнальной публикации. Между тем такое чтение приносит свои выгоды и свои радости. Самая композиция издания, самая последовательность помещённых произведений иногда обнаруживают логику и пристрастия издателя – в данном случае Пушкина.

В оглавлении прозы I тома «Современника» [IV, 308] вслед за «Капитанской дочкой» идёт очерк «Вечер в Царском Селе». Очерк этот как бы подхватывает усадебную тему романа и возвращает читателя журнала опять в тот же царскосельский парк, где он только что расстался с императрицей и бедной оренбургской просительницей.

Очерк написан Андреем Николаевичем Муравьёвым (1806-1874), известным религиозным писателем, автором «Путешествия ко Святым местам в 1830 году». Верный своим пристрастиям путешественника, Муравьёв сравнивает Царское Село то с Иерусалимом, то с Константинополем, то с Великим Новгородом и Киевом. Общее настроение очерка – сентиментальная мечтательность, романтическое созерцание. Вот образец пейзажа, дающий понятие о картине в целом:

«На круглой площадке, отененной высокими деревьями, и обсаженной правильными аллеями молодых лип, стояли два хора трубачей, лейб-гусарских и кирасирских. Они попеременно играли очаровательные арии из Фенеллы, которая сделалась любимой оперою столичной публики. То звонкие порывы, то глухие полутоны труб и рожков отзывались в чаще леса, и их приятная гармония наполняла потрясенный стройными звуками воздух. Около сей площадки попарно или группами прогуливалось всё Царскосельское общество. Промежду щегольских дамских нарядов пестрели гусарские мундиры, и белая фуражка кирасиров ярко отличала их из толпы, как по звонким шпорам издали можно было узнать кавалерийских юнкеров. – Все они в непрестанной суете, то нагоняя, то встречая друг друга, как будто спешили чего-то достигнуть, однообразно совершая все те же и те же круги, доколе усталость не заставляла некоторых искать отдыха на соседних скамьях. Как тени Дантовой поэмы, гонимые вихрем одна вслед другою, так они стремились, и я вместе с ними, не умея дать себе отчёта в этом невольном движении...» [IV, 220-221].

Под пером Муравьёва знаменитая опера французского композитора Д. Обера «Фенелла» («Немая из Портичи») сменяется пением соловья в дальней аллее, и летний царскосельский вечер мирно угасает вместе с лучами заходящего солнца. Последнее, что

останавливает внимание писателя – белая готическая башня, так называемая «Башня Наследника», воздвигнутая в Александровском парке по проекту архитектора А. Менеласа. Подробно рассказывая об этих искусственных руинах, Муравьев сравнивает их с развалинами орденового замка Св. Иоанна Иерусалимского прямо против входа в Храм Святого Гроба. Писателя занимает мысль о будущей военной и гражданской славе наследника-цесаревича Александра Николаевича, коему уже в юном возрасте прививают лучшие рыцарские понятия о чести, славе, религиозном и воинском долге.

Одна из самых знаменитых публикаций «Современника» – «Записки Н.А. Дуровой», кавалерист-девицы, героини войны 1812 года. Автор, проделавший кампанию под именем корнета Александрова, лучше владел конём и саблей, чем пером мемуариста. Пушкин существенно отредактировал любопытные воспоминания, придан им ясность и отчётливость. Казалось бы, русская амазонка, тяготившаяся усадебным спокойствием и потому бежавшая из дому, немного добавляет к читательским представлениям о дворянском быте своего времени. Но как раз на усадебном фоне происходят все боевые действия против наполеоновских войск, и нередко этот фон заметен, существенно обогащает картину. Дурова описывает свои скитания по разорённым деревням, конные марши сквозь несжатые крестьянские поля, Москву накануне вторжения французов, разоряемые и разорённые дворянские гнёзда.

В одном из эпизодов после Бородинского сражения раненый «корнет Александров» мучительно ищет своего коня Зеланта и свой потерянный отряд фуражиров. Первым находится конь. «Пересев на него, полетела я как стрела к тому лесу, куда велела ехать моему отряду... Проехав версты три на удачу по дороге, которая показалась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник пред крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми; по аллеям тянулись богатые кружева и блонды: следы грабительства были видны везде» [II, 94].

Кружева обычные и шелковые (блонды), разбросанные по садовым дорожкам, – сильный, если угодно, чисто кинематографический образ военной катастрофы, постигшей чью-то подмосковную усадьбу. Женский взгляд корнета, понятно, останавливается на подробностях, не привлекающих внимания мужчин. Записки Дуровой с острым интересом читал потом Лев Толстой и – кто знает? – не вспоминал ли он о разгромленных барских домах, описанных Дуровой, когда пытался вообразить себе разорённые усадьбы Болконских, Ростовых, Безуховых?

Иногда, хоть и нечасто, кавалерист-девица даёт точные адреса своих скитаний. Например, вскоре после неведомого «дома прекрасной архитектуры» она попадает в усадьбу, принадлежащую одной из самых известных фамилий: «Теперь мы живём в Красной Пахре в доме Салтыкова. Нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором все мы... жмёмся и дрожим от холода» [II, 98]. Корнет больна, не оправилась от ран и контузий. Скоро главнокомандующий Кутузов отошлёт её назад, в семью, и характер рассказа изменится: ни слова об отчем доме, ни одного замечания о мирном прозябании родственников. Всё это, увы, не занимает воинственную амазонку...

Издавая «Современник», Пушкин как бы подводил итог всему, что передумал и перечувствовал за три с половиной десятилетия своей жизни. Он видит обширную и многофигурную картину эволюции отечественного дворянства, весь его путь от исполнительной служебности при Петре I к екатерининской просвещённой вольности и, наконец, к началу массового захудания при сыновьях государя Павла Петровича. Глубокие, хоть и горькие размышления по этому поводу встречаются в «Евгении Онегине», «Повестях Белкина», «Езерском», «Романе в письмах», «Медном всаднике». Поздний Пушкин близок к патриархально-аристократическим идеалам Н.М. Карамзина, но в отличие от старого историографа понимает утопичность, несбыточность этих идеалов. Отсюда обычная пушкинская ирония, не всегда понимаемая читателем – особенно сейчас, почти два века спустя.

Усадебные подписчики «Современника», впервые читая «Капитанскую дочку», не должны были особенно радоваться судьбе потомков Петруши Гринёва и Маши Мироновой. Императрица Екатерина особым рескриптом оправдала опального офицера, а его невесте дала весьма обязывающее обещание: «Знаю, что вы не богаты» сказала она; «но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние» [IV, 214].

Однако именно будущее внушает серьёзные опасения. Императрица, надо надеяться, выполнила своё обещание и щедро одарила молодую семью. Эпилог романа, заключающий журнальную публикацию, кажется, не оставляет в этом сомнений: «Пётр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской Губернии. – В тридцати верстах от \*\*\* находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо

Екатерины II за стеклом и в рамке» [IV, 215]. Читатель пушкинского круга должен был оценить всю иронию глагола *благоденствуют*. Каждый из потомков семьи Гринёвых владеет одной десятой частью села. Главный дом барской усадьбы пустует. Поэтому драгоценная семейная реликвия – рескрипт великой императрицы – висит в одном из флигелей. Обстоятельства, прямо сказать, нерадостные.

Примерно то же происходит в пушкинские времена и с городскими усадьбами. В третьем томе «Современника» помещена статья «Прогулка по Москве», подписанная псевдонимом «Пешеход». Она принадлежит перу известного историка М.П. Погодина и может считаться некрологом старой барской столице, прощанием с её грибоедовскими героями. Дворцы и особняки переходят из рук вельмож то в казённые ведомства, то бородатым миллионщикам из купеческого сословия, то случайным арендаторам. Историк понимает, что приходят новые времена, и это заставляет его тяжко задумываться – что же это происходит, господа? Историк вынужден вести летопись потерь:

«Барские, старинные барские дома в Москве переводятся, и много-много по одному, по два, стоит их теперь сиротами на больших улицах. – Для меня, старика, это даже поразительно. Что за перемена в гражданском обществе совершается пред моими глазами тихо, неприметно? Перечту вам, говоря по-варварски, факты: дом *Апраксина* на Знаменке, где было так шумно, весело, роскошно: это уже Александровский Сиротский Институт, который приобрёл и соседние дома. Дом *Нарышкина*, на валу, достался Удельной Конторе и Училищу. В доме *Ермоловой* гимназия. Другой дом Ермоловой, на Пречистенке, занят пожарным депо. Дом *Пашкова*, на Никитской, соединен с Университетом. Земледельческая Школа купила какой-то большой дом на валу за Смоленским Рынком. Дом князя *Голицина* в Басманной, так называемый несыраемый, принадлежит Сиротскому Преображенскому Училищу... Лефортовские дворцы и дома, увеличенные и распрстраненные, приобретены Кадетскими Корпусами и Ремесленным Училищем» [III, 260-261].

Прервём этот список, продолжаемый Погодиным на трёх журнальных страницах. Комментарием к нему могла бы служить вся история дворянской Москвы предшествующего столетия – от времён императриц до послепожарного строительства. Чиновник, купец и ремесленник теснят благородное сословие, и сын крепостного крестьянина Михаил Петрович Погодин, выбившийся в

профессоры, испытывает по этому поводу довольно противоречивые чувства. С одной стороны историк-профессионал по всему опыту Европы знает, что «третье сословие» вроде бы и должно приходить на смену гордой аристократии. Но ведь то – на Западе. А Россия, по Погодину, самобытна, развивается на свой манер и призвана хранить спасительную традицию гражданского мира, согласия и ненасилия. Устоит ли эта традиция в новые времена? Вот вопрос. С другой стороны разорение и упадок, может, и поделом сибаритствующим вельможам.

«Вот какое же заключение вывести из всех этих фактов? – задумывается Погодин. – Хозяева всех этих домов или оставили Москву, или обедняли, или вымерли, или наконец поняли, что для одного семейства, как бы оно велико ни было, Куракинский дом в Старой Басманной, или Голицинский в Новой, слишком велик, то есть неудобен. Дома эти достались обществу, и где обитала праздность, там теперь поселился труд. – Перемена утешительная! Число домов дворянских и купеческих средней руки размножается, и надо признаться, что многие отстроены со вкусом, доведены даже до изящества» [III, 262-263].

Издатель далеко не единомышленник своего автора, «Пешехода»-Погодина. Чтобы это понять, достаточно прочесть хотя бы статью Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург», где все эти перемены вовсе не выглядят утешительными. Напротив. Он безоговорочно жалеет старую Москву с её вельможными причудами, балами, крепостным театром и роговой музыкой. Печатавая погодинскую «Прогулку по Москве», Пушкин проявляет замечательную широту взгляда, понимание необратимости хода времён, терпимость к тем, кто «в добрый час // Из мира вытеснит и нас!».

...Пройдут несколько десятилетий, и сам журнал «Современник» станет памятником уходящей усадебной истории, атрибутом прошлой жизни, забываемо прекрасной и неподражаемо странной. Дворянский недоросль Иван Бунин будет рыться в старых книгах, все ещё стоящих на полках в барском доме, и поймёт великую связь времён, протекших в этих стенах. «Примешься за книги, – дедовские книги в толстых кожаных переплётах, с золотыми звёздочками на сафьяновых корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью

вспомнишь бабушку, её полонезы на клавикордах, её томное чтение стихов из “Евгения Онегина”. И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою...»<sup>169</sup>.

### **«ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА» «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ» В КОНТЕКСТЕ ДВУХ РЕДАКЦИЙ РОМАНА**

Обращаясь к «Пропущенной главе» пушкинского романа, мы должны в самом кратком виде – буквально двумя словами – напомнить хорошо известную текстологическую ситуацию.

Летом 1836 года Пушкин завершает работу над той стадией романа, которую принято называть «буланинской» редакцией, так как главный герой (будущий Гринев) носит здесь фамилию Буланин. Сразу же по завершении «летней» редакции Пушкин приступает к ее перделке и не позднее ноября уже располагает окончательным, ныне хрестоматийным текстом – романом «Капитанская дочка».

Автограф «летней», «буланинской» редакции не сохранился – по-видимому, уничтожен самим автором. Однако ж в бумагах Пушкина остался текст, первоначально озаглавленный «Глава XII»; затем Пушкин исправил заглавие на другое – «Пропущенная глава» – и не включил ее в состав «Капитанской дочки»<sup>170</sup>. В этой главе Гриневы еще названы Буланиными, а Зурин носит фамилию Гринев. Кроме того, «летней» редакции принадлежит и сохранившийся ранний набросок заключения (VIII, 905-906).

Мы не знаем – и, вероятно, не узнаем никогда, – в чем состояли главные отличия «буланинской» редакции от окончательной, «гриневской». Ни «Пропущенная глава», ни кратчайший набросок заключения не дают ответов на самые очевидные вопросы: почему Пушкин, завершив роман летом 1836 года, сейчас же начал его перделку? Что не удовлетворило автора, уже поставившего было последнюю точку? Какие именно поправки им внесены: были ли это изменения крупного идейного и художественного порядка? уточнения фабулы? разработка версии отдельных характеров?

Все это, повторяем, неизвестно.

<sup>169</sup> Бунин И.А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М., 1956. С.192-193.

<sup>170</sup> Пушкин А.С. Капитанская дочка. Изд. 2-е, дополн. Л., 1984. С. 91, 293.

Но все-таки наше незнание должно быть конкретно, должно основываться на каких-то наблюдениях, иметь какие-то, хотя бы легкие, контуры. Выяснению этих контуров мы и посвящаем дальнейшее изложение.

«Пропущенная глава» (VIII, 375-384), в которой Буланин попадает в отцовское имение в разгар крестьянского бунта, надежно свидетельствует, что многие фабульные сцепления «Капитанской дочки» в «летней» редакции уже были. Петруша с верным Савельичем уезжал из родительского дома; проигрывал деньги офицеру в трактире; жил в окраинной Белогорской крепости, где влюблялся в дочь коменданта и соперничал с безнравственным Швабриным; был помилован Пугачевым после штурма крепости; покидал мятежников с Машей, имея от Пугачева пропуск; вступал в полк правительственных войск, действовавших против бунтовщиков. Словом, Буланин, вероятно, был двойником будущего Гринева. В конце романа Екатерина II его прощала, о чем бесспорно говорит набросок заключения (VIII, 905-906).

Все эти сходства важны. Ибо только на их фоне приобретают смысл различия – точнее сказать, фабульные неувязки между «Пропущенной главой» и окончательной редакцией романа.

Первым важным сигналом становится тут линия Савельича.

Петр Гринева, вступая в гусарский полк Зурина, отпускает Савельича – верный слуга должен сопровождать Машу в деревню, к старикам Гриневым (VIII, 362-363). Точно так же, видимо, действовал и Буланин: иначе не объяснить, почему он застаёт и Машу, и Савельича во взбунтовавшемся селе. Но дальше две версии романа существенно расходятся.

В конце «Пропущенной главы» Буланин покидает родную деревню вместе с полком, чтобы принять участие в завершении кампании против Пугачева. «Я сел верхом – рассказывает Буланин. – Савельич опять за мною последовал – и полк ушел» (VIII, 383).

Это малозаметное обстоятельство заставляет внимательно отнестись, по крайней мере, к двум эпизодам «Капитанской дочки» – к сцене ареста героя в главе XIII и семейной драме в родительском доме в главе XIV, когда приходит весть об аресте Петруши. Оба эпизода в «буланинской» редакции не могли быть полностью аналогичны окончательному тексту.

Зурин, прежде чем объявить Гринева арест, выслал из избы некоего безымянного гриневского денщика (VIII, 364). Это понятно: ведь дядька Савельич находится в этот момент далеко, в

родительском доме героя и при аресте присутствовать не может. Другое дело – «летняя» редакция. Там Савельич сопровождает Буланина до конца кампании, и арест барского дитяти, вероятно, должен был произойти у него на глазах.

Это отчасти подтверждается и общеизвестной симметрией строения пушкинского романа. Савельич ведь уже однажды видел, как те же правительственные гусары арестовали его барина (VIII, 360), – «буланинская» редакция могла вновь привести его к этому несчастью.

Не станем гадать, как вел себя верный слуга, разлучаемый с Буланиным. Заметим только, что отсутствие Савельича в барском семействе позволяет утверждать, что старик Буланин узнавал о аресте сына иначе, не так, как старик Гринев.

Когда тревожные слухи об аресте сына достигли усадьбы, старик Гринев «строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева <...>, но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал» (VIII, 369). Андрей Петрович на несколько недель обрел спокойствие, пока письмо князя Б.\*\* из Петербурга не повергло его в полное отчаяние: он поверил в измену сына.

Буланин-отец поставлен в существенно иные обстоятельства. Об аресте сына он узнает либо от Савельича, если тот возвращается домой до письма князя Б.\*\*, либо уж сразу из этого письма<sup>171</sup>. Однако независимо от подобных деталей Буланин-отец должен сразу и бесповоротно принять мнение Савельича: измены не было. Ни слухи, ни письмо сановного родственника, ни даже официальный приговор суда не могли бы его поколебать.

Почему? Да потому, что твердость этого мнения Буланина-отца предопределена всем содержанием «Пропущенной главы». Что ему слухи, что ему вести из растленного екатерининского Петербурга, когда он сам, своими глазами, видел, как его сын Петруша храбро дрался с бунтовщиками. Ведь оба, отец и сын, уже были влекомы к виселице, и только счастливый случай избавил обоих от смерти, подобной смерти капитана Миронова (VIII, 381).

---

<sup>171</sup> Возможно, «буланинской» редакции соответствовало не вошедшее в основной текст романа упоминание о письме к Марии Ивановне, отправленном Петром Андреевичем при аресте (VIII, 901).

Если наше предположение верно, то «Капитанская дочка» отличается от «буланинской» редакции не только в деталях, но и по многим коренным смысловым мотивам.

Заметим, что в окончательном тексте старик Гринев проявляет твердую последовательность. Он не верит оправдательным письмам Савельича из Белогорской крепости, но принимает всерьез клевету, исходящую от Швабрин, – отсюда те ругательства, которые он обрушивает на сына в колоритном своем письме. «Мальчишка», «сорванец», «дурь» – вот его выражения (VIII, 309). Этим как бы психологически подготовлено его доверие к вести об измене сына.

Не менее последовательно и его отношение к Маше Мироновой. Он принимает ее в дом вовсе не как будущую сноху, но только как «дочь заслуженного воина, погибшего за отечество» (VIII, 358). Поэтому Маша скрывает истинный смысл своего отъезда в Петербург. Маша знает, что будет просить в столице за возлюбленного. Андрей Петрович полагает, что сирота будет хлопотать об устройстве своей судьбы, и отпускает ее из дому навсегда со словами: «Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника» (VIII, 370).

Так обстоит дело у Гриневых.

Теперь посмотрим, что происходит в семье Буланиных. Для этого вновь обратимся к «Пропущенной главе».

Петруша Буланин скачет по пустынной дороге от Волги к родному дому. Вот его дорожные размышления: «Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. – На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева» (т.е. будущего Зурина. – В.Л.) (VIII, 376). Малозаметная деталь, но она мгновенно высвечивает всю картину. Предъявив пугачевскую бумагу, Петр Буланин мог не подвергаться оскорблениям Андриюхи-земского и не сидеть в «анбаре». Пока не явился Швабрин, Петруша, как офицер-пугачевец, мог бы даже семью свою освободить.

Однако Петр Буланин не только честен, но и умен. Он понимает, что бумага Пугачева, предъявленная в родном доме, навсегда погубит его репутацию в глазах отца. Отец не даст родительского благословения, без которого Маша замуж за него не выйдет. Все счастливое будущее рухнет тогда мгновенно.

Эпизод «анбарного сидения» и последующие события «Пропущенной главы» решающим образом меняют исходные

представления старика Буланина. Он убеждается, что его Петруша служил «как надлежит честному офицеру» (VIII, 378). Полное оправдание получает теперь и дуэль сына со Швабриным – старик ведь и сам стрелял в этого негодяя и изменника. Наконец, Маша, готовая отдать жизнь за своих благодетелей, становится для него более чем просто «дочерью заслуженного воина, погибшего за отечество» (VIII, 358).

Вырвавшись из рук Швабрина, Буланин-отец дает согласие на брак Петра Андреевича и Марии Ивановны. Они получают родительское благословение (VIII, 383). На финал буланинской истории это обстоятельство должно влиять несомненно и сильно.

К моменту ареста Петруши капитанская дочка – его невеста. Следовательно, член семьи Буланиных. Для самосознания людей пушкинской и предпушкинской эпохи это весьма обязывающая ситуация. Приведем в пример самого Пушкина. Вот его обращение к деду невесты: «Милостивый государь, Афанасий Николаевич! С чувством сердечного благоговения обращаюсь к Вам, как главе семейства, которому отныне принадлежу» (XIV, 89). Это написано в мае 1830 года, т.е. задолго до свадьбы. Точно таким же образом Маша принадлежит семейству Буланиных, главою которого является Андрей Петрович. Для семейной хроники это весьма важно.

А теперь вернемся к событиям, следующим за «Пропущенной главой». Попробуем их увидеть глазами старика Буланина. До сообщения об аресте его семейственная жизнь совершенно безоблачна: сын отлично служит, будущая сноха прелестна, бунт усмирен. Ожидаются возвращение Петруши и свадьба.

Но вот приходит весть об измене сына и его аресте. Обстоятельства, при которых старик об этом узнает, нам по-прежнему неизвестны: письма Б.\*\*? рассказ Савельича? официальное сообщение? Но независимо от этого мнение Андрея Петровича Буланина, кажется, нетрудно предугадать: клевета! Семья стала жертвой клеветы.

По-видимому, самосознание старика Буланина как главы оклеветанной семьи есть, с одной стороны, важное отличие «летней» редакции от «Капитанской дочки», а с другой – некий предел, за которым «Пропущенная глава» перестает отвечать на вопросы о старом финале романа.

Дальше начинается область гипотез.

Мы не знаем, что было в «буланинской» редакции. Но, по крайней мере, можно с осторожностью наметить, чего там не было.

Например, не было тайного сговора Маши и Авдотьи Васильевны, скрывающих от старика цель поездки девицы в Петербург. Не было горестного напутствия старика несостоявшейся снохе с пожеланием доброго жениха, «не ошельмованного изменника». Семья была едина в своей оценке случившегося несчастья.

Но вот вопрос: мог ли Андрей Петрович Буланин, уверенный в невинности сына, остаться в стороне от борьбы за его судьбу? Мог ли он, глава семейства, бездействовать перед лицом гнусной клеветы? Ответить не беремся. Но трагическое противоречие его положения понять можно.

Словная честь, круг дворянских амбиций значат для него много. Это едва ли не смысл всей его жизни. Тут нет сомнений. Но верховным судьей в вопросах дворянской чести является императрица, которую он не любит и не почитает, если, как и Гринев-отец, он выходит в отставку после переворота 1762 года. Во всяком случае, Буланин не посылает сына служить в растленный екатерининский Петербург, так что тут его родство с Гриневым несомненно. Добываясь же законного опровержения клеветы и строго юридического оправдания сына, Буланин должен был бы идти на компромисс с собственной совестью, т.е. признать Екатерину II, развратницу, убийцу мужа, высшим авторитетом в вопросах чести.

Мы не знаем, подвергал ли Пушкин своего героя такому жестокому испытанию. Однако же и полностью сбрасывать такую возможность со счета нельзя. В этом убеждает один из ранних планов романа, написанный около 1833 года<sup>172</sup>. Вот как Пушкин замыслил фабульное развитие своего повествования:

«Крестьянск<ий> бунт – помещик пристань держит, сын его – Мятель – кабак – разбойн.<ик> вожатый – Шванвич ст<арый> – Молод<ой> чел<овек> едет к соседу, бывш<шему> воеводой – Марья Ал. сосватана за плем.<янного> кот<орого> не люб.<ит>. М<олодой> Шв<анвич> встречает разб<ойника> вожат<ого> – вступает к Пугачеву. Он предвод<ительствует> шайкой – Является к Марья Ал. – спасает семейство, и всех

Последняя сцена – Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь – Уезжает – Пугачев разбит. Мол<одой> Шв<анвич> взят –

<sup>172</sup> Это единственный автограф на бумаге такого типа (№ 206). См.: Модзалевский Л.Б., Томашевский Б.В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание. М.; Л., 1937. С. 108, 332.

Отец едет просить Орлов. Екате<рина> Дидерот – Казнь Пугачева» (VIII, 929).

Разумеется, Шванвич-отец может не иметь ничего общего с Андреем Петровичем и Буланиным. Но запись об отце главного героя, который едет просить за сына у Екатерины II, весьма многозначительна в контексте «Пропущенной главы». То, что Пушкин называет в плане «Последней сценой», фабульно очень близко именно «буланинской» редакции: бунт мужиков в имении отца героя, приезд героя на помощь отцу, отъезд его в армию, последующий арест.

Если по плану 1833 года Шванвич спасал своего отца как офицер-пугачевец, то упоминание о пропуске, выданном Пугачевым, который «на всякий случай имел в кармане» молодой Буланин, становится ясным отголоском раннего замысла. Летом 1836 года автор отчетливо помнит фабульный ход, занимавший его еще три года назад.

В плане «Крестьянский бунт...» Пушкин намечает контуры симметричного построения. Сначала сын спасает отца от пугачевцев. Потом отец спасает сына от правительственных репрессий. Но в мире Шванвичей-Швабриных действия, по-видимому, не отягчены моральными сложностями. Молодой офицер мог бы вызволить отца, рекомендуясь прямо при нем сподвижником Пугачева. А старик, герой давних трактирных ссор с Орловыми, не имеет нравственных препятствий для обращения к императрице – в плане 1833 года нет и намек на Белогорскую крепость, на отказ отца послать сына служить в екатерининский Петербург.

В мире Буланиных все гораздо сложнее. Но тем не менее Пушкин в «Пропущенной главе» экспонирует часть ранней симметричной композиции: сын приезжает спасти отца, но бережет при этом дворянскую честь. Если симметрия сохранялась, то перед автором романа возникла трудная задача: как сделать старого Буланина спасителем сына, но оставить Андрея Петровича самим собой, т.е. честным «стародумом», стойким неприятелем императрицы? Прямой, законный ход к стопам государыни для него невозможен – это потеря чести. Значит, и Пушкин, и его герой могли рассчитывать только на какое-то счастливое стечение случайных обстоятельств.

Но симметричная композиция пушкинского романа весьма строга. Каждая счастливая случайность есть в нем как бы функция от заранее предъявленного аргумента. Сначала Петруша, по сути

дела, подарит сто рублей офицеру в симбирском трактире, а уж потом будет выручен этим офицером. Сперва герой пожалует заячий тулупчик Пугачеву, а уж после будет им помилован и обласкан. Так же сперва Савельич спасет барина, кинувшись в ноги самозванцу, а затем барин не оставит Савельича в руках пугачевцев при подъезде к Бердской слободе. Поездка Гринева к Пугачеву из Оренбурга и поездка Маши из деревни к императрице тоже вполне симметричны.

Нечто близкое, подобное, проглядывает и в «буланинской» редакции.

Если какой-то счастливый случай помог Андрею Петровичу Буланину у императрицы, то исходное обстоятельство, надо думать, было заявлено в романе заранее, еще до XII (будущей «Пропущенной») главы<sup>173</sup>. Если же такое счастливое обстоятельство предъявлено не было, то вся «последняя сцена» прощения сына повисала в воздухе, начинала выбиваться из композиционной логики романа. В сущности говоря, Пушкину нужно было выбрать из двух возможностей. Первая: Буланин-отец чуточку сродни старому Шванвичу (из плана 1833 года), имеет связи при дворе Екатерины II (князь Б.? Орловы?); он прибегает к покровительству императрицы через третье лицо, что и дает ему способ беречь свое понятие о чести. Второе: Буланин-отец вовсе не спасен сыном; тогда можно не заставлять гордого старика кланяться венценосной развратнице.

Первая возможность соответствовала бы «буланинской» редакции; вторая прямо вела к основному тексту, т.е. к роману «Капитанская дочка».

О том, что Пушкин на всем протяжении работы над романом помнил план 1833 года, свидетельствует не только «Пропущенная глава», фабульно близкая этому плану. Уже завершив перделку «буланинской» редакции, Пушкин в известном письме от 25 октября 1836 года отвечает на вопросы цензора П.А. Корсакова: «Роман мой основан на предании некогда слышанном мною, будто бы одни из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки Пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (XVI, 177-178).

<sup>173</sup> Так, если Буланин-отец носил какие-то черты старого Шванвича из плана 1833 г., то в его молодости могло быть близкое знакомство с братьями Орловыми; например, услуга Орловым до 1762 года дает теперь ход к императрице.

«Буланинская» редакция могла быть несколько более ранней стадией ухода романа «от истины». Но, как ни заманчиво представить себе Андрея Петровича Буланина, «кинувшегося в ноги» императрице, у нас все-таки слишком мало фактических оснований для того, чтобы вдаваться в глубокие обсуждения такой возможности. Мы твердо знаем, что императрица простила Петрушу Буланина, но не знаем, кто добился этого прощения: Маша? Андрей Петрович? или отец и невеста вместе?

Одно только можно сказать определенно: прощение Буланина было достигнуто не так, или, по меньшей мере, не совсем так, как прощение Гринева. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить хрестоматийное послесловие к «Капитанской дочке» с наброском послесловия к «буланинской» редакции.

Вот окончательный текст: «В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова» (VIII, 374).

А вот из послесловия к «буланинской» редакции: «Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание сына его: Петр Андреевич умер в конце 1817-го года» (VIII, 906).

Таким образом, дочь капитана Миронова вовсе не упоминается в рескрипте Екатерины II на имя Андрея Петровича Буланина. Разумеется, это еще не доказывает, что она не ездила в Петербург и не встречалась с императрицей. Но можно предположить, что ее роль в финале романа была несколько иной, по-видимому более скромной. Это предположение хорошо согласуется с догадкой Ю.Г. Оксмана: роман обрел название «Капитанская дочка» лишь осенью 1836 года, лишь при переделке «буланинской» редакции<sup>174</sup>.

Тот же Ю.Г. Оксман верно связал название «Капитанская дочка» со становлением жанра «семейной хроники как сюжетной основы утверждаемого им (Пушкиным. — В. Л.) исторического повествования нового типа»<sup>175</sup>.

<sup>174</sup> Оксман Ю.Г. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка» // Пушкин А.С. Капитанская дочка. Изд. 2-е, дополн. Л., 1984. С. 166.

<sup>175</sup> Там же. С. 166.

Суждения об особенностях этого повествования нового типа можно несколько продолжить, основываясь как на достижениях пушкиноведения, так и на приведенных наблюдениях.

В финалах обеих редакций романа сосуществуют как бы два идейных начала: государственно-правовое, олицетворяемое Андреем Петровичем Буланиным-Гриневым, и милосердное, олицетворяемое Машей Мироновой. Именно она, как мы помним, просит у императрицы милости, а не правосудия (VIII, 372). И тем пролагает путь к торжеству справедливости.

Подробный и изящный анализ соотношения идей правосудия и милосердия в пушкинском романе содержится в работах Ю.М. Лотмана и В.Э. Вацуро, к которым мы и отсылаем<sup>176</sup>.

«Пропущенная глава» и набросок послесловия дают возможность предположить, что правосудное начало и его носитель Андрей Петрович Буланин в «летней» редакции занимали больше места. Причину надо, по нашему мнению, искать не только в эволюции взглядов Пушкина. Понятие «герой сердца» Пушкин вводит в свою лирику еще в 1830 году, задолго до замысла «Капитанской дочки». Сильное правовое начало сопровождает работу над ранними редакциями романа, думается, потому, что оно в сознании Пушкина лучше соответствует историческим реальностям XVIII столетия.

Здесь, по-видимому, возникает положение, сходное с хорошо известной ситуацией вокруг главного героя романа. Вот уже полвека – с тридцатых годов – идут споры о том, почему Пушкин отступил от мысли сделать главного героя-дворянина пугачевцем. Одни исследователи склонны видеть тут результат цензурных запретов, тяготевших над Пушкиным (Ю.Г. Оксман, Б.В. Томашевский). Другие полагают, что Пушкин-реалист прекрасно видел пропасть, отделявшую передовое дворянство от «черного народа», а потому Гринев-пугачевец утратил бы всякое историческое правдоподобие (В.Б. Александров, Н.Н. Петрунина)<sup>177</sup>.

<sup>176</sup> Лотман Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки» // Пушкинский сборник. Псков, 1962. С. 15-16; Вацуро В.Э. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12. С. 317-319.

<sup>177</sup> См.: Оксман Ю.Г. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка». С. 164-165; Томашевский Б.В. Пушкин. М.; Л., 1961. Кн. 2. С. 288-289; Александров В. Пугачев. (Народность и реализм Пушкина) // Литературный критик. 1937. № 1. С. 38; Петрунина Н.Н. У истоков «Капитанской

Теперь оказывается, что истолкование эволюции образов отца и невесты героя – ничуть не проще.

Вернемся к плану 1833 года. Ситуация, обозначенная здесь Пушкиным, вполне соответствует реальностям дворянского быта екатерининских времен. Отец просит у государыни простить виноватого сына, для чего прибегает к протекции при дворе (Орлов?). Возлюбленная сына, уже получившая имя Маша («Марья Ал.»), никаких самостоятельных поступков не совершает; она объект, а не субъект действия. Если угодно, ее можно рассматривать как приз, разыгрываемый между молодым Шванвичем и нелюбимым женихом (племянником воеводы?). Такая роль вполне обыкновенна: она и сорок лет спустя будет тяготить Полину, героиню пушкинского «Рославлева» (VIII, 153).

Свое понимание обстоятельств екатерининского царствования Пушкин отчетливо выразил в статье «Александр Радищев», написанной весной 1836 года, – как раз в пору, когда «буланинская» редакция была для него актуальна. Вот его оценка: «Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего правительства, наши Законы, не изменившиеся со времен Петра I-го, их строгость, в то время еще не смягченную двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца, умевшего уважать человечество; если подумаем: какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, то преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего» (XII, 32).

«Политические обстоятельства» 1791 года существовали, конечно, и в 1774 году, да еще отягченные крестьянской войной. Сила правительства абсолютна и необъятна. Поэтому реальный, нелитературный дворянин, попавший в положение Буланина-отца, может рассчитывать только на силу закона, на правосудие императрицы, как бы он к ней лично ни относился. Другого пути нет. Другой путь – «действию сумасшедшего».

Как поступил Буланин-отец, мы по-прежнему не знаем. Но старик Гринев, верящий в измену сына, ведет себя точно так, как и подобиет представителю «суровых людей», носителей абсолютных государственно-правовых воззрений. Он замыкается в себе, понимая

---

дочки» // Петрунина Н.Н., Фрилендер Г.М. Над страницами Пушкина. Л., 1974. С. 97. Мнения сторон хорошо суммированы и подытожены в статье: Макогоненко Г.П. Исторический роман о народной войне // Пушкин А.С. Капитанская дочка. Л., 1984. С. 202-204.

не только безнадежность, но, главное, и ненужность действий в защиту сына.

Точно так же мы не знаем, как вела себя невеста Петра Буланина. Но суженая Петра Гринева, пусть и не замеченная в «действиях сумасшедшего», все-таки сильно выбивается из обстоятельств своего времени. Она принимает самостоятельное решение, переменяющее всю ее судьбу, – уже это одно выводит ее из ряда обыкновенных современниц. Больше того, героиня осмеливается открыто и без всякой поддержки при дворе опровергать официально принятое и утвержденное императрицей решение. Так далеко не заходили даже неординарные пушкинские героини следующего столетия – Полина из «Рославлева», онегинская Татьяна.

Пушкин прекрасно понимал, что с образом Маши Мироновой и сопутствующими ему условиями финала роман сильно отрывался от «политических обстоятельств» исторического времени. «Суровые люди» екатерининского двора, конечно, мало походили на добрую Анну Власьевну и приветливую даму, прогуливавшуюся в царскосельском парке.

«Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (XVI, 177-178) не только фабульно, но и своим нравственно-философским смыслом.

Пушкин в «Капитанской дочке» готов кое-где поступиться узко понимаемым историческим правдоподобием, но зато вносит в роман опыт своего времени. Конечно, оно тоже «жестокий век». Но шесть десятилетий, отделяющих автора от его героев, все-таки не прошли даром. По крайней мере они показали, что в самодержавной России, даже «смягченной» в дни Александровы, человек не может рассчитывать на государственно-правовые начала. В их рамках не уважается то, что Пушкин называет «человечеством».

Выходом из этой реальности служит утопия – «герой сердца», действующий в другом, негосударственном измерении, добивающийся справедливости не на основе закона, а скорее вопреки ему. Таков Пугачев, нарушающий установления своего мужицкого государства; такова сильно идеализированная Екатерина II, пренебрегшая имперским законом ради влюбленных. «Героям сердца» на тронах соответствуют «герои сердца» в быту – Петр Гринев, Маша Миронова.

Говоря строго, все они не персонажи русского XVIII столетия, а уж тем более не «типичные представители» его.

Перечитывая летом 1836 года только что завершённую «буланинскую» редакцию романа, Пушкин не был удовлетворен своим трудом. Не потому ли, что мотивы милосердия, милости к падшим, звучали в нем недостаточно громко и отчетливо?

### **ИСТОРИЯ РУССКОГО XVIII ВЕКА – НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ А.С. ПУШКИНА**

Перо историографа Пушкин, как известно, прочно взял в руки только в последние годы своей жизни. Но о прошлом России, о её историческом пути он размышлял много и плодотворно гораздо раньше. Автор «Бориса Годунова» и внимательный читатель средневековых хроник, он ещё в двадцатые годы отмечал «трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании» (XI, 68).

Речь, понятно, шла о карамзинской «Истории государства Российского».

Усилия Пушкина – историка неоднократно служили поводом для исследований, для критики. Полемика вокруг «Истории пугачевского бунта» началась ещё при жизни поэта, а суждения о рукописи «Истории Петра» П.В. Анненков высказывал ещё в своих «Материалах для биографии Пушкина» (1855). Полтора века, прошедшие с тех пор, сильно и разносторонне обогатили наши знания о том, как поэт постигал историю, как выражал свои взгляды на прошлое – в стихах, в художественной и документальной прозе.

Вместе с тем, хождение Пушкина вослед Карамзину столь многогранно, так насыщено оттенками историко-художественных смыслов, что оставляет много возможностей для дальнейшего изучения. Замыслы поэта в области исторических сочинений оказываются неизмеримо обширнее того, что он успел выразить в своих произведениях. Русский восемнадцатый век вставал перед ним во всех своих острейших противоречиях, со всеми своими взлётами и падениями общественной мысли, с его очевидной актуальностью по отношению к веку текущему, девятнадцатому. «Революция» Петра I и реформы Екатерины II, народные восстания Булавина и Пугачева, войны России, наука и словесность, начатые

Ломоносовым, придворные интриги – всё волновало Пушкина, всё требовало изучения, истолкования.

## I

16 сентября 1827 года в сельце Михайловском Пушкина навестил приятель, питомец Дерптского университета Алексей Николаевич Вульф. Беседы хозяина и гостя были весьма продолжительны и на редкость содержательны, о чём свидетельствует дневник Вульфа. В них часто упоминались Карамзин, а также события и люди истекшего столетия.

Вот одна из дневниковых записей Вульфа: «Играя на бильярде, сказал Пушкин: “Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей “Истории”, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александру – пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уж можно писать и царствование Николая, и об 14 декабря”»<sup>178</sup>.

Дневниковая запись сделана сразу после беседы или недолгое время спустя – так что на достоверность сообщаемых сведений можно полагаться. Они служат отправной точкой для дальнейших соображений. В лаконичном сообщении Вульфа, кажется, проступают контуры некоего творческого замысла, овладевшего Пушкиным к осени 1827 года. Какого замысла? Краткость свидетельства «дерптского студента» не даёт возможности судить об этом детально и с полной уверенностью. Но совершенно очевидны два обстоятельства. Во-первых, замысел касается материала отечественной истории и носит характер скорее документального повествования, чем художественного вымысла. Во-вторых, образцом, точкой отсчёта для Пушкина служит Карамзин, «История Государства Российского – несмотря на критический выпад против первых частей многотомника...

Соперничество с Карамзиным идёт по двум основным линиям – научной и художественной. Пушкин ещё не испытал своих способностей в собирании и осмыслении исторических источников, в построении историко-философских систем. Поэтому критика

---

<sup>178</sup> Вульф А.Н. Из дневника // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 416.

Карамзина и его версии правлений Игоря и Святослава находится в чисто художественном русле – «сухо»! Пушкин догадывается, что в области создания исторических характеров и занимательности изложения он сильнее покойного историографа – ещё одно свидетельство того, что историческая наука и художественная словесность в то время не полностью отделены одна от другой. «Сухо» – значит здесь протокольно, нехудожественно. Когда семь лет спустя В. А. Жуковский упрекнёт младшего друга в том, что его письма к императору об отставке «сухи», Пушкин раздраженно ответит: «Да зачем же им быть сопливыми?» (XV, 176). Тем самым он ещё раз подтвердит, что сухость прилична только служебному документу, официальному или деловому обращению. А история народа всё-таки принадлежит *поэту*.

Запись Вульфа необходимо хотя бы в общих чертах соотносить с той историографической ситуацией, которая тогда складывалась на материале русской истории. Карамзину удалось довести свой основной труд только до начала XVII века, до «смутного времени» и воцарения династии Романовых. В.Н. Татищев обращался и к последующим временам, однако, пятая книга его «Истории Российской», захватывающая материал XVII века, запоздало выйдет лишь в 1848 году, т.е. уж после Пушкина. Кое-какие факты и суждения о предпетровской эпохе Пушкин мог черпать из многотомного труда И.И. Голикова «История Петра Великого, мудрого преобразителя России», в котором есть раздел «Изображение предшествующих времён Петру Великому»<sup>179</sup>. Основной текст Голикова и дополнения к нему отражали, главным образом, только первую четверть XVIII века, т.е. годы правления Петра I. Критические суждения об истекшем столетии содержались в потаенных сочинениях – в записке Карамзина «О древней и новой России» и в полумемуарном трактате князя М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России».

Предпетровские десятилетия и весь русский XVIII век представляли собой почти непаханую историографическую целину, давно занимавшую Пушкина. Парадокс заключался, например, в том, что о времени Петра I и императриц гораздо больше и

---

<sup>179</sup> Листов В.С., Тархова Н.А. Труд И.И. Голикова «Деяния Петра Великого <...>» в кругу источников трагедии «Борис Годунов» // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1980. № 18. С. 113-118.

подробнее можно было прочесть в учёных сочинениях на иностранных языках, чем на русском.

Ещё в кишиневской ссылке Пушкин набрасывает <<Заметки по русской истории XVIIIв.>> (1822), которые хронологически начинаются 1725 годом: «По смерти Петра I...», (XI, 14). Пушкин «подхватывал» историческую канву именно там, где ее оставил Голиков. Но соотнесение этих <<Заметок...>> с замыслом, изложенным Вульфу, представляет очевидные трудности – пять или шесть лет в жизни и творчестве Пушкина (1822 – 1827) есть огромный срок; в течение этого времени и сам замысел, и его конкретное наполнение могли измениться коренным образом.

Отметим: об истории царствования Петра I и Александра I Пушкин (в пересказе Вульфа) говорит: «Я непременно напишу...». События 14 декабря и правление Николая I обозначены иначе: о них «теперь уже *можно* писать». Тем самым хронологически более отдалённые эпохи – от начала XVIII века до начала XIX века – в планах Пушкина-историка, видимо, стоят на первом месте. А современность, сложившаяся с воцарением Николая I, отнесена на более далёкую творческую перспективу. Может быть, об этой работе Пушкин вообще всерьёз не задумывался: царствование Николая Павловича продолжается, многие обстоятельства и их оценки могут решительно меняться; поэтому сосредоточение на столетии, отделяющем Петра Великого от Александра I, выглядит для Пушкина-историка более логичным и естественным.

Тут необходимо оговориться. Мы обсуждаем пушкинский замысел «Истории Петра I» в том виде, в каком он складывался во второй половине двадцатых годов. Значит, это ещё вольный замысел, не отягченный царским вмешательством, государственной службой, недоброжелательным вниманием света. Речь идёт о труде, для которого пока ещё «условий нет». В свободном сознании поэта живет образ великого монарха, свершителя славных дел, образ прекрасный, ничем не затуманенный. Лучшее тому свидетельство – начатая повесть о царском арапе, где Петр I предстаёт мудрым государем, истинным отцом отечества. Разочарование наступит поэта-историка позже, ближе к середине тридцатых годов<sup>180</sup>.

Совсем другой подход к царствованию Александра I. Стихотворные строки о «владыке слабом и лукавом» ещё не легли на бумагу, но свидетельств острой неприязни к нему Пушкина

<sup>180</sup> Листов В.С. Новое о Пушкине. С.392-421.

вполне достаточно<sup>181</sup>. Обещание написать историю Александра Павловича «пером Курбского», обращённое к Вульфу, имеет совершенно ясный подтекст. В воспоминаниях, записанных М.И. Семевским, Вульф рассказывает о своих дружеских связях с Пушкиным в конце царствования Александра I: «К этому <...> времени относится одна наша с Пушкиным затея. Пушкин, не надеясь получить в скором времени права свободного выезда с места своего заточения, измышлял различные проекты, как бы получить свободу. Между прочим, предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собой за границу. Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта, не знаю; я думаю, что всё кончилось бы на словах; к счастью, судьбе угодно было устроить Пушкина так, что в сентябре 1826 года он получил, и притом совершенно оригинально, вожделенную свободу»<sup>182</sup>.

Теперь, ровно через год после обретения этой «свободы», у Пушкина в беседе с Вульфом возникает мотив из недавнего прошлого. Если бы фантастический план маскарадного побега осуществился, Пушкин оказался бы в положении князя Андрея Михайловича Курбского, в 1564 году отъехавшего за границу. Сходство положений довершалось и тем, что Вульф ехал в чужие края из Дерпта. Как раз оттуда, из Дерпта, Курбский в своём XVI веке совершил свой побег. Нетрудно представить себе, как Пушкин в воображении ставил себя на место опального князя и в своей «Александровой истории» предвидел публицистический пафос, идейное продолжение обличительных посланий беглеца к царю Ивану.

Одной из важнейших сторон карамзинского «подвига честного человека» было, по Пушкину, то, что он, Карамзин, писал свой труд в России, – т.е. там, где этому явно противостояли все условия государственной жизни и многие особенности общественного сознания. Можно ещё заметить, как поэт легко обходится с жанровыми особенностями социально-исторических сочинений. Свою «Историю Александрову» он намеревается писать по образцу ядовитых писем князя Андрея к царю Ивану, не сообразуясь с тем, как разнятся цели и средства публицистической

<sup>181</sup> См., например: *Перфильева Л.* Арап – а состязается с Державиным // «Алфавит». М., 1999. № 21. С.5.

<sup>182</sup> *Вульф А.Н.* Рассказы о Пушкине, записанные М.И. Семевским // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 414.

критики и исторического исследования. Пушкин, кажется, не принимает в расчёт, что Курбский вовсе не пишет историю царствования Ивана Грозного. Князь полностью сосредоточен на разоблачении царя и его политики, на доказательстве его отступничества от веры, от отечественных традиций.

Дневник Вульфа ставит много вопросов, но не даёт материала для их решения. Например, ясно, что Пушкин «непрерывно» собирается писать *две* истории – Петрову и Александрову. Но в каком отношении друг к другу находятся эти два замысливаемых труда? Идёт ли речь о *двух* независимых работах, которые мы сегодня назвали бы монографическими? Или замысливается единая, фундаментальная история России XVIII – XIX вв., где исходной точкой служат усилия Петра-революционера, а итогом «дни Александровы» с их ведомыми чередованиями света и тени? Этот же вопрос можно поставить и иначе. Хотел ли Пушкин в 1827 году давать историческую картину отечества за целое столетие – с 1725 по 1825 гг.? Включал ли его замысел времена императриц и Павла I?

Беседе с дерптским студентом вообще не следовало бы придавать столь серьёзного значения, если б к этому не влекли достоверно известные факты пушкинского творчества и биографии. В этих фактах много случайного, непредсказуемого. Но основной мотив прогноза – «я непременно напишу историю» – безусловно, серьёзен.

## II

Между осенью 1827 и осенью 1831 годов – ровно четыре года, которые дают сравнительно немного поводов для обсуждения усилий Пушкина-историка. Прошлое России занимает скорее художника, поэта. Начат и оставлен роман о царском арапе, завершена «Полтава», написаны онегинскими строфами «декабристские» хроники, явный исторический привкус имеют некоторые лирические стихотворения. Никакого систематического труда в области собственно историографии, кажется, нет. Стихи и художественная проза – естественные формы, в которые отливаются исторические взгляды автора.

Решительную попытку поворота к иным формам Пушкин предпринимает в 1831 году.

Обстоятельства лета и осени того года, сопутствовавшие коренной перемене участи поэта, хорошо известны. Позади годы странствий, расставание с «Евгением Онегиным», с холостой

жизнью; к будущей весне в семье Пушкиных ожидается прибавление. Обыкновенные житейские заботы требуют всё больше внимания и усилий. Между тем светское общество – подчас даже близкие знакомцы – не понимает нового положения, новой жизненной позиции, в которой находится поэт. Для многих приятелей он по-прежнему остаётся лёгким остроумцем, кумиром уездных барышень и беззаботных молодых людей.

В прозаическом отрывке «Не смотря на великие преимущества...» (VIII, 409-411) и позже, в «Египетских ночах» (VIII, 263-276), Пушкин оставил чуть завуалированное художественно своё раздражение петербургским светом: «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеимён и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность: по ее мнению он рожден для ее пользы и удовольствия» (VIII, 263). Желание сбросить с себя стихотворческое титуло, конечно, постоянно посещало Пушкина.

Занятия историографией, начатые вслед почтенному Карамзину, могли среди прочего помочь изменить общественное положение, обрести новые «звание и прозвище».

В том же направлении вели Пушкина и политические обстоятельства времени. Ещё до того, как Пушкин в Михайловском беседовал с Вульфом, на русской политической сцене произошли важные, но мало кому известные события. Государь Николай Павлович повелел образовать «Секретный комитет 6 декабря» (название – по дате создания в 1826 году) и возложил на него подготовку широких либеральных реформ, клонящих к ослаблению крепостного права, ограничению власти чиновников, точному законодательному определению прав и обязанностей сословий, развитию просвещения и т.д. Пушкин знал о готовящихся преобразованиях, ждал и заранее приветствовал их. Но на пути реформ стояли многие препятствия. Старший брат государя, великий князь Константин Павлович, резко выступал с критикой проектов нововведений. Июльская революция 1830 года во Франции и восстание патриотов в Польше в 1830-1831 гг. поколебали и Николая I. Судьба реформ, что называется, повисла на волоске<sup>183</sup>. Пушкин всё это остро переживал, но питал иллюзию, будто быстрое подавление поляков вернёт государя на путь реформ. Наоборот,

<sup>183</sup> Листов В.С. Новое о Пушкине. С. 202-206.

думал он, промедление в усмирении Польши грозит интервенцией западных держав. Холерная эпидемия, охватившая многие русские губернии, усиливала тревогу. В 1831 году поэт беседовал с графом Е.Е. Комаровским и, между прочим, сказал ему: «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году?»<sup>184</sup>.

Едва ли не впервые в жизни поэт задумался: прав ли он, Пушкин, пренебрегая государственной службой? Пренебрегая не вообще, а именно сейчас, сегодня, в сложившихся общественных и личных обстоятельствах? Всё склонялось к тому, что государь и государство шли правильным путём, и в их правоте содержался очевидный для старинного дворянина вызов. Этот мотив громко звучит в пушкинских письмах той поры: вчерашнего вольнодумца и фрондёра тяготит бездействие; ему надоело неуважение, с которым люди его круга относятся к званию стихотворца и к светскому положению его жены, Натальи Николаевны. На эту тему можно было бы сделать весьма показательную подборку из писем Пушкина. Но мы ограничимся только одним письмом к П.А. Вяземскому от 16 марта 1830 года: «Государь уезжая оставил в Москве проект новой организации, контр-революции Революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле Европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые правила мещан и крепостных – вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу» (XIV, 69).

Чуть позже Пушкин скажет ещё проще и прямее. В письме, адресованном А.Х. Бенкендорфу в июле 1831 года, он подведёт итог своим размышлениям: «Заботливость истинно-отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно моё бездействие <...>. Если государю императору угодно будет употребить перо моё, то буду стараться с точностью и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей» (XII, 256).

Понятно: задумываясь о своих усилиях на пользу правительству, Пушкин не собирается возвращаться в канцелярию, из которой семь лет тому назад был уволен своим тогдашним

---

<sup>184</sup> Разговоры Пушкина. Собр. С. Гессен и Л. Модзалевский. М., 1929. С. 168.

начальником, графом М.С. Воронцовым. Но как-то служить государю своим пером, своим талантом – отчего ж нет? Это потом, несколько лет спустя, Пушкин будет проклинать день, в который он дал опутать себя условиями государственной службы. Это потом он будет страшно угнетен сочинением «Истории Петра», будет стараться не попадаться на глаза августейшему заказчику, императору Николаю Павловичу. Это, повторяем, потом. А пока, летом 1831 года Александр Сергеевич мирно живет с молодой женой в Царском Селе, пишет сказки, переживает холерную эпидемию. Мы уже говорили о том, что при дворе существует некий негласный кружок друзей Пушкина (в него наверняка входят В.А. Жуковский и фрейлина А.О. Россет). Друзья знают о желании поэта вступить в службу и озабочены тем, как посветить императора в планы поэта и получить благоприятное решение. Они даже приискали на выбор две должности – вот, например, политический писатель при правительстве (что-то вроде пресс-секретаря?) или место придворного историографа, пустующее после смерти Карамзина<sup>185</sup>. Пушкин, видимо, предпочёл карамзинскую должность – историографа.

Нормальный бюрократический ход дела был бы прост: царь призывает Пушкина к себе во дворец и жалует придворным историографом. Монаршее решение для отставного чиновника обязательно – он возвращается в службу в той должности и в том чине, которые присваивает ему монарх. Но в данном случае Николай I проявляет прекрасное понимание обстоятельств и большой такт. Он знает, что его, царя, предложение (просьба?) в официальной обстановке есть приказ. И не хочет командовать поэтом. С другой стороны, ведь и Пушкину неудобно просить у царя место Карамзина, одного из самых уважаемых вельмож прежнего царствования. Выход находится весьма неожиданный: Николай Павлович, летним утром прогуливаясь с императрицей по царскосельскому парку, якобы случайно встречает в одной из аллей другую гуляющую чету – Пушкина с женой. Тут-то, на садовой дорожке, и состоялся разговор, повернувший судьбу Пушкина в иную сторону. Отныне он взят в службу и пишет официальную «Историю Петра Великого»<sup>186</sup>.

<sup>185</sup> Анненков П.В. Из последних лет жизни поэта // Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. С. 253-255.

<sup>186</sup> А.С. Пушкин. Письма. В 3 т. Т.2. 1827-1831. М., 2006. С. 571, 573.

Царское поручение переменяло участь Пушкина. Нетрудно догадаться, что оно не осталось нейтральным прежде всего к замыслу, о котором в 1827 году услышал Вульф. То, что ещё вчера было предметом свободных размышлений, сегодня становится заданием чиновнику, обретает официальные контуры: сроки исполнения, объёмы рукописи, жалование, продолжительные сидения над книгами и архивными бумагами. Всё это – путь к личной катастрофе, прослеженный нами в другой работе<sup>187</sup>. Здесь же отметим – служебная переписка вокруг монаршего задания поэту даёт возможность хотя бы отчасти ответить на поставленный уже вопрос о контурах исторического замысла, обрисованного Вульфу четыре года назад в Михайловском.

В одно из июльских чисел 1831 года Пушкин обращается к А.Х. Бенкендорфу с письмом, предназначенным, конечно, императору, в котором предлагает варианты конкретного содержания своей службы. Последний абзац послания сформулирован следующим образом: «Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее моё желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» (XIV, 256).

Значит, *давнишнее*, т.е. ещё дослужебное, *желание* Пушкина не ограничивалось хронологическими рамками правления Петра Великого (по 1725 год). Замысел, как минимум, простирался до воцарения императора Петра III, т.е. до 1761 года. Следовательно, внимание Пушкина-историка распространялось на царствования Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Ивана VI, Елизаветы Петровны.

Тот же самый мотив, мотив соотношения царствования Петра I с правлением «ничтожных наследников северного исполина» встречаем и в <<Заметках по русской истории XVIII века>>. Выходит, давно, ещё в разговоре с Вульфом, Пушкин предполагал не просто писать историю царствований Петра I и Александра I, но мысленно как-то заполнял в своей работе пробел между этими государями, равный трём четвертям века (1725 – 1801).

---

<sup>187</sup> Листов В.С. «История Петра» в биографии и творчестве А.С. Пушкина // Пушкин А.С. История Петра. М., 2000. С. 7-41.

Во всяком случае, о первых десятилетиях после Петра это можно сказать теперь уверенно.

Упомянув в письме к Бенкендорфу своё давнишнее желание – написать не только историю первого императора всероссийского, но и его наследников, – Пушкин обозначает некую важную пограничную ситуацию. Его, Пушкина, вольный замысел простирается от Петра I на много десятилетий в глубь XVIII века. Но как это будет воспринято властью? Позволят ли продолжать исторический труд за пределы петровской эпохи? Скажем прямо: поэт наивен, страдает «простодушием гениев» и не сильно искушен в ремесле, за которое берётся. В июле 1831 года ему кажется, что в обозримом будущем он завершит сочинение о Петре I и двинется дальше, к увлекательным и противоречивым временам императриц. Власть в этом случае оказывается опытнее и дальновиднее поэта. Она не откликается на его предложение продолжать труд, который даже ещё не начат – во всяком случае, о реальном приступе Пушкина к такому историческому сочинению нет никаких следов в известных нам источниках. И даже в более поздние времена такие следы не обнаруживаются. Почему? Видимо, во-первых, потому, что государя Николая Павловича времена императриц не особенно занимали. Во-вторых, потому, что официальному историку пришлось бы прикасаться своим пером к сравнительно близкому прошлому, к «новой аристократии», плотно стоящей у трона сейчас, сегодня. От этого могли возникнуть неудобства, способные насторожить среднеграмотного в обхождении царедворца. Но – не Пушкина.

Поэт брался за работу, которую пять лет спустя назовёт «убийственной».

### III

Давно, ещё в пору кишинёвского изгнания, молодой Пушкин за какую-то провинность был посажен под арест. Тут его навестил сослуживец, князь Павел Иванович Долгоруков. В свой дневник князь Павел занёс впечатления о визите к арестанту: «Несмотря на своё заточение, Пушкин мне не завидует. Он сказал мне на счёт моих непрерывных занятий: *“Я предпочёл бы остаться запертым*

*на всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором нужно отчитываться»»<sup>188</sup>.*

Эту особенность характера поэта князь Долгоруков уловил верно. Она проявлялась и в следующем десятилетии. Но теперь по службе следовало не просто отчитываться, а постоянно держать ответ перед императором. Для Пушкина неотступное внимание монарха к его занятиям довольно скоро стало тягостным, а потом и несносным. Положение решительно ухудшалось и тем, что медленная и кропотливая работа над источниками – архивными и печатными – оказалась Пушкину не по нутру. В отличие от Карамзина он не смог переменить свой образ жизни и на долгие годы запереть себя в учёном кабинете.

В нашу задачу не входит изучение всех причин, по которым параллельно с «Историей Петра» Пушкин берётся сочинять «Историю Пугачева». В ряду таких причин, видимо, были свобода, незаданность, если угодно, неподотчётность предпринимаемого труда. Кажется, можно понять, с какой охотой поэт откладывает официально заданную рукопись и обращается к другой, составляющей область его собственных, никому неподконтрольных усилий.

Результат очевиден. Через два года исторических занятий «История Петра» безнадежно застревает на стадии бесконечного скопления материалов, а совершенно готовая рукопись «Истории Пугачева» лежит на письменном столе. Автор может быть удовлетворён. Если не царю и светскому обществу, то уж по крайней мере себе самому он доказал свою состоятельность как историографа. Кроме того, он может рассматривать завершённый труд как актуальное предупреждение своему сословию: вот что ждёт нас при безумном расширении вольности дворянской, при укреплении власти помещиков над крепостными, при пренебрежении правами и интересами «чёрного народа».

Осень 1833 года застаёт Пушкина в поездке по Уралу и Поволжью. В ноябре поэт в родовом имении Болдине. На этот раз осеннее заточение – добровольное, но тоже, как и раньше, служит обширным творческим интересам писателя. «Медный всадник», «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Анджело», «История

---

<sup>188</sup> *Долгоруков П.И.* 35-й год моей жизни, или два дни вёдра на 363 ненастья // *А.С. Пушкин в воспоминаниях современников.* Т.1. С. 357. Реплика Пушкина – по-французски.

Пугачева» и другие произведения обретают ясные очертания в деревенской тишине.

2 ноября Пушкин сочиняет предисловие к завершённой, видимо, «Истории Пугачёва». Вот что читаем мы в первом же абзаце этого предисловия: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано всё, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Так же имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствами живых» (IX, 1).

Приведенное начало предисловия немедленно напоминает и о беседе с Вульфом в 1827 году, и о письме к Бенкендорфу летом 1831 года. В самом деле: если рекомендуемый автором труд есть лишь *отрывок*, то как должно было выглядеть и строиться гипотетическое *целое*? В «Истории Пугачева» даже без приложений восемь весьма объёмных глав, и нелегко представить себе некий столь обширный корпус связного текста, в который все эти главы входили бы на правах всего только *части* какого-то труда, пусть даже и оставленного. Если верить здесь Пушкину (или вообще «простодушью гениев»), то единственным правдоподобным объяснением будет примерно такое: *в написанной им «Истории Пугачева» Пушкин видел часть той истории России XVIII века, которую предполагал написать и для которой искал материалы.*

Проверим себя.

Предисловие написано в расчёте на читателя, на публикацию вещи. Совершенно ясно, что рукопись придётся предъявлять правительству, царю. И не только потому, что государь взял на себя роль пушкинского цензора. Сюжет, избранный Пушкиным, подпадает под действие повеления Екатерины II – «всё дело предать вечному забвению» (IX, 81). По этой и многим другим причинам, в которые мы здесь не входим, разрешить напечатать рукопись мог только царь.

Набрасывая осенью 1833 года варианты краткого предисловия, Пушкин должен был мысленно примерять текст к восприятию августейшего читателя. Тут автора ждала полная неизвестность. Одобрит или не одобрит? А если одобрит, то разрешит ли печатать? События могли принять и совсем худой оборот: «вымоют голову», как это случилось после записки о народном воспитании. Поэтому выражения, в которых Пушкин составляет предисловие, весьма обдуманы и осторожны.

Исторический труд о русском XVIII веке, скорее только задуманный, чем начатый, Пушкин называет *оставленным*.

Расчёт, кажется, понятен. У императора не должно сложиться впечатление, будто его историограф занимается всей этой пугачёвщиной в ущерб работе над правительственным заказом – «Историей Петра». Подразумевается иная картина его творческих усилий, *вымышленная*. Вот примерно черты этой явно фантастической картины. Когда-то давно, ещё до вступления в службу, Пушкин замышлял и писал нечто историческое, оставленное им в 1831 году, а, может быть, даже и раньше. Теперь, по прошествии времени, автор обращается к его величеству по поводу законченного отрывка из старого, незаконченного сочинения – нельзя ль напечатать? Сочинение писано в строго монархическом духе. Но если в нём отыщутся суждения, противоречащие видам правительства, то можно будет сослаться на давность сочинения, на близость его по времени к молодым заблуждениям автора, уже прошённым государем. Близкая аналогия: в своих показаниях по делу о «Гавриилиаде» Пушкин относит крамольную поэму к 1815-1816 гг., т.е. делает её на семь – восемь лет старше, чем в действительности<sup>189</sup>.

Всё это, повторяем, вымышленная картина.

Теперь – что происходит в действительности.

Разбираемое предисловие к «Истории Пугачева», мы помним, написано в Болдине и помечено: *2 ноября 1833 года*. Месяцем раньше, по дороге в свою деревню, Пушкин останавливается в имении Языково Симбирской губернии и проводит сутки в гостях у приятелей, братьев Языковых<sup>190</sup>. О разговорах, которые велись в кругу друзей, мы узнаём из письма от 3 октября, посланного Н.М. Языковым историку Н.М. Погодину: «У нас был Пушкин – с Яика – собирал-де сказания о Пугачеве – много-де собрал по его словам разумеется. Заметно, что он вторгается в область Истории – (для стихов ещё бы туда и сюда) собирается собирать плоды с поля, на коем он ни зерна не посеял – писать историю Петра, Ек<атерины> 1-ой, и далее вплоть до Павла первого (между нами)»<sup>191</sup>.

<sup>189</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т.10. Л., 1979. С. 496.

<sup>190</sup> Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. В 4 т. Сост. Н.А. Тархова. М., 1999. Т. 4. С. 97.

<sup>191</sup> Пушкин по документам архива М.П. Погодина. Публикация М. Цявловского // Литературное наследство. Т. 16-18. М., 1934. С. 715.

Языков, как видим, не сочувственно относится к планам Пушкина-историка. Тем ценнее его, Языкова, свидетельство.

Два года назад в письме к Бенкендорфу Пушкин осторожно обозначил свои историографические претензии – «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III». Теперь же, в вольной беседе с друзьями, он обозначает свои желания гораздо шире: сочинение должно простираться от времени Петра I до времени Павла I. Что это значит? Это значит, что взявшись за официальное задание – писать о первом императоре, – Пушкин вовсе не оставил первоначального замысла и собирается сочинять историю русского XVIII века.

Пушкин едет из Оренбурга в Болдино, и в его экипаже лежит почти готовая рукопись о пугачёвском бунте, точно соответствующая тому замыслу, которым («между нами») он делится с Языковыми. Эпизод екатерининских времён как раз и происходит «до Павла первого». Тем самым, раскрывая «Историю Пугачёва», мы и сегодня читаем не просто страницы монографии, а фрагмент (отрывок?) из пушкинской «Истории XVIII века» (?). Трудно, невозможно представить себе, что Пушкин в этой своей «Большой Истории», обращаясь к екатерининским десятилетиям, переписал бы эпизод пугачёвщины заново. Или – что уж и совсем невероятно – обошёл бы его стороной.

Присмотримся внимательно ещё раз к обстоятельствам осени 1833 года, к тем сложностям и противоречия, которыми в это время отличаются исторические замыслы и труды Пушкина. Общим фоном, отравляющим всю жизнь поэта, несомненно, является служебная, официально заданная «История Петра». За два с лишним года, прошедших от беседы с государем в Царскосельском парке, эта работа почти не сдвинулась с места. Ничего ещё не написано. Призрак державного исполина преследует не только героя петербургской поэмы Евгения, но, конечно, посещает в ночных болдинских кошмарах и самого автора: «И во всю ночь безумец бедный, // Куда б стопы ни обращал, // За ним повсюду всадник медный // С тяжёлым топотом скакал» (V, 148).

Альтернатива подневольному «Петру» – вольная, никем не заданная история послепетровской России. Она и пишется. Приступ к ней, начало – книга о бунте, о Пугачеве.

Тут, по-видимому, должно найти объяснение противоречие, в которое впадает Пушкин. Языковым он с замечательным простодушием говорит о той русской истории XVIII после Петра, которую собирается писать и даже уже пишет («Пугачев»). А через

месяц в тексте предисловия, обращенном к официальным инстанциям и публике, он сообщает нечто совершенно иное: обширный труд (об истории отечества?) был задуман и оставлен – вот отрывок этому труду принадлежавший. В Языкове как бы один Пушкин, а в Болдине – другой. Проходят всего четыре-пять недель, и версия исторических занятий совершенно изменяется. Что же произошло с Пушкиным в октябре 1833 года?

Ничего, конечно, не произошло.

Противоречие явное; оно коренится в самих условиях русской действительности, в обстоятельствах жизни Пушкина. Двоумыслие, способность носить маску, должны отличать всякого, кто живёт в свете, а особенно в петербургском свете. В сущности, нет ничего удивительного в том, что поэт в деревне, в приятельском кругу, чувствует себя свободным. Искренне и без оглядки делится он своими планами. Нужды нет, что планы эти плохо совместимы или даже вовсе не совместимы с ожиданиями царя и условиями государственной службы. У дружеской беседы свои резоны, своя логика. О Петербурге на час-другой можно и забыть. Совсем другое дело – подготовка рукописи «Истории Пугачева» для царя и для печати. Тут, наоборот, забыть приходится об обширном вольном замысле, призванном продолжить великий труд Карамзина. Ещё не начавшись, эта история по необходимости оставлена.

Пример такого двоумыслия – и как раз на материале занятий историей – указала у Пушкина А.А. Ахматова. В цитированном уже летнем (1831) письме к Бенкендорфу она остановила своё внимание на какой-то не по-пушкински робкой фразе просителя: «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина». Ахматова уверенно возражала: «И смел, и желал». Своё понимание она излагала так: «В биографии Пушкина этот вопрос имеет очень серьёзное значение. 30-е годы для Пушкина – это эпоха поисков социального положения. С одной стороны, он пытается стать профессиональным литератором, с другой – осмыслить себя как представителя родовой аристократии. Звание историографа должно было разрешить это противоречие. Для Пушкина это звание неотделимо было от судьбы Карамзина – советника царя, вельможи, достигшего высшего придворного положения своими историческими трудами»<sup>192</sup>.

---

<sup>192</sup> Ахматова А.А. О Пушкине. Статьи и заметки. Изд. 2-ое. Горький, 1964. С. 33-34.

Заметим и ещё одно попутное обстоятельство. Первая фраза предисловия к «Истории Пугачева» – об отрывке, составлявшем часть оставленного труда – вызвал полемическое противостояние Ю.Г. Оксмана профессору Н.Н. Фирсову. Последний совершенно безосновательно утверждал, будто реальный «отрывок» принадлежал оставленной Пушкиным биографии А.В. Суворова, к написанию которой поэт и не приступал. Возражая Фирсову, Ю.Г. Оксман приводит неожиданный аргумент: текст первой фразы предисловия, якобы, искажен. Следует читать – часть труда, мною *составленного*<sup>193</sup>. Но Пушкин, конечно, различал труд сочинительский от труда составительского. Кроме того, прочтение *оставленного* сегодня можно считать общепринятым<sup>194</sup>.

Подведём некоторые итоги.

Замысел – написать историю русского XVIII века – возникает у Пушкина не позднее осени 1827 года. Вплоть до начала 30-х годов он остаётся для Пушкина актуальным, но не облекается в сколь-нибудь связные и законченные тексты. В 1831 году поэт взят в службу и работает над «Историей Петра» по личному заданию императора. Не позднее начала 1833 года параллельно с официальной «Историей Петра» поэт приступает к созданию «Истории Пугачева». Это сочинение, не будучи ограничено никаким служебным заданием, по видимому, мыслилось Пушкиным не только как монография, но как часть задуманной ранее <«Истории России XVIII века» (?)>.

#### IV

От поездки поэта на Урал и в Болдино пройдут три с лишним года. В результате посмертного обыска в доме на Мойке весьма обширная рукопись Пушкина о Петре Великом будет доставлена государю Николаю Павловичу. Августейший заказчик пожелает узнать, как ныне покойный камер-юнкер Пушкин выполнил царское задание? Можно ль печатать его сочинение? И такую возможность царь предусматривал. Видимо, он не испытывал ни неприязни, ни предубеждений к Пушкину.

Но рукопись ему не понравилась.

---

<sup>193</sup> Оксман Ю. Пушкин в работе над «Историей Пугачева» // Литературное наследство. Т. 16-18. М., 1934. С. 444-446.

<sup>194</sup> Овчинников Р.В. Над «Пугачевскими» страницами Пушкина. М., 1981.

Резолюция государя не оставляет в том никаких сомнений: «Сия рукопись издана быть не может по причине неприличных выражений на счет Петра Великого»<sup>195</sup>. Николай Павлович по своему был прав. Он насаждал и поддерживал культ Петра, утверждал себя в качестве наследника и продолжателя великих дел первого императора. А Пушкин позволял себе не одни только «неприличные выражения». Его перо касалось многих тёмных сторон правления Петра I – массовых казней и пыток, отвратительных подробностей дела царевича Алексея Петровича, нарушений монаршего слова, взяточничества, интриг, пьянства при дворе и т.д.

Однако, отвечая на вопрос – *почему нельзя печатать?* – царь проявил себя только как цензор, а не как знаток самого предмета. Николаю Павловичу, видимо, не удалось понять, что он читал не оригинальный пушкинский текст, а всего только подробный конспект «Деяний Петра Великого, мудрого преобразителя России», ещё в XVIII веке сочиненных И.И. Голиковым. Между тем, по свидетельству А.О. Смирновой-Россет, царь прекрасно, чуть не наизусть, – знал многотомного Голикова<sup>196</sup>. И мог бы выявить едва ли не полное содержательное совпадение «Пушкина» с Голиковым<sup>197</sup>.

В дальнейшем подробность и связность конспекта будут вводить в заблуждение многих исследователей и читателей, полагающих, будто в своей «Истории Петра» Пушкин продвинулся очень далеко и был почти накануне завершения труда. Повидимому, самый вопрос стоит в другой плоскости. Если на протяжении многих лет Пушкин параллельно занят *двумя* историями – официальной и неофициальной – то след двойственности можно найти в самых разных его приобщениях к прошлому. Ситуация сильно осложняется тем, что материал обеих историй, фабульная их канва – одни и те же.

Что с этой точки зрения есть «История Петра», конспект голиковского многотомника? Ответ прост: освоение большого корпуса фактического материала для преднамеренной, культовой истории, составляемой в державном русле. Но параллельно, на тех же самых страницах конспекта, Пушкин делает замечания совсем другого рода, рассчитанные на использование в ином, никому не

<sup>195</sup> Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. М., 1978. С. 15.

<sup>196</sup> А.С. Пушкин. Письма. Т.2. С. 199.

<sup>197</sup> <Листов В.С.> От составителя (о тексте пушкинской «Истории Петра») // Пушкин А.С. История Петра. С.52, 55.

подконтрольном контексте<sup>198</sup>. Государь Николай Павлович не различает таких тонкостей – не царское это дело. Он просто полагает прочитанную (просмотренную?) рукопись написанной Пушкиным, но не до конца обработанной, биографией Петра – от рождения монарха до его кончины. И с государственной точки зрения совершенно обоснованно запрещает эту рукопись печатать. Она будет опубликована почти полностью – за вычетом несохранившихся страниц – только в XX столетии (X, 1-289).

Тем самым следование Пушкина за Карамзиным в сочинении истории отечества прервалось на ранней стадии, в сущности, ещё не позволяющей глубоко судить о масштабах и характере задуманного труда. Если принять историографическую версию, выраженную в письме Языкова к Погодину (1833), то Пушкин, как мы помним, собирался писать историю русского XVIII века – от Петра I до Павла I. В наследии Пушкина-историка к этому промежутку исторического времени относятся <<Заметки по русской истории XVIII века>>, «История Пугачева» и «История Петра», а также некоторые мелкие заметки, отрывки из дневников, писем, анекдоты и т.д.

<<Заметки по русской истории XVIII века>> для понимания замысла 1827-1833 гг. скорее всего не следует принимать в расчёт прямо, т.к. они написаны молодым Пушкиным, носителем либеральных воззрений. Его взгляды, близкие к декабристским, – уже на исходе. Но от Карамзина поэт пока ещё далёк. Программное стихотворение «Свободы сеятель пустынный», в котором слышится разочарование в освободительном движении, ещё не написано. Карамзин высоко почитаем, но в это время не служит образцом, идейным вдохновителем для Пушкина.

Обращение к конспекту голиковских «Деяний...», датируемому серединой 30-х годов, тоже лишь в малой степени даёт возможность судить о пушкинской истории XVIII века, намечать ее контуры. Несомненно, тут значимы многие попутные замечания Пушкина, его острые максимы, лексические отклонения от оригинала. Но всё же в основе здесь то, что Пушкин иронически назвал «голиковской прозой» (XIII, 244), никак не сравнимой, конечно, с прозой Карамзина.

---

<sup>198</sup> *Попов П.* Пушкин в работе над историей Петра // Литературное наследство Т. 16-18. М., 1934. С. 476-512.

Таким образом, ближайшим реальным соответствием истории, воображаемой Пушкиным (и едва ли не единственным соответствием), выступает «История Пугачева». В нашу задачу не входит подробный содержательный анализ законченного исторического труда поэта, но, в попытке как-то оконтурить обширный замысел Пушкина, именно эта книга первостепенно важна.

Задумав продолжать карамзинскую историю России на материале XVIII века, Пушкин видел в перспективе, несомненно, многотомное сочинение. Одна только вступительная «История Петра» должна была включать в себя несколько книг. След этого многотомного замысла нетрудно разглядеть в письмах 1834 года к Н.Н. Пушкиной: «Ты спрашиваешь меня о Петре? идёт помаленьку, скопляю материалы – привожу в порядок – и вдруг вылью медный памятник, который нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок». И далее: «Петр 1-ый идёт; того и гляди напечатаю 1-ый том к зиме» (XV, 159). Конечно, это ещё не первый том неофициальной рукописи, но два труда о Петре ещё не разведены у автора окончательно. И нет никаких оснований думать, будто потаенный, скрываемый «Пётр» короче явного, заказанного государем. Стоя у книжной полки перед двенадцатью томами «Истории...» Карамзина, Пушкин, надо думать, предполагал когда-нибудь увидеть что-то похожее и под своим именем: фундаментальный многотомник о почти полутора веках, предшествующих «нашему» времени.

Дворянская периодизация Карамзина была построена традиционно – по царствованиям. Видимо, Пушкин перенял бы эти династические понятия у своего предшественника. Во всяком случае, можно не сомневаться в том, что первые книги его многотомника были бы посвящены Петру I. Следующий хронологический предел Пушкин намечал, видимо, по началу 60-х годов, по правлению Петра III (см.: всё то же летнее письмо 1831 года к Бенкендорфу). Как распределялся в его сознании исторический материал между 1725 и 1762 гг. – сказать не можем. Весьма правдоподобным было бы ожидать отдельных разделов (томов?) для царствований императриц Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761). Правление Екатерины Великой наверняка становилось аргументом для хронологической отдельности, особенности. Нам уже приходилось это заметить, когда речь шла о восстании Пугачева, всего лишь одном, хоть и крупном, эпизоде екатерининского царствования. Наконец, последний период, период самодержавия Павла I (1796-1801) мог заслуживать

отдельного раздела (тома?) хотя бы уж по своей очевидной противопоставленности предыдущему царствованию.

Контуры обширного плана просматриваются здесь довольно достоверно. Если, как уже говорилось в начале, «История Пугачева» в двух томах (8 глав и приложения) составили бы всего лишь часть, «отрывок» из екатерининского времени, то сколь протяженной виделась автору история правления великой императрицы в целом? Не знаем, но наверняка период с 1762 г по 1796 гг. занял бы несколько томов. В поле зрения Пушкина попадали основные события и происшествия царствования – жалованная грамота дворянству, сословные реформы, реформы местного управления, комиссия об Уложении, победоносные войны России, разделы Польши, смена фаворитов государыни, ее переписка с европейскими мыслителями. Все эти и подобные сюжеты сильно занимали поэта – историографа, что нетрудно было бы показать на материале других его произведений. Но в этом нет надобности. Достаточно будет отметить явную соизмеримость (лучше сказать – соотносимость) пушкинского замысла с основным трудом Карамзина.

«Историю Государства Российского» в свои зрелые годы Пушкин почитал сочинением образцовым, достойным подражания. Быть может, поэтому он строит свою пугачевскую (*екатерининскую?*) историю по образцу многотомника Карамзина. В «Истории государства Российского» текст, как известно, разделён на основной корпус глав и примечания к главам. В самих главах прослеживается ход событий, обрисовываются характеры исторических лиц, даются общие моральные оценки их деятельности, определяются итоги и перспективы течения истории и т.д. В примечаниях к главам Карамзин ссылается на исторические источники, щедро их цитирует. Именно примечания, «ноты» Карамзина кажутся Пушкину одной из важнейших составляющих карамзинской «Истории...». Они подводят под сочинение прочный фундамент фактов; в них же, в «нотах», прошлое говорит своим подлинным голосом, не искаженным в пересказе исследователя.

В этом смысле пушкинская «История Пугачева» есть довольно верный снимок с «Истории государства Российского». Здесь точно так же к каждой из основных глав подведены примечания, в которых читатель находит цитаты из множества источников, а иногда и документы целиком. Заметим, что для людей XIX века «ноты» Пушкина живее и внятнее «нот» Карамзина – хотя бы потому, что язык XVIII века им ближе, чем архаические речения X-XVII столетий. Заслуживают внимания и три ссылки на Карамзина в

примечаниях к главе I «Истории Пугачева», где Пушкин пытается обозначить некоторые вехи ранней истории казачества (IX, 87).

Прослеживая путь Пушкина вослед Карамзину, необходимо отметить ещё одно важное соответствие, несомненно, тревожившее сознание автора «Истории Пугачева». В первые год-два своей историографической службы Пушкин ещё мог питать некоторые иллюзии насчёт значимости своего звания историографа при императоре. В этом смысле Карамзин служил исключительно вдохновляющим примером. Государь Александр I часто виделся со своим любимцем, советовался с ним по самому широкому кругу вопросов – от философских и политических до служебных и личных. Когда погожими летними утрами Александр Павлович и Николай Михайлович, неспешно беседуя, прогуливались по Царскосельскому парку, придворные карьеристы остро завидовали положению учёного и вельможи, сочинителя истории и знатока России.

Авторитет Карамзина был непререкаем.

Пушкин хорошо помнил, как именно началось возвышение Карамзина. Историограф на основе своих суждений о прошлом подверг острой критике современную политику правительства в своей секретной «Записке о древней и новой России». Последовало резкое охлаждение к нему со стороны государя. И лишь значительно позже Александр Павлович оценил искренность и правоту своего историографа, приблизил его к себе, ввёл в круг самых доверенных лиц.

Не исключено, что некоторые мысленные аналогии в этом роде существовали в сознании Пушкина. Напечатав совершенно благополучную с точки зрения правительства «Историю Пугачевского бунта», он должен был решить трудный вопрос: как поступить с неподцензурными суждениями и материалами, не вошедшими в книгу? Ситуация требовала от Пушкина карамзинского поступка, *подвига честного человека*. И Пушкин его совершает. Осенью 1834 года он пишет «Замечания о бунте» – потаенную часть примечаний к пугачевской «Истории...», предназначенную для царя. Именно там Пушкин прямо сказал о крестьянах, выведенных из терпения жестокостями помещиков (IX, 372), о зверствах правительственных войск, резавших носы и уши восставшим (IX, 373), о «чёрном народе, который был весь “за Пугачева”» (IX, 375), о правительстве, которое «действовало слабо, медленно, ошибочно» (IX, 376) и т.д.

Логика здесь очевидна.

Если отвлечься от конкретных подробностей сочинения потаенных текстов, то можно даже попробовать составить некое подобие математической пропорции: «История государства Российского» так относится к «Записке о древней и новой России» как «История Пугачева» к «Замечаниям о бунте». Однако судьбы секретных записок и их авторов оказываются совершенно несходны. Карамзинская критика задела Александра I за живое, но, в конечном счёте, привела к примирению с историографом, к его неслыханному возвышению. Если Пушкин ожидал чего-то в этом же роде, то его ожидания не сбылись – причем в самой обескураживающей форме. Государь его «Замечаний...», кажется, просто не заметил; во всяком случае, никаких серьёзных последствий ни для государственных дел, ни для камер-юнкера Пушкина царское чтение не повлекло.

К рубежу 1834-1835 гг. Пушкин поневоле должен был понять: при дворе Николая I нет и не может быть карамзинской должности; звание историографа есть пустышка, не наполненная серьёзным содержанием.

\* \* \*

Сам по себе интерес Пушкина к русскому XVIII веку очевиден; думается, он здесь не нуждается в подробном и существенном комментарии. Речь ведь идёт не вообще о творчестве Пушкина, посвященном ушедшему столетию, не вообще об усилиях Пушкина-историка, а только о поиске следов замысла, существовавшего в сознании поэта со второй половины 20-х годов. Когда осенью 1833 года Пушкин в Болдине набрасывает предисловие к «Истории Пугачева» и рекомендует ее как «часть труда, мною оставленного», то, как мы видели, речь шла не о вольном замысле истории XVIII века, а о труде придворного историографа, обсуждавшего в письме к Бенкендорфу будущие сочинения не только о Петре, но и о *и его преемниках*.

Творческое сознание почти не поддается изучению, а иногда не поддается и вовсе. Путь от первоначального замысла к воплощению, как правило, не прослеживается или прослеживается в чертах не самых существенных. Поэтому – при всем обилии научной литературы вопроса – мы чаще всего не выявляем, что именно послужило исходной точкой того или иного замысла. Действует дразнящая, но совершенно неоспоримая формула Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора...». Список художественных опытов Пушкина на материале XVIII века – более

чем внушитель. Это в прозе – роман о царском арапе, исторические отступления в «Пиковой даме», отрывок «В 179\* возвращался я...», план романа «Сын казнённого стрельца...», «Капитанская дочка». Это – в поэзии «Отрок», «Полтава», «Моя родословная», вступление к «Медному всаднику», «Мне жаль великия жены...», «Чу, пушки грянули!...», «Пир Петра Первого» и др. Не исключаем, что в состав того «сора», из которого всё это выросло, входили и материалы, собранные Пушкиным для истории русского XVIII века.

Если так, то придётся признать: источники, к которым обращался Пушкин-историк, послужили не только его учёным занятиям, но, конечно, стали побудительными мотивами для поэзии и художественной прозы. Пример «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» как «сообщающихся сосудов», давно стал хрестоматийным...

Пушкину не суждено было сочинить многотомную историю

Но образная ткань его произведений, но мысли, высказанные им о прошлом, сильно и глубоко повлияли на понимание исторических путей России.

## НА СМЕРТЬ ПОЭТА

### ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Вчера, 29 января, в 3-м часу пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина».

«Санкт-Петербургские ведомости», 1837.

«Когда все ушли, я сел перед ним и долго смотрел ему в лицо. Какая-то удивительная мысль на нём развивалась, что-то похожее на видение, на полное и глубокое знание. Вглядываясь, мне невольно хотелось спросить: “Что видишь, друг?”».

Василий Жуковский.

Ровно за год до гибели Александра Сергеевича, зимой 1836-го, друзья и знакомцы поэта удивлялись и пожимали плечами: «Да что же такое с Пушкиным! Не сошёл ли он с ума? Или сие есть только временное помрачение рассудка?».

Что ж, я понимаю их недоумение. Пушкину явно благоволил государь; у поэта – завидная служба, придворное звание; он глава большого семейства; его имя знакомо каждому просвещённому соотечественнику. И вдруг – в каком-то неизъяснимом бешенстве – Пушкин посылает оскорбительные письма и набивается на дуэли с дипломатом Семёном Хлюстиным, членом Государственного Совета князем Николаем Репниным и чиновником Владимиром Соллогубом. Поводы столкновений ничтожны, надуманы. Другьям с трудом удаётся предотвратить поединки, примирить поэта с мнимыми обидчиками.

Но вообразим себе, что кровавой развязки избежать не удалось, и от руки князя, дипломата или чиновника Пушкин погибает на дуэли уже в феврале 1836 года. Тогда я спрашиваю себя: кто-нибудь сегодня вспомнил бы, как некий кавалергард из иностранцев Дантес в это время начал ухаживать за беременной в пятый раз супругой камер-юнкера? Вряд ли. Но если настоящие причины гибели поэта существовали ещё зимой 1836 года, то, значит, дело вовсе не в пресловутом романе кавалергарда и красавицы. Или уж по крайней мере не только в нём. А в чём же?

Чтобы попытаться это понять, мне придётся отступить по биографии Пушкина на десятилетие назад. И еще – да пусть простит меня читатель – повториться в мыслях и цитатах, что, полагаю, позволит более ясно и точно высказать идею последнего сюжета книги.

Год 1827-й. Псковской губернии сельцо Михайловское.

Молодые безумства Пушкина уже в прошлом. Поэт прощён государем Николаем Павловичем и живёт теперь свободно там, где ещё недавно был ссыльным невольником. Друзья и приятели беспрепятственно его посещают. В сентябре – в гостях у Пушкина студент Дерптского университета Алексей Вульф. Приведем еще раз памятную запись из дневника Вульфа: «Играя на бильярде, сказал Пушкин: “Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей “Истории”, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову – пером Курбского”».

Лёгкая болтовня под стук бильярдных шаров? Нет. Пушкин действительно собирался писать «Историю Петра». Таков, оказывается, вольный замысел вольного поэта. Я думаю, не случаен и мотив возможного соперничества с покойным историографом Николаем Михайловичем Карамзиным. Пером Пушкина история уж никак не будет написана «сухо». А уж тем более героические и славные времена первого русского императора.

Проходит несколько лет. Июль 1831 года застаёт Пушкина в Царском Селе, в садах Лицея, столь памятных по годам юности. В жизни поэта произошли многие важные события. Написана поэма «Полтава». В Болдине прошлой осенью завершены «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», множество лирических стихотворений. Закончен (точнее, навсегда оставлен без настоящей развязки) роман «Евгений Онегин». Александр Сергеевич женат, счастлив и, кажется, не сочиняет ничего, кроме русских сказок.

Крутой поворот судьбы настигает его здесь, в царскосельском парке. Однажды утром, гуляя с Натальей Николаевной, он в дальней и совершенно пустынной аллее встречает царскую чету: утреннюю прогулку изволят совершать император Николай Павлович и его августейшая супруга

Александра Фёдоровна<sup>199</sup>. Пушкин кланяется; Наталья Николаевна приседает в книксене, глубоком и почтительном.

Была ли эта встреча совершенно случайной? Не знаю... Всё-таки, я думаю, она была согласована и подготовлена.

Наш первый и лучший исследователь Пушкина Павел Васильевич Анненков свидетельствует, что перед тем «шёл долгий обмен мыслей в дружеском кругу, который образовался около Пушкина в Царском Селе, и который состоял почти весь из лиц, приближенных более или менее к императорскому двору». Этот круг, озабоченный тем, «как определить место, которое следует занять поэту в свете», обсуждал две вакансии: либо место политического писателя (что-то вроде пресс-секретаря правительства), либо место придворного историографа, не занятое после смерти Карамзина. Пушкин в предварительных беседах, полагаю, предпочёл журналистике исторические занятия<sup>200</sup>.

Официальная аудиенция по этому поводу была неудобна и для государя, и для Пушкина. Царь понимал, как хорошо было бы обязать службою бывшего фрондёра, вольнодумца и друга декабристов. Но официальное предложение монарха Пушкин не мог бы отвергнуть без потери лица. И получалось бы, что император насильно облакает поэта в статский мундир. Поэтому, видимо, и была выбрана «случайная» встреча на семейной прогулке.

Пока дамы – императрица Александра и Наталья Пушкина – отступив на несколько шагов, щебечут о своём, царь милостиво беседует с поэтом. Как живёшь, Пушкин? Не нуждаешься ли в чём? Что пишешь? Александр Сергеевич тоже прост, спокоен и доверчив. Всё хорошо, ваше величество, ни в чём не нуждаюсь, пишу русские сказки. Потом разговор почему-то заходит о Петре Великом.

Фрейлина Александра Россет, из того самого близкого к царю дружеского окружения Пушкина, так записала беседу в царскосельской аллее:

«Государь сказал Пушкину:

– *Мне бы хотелось, чтоб Король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме.*

<sup>199</sup> Литературное наследство. Т. 16-18. М., 1934. С.779.

<sup>200</sup> Анненков П.В. Из последних лет жизни поэта. С.253-255.

*Пушкин ответил:*

*– Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники.*

*Государь рассмеялся и сказал:*

*– Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволение работать в тайных архивах»<sup>201</sup>.*

В этот самый миг, пока никому не слышный, начинает звонить колокол. По ком? Конечно, по Пушкину, который, конечно, ещё ничего не понимает и не подозревает. Поэт счастлив. Царь в заботливости, истинно отеческой, дал ему место придворного историографа. Завидная должность. Князь Щербатов при Екатерине Великой, Николай Карамзин в прошлое царствование – прямые критики монархов, воплощённая совесть времён.

Царское Село хорошо помнило времена недавние – как по утрам государь Александр Павлович стучался в окошко к Карамзину. День начинался с прогулки по аллеям «зелёного кабинета». Император и историограф мирно беседовали. Обо всём на свете – от религиозно-философских материй до маленьких петербургских сплетен. Карамзину при дворе отчаянно завидовали, но авторитет его был непререкаем. Советник царя. Вельможа, достигший высшего положения своими литературными и историческими трудами.

Примерно так, я думаю, виделось Пушкину и его собственное близкое будущее при дворе.

Однако ж в свете и в окружении государя судили об этом предмете иначе. Пушкин – придворный историограф? На месте Карамзина? Оставьте. Как это может быть, чтоб историю Петра Великого у государя писал сочинитель игривых нозлей и ядовитых эпиграмм, кумир легкомысленных молодых людей и глупеньких уездных барышень! Вот несколько замечаний из переписки и дневников пушкинских современников.

*«Лестно для Пушкина заслужить место Карамзина. Пусть употребляет талант свой на дело полезное, а не на вздорные стишки»* (почт-директор Булгаков).

*«Говорят, Государь сделал Пушкина историографом. Пустили козла в огород (чиновник Философов).*

---

<sup>201</sup> Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 566.

*«Сомневаюсь, справится ли Пушкин с Историей Петра. Главное, хватит ли у него терпения читать и думать (помещик Языков).*

*«Многие сомневались, чтоб он был в состоянии написать столь серьёзное сочинение, чтоб у него достало на то терпения (дипломат Н.М. Смирнов).*

Мало кто верил в серьёзность Пушкина-историографа. Написать книгу о Петре стало для него делом чести.

С 1832 года Пушкину открыты некоторые секретные архивы империи, в том числе дело царевича Алексея Петровича, убитого по приказу отца. Поэту доступна и хранящаяся в Петербурге библиотека Вольтера с её мемуарами послов, аккредитованных при дворе Петра Великого. Каждое утро отправляется Пушкин в архив. Даже летом, с дачи, ходит пешком для продолжения своих занятий. Читает, делает выписки.

Мне кажется, где-то уже через год-полтора от начала своих исторических занятий Пушкин начинает понимать, какая пропасть разверзается у него под ногами. С молодых лет он, Пушкин, воспитан в глубоком уважении к «северному исполниту», к его реформам, поставившим отечество в ряд с просвещёнными державами. Теперь же можно говорить о коренном изменении образа Петра I в сознании Пушкина. Прикоснувшись к массе источников конца XVII и начала XVIII столетий, придворный историограф испытывает постоянный шок. Оказывается, «славные дни Петра» омрачены мятежами и казнями далеко не только в начале. Пушкин с ужасом узнаёт подробности дел царевича Алексея, царицы Евдокии Фёдоровны, камергера Виллима Монса и многих других, менее заметных жертв своего героя.

Неопрровержимые документы и мемуары иностранцев свидетельствуют о бесчеловечном эксцентризме государя, о воровстве и взяточничестве при дворе, о повальном пьянстве, насаждаемом самим императором. Разгульная жизнь Петра и «птенцов» его гнезда отмечена дикими выходками, грубыми столкновениями, открытым содержанием метресс наряду с законными женами и многими подобными явлениями. В один из своих приездов в Москву Пушкин беседовал с актёром М.С. Щепкиным и сказал ему: «Я разобрал теперь много материалов о Петре и никогда не напишу его истории, потому

что есть много фактов, которых я не могу согласить с личным моим к нему уважением».

Таких свидетельств о глубокой перемене отношения Пушкина к Петру очень много. Рушится весь имперский миф о Петре, из фундамента этого мифа то и дело приходится вынимать то один, то другой камень. Всю глубину пушкинского разочарования можно понять, если вспомнить: придворный историограф должен написать официальную, по необходимости апологетическую книгу о Петре, т.е. о человеке, которого не уважает. Тут вырисовываются черты трагедии Пушкина, которого служебное положение толкает к сделке с собственной совестью, ко лжи.

В годы правления Николая I насаждается культ Петра. Сам государь говорил об этом прямо, без обиняков: *«Лицо Императора Петра Великого должно быть предметом благоговения и любви»*. Должно быть – всё. А как же русская пословица: «Насильно мил не будешь»? Как же страницы документов, с которых встаёт образ тирана, разбивающего подданным зубы на допросах? Как быть с десятками тысяч душ, загубленных в болотах при строении новой столицы? Их стоны и проклятья будто бы не смолкают и сейчас, век спустя.

Не слышать? Забыть?

Перо выпадает из рук. Несносно.

Другие работы идут. Поэма «Анджело», повести «Дубровский» и «Пиковая дама», стихотворения. Всё пишется. «История Петра» – нет. Проходят месяцы, потом и годы, а на бумагу ещё не легло ни одной готовой строки из жизнеописания первого российского императора. Проклятие какое-то. Надо ведь не только прославить Петра, но ещё и показать нынешнего царя как благодетельного реформатора, как прямого преемника петровского наследия. Николай, милостивые государи, – это сегодняшний Пётр. Вот. Без того не будет августейшего одобрения, книга света не увидит. А на самом-то деле поводов для провозглашения Николая продолжателем дела Петра остаётся всё меньше и меньше. После революции во Франции, после восстания в Польше и холерных бунтов в России Николай Павлович сильно остыл к реформам. Преобразования прекращены; остался только пустой культ предка.

В 1833 году Пушкин выпрашивает у начальства отпуск для поездки по Волге и Уралу. «Путешествие, – пишет он, – нужно

мне нравственно и физически... Необходимо месяца два провести в совершенном уединении». Тряское лоно кареты, грязь и суета почтовых станций, хмурые номера провинциальных трактиров – всё это лучше, живее мундирного, холодного Петербурга, в котором надобно помалкивать, ходить по струнке.

В одной из поездок по следам пугачёвского бунта Пушкина сопровождал врач и писатель Владимир Даль. Будущий составитель толкового словаря русского языка вспоминал, как поэт через два года от начала работы рассказывал ему о замысле – всего только о замысле! – истории Петра: *«Я ещё не смог доселе постичь и объять вдруг умом этого исполина... Чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно»*<sup>202</sup>.

Несвобода, в которой век тому назад жили подданные императора, как бы настигает поэта. В его душе растёт тревога. Страшно жить; страшно возвращаться в Петербург. На обратном пути домой Пушкин надолго останавливается в своём Нижегородском селе Болдине. Тут слагаются строфы петербургской поэмы, которая потом получит название: «Медный Всадник». Болдинской ночью, в тишине старого барского дома, в бессоннице – поэт преследует всё тот же, ставший уже привычным, призрак:

*И во всю ночь безумец бедный  
Куда б стопы ни обращал,  
За ним повсюду Всадник Медный  
С тяжёлым топотом скакал...*

О ком это? Только ли о безвестном петербургском чиновнике Евгении? Не различим ли тут след собственных, личных ужасов Пушкина, настигаемого повсюду тяжёлым фантомом заданного труда – труда о Петре, царственном всаднике?

По возвращении в Петербург под новый, 1834 год, Пушкина ждёт тяжёлый удар: царь жалует его невысоким придворным званием камер-юнкера. Нового камер-юнкера

<sup>202</sup> *Даль В.И.* Воспоминания о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т.2. С. 224.

друзья обливали холодной водой. Будучи вне себя, он хотел идти во дворец и наговорить дерзостей самому царю. Дело тут было вовсе не в карьерных претензиях. В звании камер-юнкера, бывало, доживали свой век почтенные старцы, крупные чиновники. Но, пожаловав камер-юнкерство Пушкину, император показал, как низко стоит при его дворе должность историографа. У Пушкина окончательно обрушивалась идиллия, выраженная строчкой: «Царю наперсник, а не раб». Ему грубо указали его скромное место между другими придворными и чиновниками.

Узнав о пожаловании, петербургский свет вздохнул со злорадным облегчением: вот видите, Пушкин всё-таки не Карамзин, мы же это сразу говорили; не в свои сани не садись. Да-с...

Давно, ещё в Кишинёве, начальство за молодые проказы частенько сажало Пушкина под арест. Однажды его, отбывающего наказание, навестил сослуживец, князь Павел Долгоруков, и посочувствовал: тяжело, мол, сидеть взаперти. На это Пушкин ответил: «Я предпочёл бы остаться запертым на всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором нужно отчитываться».

Теперь, с «Историей Петра», Пушкин получил подотчётное дело не на два часа, а на долгие годы. И отчитываться в нём предстояло не вообще начальству, а лично государю императору. Сроки поставлены не были. Но в любой день, в любой час царь мог позвать и спросить: как там движется наша «История Петра»? Не пора ли уж что-нибудь всеподданейше поднести? Ну, хоть, например, главу первую? Дневники самого Пушкина и многочисленные свидетельства современников убеждают: новый камер-юнкер всё как-то стремился избегать участия в царских выходах, придворных празднествах и дежурствах. Даже балы с участием государя его не увлекали. Считается, будто поэт понимал всю пустоту придворных и светских собраний, стремился к творчеству, к более осмысленному препровождению времени. Может, оно и так. А, может, и другое: боялся лишний раз встретиться с венценосным заказчиком: вдруг спросит? Ответить-то нечего... Ведь ни строки по-прежнему не написано.

На четвёртом году занятий Петром у Пушкина ужасное ощущение краха, бессилия. Он, кажется, и вправду не Карамзин; его натуре претят мёртвая тишина академического кабинета,

скрупулёзное сведение воедино противоречивых показаний источников, чтение мелкого шрифта примечаний, отсылающих к другим, незнакомым трудам. Беда...

Поэт пытается упростить свою задачу. В конце концов для официальной биографии Петра, может быть, и не нужно углубляться в архивы? На письменном столе поэта появляются тома «Истории Петра Великого, мудрого преобразителя России», сочинённые ещё в XVIII столетии купцом-самоучкой Иваном Голиковым. В голиковской истории – сплошные похвалы императору, нет критики, замалчиваются тёмные стороны преобразований. Лучезарный, апологетический материал уже собран; осталось только им воспользоваться. И поэт приступает к конспектированию «Деяний...». Оно растянется на два года. Занятие это скучное. Наряду с острыми сюжетными поворотами много мелкой рутинной чепухи: указы о мощении улиц, о вывозе пеньки, о содержании будочников, о сборе ульев... Да мало ли ещё о чём?

Только иногда на полях конспекта проблескивают молнии собственной пушкинской мысли: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом»<sup>203</sup>.

Иногда мне кажется, что и самые строки пушкинского конспекта писаны кнутом: поэт подгоняет себя, насильственно усаживает за постылую работу, с которой – хочешь не хочешь – надо сладить.

Июнь 1834 года. Всё. Кажется, больше он не может выдержать. Подаёт прошение об отставке. Сама попытка уйти от службы обычно объясняется денежными затруднениями, жандармской перлюстрацией писем Пушкина к жене, вообще всем климатом столицы и двора. Всё это верно. Но и желание сбросить с себя «Историю Петра», избавиться от официального задания, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Царь готов принять отставку, но выдвигает условия: отставной Пушкин больше не допускается к работе в секретных архивах; прерываются личные отношения императора и поэта. Эти условия больно бьют по самолюбию. Выходило так, что

<sup>203</sup> Пушкин А.С. История Петра. М., 2000. С. 285.

светская «чернь» была права, когда заранее обсуждала несостоятельность поэта-историографа.

В письме к Наталье Николаевне Пушкин откровенно объясняет своё положение и свои чувства: «У меня решительно сплин... Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу...Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать, как угодно. Опала легче презрения. ...Виноват я из добродушия, коим переполнен до глупости, несмотря на опыты жизни».

Пушкин не объясняет жене, в чём состояло «добродушие до глупости», которое привело поэта на казённую службу. Понимаю, почему. Ведь Наталья Николаевна присутствовала при начальной беседе с императором в аллее царскосельского парка. Отголосок той беседы и прозвучал теперь три года спустя. А вывод Пушкина – «опала легче презрения» – опасно противоречит всей бюрократической традиции. Не тут ли ключ ко всей биографии позднего Пушкина?

Прошение об отставке Пушкин забрал назад, умоляет считать его небывшим.

И вновь потянулись пустые, тягостные дни над томами Голикова, над страницами скучного конспекта. Кажется, этому конца не будет. А светская и придворная жизнь требует своего. Балы. Рауты. Царские выходы. Пушкин участвует в них. Иногда с удовольствием, иногда по обязанности. И всегда смущают его встречи с государем. Вдруг, не дай Бог, спросит: «Где История Петра?»

В декабре 1835 года в работе над конспектом Голикова поставлена точка. Архивы, выписки из документов, чтение книг о Петре – прекращены. Не навсегда ли?

В новый, 1836 год Пушкин вступает с сознанием своей полной и окончательной обречённости. Именно в ту зиму он и вызывает на поединки трёх случайных людей – Репнина, Хлюстина и Соллогуба. Теперь понятно – зачем. Дуэль развязывала все узлы. За неё полагались – удаление со службы, ссылка в деревню, опала.

**«Опала легче презрения»**

Конечно, выходя на пустую дуэль, Пушкин во мнении света выглядит несерьёзно – бретёр, задира, человек опасный и легкомысленный. Пусть. Для поэта, кажется, это лучше, чем неудачливый историограф, который к тому же ещё обманул ожидания самого государя. Посылая свои неосновательные вызовы, Пушкин, я думаю, искал – может, и подсознательно – непрямого, обходного пути к развязке.

Хочу быть правильно понятым. Я не утверждаю, что Пушкин погиб только из-за «Истории Петра». Но служба, но царское задание было одной из самых суровых нитей в узле неразрешимых проблем, стянувшем жизнь поэта.

**«За ним повсюду Всадник Медный...»**

Осенью 1836 года петербургское высшее общество во всю обсуждает очаровательный роман Натали Пушкиной с кавалергардом Дантесом-Геккерном. Поэт-рогоносец, согласитесь, куда занимательнее для дураков и сплетников, чем Пушкин-мыслитель, Пушкин-поэт, историк. Но свет злопамятен: в пресловутом анонимном дипломе, присланном по почте, намёк на «Историю Петра» весьма прозрачен – «командоры и кавалеры единогласно избрали господина Пушкина историографом ордена рогоносцев»<sup>204</sup>.

Удар наносился не только чести семьи, но ещё и достоинству писателя: серьёзную «Историю Петра» он написать не может, а вот история собратьев-рогоносцев ему как раз по силам. Пушкин прекрасно знал те версии биографии Петра I, которые отмечали неверность его жены – императрицы Екатерины I. Если авторы анонимного диплома это тоже знали (оно легко вычитывалось из многих зарубежных жизнеописаний императора), то труд Пушкина потешно обозначался так: один рогоносец пишет историю другого.

Гнев Пушкина был понятен и оправдан.

Для моей темы не важны многие подробности ноябрьского вызова, посланного Геккернам. Они известны далеко за пределами узкого круга специалистов. Важна только промежуточная развязка. 23 ноября, когда противников – Пушкина и Дантеса – удалось развести, когда опасность дуэли

---

<sup>204</sup> См.: *Вересаев В.* Пушкин в жизни. М., 1984. С. 484. Подлинник – по-французски.

миновала, Николай I принял своего камер-юнкера в Аничковом дворце<sup>205</sup>. Об этой аудиенции известно мало. Собеседники не оставили о ней своих воспоминаний. Но в кругу Пушкина знали, что царь выслушал объяснения Александра Сергеевича сочувственно, признал его правоту в противостоянии с Геккернами. По представлениям своих современников Пушкин победил, добился у царя неслыханного успеха. Из Аничкова дворца он должен был выйти, ног под собой не чуя от счастья.

Увы, ничего подобного не случилось. Все, кто общался с Пушкиным после царя, в один голос утверждают: поэт впал в странное нервическое состояние, стал совершенно невыносим, злобен. Почти невменяем. Например, когда за его спиной падала на пол книга, он вздрагивал как от выстрела. Отчего бы всё это? Что произошло между Пушкиным и императором на той последней встрече? Не знаем. И не узнаем никогда. Но тут приходит время первый и единственный раз ступить на скользкую почву догадок и предположений.

Да, Николай Павлович мирно и ласково поговорил с Пушкиным, осудил вместе с ним гнусные происки Геккернов. Но что если в конце аудиенции царь всё-таки задал своему историографу тот самый ужасный вопрос: «Скажи, Пушкин, как движется наша история Петра? Скоро ли представишь?».

Мог спросить. Ведь от начала работы прошло уж ровно пять лет. Ответить по-прежнему было нечего.

Месяца через полтора после беседы с царём Пушкин позвал к себе в гости выпускника Лицея, чиновника Дмитрия Кёлера, переводившего дневник сподвижника Петра Первого Патрика Гордона. Свою беседу с Пушкиным Кёлер записал: «Александр Сергеевич на мой вопрос, скоро ли мы будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: Я до сих пор ничего ещё не написал, занимаюсь единственно собиранием материалов»<sup>206</sup>.

Когда Кёлер уже уходил, Пушкин, прощаясь, сказал ему об официальной «Истории Петра» простую и ясную правду – итог многолетний размышлений и усилий: «Это работа убийственная... Если б я наперёд знал, я бы не взялся за неё»<sup>207</sup>.

<sup>205</sup> *Абрамович С.* Пушкин. Последний год жизни. М., 1994. С. 413-414.

<sup>206</sup> *Фейнберг И.* Читая тетради Пушкина. М., 1978. С. 114-115.

<sup>207</sup> *Абрамович С.* Пушкин. Последний год жизни. С. 478.

### Пушкину оставалось жить всего три недели...

Вместо послесловия к этой невесёлой истории я приведу подлинный документ. Вот – в переводе с французского – донесение о гибели Пушкина, написанное вюртембергским послом в Петербурге Людвигом фон Гогенлоэ от 9/21 февраля 1837 года: «Об этой злополучной дуэли больше не говорят, и мне передавали, что таково желание императора, положившего конец всем разговорам на эту тему. Правительство императора без сомнения не должно сожалеть о человеке, который в своих сочинениях постоянно проповедовал свободу и даже несколько раз нападал на высокопоставленных лиц, имея в виду их нравственность и их политические мнения. Назначение Пушкина историографом было только средством связать его перо и отвлечь его от поэзии...»<sup>208</sup>.

---

<sup>208</sup> Глассе А. Дуэль и смерть Пушкина по материалам вюртембергского посольства // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1977. С. 12.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПУШКИН – ВЕЧНЫЙ СПУТНИК. О смысле наших усилий в гуманитарных науках.....</b>	<b>4</b>
<b>ЧАСТЬ I. Болдинский регламент.....</b>	<b>13</b>
Предисловие.....	14
По страницам лицейской поэмы «Монах».....	16
Вокруг отрывка «На тихих берегах Москвы...».....	24
О стихотворении «Брови царь нахмуря...».....	33
К истолкованию пушкинского автографа с десятью темами	40
От «Бориса Годунова» к «Медному всаднику».....	49
«Онегин входит...». <i>Исторический роман в стихах</i> .....	58
За что герой бранит Гомера и Феокрита?.....	69
Мотив саморазоблачения героя.....	75
Есть ли «исторические неточности» в «Борисе Годунове»	
и «Арапе Петра Великого»?.....	83
Ночи египетской царицы.....	92
Один мотив из болдинского «Отрывка» «Не смотря на великие преимущества...».....	112
Русская трагедия в исполнении Моцарта и Сальери. <i>Благодать и Закон</i> .....	120
Легенда о черном предке в творческом сознании Пушкина	129
К истолкованию образа Фауста в авторском плане «Сцен из рыцарских времен».....	142
«Народа своего отец чадолюбивый...».....	153
Образ Лизаветы Ивановны в «Пиковой даме».....	164
Пушкин и Г.А. Пакатский. <i>К истории создания «Медного всадника», «Скупого рыцаря» и стихотворения «Памятник»</i> .....	170
Поэт – составитель конспекта труда И.И. Голикова «Деяния Петра Великого...».....	182
Разговор с книгопродавцем о поэте.....	191

<b>ЧАСТЬ II. Правда высокого вымысла.....</b>	201
Предисловие.....	202
Пушкин: жизнь в воображении.....	204
Один греческий мотив в «Путешествии в Арзрум».....	251
«Одну Россию в мире видя...».....	258
К содержанию четверостишия «Он видит башню Годунова» черновой строфы из «Странствия Онегина»....	268
«Летит орел, тяжел и страшен...». <i>Об одном историческом мотиве в поэме «Езерский»</i> .....	278
На дальних подступах к «Пиковой даме». <i>О стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге...»</i> .....	295
«Сын казненного стрельца»: <i>неосуществленный замысел Пушкина</i> .....	309
Усадебные страницы пушкинского «Современника».....	339
«Пропущенная глава» «Капитанской дочки» в контексте двух редакций романа.....	348
История русского XVIII века – неосуществленный замысел А.С. Пушкина.....	360
<b>НА СМЕРТЬ ПОЭТА. От первого лица.....</b>	384

Научное издание

Листов Виктор Семенович

**Пушкин: судьба коренного поэта**

Монография

**Серия «Монографии участников “Болдинских чтений”»**

Редактор Пяткин С.Н.

Корректор Любова Е.Ю.

Компьютерный дизайн, верстка и вывод оригинал-макета Пяткина Е.Н.

Дизайн обложки Канатьев А.

Лицензия ИД №04436 от 03.04.2001. Подписано в печать 27.05.2012.

Формат 60x84/16. Печать офсетная. Усл. печ. листов 20.

Тираж 200 экз. Заказ №174

Издатель: ФГБОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара»

607220 г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, 36.

ГУП РМ «Республиканская типография “Красный октябрь”»

430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а

E-mail: tko-saransk@mail.ru

